СОВРЕМЕННАЯ ЯПОНСКАЯ НОВЕЛЛА

СОВРЕМЕННАЯ ЯПОНСКАЯ НОВЕЛЛА

Перевод с японского

МОСКВА «РАДУГА» 1985

ББК 84.5Я
С54

Составление Б. РАСКИНА
Предисловие Е. МАЕВСКОГО
Редактор Е. РУДЕНКО

С 54 **Современная японская новелла:** Сборник. Пер. с япон.; Сост. Б. Раскина; Предисл. Е. Маевского.— М.: Радуга, 1985.—400 с.

В книге представлены произведения как известных, так и начинающих новеллистов, написанные главным образом в 70-е годы. Рассказы, вошедшие в сборник, отражают социально-политические и культурно-психологические сдвиги, происшедшие в Японии за минувшее десятилетие, дают яркую картину жизни современной страны.

С $\frac{4703000000\text{-}238}{030\,(05)\text{-}85}$ 40-85

ББК 84.5Я
И(Япония)

© Составление, предисловие, перевод на русский язык, кроме произведений, отмеченных в содержании знаком *, издательство «Радуга», 1985

БЕСЕДА О ТЕНИ И ЗЕРКАЛЕ, ИЛИ НАПУТСТВИЕ БЛАГОСКЛОННОМУ ЧИТАТЕЛЮ

Благосклонному — ибо другому, пожалуй, за эту книгу не стоит и браться. Японской прозе, по крайней мере современной, должно быть, не дано ошеломлять читателя, обольщать и властно завоевывать его (попытки редко бывали удачны). Эта проза хороша, когда она скромна и сдержанна.

С точки зрения дальневосточной культурной традиции, все многообразие Вселенной формируют две космические силы: *ян* и *инь*, Свет и Тень. *Ян* — начало яркое, активное, мужское, *инь* же — инертное, темное, женское. *Ян* — солнце, *инь* — луна. Кстати, я поставил *ян* вначале только в силу европейской привычки: в дальневосточном мире первым членом этой пары всегда бывает *инь*.

Похоже, все истинно высокое и самобытное в литературной жизни современной Японии относится, так сказать, к *инь*-литературе.

Яркие краски и острые сюжеты отданы здесь на откуп главным образом различным видам массовой культуры. Ничуть не желая обидеть жанры мелодрамы, детектива или, скажем, научной фантастики, я все-таки позволю себе заметить, что они предназначены для чтения беглого и не слишком углубленного, а литературное лицо страны определяется книгами для медленного чтения. Пристрастие к громким звукам и резким движениям свойственно и более утонченной разновидности японской прозы, интригующей публику барочной причудливостью образов, густо приправленной грехом и жестокостью, часто с претензией на философскую глубину и политический радикализм (националистического либо левацкого толка).

Однако первым и пока единственным лауреатом литературной Нобелевской премии среди японцев был писатель совсем иного мироощущения, иных эстетических принципов — классик негромкой, спокойной лирической прозы Ясунари Кавабата. В заглавии своей Нобелевской речи Кавабата как бы дал себе определение: «Красотой Японии рож-

денный». В этом скромнейшем из титулов подчеркнуто, что писатель лишь собрал и выразил то, что дала ему родная культура; но можно было бы, наверное, сказать и иначе: именно он собрал и выразил все лучшее, что она могла ему дать. Кавабата — мастер Тени. Тень — гордость Японии.

Составители этого сборника не предполагали ограничивать подбор рассказов рамками какой-либо школы, стиля, направления. Но когда на стол редакции одно за другим стали ложиться более или менее удачные произведения японских новеллистов истекших полутора десятилетий, то оказалось, что при всем разнообразии сюжетов, при всем несходстве творческих манер почти вся эта проза так или иначе отмечена знаком Тени. Не мажор, но минор; не эпичность, но камерность — вот ее основные тона. Не фабула, а атмосфера; не изощренность, а, напротив, безыскусность — вот главное в ее инструментарии.

В каком-то смысле рассказы этой книги напоминают зеркало из новеллы Ясунари Кавабата «Отраженная луна» — небольшое ручное зеркало в самой простой оправе, с помощью которого муж героини, лежачий больной, глядит в окно на двор. Может показаться, что в такое зеркало много не увидишь — одну обыденность, и ту в обрывках. Но не будем торопиться.

В скобках заметим, что японский язык сливает «тень» и «отражение» в одном и том же слове «кагэ». Зеркало, «кагами», возникло из «кагэ» и «миру» (видеть) — это как бы «тене-визор». Где кагэ, там и *инь* — это разные чтения одного и того же иероглифа; и где луна, там тоже *инь* — этот иероглиф входит в одно из названий ночного светила. Так что уже в заглавии новеллы «Отраженная луна» дважды незримо присутствует Тень. Но это между прочим.

Читателя недостаточно благосклонного эта принципиальная и культивируемая неяркость (а то и неясность) может поставить в тупик и даже привести в некоторое раздражение. Помилуйте, скажет он, подобно зрителю из гоголевского «Театрального разъезда», что ж тут замечательного и в чем удовольствие? Сюжет невероятнейший. Все несообразности: ни завязки, ни действия, ни соображения никакого.

Вот, например, рассказ Такэси Кайко «Шарик рассыпался». Герой, от лица которого и ведется повествование, японский журналист, летит в Гонконг и встречается там со своим давним знакомым и коллегой Чжаном. Герой беседует с ним, продолжая, очевидно, некий прежний диалог, не совсем понятно о чем. В частности, он спрашивает Чжа-

на, как выбрать один из двух стульев, на что получает ответ: «За едой о политике не спорят». Потом Чжан зачем-то рассказывает ему о своей встрече с известным китайским писателем Лао Шэ и советует сходить в баню «цаотан», где «не только искупают, но и сделают массаж, срежут мозоли, подстригут ногти... Когда клиент покидает баню, ему вручают шарик грязи, собранной с его тела. Интересный подарок на память, не правда ли?» Герой идет в баню, потом делится своими впечатлениями от искусства банщиков: «Я сказал, что восхищен этими мастерами, что по умению полностью сосредоточиться на своем деле их, пожалуй, можно сравнить с анархистами — правда, без бомбы в руках». Вот, собственно, и все, что происходит. Улетая в Японию, герой узнает, что Лао Шэ накануне погиб — очевидно, был убит хунвэйбинами. Кончается рассказ тем, что герой вынимает из кармана бумажный сверток. «Там ничего не оказалось, кроме щепотки серой пыли. Шарик рассыпался».

Все? Все. Вот так история, скажет читатель. Может, там еще что-то есть, не оборвано ли? Тут, наверное, какая-то символика, да мы ключа не знаем.

А ключ и не нужен. Не заперто. Не надо разгадывать — надо вслушаться, вжиться в мир рассказа.

Он огромен и трагичен, этот мир. Пока мы предаемся экзотическим радостям бани, за тысячу километров от нас убивают великого писателя. Анархисты-то идут на штучный счет, примерно так же, как искусные банщики, но уж хунвэйбинов всех мастей гораздо больше, чем хорошо воспитанных журналистов.

Все это, однако, подается вскользь, намеком, отголоском. Без эффектов и аффектации, без многозначительных жестов и указательных стрел: «Это — символ».

Поэтому рассказ не может толковаться однозначно. Автор не рассказывает историю и не доказывает тезис, он создает атмосферу. Содержание рассказа вполне определенно — не так, как рисунок, а как колорит.

Если кто-то все же захочет заняться разгадыванием иносказаний, то пусть поработает над образом шарика. Конечно, это китайский шарик в шарике: смыслов в нем много, и один упрятан глубже другого. Одни, возможно, увидят в нем метафору земного шара (из грязи ведь), другие — символ бомбы анархиста, а может быть, и еще что-нибудь. Но если нужны ключи, то вот хотя бы один, на первый случай. По-японски шарик — «тама». Это слово многозначно: шар, жемчужина, что-либо редкое. Искусство, очищая нас, со-

здает из грязи драгоценность. Увы, непрочную, как хрупки и мы сами, «дети праха». Но «рассыпаться, как тама» — значит погибнуть, не пожалев своей жизни во имя долга и чести. Это выражение прошло через многие века японской поэзии и прилагается только к доблестным воинам.

Выходит, что зеркало новеллы не плоское, это зеркало-шарик, в котором отражается гораздо больше, чем казалось поначалу, пускай и в своеобразном преломлении. Можно также сказать, что в этой Тени содержится внутренний Свет: в малом — большое, в скорби — надежда, в простом — утонченное. Это и не удивительно: Такэси Кайко известен как писатель острых общественных тем, демократический пафос его произведений опирается на глубокую веру в человека, у него богатый литературный опыт и незаурядный талант. Но рассказ-то тем и замечателен, что все это не бросается в глаза.

Или вот новелла Цутому Минаками «Снежная дорога». Герой, он же и рассказчик, неторопливо водит нас по уединенной горной местности, где он отдыхает зимой, знакомит с двумя местными жительницами — матерью и дочерью, хозяйками небольшой конюшни для любителей верховой езды. Потом, без всякой видимой связи с предыдущим, мы узнаем, что одна из дочерей рассказчика — калека, жертва неудачной операции. Потом, опять-таки неизвестно почему, возникает воспоминание о кавалеристе, случайно убитом лошадью во время водопоя, чему герой был свидетелем в годы войны.

Ну что же, очень любопытная экспозиция. Интересно, как развернется интрига. Очевидно, между всеми этими персонажами завяжутся или обнаружатся какие-нибудь сложные взаимоотношения. Приготовимся внимательно следить за драматическим развитием событий. За внимание нас, несомненно, наградят. Например, в конце рассказа выяснится что-нибудь такое, о чем никто не подозревал: кто-то окажется чьим-то таинственным благодетелем или исчезнувшей в детстве сестрой. Или же откроются психологические бездны: самоотверженная любовь или, допустим, предательская неблагодарность. А может быть, нам покажут, как за внешней черствостью скрывается душевная красота либо за респектабельным фасадом таится преступление и низость. Мало ли.

Да только рассказ-то уже кончился. Последние строчки снова описывают безмятежную прогулку по горной дороге, на которой наш герой встречает своих знакомых, мать и дочь, и долго любуется ими с почтительного расстояния.

Право, что же это за книжка: ни картинок, ни разговоров, сказала бы Алиса у Льюиса Кэрролла.

А между тем перед нами превосходная литературная разработка важной нравственной проблемы. Не зря ведь нам сказали (мимоходом), что дочь хозяйки конюшни после смерти отца бросила университет и вернулась из города, чтобы помогать матери вести семейное дело. Не зря рассказчик сообщает нам (немногословно), что он-де устал от невозможности помочь своему больному ребенку и бросил семью, женившись на молодой женщине. Не напрасно вспоминается и глупая смерть кавалериста — на водопое, не в бою. Рассказ обрывается потому, что все уже сказано, даже если мы и не успели это заметить. Теперь уж мы сами должны задуматься о том, что прошлое всегда сказывается на настоящем, что случайная неосторожность может привести к необратимым трагическим последствиям, что уход от ответственности наказывается деградацией личности,— впрочем, это уже толкование, а от него, наверное, лучше воздержаться.

Самым ярким образчиком Тени, самым выразительным примером подчеркнутого отказа от подчеркнутой выразительности я назвал бы в этом сборнике рассказ Ясуси Иноуэ «Волнистый попугайчик». Не стоит его пересказывать, он умещается на нескольких страничках. Если вообще возможна проза, в которой «ничего не происходит» и которая «никак не сделана», то это она и есть. Я даже уверен, что в рассказанной писателем истории не придумано ни слова, что эта история в лучших традициях японской «эгобеллетристики» — «ватакуси-сёсэцу» — и впрямь представляет собой кусочек повседневной жизни автора, перенесенный в литературу с совершенной точностью и без всяких прикрас. Такое литературное простодушие, граничащее с наивностью, по силам только большому мастеру, который достаточно уверен в себе, чтобы не цепляться за ухищрения ремесла. Кто прочел роман Ясуси Иноуэ «Сны о России» и сборник рассказов «Охотничье ружье», изданные у нас (не говоря уже о 32 томах его сочинений в оригинале), те знают, что этот признанный профессионал, президент японского Пен-клуба, прекрасно умеет писать занимательно и драматично. И вдруг эта миниатюра, бесхитростная, как японское трехстишие-хайку, и столь же лиричная. Хайку в прозе. Хотя, конечно, хайку любят не все.

Благосклонный читатель! Когда ты открывал эту книгу, ты был хотя и не предубежден, но не предупрежден. Теперь ты знаешь, чего можно ожидать от предлагаемого тебе чте-

ния, а чего ожидать не следует. Ты чувствуешь, что японская литературная традиция отличается от европейской (если, конечно, имеет хоть какой-нибудь смысл говорить о каждой из них как о чем-то целом и едином) примерно так же, как сады Киото от садов Версаля. Французский сад геометризован деспотичной рукой декоратора. Японский предполагает максимальное выявление естественных возможностей ландшафта и кажется необработанным, невыстроенным, хотя на самом деле место каждому дереву и каждому камню определено в нем долгими заботами садовника. Кстати, о японском садовом искусстве дает неплохое представление рассказ Синъити Юки «Сад опавших листьев». Вообще-то это грустная новелла о старости, смерти и памяти, но также и о том, что сад создается трудом всей жизни.

А раз читатель предупрежден и подготовлен, то он найдет в этой книге немало подарков.

Мне, например, нравятся рассказы, действие которых происходит на фоне нищей, истощенной Японии военных и первых послевоенных лет: «Сокровенное желание» Такэси Иноуэ (в оригинале рассказ называется «Иллюзионист») и «Блуждающий огонек» Тэцуо Миура. Возвращение к этой эпохе в 70-е годы, вероятно, не случайно: именно на это время пришлось детство или отрочество многих достигших ныне зрелости писателей, именно в эту пору закладывались глубинные основы их личности, накапливались впечатления, во многом определившие их творческую судьбу. Обе новеллы лучше всего охарактеризовать старомодным эпитетом: они жалостные. Но не сентиментальные, ибо не оставляют иллюзий. Особенно рассказ Тэцуо Миура с его жестоким концом. Причем если среди нас многие усмотрят в этом финале мелодраматическое преувеличение, то японский читатель, мне кажется, воспринимает его как нечто, скорее, обыденное, хотя и трагическое. В художественной литературе двойное самоубийство влюбленных — один из традиционных, привычных японцу мотивов.

Но большинство рассказов посвящено, конечно, современности. Как известно, современная Япония по праву гордится мощной экономикой, рекордными темпами научно-технического прогресса. Словом, казалось бы, процветает. Но литература вообще почему-то мало интересуется процветанием, ее тянет туда, где проблемы. Вот и японский новеллист, выбрав в герои одаренного и преуспевающего человека, показывает его нам на том отрезке жизненного пути, когда все начинает катиться под гору. Медленно, но

верно и, главное, необъяснимо. Казалось бы, для беспокойства нет оснований, все хорошо — нет, все неладно. Должно быть, процветание — вещь дорогостоящая (Ёсио Марумото «Свободен, как птица»).

В последнее время и в Японии, и за ее пределами много говорят и пишут о японском национальном характере. Не раз высказывалось мнение, что экономические достижения японцев во многом объясняются некими особенностями их психологического склада — прирожденным коллективизмом, готовностью растворить свои личные интересы в интересах семьи, компании, нации. Многие японские психологи и социологи утверждают, что национальный характер японцев якобы существенно смягчает возникающие между личностью и обществом конфликты к вящей пользе как общества, так и личности. Но что же думает об этом сама личность? Оказывается, семейная солидарность может прийтись ей и не по вкусу (Хидэо Такубо «Деревянная свадьба»).

Если бы новеллы выбирались в качестве эпиграфов, то эпиграфом к исследованию об отрицательных последствиях урбанизации я поставил бы рассказ Дзюнноскэ Ёсиюки «Ржавое море» или рассказ Ко Харуто «Родник». Вряд ли что-нибудь может быть дальше от газетной актуальности или академической статистики, чем эти принципиально субъективные психологические этюды. И тем не менее они дают пугающую в своей убедительности картину городской цивилизации в японском варианте, где ржавое море милее чистого и где люди погибают просто потому, что нет родника, из которого они могли бы черпать осмысленность существования.

Тень — символ женщины, и женская тема занимает в сборнике видное место. Жены неблагодарных мужей стоят в центре двух рассказов, сюжетно похожих друг на друга до зеркальности,— «Могила Ван Гога» Ёсико Сибаки и «Чужие» Фумио Нива. С обеими мужчины не считались, обеих бросили. Обе овдовели, и теперь им предстоит вершить над покойными мужьями нравственный суд. Даже и символическое выражение для этого суда — так уж получилось — выбрано одно и то же: ритуал захоронения праха. Простят или не простят? Однако уже Алиса догадывалась, что зеркальная симметрия — не повторение и что по ту сторону зеркала многое происходит наоборот. Так что одна прощает, другая нет.

Масадзи Ивакура озаглавил свой рассказ «Золотая рыбка». Как и полагается произведению с таким названием, повествует оно о том, как жили-были старик со стару-

хой. В свете всего, что сказано выше о Тени, не приходится удивляться и тому, что золотая рыбка у них была черная. Щемящую тему старости избрали для своих новелл Сэндзи Курои («Нежданные гости»), Синъити Юки («Сад опавших листьев»), затрагивает ее и Мэйсэй Гото («Мужчина, который вернулся домой»). Когда я читал новеллу «Нежданные гости», меня не покидало ощущение, что автор ее — очень добрый человек. Наверное, это потому, что он талантливый писатель.

Героини рассказов Такако Такахаси «Томление» и Ёко Такахаси «Я люблю дождь», пожалуй, самые благополучные из персонажей сборника. Их, в общем, не гнетут житейские заботы, у них есть время и возможность посвящать себя материям более тонким: дождю и морю, настроениям и снам, гаданьям и знаменьям, кошкам и розам. А также мужчинам. Каждая из них живет в каком-то не совсем реальном мире, в отвлеченно-обобщенных обстоятельствах, где несущественны фамилии, профессии, источники доходов, где даже города зовутся абстрактными кличками: «В городе N. ...» — и все заливает загадочный свет: белый от гор, золотой от закатного солнца. Есть тут и зеркало, причем самое изысканное из всех: в финале рассказа «Томление» повторяется эпизод, уже проигранный в начале, только с другой точки зрения. Героиня как бы меняется местами с другой женщиной, отдавая ей свое повествовательское «я». Так сказать, уходит в Зазеркалье... Образы этих томящихся женщин слегка окрашены стилем «модерн» образца 1900 года, и новеллы обеих Такахаси можно было бы назвать претенциозными, если бы на ум не приходило другое слово: прециозный. Драгоценный, тонкий, редкий (недаром в «Томлении» возлюбленного героини зовут Тамао — все от того же корня «тама»). И еще: прецизионный. Дающий особую точность.

«...Такое впечатление, будто занавес взяли из некогда роскошного, но впоследствии разорившегося дома; впрочем, в этом я нахожу для себя особое очарование,— говорит героиня рассказа «Томление».— Так вот, трепетание занавеса от дуновения воздуха показалось мне странным. Раздвинув его, я увидела, что в одном квадрате окна не хватает стекла. Издалека совершенно незаметно. То, что никто из постояльцев до сих пор этого, вероятно, не замечал, в моих глазах придало старому корпусу гостиницы еще большую привлекательность. Прекрасно, когда с таким искусством сделанное окно настолько запущено».

Да ведь это стилизация под эпоху Хэйан, под просто-

душно-капризный эстетизм знаменитых японских писательниц X и XI веков Сэй Сёнагон и Мурасаки Сикибу, причем стилизация очень тщательно выполненная, хотя «издалека совершенно незаметно»!

Героини Ёко и Такако Такахаси сродни этим хэйанским придворным дамам не только своей житейской необремененностью, но также и чуткостью к тонким и тончайшим движениям души, пониманием «очарования вещей» (это старинное понятие японской эстетики точнее было бы передавать как «печаль вещей»), ощущением грустной прелести любви и человеческого общения, особо драгоценных из-за своей мимолетности.

«При виде предметов блестящих,— писал полвека назад Дзюнъитиро Танидзаки в своем эссе «Похвала тени»,— мы испытываем какое-то неспокойное состояние. Европейцы употребляют столовую утварь из серебра, стали либо никеля, начищают ее до ослепительного блеска, мы же такого блеска не выносим. Мы тоже употребляем изделия из серебра: кипятильники, кубки, графинчики и т. п., но никогда не начищаем их до блеска. Наоборот, мы радуемся, когда этот блеск сходит с поверхности предметов, когда они приобретают налет давности, когда они темнеют от времени».

Лучшими своими, теневыми (да-да!), сторонами японская культура обязана непрерывной исторической традиции. Более или менее непрерывной, потому что перерывы были. Но все же Японии удалось захватить с собой из прошлого в современность больше, чем многим другим столь же развитым странам, и родная история служит здесь на редкость живым источником идей и образов для современной жизни — от телевизионных боевиков до высокой поэзии. Не так давно советские зрители увидели историко-приключенческий (или историко-философский?) фильм режиссера Акира Куросава «Кагэ-муся» — «Тень воина». И вот теперь на страницах этого сборника мы знакомимся с рассказом в жанре историко-литературных приключений, посвященным эпохе Хэйан. Его автор — Кохэй Хата, а называется он «Госпожа Кага Сёнагон». Имя Кага Сёнагон встречается в истории японской литературы при обстоятельствах таинственных, и комментаторы до сих пор не выяснили, кто она такая, но писатель предлагает свое решение этой загадки. Кага — это тень, то есть отражение, а чье — узнаете из рассказа.

О традиционных корнях современной японской прозы можно было бы говорить еще очень долго. Можно было бы вспомнить о роли дзэн-буддизма в становлении поэтики не-

досказанности, обыгрывая сходство (случайное, но знаменательное) слов «тень» и «дзэн», а также «тень» и «чань» (что то же по-китайски). Нелишне было бы затронуть и проблему культурных контактов и типологических параллелей, чтобы объяснить, почему эстетика Тени так бурно расцвела под разными именами в европейских литературах XX века. Но лучше пускай читатель сделает все это сам.

Я же хотел бы напомнить только об одном — о чеховском начале в русской прозе. Чехов писал: «Над рассказами можно и плакать, и стенать, можно страдать заодно со своими героями, но, полагаю, нужно это делать так, чтобы читатель не заметил».

«Столетие подражает Чехову»,— сказал однажды Виктор Шкловский. Как знать, может быть, многое из того, чему мы дивимся у современных японских прозаиков, впервые появилось на нашей земле и теперь возвращается к нам, отразившись.

Русскую литературу в Японии знают и ценят. Доказательства этому обнаруживаются самые неожиданные. Мэйсэй Гото вставил в свой рассказ «Мужчина, который вернулся домой» три короткие цитаты из русских писателей — для героя это, очевидно, своеобразные символы его студенческого прошлого, случайные обрывки непригодившейся учености, застрявшие в мозгу. Соотечественники автора, должно быть, слышат в этих русских фразах, записанных японскими буквами, что-то вроде странных заклинаний: «Счастливая, счастливая пора детства...» (Толстой). «Графиня страдала бессонницею...» (Пушкин). Но вот, наконец, последняя, третья фраза, из Достоевского, уже по-японски, уже на внятном языке,— какая же, интересно?

«Все мы вышли из гоголевской „Шинели“».

Да, Алиса, должно быть, права насчет Зазеркалья: «Книжки там очень похожи на наши — только слова написаны задом наперед». Но все же разница культур не сводится к различию грамматик, и переводчик, даже самый лучший, может далеко не все. Время от времени он приходит в отчаяние, встретив, например, такой пассаж:

«Из рассказа Акико явствовало, что Дзиро уже бывал в хэя того сэкитори, которого он буквально боготворил. Этот сэкитори имел достаточно скромный разряд сэкиваки, ему не удалось подняться выше саньяку, но и ниже хирамаку он не опускался» («Свободен, как птица»).

Или вот: «В этом году весной у меня в скворечнике на

дзелькве пильчатой поселились синицы большие японские Parus major minor. ...Все время носились вокруг три пары горлиц таежных больших Streptopelia orientalis orientalis, должно быть, они свили себе гнезда на моем подокарпе крупнолистном или на соседской тернстремии японской» («Волнистый попугайчик»).

В первом отрывке камнем преткновения оказываются термины национальной японской борьбы сумо. У японцев-то они с детства на слуху, а нам и непонятно, и как-то царапает. Во втором беда в несходстве фауны и флоры. У автора там самые обычные японские слова, а переводчику приходится передавать их ученой зооботанической номенклатурой. Нету ведь у нас таких синиц, и горлицы наши не те, не orientalis... В конце концов смирится переводчик и заменит «подокарпы» и «тернстремии» на безликие «деревья» и «кусты». Впрочем, многие японские слова можно оставить без перевода. Хотя бы титулы борцов сумо. Но захочет ли читатель продираться сквозь дебри чуждых реалий и экзотических слов?

Тут самое время обратить внимание на то, что у проблемы перевода, кроме стороны переводческой, есть еще одна сторона: читательская.

Если читатель не хочет, чтобы японская литература казалась ему бессмыслицей или теряла все, что в ней есть японского, он должен проявить готовность к сотрудничеству и постараться привыкнуть.

Надо привыкнуть к тому, что у японцев другой быт. Что они в обязательном порядке разуваются при входе в жилое помещение, а также охотно сидят на полу и ничуть не смущаются отсутствием в комнате стульев. Что каждый японец прописан — только не по месту жительства, а по семейной принадлежности, и переход из одного посемейного списка в другой может повлиять на его наследственные и прочие права. Надо быть готовым с ходу разобраться в премудростях чужой фразеологии и сообразить, например, что убить одним камнем двух птиц — совершенно то же, что одним выстрелом двух зайцев. Нужно притерпеться к японским именам и отвлечься от прежнего багажа культурно-исторических и звукосимволических ассоциаций, чтобы женское имя Сима не казалось русским (рассказ «Блуждающий огонек»), а имя Ясуэ — тяжелым и корявым, тем более что на самом деле оно легкое и нежное (рассказ «Деревянная свадьба»).

Это приходит с опытом.

Художественный перевод с западных языков на русский

зародился давно и с каждым годом осуществляется все лучше. Перевод с восточных языков, в том числе с японского, гораздо моложе, и успехи его скромнее. Но ведь культура перевода неотделима от культуры читателя. Они связаны друг с другом положительной обратной связью: чем искусней перевод, тем больше узнает читающая публика; чем осведомленнее читатель, тем легче переводчику, тем лучше он будет работать. Давайте же вместе накапливать опыт.

Как отрадно, что кое-что уже накоплено.

«Как взволнованно твое сердце,— писала Сэй Сёнагон в «Записках у изголовья»,— когда случается заметить, что заморское (в другой интерпретации «драгоценное».— *Е. М.*) зеркало уже слегка потускнело».

Итак, вперед, благосклонный читатель!

Или нет. Восклицательный знак не годится для Тени. Поставим лучше многоточие...

Е. Маевский

Такэси Кайко

ШАРИК РАССЫПАЛСЯ

Поздно утром я проснулся в некой столице с ощущением, что так и не достиг вершины славы, но и не превратился еще в никчемного навозного жука. И вдруг подумал: пора возвращаться домой! Битый час, ворочаясь среди смятых простынь, я так и сяк обкатывал эту неожиданно возникшую мысль, пока не убедился, что решение мое окончательное.

Тогда я встал с постели, вышел на сверкавшую витринами улицу и с наслаждением вдохнул пахнувший свежеиспеченным хлебом воздух. Я направился в отделение авиакомпании за билетом на ближайший рейс до Токио, специально выбрав южную авиалинию, чтобы пару дней провести в Гонконге. Получив билет, толкнул стеклянную дверь и вышел наружу с таким чувством, будто поставил точку в конце длинного абзаца и еще не знаю, с чего начну новый. К сожалению, я не ощутил обычного душевного подъема перед вступлением в незнаемое.

Когда я уезжал из Японии, меня охватило возбуждающее беспокойство, какое испытываешь, сидя перед чистым листом бумаги, и незнаемое манило меня игрой загадочных бликов. Теперь настал момент возвращения, и, хотя будущее представлялось мне столь же неясным, не было ни беспокойства, ни загадочных бликов — просто поставил точку и начал новый абзац. Прежде, приступая к новому абзацу, я испытывал некий, правда готовый тут же угаснуть, подъем, но с годами это ощущение все более притуплялось. В былые времена мне казалось, будто между строчками меня подстерегает вызывающая трепет загадочная бездна. Теперь ее сменило лишь белое русло пересохшей реки.

Вернувшись в отель, я стал укладывать чемодан и вдруг почувствовал, как из-за спины и с боков на меня начинает наползать плесень. Я быстро рассчитался за гостиницу, схватил чемодан и вскочил в автобус, направлявшийся в

© Kaiko Takeshi 1978

аэропорт. Тем временем плесень упорно разрасталась. Она покрыла мои плечи, грудь, живот, ноги, потом стала разъедать меня изнутри, хотя моя внешность оставалась прежней. По мере приближения к Токио плесень все настойчивее овладевала моим нутром, и я наконец почувствовал приступ безысходной тоски и впал в апатию.

Пока длинная дюралюминиевая сигара самолета летела вперед сквозь море парчовых облаков, я мысленно оглядывался на свой многомесячный дрейф, испытывая по нему ностальгию, словно он окончился не вчера, а по меньшей мере лет десять назад. Теперь я с позором должен вернуться в страну, которую покинул, не будучи в силах выдержать до тошноты знакомое и противное. Я возвращался понурив голову, словно солдат армии, которая потерпела поражение еще до того, как приняла участие в боях. Бессмысленный, но упорно повторяемый порочный круг. Неужели я просто добавил к нему еще один виток? Втиснутый в узкое кресло самолета, я заново переживал недавнее прошлое. Таможенная суматоха в аэропорту Ханэда, наверно, отвлечет меня на время, но, как только стеклянные двери аэровокзала останутся позади, плесень вновь возьмет меня в плен, и ничего я с ней не смогу поделать. Если так пойдет дальше, через пару месяцев я стану похож на снежную бабу, с головы до ног затянутую в зелено-серый саван из плесени. Хочешь не хочешь, а нужно возвращаться обратно. Придется вернуться, ибо другого подходящего места я нигде не нашел!

Прибыв в Гонконг, я обычно снимаю комнату в небольшом отеле на Коулунском полуострове, сразу же вытаскиваю свою старую, затертую записную книжку, отыскиваю телефон Чжан Лиженя и набираю номер. Если Чжана нет на месте, я просто называю свое имя и отель, поскольку моих познаний в китайском языке хватает лишь на то, чтобы прочитать ресторанное меню. На следующее утро, часов в девять-десять, я вновь звоню Чжану и через несколько секунд слышу слова приветствия на безупречном японском языке, произносимые слегка надтреснутым, но приятным голосом. Спустя пару часов мы встречаемся на углу Нейзан-роуд или на пристани Стар-ферри либо у входа в удивительный парк Тайгер Бам. Чжан — худощавый пожилой мужчина, ходит обычно опустив голову, но, если он внезапно поднимает на меня глаза, его лицо озаряется радостной улыбкой. Когда Чжан смеется, рот у него растягива-

ется до ушей. Мне нередко становилось не по себе, когда я видел его разом ощерившийся рот с потемневшими от никотина зубами. И все же стоит мне увидеть эти его зубы, как время куда-то исчезает, и, глядя на его улыбающееся лицо и слушая его болтовню на отличном японском языке, я ощущаю, как покрывшая меня плесень начинает отступать. Она, конечно, не исчезает и, пользуясь любой щелочкой, проступает снова, но, пока рядом со мною Чжан, она ведет себя тихо, словно поджавшая хвост собака. Мы гуляем по улице, и я рассказываю Чжану о недавно увиденном и пережитом — о войне в Африке, или на Ближнем Востоке, или в Юго-Восточной Азии. Шаг у Чжана легкий, пружинящий. Он внимательно слушает меня, цокает языком, вздыхает. Когда мои новости исчерпаны, наступает черед Чжана. Он говорит о последних переменах на континенте, пересказывает редакционные статьи правых и левых газет, часто цитирует высказывания Лу Синя.

Несколько лет назад нас познакомил один японский корреспондент, с которым мы вместе обедали. Корреспондент этот давно уже вернулся в Токио, а я с тех пор, приезжая в Гонконг, обязательно встречаюсь с Чжаном. Мы вместе гуляем, беседуем, заглядываем в харчевни. Он сообщил мне свой домашний телефон, но в гости к себе ни разу не пригласил, и я почти ничего не знаю о его прошлом. Мне было лишь известно, что Чжан окончил университет в Японии, свободно изъяснялся по-японски и обладал недюжинными познаниями в японской литературе. Он служил в небольшой торговой фирме и подрабатывал на карманные расходы литературной деятельностью, публикуя время от времени свои эссе в газетах. Чжан водил меня по роскошной улице Нейзан-роуд, сообщая о различных странностях, присущих Гонконгу. Мы останавливались, например, у магазина швейцарских часов, где на вывеске почему-то было начертано «Хайванпай», что по-китайски означало «Морской царь». Он брал выставленную у входа в небольшую книжную лавку потрепанную брошюру с иллюстрациями, показывал на картинку, изображавшую двух обнявшихся кукол, под которой было написано «фронтальная атака», и объяснял, что это означает ортодоксальную позицию в любви. Он говорил, что здесь, в Гонконге, принято отели называть винными лавками, а рестораны — винными магазинами, но никто не может объяснить — почему.

Последние несколько лет в наших беседах, когда мы встречались, все время всплывала проблема, решить которую мы никак не могли. В Токио ее восприняли бы как

странную шутку или даже несусветный вздор. Здесь же это был один из самых больных вопросов. Здесь каждый должен выбирать что-либо одно: белое или черное, правых или левых, это или то. Тот, кто не выберет, может поплатиться жизнью. Причем молчанием тут не отделаешься. И вот возникает проблема: каким образом выйти из положения, если ты не желаешь делать выбор? Сложность в том, что надо обязательно выбрать, как говорится, один из двух стульев. Каждый волен остановить свой выбор на любом из них и на нем усесться. Нельзя лишь оставаться между двух стульев. Вам намекают, что имеется два стула, но с самого начала предполагается, что вы выберете один. Если же вы нацелитесь еще и на второй стул, то на вас обрушатся с криками: «Сяпа!» (Убей его!), «Дапа!» (Бей его!), «Дадао!» (Долой его!). Каким же должен быть ответ, который хотя бы на данный момент позволит человеку избежать неприятностей, если он не желает сидеть ни на одном из стульев? Нельзя ли найти подходящий пример в истории? Не исключено, что в насчитывающей тысячелетия истории Китая, которая изобиловала периодами расцвета и падения, можно отыскать нечто мудрое, выработанное годами мук и страданий. Какое-либо удачное выражение или изречение.

Я впервые задал этот вопрос Чжану, когда мы однажды ели китайские паровые пельмени в небольшой харчевне на окраине Гонконга. Я спросил об этом как бы невзначай, будто рассуждая сам с собой. Но Чжан вздрогнул, его лицо исказила страдальческая гримаса. Он отодвинул в сторону еще почти полную тарелку с пельменями, вынул сигарету, несколько раз бережно провел по ней своими тонкими, похожими на куриные косточки пальцами, потом закурил и, медленно выпустив изо рта длинную струю дыма, сказал:

— Есть такое выражение: ни лошадь, ни тигр. Прежде, когда у китайца спрашивали: «Как поживаешь?», он отвечал: «Мама хуху». Если написать это иероглифами, получится «Лошадь-лошадь, тигр-тигр», то есть «Живу то как лошадь, то как тигр». Превосходное выражение. Но если кто ответит так на вопрос о двух стульях, ему несдобровать. Казалось бы, ответ неопределенный, уклончивый, но дело все в том, что сама уклончивость в нем декларируется слишком определенно. За такой ответ жди расправы — и немедленной! Как же следует ответить, чтобы не попасть впросак?! Да, нелегкую задали вы задачу...

Чжан сказал, что хотел бы как следует все обдумать до нашей следующей встречи. Видимо, он был сильно шоки-

рован, и даже его движения показались мне чересчур заторможенными. Когда я ему напомнил про несъеденные пельмени, он усмехнулся, что-то нацарапал на клочке бумаги и протянул его мне со словами: «Это следует знать». На клочке была одна короткая фраза: «За едой о политике не спорят». Пришлось мне просить у него прощения за свою нетактичность.

Потом, через год-два, а то и три года, когда я приезжал в Гонконг и встречался с Чжаном, мы, как прежде, гуляли, заходили в какую-нибудь харчевню перекусить, и я снова — конечно, теперь уже после еды — задавал ему все тот же вопрос. Чжан задумчиво качал головой, горько усмехался, но так ни разу мне не ответил и все просил подождать. И поскольку никаких мудрых слов он мне так и не поведал, загадка по-прежнему оставалась загадкой во всей ее жестокой неопределенности. Да если бы существовал в природе некий удачный способ безболезненно сидеть между двух стульев, им, безусловно, захотели бы многие воспользоваться. Кроме того, аналогичные ситуации могут встречаться в новой взаимосвязи, и тот способ, который еще вчера казался удачным, сегодня уже не годился, а загадка оставалась бы по-прежнему неразгаданной. Правда, иногда мне казалось, будто Чжан на что-то довольно прозрачно намекает. Так было, когда он однажды заговорил о Лао Шэ. Много лет тому назад Лао Шэ побывал в Японии. Он тогда возглавлял делегацию китайских литераторов. На обратном пути посетил Гонконг. Одна из газет обратилась к Чжану с просьбой взять у Лао Шэ интервью. Чжан отправился в отель, где встретился с Лао Шэ, но тот, по словам Чжана, ничего не сказал ему такого, из чего можно было бы слепить требуемую статью. На вопрос о том, как живется интеллигенции в Китае после революции, Лао Шэ лишь покачивал головой и явно уходил от ответа, делая вид, будто не понимает, о чем идет речь. Точно так же он вел себя и когда ему задавались другие вопросы, и Чжан уже решил было, что Лао Шэ как писатель деградировал. Но разговор случайно зашел о деревенской кухне. Лао Шэ сразу преобразился и целых три часа с увлечением рассказывал о ее тонкостях. Он поведал о том, что в одном из старинных городков близ Чунцина или Чэнду стоит огромный котел, огонь под которым поддерживается вот уже несколько сот лет. В этот котел крошат лук, китайскую капусту, картофель, закладывают бычьи головы и свиные ножки — и все это долго варят. Гости садятся вокруг котла, набирают черпаками себе это варево в пиалы и едят. Плата взимает-

ся по числу съеденных пиал. Лао Шэ оживленно, вникая во все подробности, рассказывал, какие овощи и какое мясо варят, какая появляется пена, каков вкус у супа, по скольку пиал съедает каждый. Закончив это красочное повествование, он ушел в свою комнату.

— Все это было так неожиданно,— заключил Чжан,— что мне не удалось ни о чем больше расспросить его. Его рассказ буквально потряс меня до глубины души. Должен признаться, что из его произведений мне больше нравится «Рикша», чем «Четыре поколения под одной крышей», и когда я слушал его, мне казалось, будто я вновь перечитываю «Рикшу». Те же наблюдательность, юмор и остроумие! Покидая отель, я испытывал колоссальное удовольствие и благодарность к Лао Шэ. По возвращении домой я подумал о том, что уснуть сейчас и не продлить воспоминания о встрече — преступление! И я напился. Причем пил самогон — довольно крепкий.

— Ну а как же статья?

— Написать-то я ее написал, но получился набор банальных красивых фраз. И еще. Не знаю почему, но Лао Шэ говорил со мною с доверием, и его рассказ показался мне чересчур хорош для газеты.

Чжан улыбнулся, и кожа на его исхудалом лице сразу же собралась в многочисленные морщинки. Меня пронзила мысль: вот он, сверкающий клинок откровения! И в этом сверкании промелькнуло нечто, для определения которого не подходили ни слово «трагедия», ни слово «негодование». Нечто, заставляющее склонить голову. Похоже, существовал-таки путь из положения между двух стульев, но от его крутизны захватывало дух. Не это ли самое называют англичане «between devils and deep blue sea» — «между дьяволами и глубоким синим морем»?

— Это платная баня. По-китайски «цаотан». Здесь вас не только искупают, но и сделают массаж, срежут мозоли, подстригут ногти. От вас требуется лишь снять одежду и лечь. Если потянет на сон, можете спать сколько угодно. Здесь есть множество бань, но эта известна особым вниманием к клиентам. Когда клиент покидает баню, ему вручают шарик грязи, собранный с его тела. Интересный подарок на память, не правда ли? Может, зайдете? Здесь пользуются тремя видами полотенец: жесткими, средними и мягкими. Банщик наматывает полотенце на руку и основательно трет ваше тело. Вы и не представляете, сколько набирает-

ся грязи. Всю ее собирают, скатывают в шарик и на прощание вручают вам. Правда, интересно?

Все это поведал мне Чжан, когда во время прощальной прогулки — на следующий день я вылетал в Токио — мы остановились у дома с вывеской «Небесные бани».

Я согласился испытать обещанное блаженство. Чжан толкнул стеклянную дверь и перебросился парой слов с человеком, сидевшим за конторкой. Выслушав Чжана, мужчина, улыбаясь, окинул меня взглядом и широким жестом пригласил внутрь. Чжан простился со мною, сказав, что ему предстоит уладить кое-какие дела, и пообещал обязательно приехать в отель и проводить меня до аэропорта. Мужчина вышел из-за конторки и подал мне знак следовать за ним. Мы прошли через темноватый с обшарпанными стенами коридор в небольшую комнату, где стояли две односпальные кровати. На одной из них, лежа на животе, дремал клиент, бедра которого были обмотаны белым банным полотенцем. Рядом сидел банщик и, обхватив его согнутую в колене ногу, срезал, словно с лошадиного копыта, ороговевшую кожу с пятки. Приведший меня мужчина жестами попросил у меня ценные вещи, и я вручил ему бумажник, паспорт и часы. Он положил это все в ящик стоявшей сбоку тумбочки, запер на старинный висячий замок, а ключ присоединил к связке других ключей, нанизанных на кольцо, которое было пропущено через брючный ремень. Он несколько раз похлопал по связке, давая понять, что все будет в порядке, и, улыбнувшись, вышел. Когда я снял с себя одежду, появился похожий на стрелолист миловидный юноша, обмотал мою поясницу банным полотенцем, а другое накинул на плечи. Потом он поманил меня рукой, мы вышли из комнаты в темный коридор и остановились у стеклянной двери. Там меня уже ждал другой юноша. Он быстро освободил меня от банных полотенец и провел в помещение с шероховатым бетонным полом. В потолок была вмурована большая душевая воронка, из которой струилась горячая вода. После того как я принял душ, меня подвели к массивной прямоугольной ванне с широкими, чуть ли не в метр шириной, закраинами, облицованными мрамором. На закраине, на подстеленном полотенце, распластался, словно тюлень, клиент, только что вылезший из ванны. Голый банщик, намотав на руку бинт, усердно массировал его мясистые телеса. Я осторожно опустился в ванну. Вода была ни горячей, ни холодной, чуть мутноватой, словно до меня в ней побывал уже не один человек. В отличие от японской бани я не ощутил жара, который тысячью иголок впивает-

ся в кожу. Тепло было мягкое, обволакивающее. Два банщика — огромный, со вздувшимися мускулами и худощавый, небольшого роста — стояли у стены. Когда я, прикрывая обеими руками пах, поднялся из ванны, один из банщиков расстелил на закраине банное полотенце и подал знак, чтобы я на него лег.

У банщика, как мне рассказал Чжан, имелось три полотенца: одно — жесткое, шершавое, похожее на льняное — предназначалось для растирания рук, ног, спины и ягодиц; другое — помягче, видимо, из хлопчатки — для растирания живота; третье — самое мягкое, марлевое — для ступней ног, паха и прочих чувствительных к прикосновению мест. Банщик туго, как бинт, наматывал на руку то одно полотенце, то другое, тер руки, ноги, потом переворачивал меня то на спину, то на живот и искусно — слегка грубовато, но в меру почтительно — без устали растирал мое тело. Спустя некоторое время банщик что-то пробормотал. Я слегка приоткрыл глаза и увидел, что мои руки, живот, буквально все тело покрыто мелкими серыми катышками, будто его долго терли школьной резинкой. Передохнув минуту, банщик, видимо, вошел в раж и стал тереть меня с удвоенной энергией. Честно говоря, он не просто тер, а буквально сдирал с меня шкуру — грязный слой кожи, приставший к моему телу. Он работал на совесть, перемещаясь от головы к ногам и обратно. Я позабыл о стыдливости, раскинул руки, которые держал у паха, и полностью отдался на волю банщика. Потом меня намылили и смыли мыло теплой водой. Я снова залез в ванну, после чего меня несколько раз окатили водой и растерли горячим как огонь полотенцем.

— Вот,— сказал банщик и со смехом вручил мне шарик, слепленный из моей собственной грязи. Он был серого цвета, слегка влажный, но достаточно твердый, размером с небольшое перепелиное яйцо. Моя освободившаяся от грязи кожа стала розовой, мягкой и прозрачной, как у младенца. Казалось, все мои клетки ликовали и, трепеща от радости, возносили хвалу жизни.

Меня проводили в первую комнату, уложили на кровать, и миловидный юноша принес горячего жасминового чаю. Я прихлебывал чай и чувствовал, как с каждым глотком мое тело покрывается испариной. Юноша принес свежее полотенце и тщательно обтер меня. Вошел мастер, который, меняя всевозможные щипчики и ножички, состриг мне на руках и ногах ногти, срезал мозоли и загрубевшую кожу на пятках. Закончив работу, он молча поклонился и вышел. Вслед за ним появился массажист, который, тоже молча,

приступил к делу. Его сильные и чувствительные пальцы и ладони резво бегали по моему телу, не оставив без внимания ни один уголок, где застоялась кровь. Он давил, гладил, постукивал, щипал до тех пор, пока все затвердения не разгладились и не размягчились. Каждый из мастеров выполнял свою работу тщательно, искусно и со знанием дела. Они не жалели ни времени, ни сил и работали не за страх, а за совесть. В их искусстве было нечто от акробата, балансирующего на проволоке. Мне казалось, что с крепких и настойчивых пальцев массажиста стекает приятная прохлада. Я чувствовал, что становлюсь невесомым и все мое тело как бы растворяется в приятной истоме.

— Вот моя рубашка.

— ?..

— Рубашка, которую я носил до вчерашнего дня,— пояснил я, указывая Чжану, пришедшему ко мне на следующее утро, на лежавший на столе серый шарик.

Чжан лишь улыбнулся в ответ, его улыбка походила на судорогу. Затем он вынул из кармана пакетик с чаем, сказал, чтобы я заварил его по приезде в Токио, что это самый лучший чай, какой ему удалось найти в Гонконге. Потом умолк, задумчиво глядя перед собой. Я в подробностях поведал ему о банщиках, о массажисте, о жасминовом чае, о том, как мне стригли ногти. Сказал, что восхищен этими мастерами, что по умению полностью сосредоточиться на своем деле их, пожалуй, можно сравнить с анархистами — правда, без бомбы в руках. Чжан машинально кивал головой, улыбался, но глаза его оставались грустными. Он не произнес ни слова и сидел, уставившись взглядом в стену. Мне это показалось странным, и, прекратив свой рассказ, я стал укладывать вещи в чемодан. В бане я превратился в бестелесное облако, и, когда вышел на улицу, было такое ощущение, будто моя одежда стала более свободной и между нею и кожей образовалась некая воздушная прослойка. Я чувствовал легкий озноб, меня даже слегка покачивало от звуков и запахов улицы и слабого ветерка. Но уже наутро, когда я проснулся, кости и мышцы обрели свою прежнюю форму, вернувшись на положенные им места, а на коже вновь образовался, хотя пока и тонкий, слой грязи, прикрывший мою младенческую наготу. Слепленный из содранной с меня грязи шарик усох и стал настолько хрупким, что, казалось, мог рассыпаться от легкого прикосновения пальцев, поэтому я со всякими предосторожностями

завернул его в несколько бумажных салфеток и опустил в карман.

Покончив с необходимыми формальностями в аэропорту, я подошел к Чжану, чтобы обменяться прощальным рукопожатием. И тут Чжан, хранивший в тот день упорное молчание, вдруг заговорил. Оказывается, накануне вечером знакомый газетчик сообщил ему, что в Пекине умер Лао Шэ — и есть разные версии, объясняющие причину его смерти. Одни говорят, что Лао Шэ убит группой юных хунвэйбинов. Другие — будто он, не желая подвергнуться их истязаниям, выбросился из окна второго этажа своего дома. Есть версия, что он покончил жизнь самоубийством, бросившись в реку. Но в точности никто ничего не знает. Ясно лишь одно: Лао Шэ умер не своей смертью. Это безусловно.

— Почему он ушел из жизни? — спросил я.

— Не знаю.

— Почему его подвергли критике?

— Не знаю.

— О чем он писал последнее время?

— Не знаю. Не читал.

Я глядел на Чжана и не мог унять внезапно охватившую меня дрожь. Чжан стоял ссутулившись, у него было такое лицо, будто он вот-вот заплачет. Его привычное спокойствие, живость, юмор куда-то исчезли, во взгляде нельзя было прочитать ни гнева, ни проклятия. Он словно оцепенел и съежился под гнетом страха и разочарования. Этот начинающий стареть мужчина, много испытавший на своем веку, стоял с покрасневшими глазами, как потерянный среди аэродромной сутолоки.

— Пора,— прошептал он.— Счастливо долететь... Приезжайте снова.— Чжан нерешительно пожал мне руку, понурившись пошел прочь и вскоре исчез в толпе провожающих.

Я поднялся в самолет, отыскал свое место, пристегнул ремни и откинулся на спинку кресла. Вдруг из глубин памяти выплыла картина моей встречи с Лао Шэ в его доме в Пекине. Худощавый, но крепкого телосложения старый писатель оторвался от множества горшков с хризантемами и молча поглядел на меня острым, все понимающим взглядом. В памяти сохранились лишь эти его глаза и бесчисленные хризантемы...

Я невольно сунул руку в карман, вынул бумажный сверток и развернул его: там ничего не оказалось, кроме щепотки серой пыли. Шарик рассыпался.

Ясунари Кавабата

ОТРАЖЕННАЯ ЛУНА

Однажды Кёко догадалась с помощью ручного зеркала показать свой огород больному мужу, лежавшему в постели на втором этаже. Уже одно это словно бы открыло перед ним новую жизнь. Но случилось и многое другое.

Что это было за зеркало? Оно хранилось в ящике туалетного столика, который она привезла с собой в дом мужа. Это было ее приданое. Туалетный столик и оправа ручного зеркала были из тутового дерева. Первое время после женитьбы она пользовалась им, когда разглядывала, хорошо ли уложены волосы на затылке. Рукав кимоно соскальзывал, обнажая руку до самого локтя, и Кёко помнит, как она стыдливо краснела тогда. То самое ручное зеркало...

Когда Кёко после купанья садилась перед туалетным столиком, муж говорил: «У тебя не получается, дай-ка мне — я подержу». Он отбирал у нее ручное зеркало и под разными углами поворачивал, чтобы она лучше видела свой затылок в зеркале туалетного столика, и сам при этом таял от удовольствия. А у нее не то чтобы не получалось. Ей было просто неловко, когда муж стоял сзади и пристально смотрел на нее.

С той поры прошло не так уж много времени, тутовая оправа ее зеркала еще не успела покоробиться, но была война, эвакуация, тяжелая болезнь мужа, и, когда Кёко впервые надумала показать мужу огород, само зеркало уже потускнело, а оправа сделалась грязной от пыли и въевшихся в нее просыпанных белил. Ее это мало заботило, скорее она просто не обращала на это внимания, потому что и в таком зеркале огород виделся ясно. Но муж, который с тех пор не расставался с зеркалом и держал его у изголовья, от вынужденного ли безделья или из-за свойственной больным раздражительности очистил оправу от грязи и отполировал зеркало. Да и потом Кёко часто замечала, как муж дышит на него и тщательно протирает. Ей нередко приходили мысли, что вот он дышит на зеркало, и в невидимых глазу трещинах деревянной оправы застревают

туберкулезные палочки... Расчесывая ему волосы, Кёко смачивала их маслом камелии, а он проводил ладонями по волосам и принимался полировать оправу, и она сверкала точно лакированная, а туалетный столик так и стоял потускневший.

Снова выйдя замуж, Кёко захватила столик с собой, в качестве приданого.

Но ручное зеркало она сожгла, когда хоронила мужа. Новому мужу она об этом ничего не сказала. Теперь на туалетном столике красовалось новое ручное зеркало с оправой камакурской резьбы [1].

Скончавшегося мужа положили в гроб, переплетя, как предписано обычаем, на груди пальцы рук. Поэтому вложить в его руки зеркало не представлялось возможным, и Кёко опустила его на грудь покойника.

Потом она переложила зеркало на живот, прошептав:

— У вас всегда болела грудь, как бы зеркало не стало излишней тяжестью.

Она потому сначала положила зеркало на грудь, ближе к сердцу, что зеркало играло важную роль в их совместной супружеской жизни. Она не хотела, чтобы родственники мужа заметили зеркало, и прикрыла его белыми хризантемами. Погребальный огонь расплавил его. Оно выгнулось в толстую неровную трубку, закоптилось и пожелтело.

— Кажется, стекло! Что бы это могло быть? — удивился кто-то из родственников.

Дело в том, что на ручное зеркало Кёко положила еще одно — маленькое зеркальце из своего несессера. Оно было двустороннее, в форме тандзаку [2]. Кёко мечтала взять его в свадебное путешествие, но была война, и свадебное путешествие не состоялось. При жизни прежнего мужа ей так и не пришлось попользоваться этим зеркальцем.

Новый муж устроил свадебное путешествие. Несессер Кёко поистерся и даже заплесневел, поэтому она приобрела новый. Тоже, конечно, с зеркальцем.

В первый день их поездки, обнимая Кёко, муж прошептал:

— Ты совсем как девушка. Бедненькая!

В его словах не чувствовалось насмешки, скорее нечаянная радость. Наверно, ему и в самом деле было приятно,

---

[1] Комбинация резьбы с лакировкой.— *Здесь и далее прим. переводчиков.*

[2] Тандзаку — продолговатый листок бумаги для написания стихотворений танка.

что Кёко выглядит так, будто никогда не была замужем. Но слова мужа глубоко ее опечалили. Она разрыдалась, сжалась в комок. А тот объяснил это себе опять-таки ее девичьей застенчивостью.

Кёко не понимала, плачет ли она из жалости к себе или к прежнему мужу. Она не могла отделить одно от другого. И тогда, почувствовав, что несправедлива к нынешнему супругу, что должна быть с ним ласкова, она сказала игриво:

— Разве? Неужели вы так разбираетесь в этом? — Но сразу же поняла, что допустила неловкость, и густо покраснела. Муж, напротив, светился довольством.

— У тебя и детей вроде бы не было,— сказал он и опять разбередил ей душу.

Столкнувшись с иной, чем у прежнего супруга, мужской силой, Кёко испытала унизительное чувство: словно в ней видят лишь игрушку для забавы.

— Но у меня было что-то вроде ребенка,— возразила Кёко и тотчас умолкла.

Даже после смерти она воспринимала своего тяжко хворавшего мужа как ребенка, которого она растила внутри себя.

«Почему я, опасаясь за здоровье мужа, избегала близости, если было ясно, что он все равно умрет?» — подумала Кёко.

— Мори мне довелось видеть только из окна поезда.— Обнимая Кёко, новый муж назвал ее родной город.— Наверно, симпатичный городок, окруженный рощами деревьев. Недаром он назван Мори[1]. Ты там до каких лет жила?

— Пока не окончила колледж. А трудовую повинность выполняла на военном заводе в Сандзё.

— Значит, ты родилась поблизости от Сандзё? Вот почему ты так хороша. Недаром говорят: красавицы из Сандзё, что в провинции Этиго.

— Вовсе я не красива.— Кёко прижала руку к груди.

— У тебя красивые руки, красивые ноги. Значит, и все остальное не хуже.

— Нет-нет! — Кёко почувствовала, что рука мешает ей, и отняла ее от груди.

— Если бы у тебя был ребенок, я все равно взял бы тебя в жены,— шептал он ей на ухо.— Усыновил бы его и любил, как собственное дитя. Лучше, конечно, если бы это была девочка.

---

[1] Мори — роща.

Наверно, потому, что у него уже есть сын, подумала Кёко, но даже если его слова были проявлением любви, ей они показались неуместными. Скорее всего, ради нее он и свадебное путешествие устроил на целых десять дней, стараясь оттянуть ее встречу с сыном.

У мужа имелся добротный дорожный несессер, изготовленный из кожи. Несессер Кёко не шел с ним ни в какое сравнение. Тот был большой, прочный, хотя и не очень новый. Муж часто бывал в поездках, но, по-видимому, тщательно следил за своим несессером, поэтому он обладал особым лоском, присущим лишь старым добротным вещам. Кёко вспомнила свой прежний несессер — заплесневелый, хотя она им ни разу не воспользовалась. Только зеркальце из него она давала мужу и вместе с мужем отправила его в мир иной. То зеркальце, которое она положила в гроб поверх ручного зеркала... Они сплавились друг с другом в огне; никто и не догадался бы, что там их было два. Никому и в голову не пришло, что причудливо спекшийся кусок стекла прежде был зеркалом. Сама Кёко об этом никому не сказала.

У нее было ощущение, словно безжалостно сожжено множество миров, отражавшихся в двух зеркалах. Она не делала разницы между этой потерей и тем, что тело ее мужа превратилось в горстку пепла. Вначале Кёко, когда она захотела показать мужу свой огород, дала ему ручное зеркало, и он больше не расставался с ним, но вскоре и ручное зеркало стало трудно удерживать в руках подолгу, и Кёко приходилось всякий раз массировать ему кисти и плечи. Тогда она решила дать ему еще одно зеркальце — маленькое и легкое.

И пока в нем теплилась жизнь, муж с помощью двух зеркал мог видеть не только отражение ее огорода. Он видел в зеркале еще небо и облака, снег, дальние горы и ближний лес. Видел луну, полевые цветы и перелетных птиц. Там, в зеркале, люди переходили дорогу, играли дети в саду.

Кёко сама удивилась обширному и разнообразному миру, открывшемуся в маленьком зеркале. Зеркало — всего лишь предмет туалета, служащий для ухода за внешностью, тем более ручное зеркало, нужное лишь затем, чтобы в другом зеркале увидеть собственный затылок... А больному в нем сызнова открылись природа и человек! Присев у изголовья, Кёко тоже заглядывала в зеркало и размышляла вместе с мужем о том, что они видят. Со временем она перестала отличать настоящий мир от отраженного в зерка-

ле. Они для нее сделались двумя самостоятельно существующими мирами, причем тот, новый, видимый в зеркале, даже начинал ей казаться более истинным.

— В зеркале небо светится серебристым цветом,— говорила она; потом выглядывала из окна и добавляла: — А из окна оно серое.

Небо в зеркале не вызывало гнетущего впечатления. Там оно и в самом деле светилось.

— Может быть, это потому, что вы так тщательно полируете зеркало?

Муж слегка поворачивал голову, чтобы поглядеть через окно на небо.

— Верно, оно сейчас тускло-серое. Кстати, человеческие глаза и, к примеру, глаза собаки или воробья — разве они видят небо одинаково? И кто скажет, какой цвет неба настоящий?

— А цвет неба в зеркале — тот, каким его видят глаза зеркала?..— Кёко хотела сказать — «каким его видят глаза двух нежно любящих». Отраженная в зеркале зелень деревьев была свежее, чем настоящая, а белизна лилий — ярче.

— Это отпечаток твоего большого пальца. От правой руки.— Муж показал на край зеркала. У нее почему-то екнуло сердце. Она подышала на зеркало и стала поспешно стирать след.

— Оставь. А знаешь, когда ты впервые показала мне огород, на зеркале тоже остался отпечаток твоего пальца.

— Я и не заметила.

— Ты не обратила внимания, а я теперь в точности знаю, какие следы оставляют твои большой и указательный пальцы.— Должно быть, только человек, прикованный к постели долгой болезнью, способен запомнить отпечатки пальцев собственной жены.

С тех пор как они поженились, он почти все время болел. Он даже не был на войне.

Собственный их дом сгорел, и они сняли комнату у знакомых Кёко. Муж тогда еще ходил на службу. Месяц с небольшим в собственном доме да два месяца в доме знакомых — вот все время, что муж не хворал при ней.

Когда война уже близилась к концу, его мобилизовали. Всего несколько дней он занимался земляными работами на одном из аэродромов, сразу же свалился и вернулся домой. В тот самый день окончилась война. Ходить он уже не мог, и Кёко увезла его в деревню, куда эвакуировались ее родители. Большую часть своего имущества, как и вещей мужа, она отправила туда загодя.

Он снял маленький домик в горах и начал лечиться. Кроме них в доме жила семья эвакуированных, но, поскольку война окончилась, они вскоре вернулись в Токио. Кёко в наследство остался небольшой огород — три на три кэна [1] вскопанной в саду земли.

Здесь, в деревне, они могли покупать овощи у крестьян, но не то было время, чтобы отказаться от доставшегося им огорода, и Кёко теперь каждый день копалась в земле, с интересом наблюдая, как зреют выращиваемые ею овощи. Она увлеклась огородом не потому, что ей хотелось иногда побыть вдали от кровати мужа. Просто шитье и вязанье наводили тоску. К тому же работа на огороде вселяла в нее светлые надежды на выздоровление мужа, была своего рода непроизвольным проявлением ее любви к нему. А с мужем она и так проводила достаточно времени, читая ему вслух книги. И еще: оттого ли, что Кёко устала ухаживать за больным, но у нее появилось ощущение, будто все безвозвратно уходит, и она надеялась этой работой вернуть себе душевное спокойствие.

Они переехали в горы в середине сентября. Когда эти места покинули спасавшиеся здесь от жары столичные жители, зарядили обычные для ранней осени холодные дожди. Но однажды перед наступлением сумерек послышались веселые птичьи голоса и небо очистилось. Кёко вышла в огород, освещаемый яркими лучами солнца, и загляделась на сочную зелень овощей. Потом подняла глаза и залюбовалась розовыми облаками, плывшими над далекими вершинами гор. Она не сразу услышала доносившиеся со второго этажа крики мужа. Даже не отряхнув землю с рук, она помчалась наверх.

— Я ору во всю глотку! Неужели не слышно?

— Простите, я задумалась.

— Брось ты свой огород! Можно помереть, пока тебя дозовешься. И потом: я не знаю, где ты и чем занимаешься.

— На огороде я. Но раз вы требуете, я больше не пойду.

Муж успокоился.

— Слышала, как пела синица? — Он звал ее лишь для того, чтобы спросить об этом. Пока они разговаривали, из ближней рощи вновь донеслось пение. Роща отчетливо рисовалась на фоне вечернего неба. Кёко запомнила, как поет синица.

— Давайте купим колокольчик — так вам будет легче

[1] Один кэн равен 1,81 м.

меня дозваться. А я пока положу какую-нибудь вещь у вашего изголовья. Если я понадоблюсь, бросьте ее в окно.

— Чашки, что ли, прикажешь бросать со второго этажа? Новое дело!

Муж все же не запретил Кёко возиться в огороде. Она догадалась воспользоваться зеркалом, чтобы показать мужу свой огород, лишь после того, как минула бесконечная, суровая в горах зима и наступила весна.

О, как она радовалась, когда простое зеркало возродило для больного мужа мир молодой свежей зелени! Он даже видел теперь, как Кёко снимает с листьев насекомых-вредителей. Но самих насекомых не различал, и Кёко несла их на второй этаж, чтобы показать мужу. Он наблюдал также за тем, как жена вскапывает землю.

— Я видел в зеркале дождевых червей,— говорил он потом Кёко. Нередко к концу дня, когда солнечные лучи падали косо, она вдруг ощущала на лице яркий свет. Кёко поднимала глаза и замечала, как муж там, наверху, наводит на нее зайчики. Он приказал ей сшить из дешевой ткани, хранившейся у него еще со студенческих времен, шаровары. Ему доставляло удовольствие глядеть, как жена в этих шароварах, синих в белый горошек, копалась на огороде.

Кёко знала, что муж видит ее в зеркале, но, увлекшись работой, иногда забывала об этом. Как же я переменилась с тех пор, когда в первые дни замужества смущалась даже из-за обнажившейся по локоть руки, вспоминала Кёко, и теплая волна подступала к сердцу.

* * *

В те времена, когда Япония начала терпеть поражение в войне, Кёко вообще не красилась. Потом стеснялась пользоваться белилами и помадой из-за больного мужа и по-настоящему стала употреблять косметику лишь после второго замужества. Она замечала, как преображают ее белила и помада. Буквально на глазах она превращалась в красавицу. И она начинала верить в искренность нового мужа, так восхищавшегося ее красотой в первый день, когда они остались наедине.

Кёко уже не стеснялась, когда разглядывала себя в зеркале после ванны. Она видела свою красоту. Но покойный муж научил ее иному, чем у других людей, восприятию красоты, отраженной в зеркале, и это ощущение она сохранила. И не то чтобы она сомневалась в красоте, видимой в зерка-

ле. Просто она уверовала в то, что в зеркале существует другой мир.

Но все же, когда она глядела на себя, а потом разглядывала свое отражение, она не ощущала той разницы, какая была между серым небом за окном и серебристым небом в зеркале. Может быть, это объяснялось не только разницей в расстояниях. Не исключено, что здесь играло роль тоскливое томление прикованного к постели мужа. Сколь прекрасной казалась ему работавшая на огороде жена, когда он разглядывал ее в ручном зеркале! Теперь уже Кёко не суждено об этом знать. А когда он был еще жив, она этого не понимала.

И она сама, какой ее видел в зеркале больной муж, и отраженная в зеркале синева цветов володушки, и белизна лилий, и деревенские дети, играющие на краю поля, и утреннее солнце, поднимающееся над далекими снежными вершинами... Кёко даже не столько пыталась оживить все это в памяти, сколько тосковала, томилась по тому, иному миру, принадлежавшему некогда ей и ее покойному мужу. Она старалась подавить это чувство, готовое в любое мгновение прорваться страстным желанием, так как не хотела тревожить нынешнего мужа; она заставляла себя думать о нем как о чем-то далеком и предназначенном для иного, нездешнего мира.

Однажды майским утром Кёко услышала по радио пение лесных птиц. Передачу вели с гор, невдалеке от местности, где скончался ее первый муж. Проводив нового супруга на службу, она достала из туалетного столика ручное зеркало и стала разглядывать в нем ясное в тот момент небо. Потом поглядела в зеркало на свое лицо. И неожиданно сделала странное открытие: оказывается, свое лицо можно увидеть только в зеркале, а без него никак не обойтись. Теперь она каждый день разглядывала и трогала свое лицо, точно и вправду веря, что лицо в зеркале, собственно, и есть ее лицо, видимое без посредства зеркала. Но для чего бог создал человека так, чтобы он сам не мог видеть своего лица?

«А если бы человеку это удалось, он оказался бы в полной растерянности и, может быть, даже свихнулся?» — спрашивала она себя.

Нет, скорее всего, человеку с самого начала природой было не дано видеть свое лицо. А вот стрекозы и богомолы, должно быть, видят.

Лицо человеку необходимо, чтобы его видели другие? Что-то вроде побуждения к любви...

Она отложила ручное зеркало и вдруг приметила, что тутовая отделка туалетного столика не сочетается с камакурской резьбой ручного зеркала. То, прежнее зеркало сгорело вместе с мужем, и туалетный столик будто овдовел. Когда она дала мужу ручное зеркало и потом еще маленькое зеркальце, это принесло ему не только добро, но и зло. Ведь он каждый день видел в них также и свое лицо, разглядывая себя в зеркале, подмечал все новые признаки развития болезни и надвигающейся смерти. Если существует способ психологического убийства с помощью зеркала, то не получается ли, что Кёко совершила его? Она уже давно догадалась о зле, какое таит в себе зеркало, и даже пыталась отобрать его у мужа, но тот отказался наотрез.

— Ты хочешь лишить меня радости видеть,— сказал он тогда,— а я, пока жив, хочу наслаждаться видимым!

Он пожертвовал жизнью, чтобы дать жизнь миру, существующему в зеркале. Он любовался в зеркале луной, отраженной от ее отражения в луже воды, разлившейся во дворе после дождя. И память об отраженной луне — но просто ли отраженной? — до сих пор хранится в ее сердце.

— Здоровая любовь бывает лишь у здоровых людей,— утверждает ее новый муж, и Кёко всякий раз смущенно кивает головой, но где-то в глубине души не соглашается с его словами. Вначале она упрекала себя: к чему было так избегать близости с больным мужем? Ведь это все равно не спасло его от смерти! Но незаметно эти мысли превратились в воспоминания о печальной любви, а потом она уже думала, что и тогда, когда они сделались воспоминаниями, сердце ее по-прежнему переполняла любовь, и она перестала упрекать себя.

А новый муж?.. Не слишком ли просто понимает он женскую любовь?!

— Почему вы, такой добрый человек, расстались со своей прежней женой? — однажды спросила его Кёко. Тот промолчал. Кёко вышла за него, поддавшись настойчивым уговорам старшего брата покойного мужа. Прежде чем пожениться, они встречались четыре месяца. Новый муж был старше ее на пятнадцать лет.

Когда Кёко почувствовала, что ждет ребенка, она страшно перепугалась. «Я боюсь, я боюсь»,— повторяла она, прижимаясь к мужу. Из-за мучительных приступов тошноты у нее, казалось, помутился разум. Она босиком выбегала во двор и жевала сосновые иглы. Отправляя в школу неродного сына, она совала ему с собой по две коробочки с завтраком, и почему-то обе — с рисом... А то вдруг уста-

вится на ящик туалетного столика, и ей начинает казаться, будто он стал прозрачным и она видит лежащее внутри ручное зеркало с оправой камакурской резьбы. Среди ночи она просыпалась, садилась на матрац и подолгу разглядывала лицо спящего мужа. Со страхом думая о бренности человеческой жизни, развязывала пояс спального кимоно — может быть, хотела задушить мужа. И вдруг разражалась слезами. Муж просыпался, ласково успокаивал ее и снова завязывал пояс. А Кёко сотрясалась в холодном ознобе, хотя была середина лета и даже ночью было жарко и душно.

— Кёко, не забывай, что у тебя будет ребенок,— уговаривал ее муж, тряся за плечи.

Врач советовал поместить ее в больницу. Кёко отказывалась, но в конце концов ее уговорили.

— Хорошо, я лягу в больницу, но перед этим отпустите меня на несколько дней к родителям,— попросила она.

Муж отвез ее в родительский дом.

А на следующий день она поехала в горы, где последнее время жила с прежним мужем. Было начало сентября — тогда они приехали туда дней на десять позже. В поезде ее снова стали мучить жестокие приступы рвоты и головокружение. Она даже боялась, что придется сойти с поезда раньше. Все же она добралась до места, и, когда вышла на станции и полной грудью вдохнула свежий воздух, ей сразу полегчало. Она пришла в себя — будто мгновенно рассеялось владевшее ею наваждение. Кёко остановилась и со странным чувством поглядела на окрестные горы. Темно-синие горные цепи четко выделялись на фоне неба. Кёко ощутила вокруг себя живой мир. Утирая полные теплой влаги глаза, она направилась к их бывшему дому. И сегодня, как и в тот день, слышалось пение синиц из рощи, темневшей на розовом закате.

В доме кто-то жил — на окне второго этажа висели белые кружевные занавески. Не решаясь подойти ближе, Кёко глядела на дом и неожиданно, сама удивляясь своим словам, прошептала:

— Что будем делать, если ребенок окажется похожим на вас?

И, умиротворенная, пошла обратно к станции.

Ясуси Иноуэ

ВОЛНИСТЫЙ ПОПУГАЙЧИК

Сад у меня совсем небольшой, но с наступлением осени сюда прилетают разные птицы. Неподалеку есть парк с ипподромом, там они и собираются, а по дороге залетают ко мне — то одной раскраски, то другой. А некоторые, должно быть, в этом парке живут и залетают ко мне развлечения ради. Не только ко мне, но и в соседние дворы. Где есть хоть клочок зеленой травы да два-три деревца, всюду непременно появляются птицы. Только этим и хорош квартал, где мы живем,— ничем особо не примечательный жилой квартал среднего достатка в районе Сэтагая.

В этом году весной у меня в саду в одном из скворечников поселились синицы и жили со своими птенцами до самой осени. Все время носились вокруг три пары горлицкидзибато — должно быть, они свили себе гнезда на моих или соседских деревьях. Иногда большими отрядами, штук по двадцать-тридцать, прилетают скворцы: рассыплются по траве, поклюют чуть-чуть и тут же снимаются, исчезают. Прилетают и голуби, парочки две как будто даже прижились, сидят себе на лужайке, с места не тронутся. Старший сын наблюдал за ними и говорит, что это они дремлют.

Воробьи, сороки, скворцы прилетают стаями; они разбредаются по всей лужайке и вместе клюют червей. По наблюдениям дочери, сороки злые, они иногда подбираются к стаям воробьев и скворцов и нападают на них. Вероятно, они зоркие и хорошо видят, где кормятся другие птицы.

Этой осенью, в начале октября, я пил чай на веранде своего кабинета. И вдруг в саду увидел... Вот это да! Среди двух десятков воробьев бросилась в глаза зеленая птичка, на воробья определенно не похожая. Это был волнистый попугайчик. Диких волнистых попугайчиков как будто не бывает, так что этот, вероятно, жил у кого-то дома и улетел.

Я спустился в сад. Воробьиная стая разом вспорхнула. Попугайчик немного запоздал, но тоже взлетел, правда до-

© Inoue Yasushi 1980

вольно неловко, и все они скрылись в гуще деревьев другого сада, по ту сторону улицы.

В тот день эта же стая воробьев прилетала еще раз. Эта же — потому что в ней была зеленая птичка. На этот раз я не стал спускаться в сад. Да, действительно, одна из птиц явно не как все. И раскраска не та, и очертания. Тут воробьи, наверное, чего-то испугались и разом вспорхнули. Взлетел и попугайчик. Только все получалось у него не так хорошо, как у воробьев. Он двигался как-то вяло и неловко. Но все-таки полетел вслед за стаей, догнал ее над крышей соседнего дома, и все вместе они направились на запад. Рядом со мной тогда сидела жена, и я сказал ей:

— Воробьи ждали попугайчика над крышей того дома. Дождались, пока зелененький их догонит, тогда уж вместе и полетели.

— Ты думаешь? — отозвалась жена.

— Уверен. Они хоть и воробьи, но не бросают тех, кто связал свою судьбу с их стаей. Чем выгодно отличаются от людей. Воробей — хорошо, волнистый попугайчик — тоже неплохо. Оперение, правда, не такое, но в конце концов это ведь только на время жизни, а она короткая. Пускай уж, думают они, проведет свою жизнь вместе с нами, воробьями, — сказал я.

В тот вечер у нас было трое гостей. За ужином я рассказал о волнистом попугайчике. В последнее время в человеческом обществе происходят одни мерзости, ничего хорошего не слыхать, вот в птичьем обществе произошло приятное событие: попугайчик присоединился к воробьиной стае и живет по законам воробьиного общества. Попугайчик — хорошо, воробьи, охотно принимающие попугайчика, — тоже прекрасно.

Наши гости откликнулись в меру восторженно: «Да ну! Неужели? Не может быть! Как интересно!». Я с огорчением убедился, что их восхищение совсем не так велико, как мне хотелось бы.

— То, что вы видели, — ситуация, должно быть, из ряда вон выходящая. Попугайчик есть попугайчик, воробей есть воробей, и вместе им не быть. Сейчас они, вероятно, уже давно раззнакомились и ночуют в разных местах, — сказал один из гостей. Я очень разолился на него. Хотел сказать ему: не все такие, как вы. Едва удержался.

* * *

Прошло примерно полмесяца, я зашел погулять в парк и там снова увидел волнистого попугайчика в стае воробь-

ев. Это было, когда я сидел на трибуне ипподрома. Нет, я ходил не на бега. Когда бывают бега, я от трибун держусь подальше, а в тот день ни единой лошади там не было, трибуны стояли пустые, вот я и пошел туда погреться на осеннем солнышке и почитать газету.

— Ой, смотрите-ка, волнистый попугайчик! — послышалось вдруг. Это воскликнула женщина лет тридцати, сидевшая в полутора десятках шагов от меня с вязаньем в руках. И действительно, у подножия трибуны расселась стая воробьев, и среди них все та же одинокая зеленая птичка.

— Действительно попугайчик,— послышался еще один голос. Владелец голоса спустился с верхних рядов. Это был мужчина лет пятидесяти в брюках и свитере. Его я как будто уже не раз видел раньше, очевидно, он тоже был из породы любителей гулять по парку. При нем всегда был портативный радиоприемник. Мы подошли поближе друг к другу — женщина, мужчина и я — и стали смотреть на воробьев.

— Я уже видел этого попугайчика с месяц назад у себя в саду,— сказал я.— Тогда он тоже был вместе с воробьями.

— Да ну! Не может быть.— Мужчина заинтересовался и еще внимательнее начал разглядывать стаю. А женщина сказала с жадностью:

— Вот бы его поймать. Славная какая птичка.

Тут воробьи мгновенно вспорхнули, а попугайчик опять поднялся в воздух позже всех и полетел вдогонку стае.

— Они чуткие существа, эти птицы,— сказал я, слегка разозлившись на женщину.

* * *

С тех пор, выходя на прогулку, я не только в парке, но и по дороге туда и обратно всякий раз останавливался, когда замечал стаю воробьев. Однако волнистый попугайчик мне больше не попадался. Дома я тоже непременно вставал из-за стола, как только в сад прилетали воробьи, но, увы, напрасно.

Приближалась зима, и постепенно попугайчик стал забываться. Лишь изредка я вспоминал о нем и думал: каково-то сейчас этой зеленой птичке в стае воробьев. Чем-то это напоминало тревогу отца о сбежавшей из дому беспутной дочери.

И вот однажды, уже в ноябре, в солнечный день я от-

правился в парк незадолго до закрытия, то есть до четырех часов. Я торопливо шел по парку, стараясь если уж не насладиться прогулкой, то хоть исполнить эту ежедневную обязанность. В роще висело меж оголенных стволов красное закатное солнце.

Выйдя из рощи, я наткнулся на мужчину с портативным радиоприемником. Того самого, с которым мы обменялись короткими фразами на трибуне ипподрома.

— Я потом еще раз видел того волнистого попугайчика,— сказал он.— Кажется, как раз на этой дорожке. Воробьев было больше, чем в тот раз. Стая штук в тридцать, наверно. И среди них этот зеленый, только он сделался совсем такой же, как все. Я даже удивился. Знаете, по-моему, этот попугайчик вовсе не думает, что он попугайчик. Считает себя воробьем.

— Да? — Я не нашелся, что ответить. Мы пошли рядом. Приближалось время закрытия парка.

— Но все-таки он, наверное, понимает, что он не такой, как другие воробьи?

— Да нет, по-моему, он этого не замечает. Воробьи-то, должно быть, видят, что есть среди них один какой-то не такой, ну, раскраска у него другая, но все-таки он тоже птица, и потом...

— Воробьи — может быть, но попугайчик...

— Я думаю, если бы этот зеленый осознал, что он не такой, как все, он бы не остался с воробьями. Но он не осознает. В этом-то и трагедия.

Тут мужчина неожиданно рассмеялся, и стало заметно, как много у него морщин.

— Вы простите, что я о своем, но дело в том, что я тоже такой вот попугайчик. Всю жизнь не замечал, что я не такой, как все, и жил среди воробьев. В этом году ушел с работы по возрасту и, к счастью, будущей весной поступаю на новое место, но на старой работе я всегда был попугайчиком.

— ...

— Не умею я продавать вещи, не создан для этого, а вот сдуру поступил в компанию, которая этим занимается, да так и прослужил в ней все положенные годы. Это, знаете, настоящая трагедия. Правда, я хорошо работал, у компании ко мне особых претензий не было, и она меня честно держала сколько положено. Вот как эта стайка воробьев.

Мы вышли из парка, и решетчатые железные створки ворот тут же замкнулись за нами. Мы стояли и разговаривали еще минут пять, а потом распрощались.

* * *

Женщину, что занималась вязаньем на трибуне, я встретил уже в декабре. Я выходил из парка и чуть не столкнулся с ней у ворот.

— О... — Мы поклонились друг другу, но она, по-видимому, не сразу узнала меня и лишь немного погодя сказала:

— Ах, кажется, мы с вами...

Тогда она немного походила на противного мальчишку, но теперь показалась мне нежной и красивой.

— Вы тут недалеко живете?

— Отсюда пешком минут двадцать. Мой муж сейчас бежит марафон, и я должна его здесь забрать.— В самом деле, на той стороне улицы стояла машина.

— Не видали ли вы с тех пор волнистого попугайчика? — спросил я. Это и правда меня интересовало.

— Нет.

— Помните, тогда на трибуне был еще один человек. Я недавно встретил его, он говорит, что потом еще раз видел попугайчика в парке.

— Что вы говорите! Как-то он сейчас, этот попугайчик? Такой симпатичный был, умненький. Плохо ему, наверное, у воробьев. Надо быть очень терпеливым.

— Он, наверное, не знает, что он волнистый попугайчик. Думает, что он тоже воробей. Правда, это не мое мнение...— сказал я.

— Да? Никогда бы не подумала,— удивленно отозвалась женщина.— Знаете, я рассказала про эту птичку мужу, а он говорит: «Этот попугайчик — это я».— Она слегка пожала плечами и засмеялась.— Он сказал: «Я волнистый попугайчик, а живу с воробьями, приходится терпеть».

— ...

— Он у меня художник.

— ...

— Он считает, что коллеги-художники — та же стая воробьев и попугайчику среди них ни за что не пробиться наверх.

— ...

— Правда, будущей весной у него будет персональная выставка на Гиндзе, в галерее К.

— Ну вот, видите, как хорошо. Какой же он у вас попугайчик?

Тут женщина вдруг заторопилась:

— Ой, вон он, мой попугайчик, появился. Извините, я

пойду, до свидания.— Она поклонилась и пошла на ту сторону улицы, где стояла машина. Вдали показался рослый бегун в спортивной майке. Он бежал по осыпавшейся аллее и, насколько я мог судить издалека, выглядел молодым и свежим.

* * *

На днях ко мне пришла несколько истеричная дама средних лет.

— Я услышала в лавочке у зеленщика,— сказала она,— что у вас в саду видели вместе с воробьями волнистого попугайчика, и подумала: а вдруг это мой? У меня был такой.

И она попросила позвонить ей, если его заметят опять. Этот попугайчик куплен за границей, объяснила она, он очень ценный, совсем не такой, как обычные.

— Обязательно надо его поймать. В Японии, знаете ли, мало таких...

— Да, ко мне в сад прилетал зеленый попугайчик, но это было довольно давно. После этого он больше не появлялся, да, может быть, и не появится,— сказал я.

— Если все-таки появится, я вас очень прошу, позвоните мне. Бедняжка, ведь эти воробьи похитили его, не отпускают!

— ...

— Его непременно надо поймать,— настаивала дама.

Когда малосимпатичная посетительница ушла, я вернулся к себе в кабинет, закурил и вышел в сад. Бродя по траве, усыпанной последними осенними листьями, я думал о том, что бывшая хозяйка попугайчика напрасно горячится. Нет уж, пускай эта птичка летает себе с воробьями. Ее не надо ловить. Не знаю, какая она — такая, как говорит тот пожилой мужчина, или такая, как говорит художник, но только в стае воробьев она счастливее, чем в клетке. «Ее, видите ли, не отпускают — что за чушь!» — произнес я вслух. Эти воробьи великодушно приняли ее, они не похитители, а покровители. Быть может, он и правда заграничный, этот попугайчик, но теперь он уже давно сделался японским, одичал и живет с воробьями на правах любимого и почетного гостя.

Некоторое время я размышлял, не отправиться ли мне на дальнюю прогулку — в ту рощицу в парке близ ипподрома. Мне казалось, что там я когда-нибудь встречу волнистого попугайчика.

Тэцуо Миура

БЛУЖДАЮЩИЙ ОГОНЕК

I

Сани с ватагой подвыпивших парней, распевавших какую-то народную песню, вынырнули из ущелья, поросшего густым буковым лесом, к озеру, и над тихой озерной водой, окруженной заснеженными горами, разнесся холодный звук колокольчика. Озеро уже стало замерзать от берегов, и посредине, отражая зимнее небо, темнел лишь небольшой круг воды, значительно убавившийся по сравнению с летом.

Возница в соломенных снегоступах и безрукавке на собачьем меху натянул вожжи и, покрикивая, погнал коня к причалу. Крытые сани, скрипя по снегу полозьями, наклонились, и из повозки раздался пронзительный женский визг.

В санях сидели трое пьяных парней и две девушки того же возраста, а также молодой мужчина и женщина, неизвестно зачем направлявшиеся в такое время к горному озеру, занесенному снегом. Вскрикнула одна из девушек. Когда сани наклонились набок, она съехала к плечу парня, и тот обнял ее.

Парни были из молодежного кружка поселка Хотару, расположенного на другом берегу озера, и ездили в городок, находившийся в долине, за театральным занавесом для новогоднего вечера. По дороге они зашли к знакомому, где и напились самогона. Сидя вокруг свертка с занавесом, они распевали во все горло песни и перекидывались шуточками, не обращая никакого внимания на незнакомых людей, приткнувшихся в углу повозки.

За два часа езды от городской станции мужчина с женщиной ни разу не заговорили, только изредка женщина спрашивала у мужчины, укутанного одеялом и лежавшего головой на ее коленях: «Ну как? Не холодно?» Мужчина иногда покашливал под одеялом. Это было легкое покашливание, но, закашлявшись, он долго не мог остановиться.

© Miura Tetsuo 1978

Заметив, что колокольчик умолк, женщина выглянула из-за полога и легонько потрясла мужчину за плечо:

— Сто-сан! Озеро. Озеро Дзиппэки.

— Приехали? Наконец-то! — Мужчина приподнял голову, но, закашлявшись, снова уткнулся лицом в колени женщины. Она молча гладила его по спине.

Неподалеку от причала утопало в снегу несколько домов. На крышах виднелись вывески сувенирных лавок, но окна были забиты досками, и присутствия людей не ощущалось. У причала, сколоченного из щербатых досок, среди рыбачьих лодок стоял небольшой туристский пароходик с облупившимися боками.

Когда сани приблизились к пристани, на палубе пароходика появился пожилой человек в мешковатом бушлате цвета хаки, сшитом, видимо, из армейского одеяла, какие привозили с собой демобилизованные солдаты.

Шла вторая послевоенная зима. Один из парней, ехавших в санях, был одет в короткий матросский бушлат, другой — в штаны от летнего комбинезона, а на шее одной из девушек красовался шарф из парашютного шелка. Возница был в солдатских обмотках.

Незнакомые спутники их сошли позже других — сворачивали одеяло. На женщине оказалось синее пальто, черные брюки и мужские резиновые сапоги. С плеча свешивалась полотняная санитарная сумка, в руках она держала большие узлы.

Мужчина, одетый во все армейское, кроме шапки из заячьего меха, расплатился с возницей. Он был бледен, с ввалившимися щеками, лет двадцати двух на вид. Женщина выглядела старше года на три-четыре, но щеки ее все еще были гладкими и тугими. Пока возница считал мелочь, женщина живыми черными глазами поглядывала на потную спину лошади.

Когда они поднялись на пароходик, капитан в мешковатом бушлате с удивлением поглядел на них и спросил:

— В Хотару едете? Мы никуда больше не заходим.

— Да, мы в Хотару. Возьмите нас,— сказала женщина.

Иллюминаторы были забиты досками, а на полу вместо татами[1] лежали рваные соломенные циновки. Молодые люди, бросив свернутый занавес, ушли куда-то, женщина так же, как и в санях, соорудила в углу каюты постель из одеяла, и мужчина лег. Она хотела закрыть дверь, но двери не оказалось. Женщина укутала мужчину своим одеялом,

[1] Татами — толстый соломенный мат для настилки полов.

села, притулившись к стене, и положила голову мужчины к себе на колени.

Пароходик, мелко содрогаясь, отчалил от пристани. Из открытого дверного проема резко потянуло холодным ветром. Женщина подняла воротник пальто и опустила голову. Вошел капитан с хибати[1] в руках. Она была сделана из пустой консервной банки с отдушиной.

— Подумал, пассажирам холодно будет...

Женщина, удивившись, поблагодарила.

— Ото-сан! Хибати принесли. Не погреешь руки? — спросила она.

Мужчина выглянул из-под одеяла, сказал капитану: «Спасибо за внимание» — и снова лег. Видно, ему было трудно даже протянуть руки к огню. Капитан достал американские сигареты и прикурил через отдушину хибати.

— Только такие... Не закурите?

Мужчина хотел было что-то сказать, но закашлялся, и женщина ответила вместо него:

— Не курит он.

— Тут один офицер из оккупационных войск, любитель поохотиться, осенью часто на джипе приезжал,— пояснил капитан.— Только демобилизовались? — заговорил он с мужчиной, лежавшим с закрытыми глазами.

— Да,— ответил мужчина, смущенно улыбнувшись.

— В каких частях служили?

Мужчина назвал пехотный полк, располагавшийся в городе неподалеку от тех мест. Капитан удивился. «Сын друга детства, служивший в том же полку и проживавший теперь в здешнем городке, давно уже демобилизовался, вскоре после окончания войны»,— подумал он.

— Что-то вы сильно задержались.

— У него особый случай,— поспешно оборвала разговор женщина.— Он долго в госпитале лежал. Позавчера только выписался.

— Позавчера? — Капитан с удивлением поглядел на пассажиров.— Это что же, военные госпитали все еще существуют?

— Нет, теперь это государственная больница, но там еще много больных, поступивших во время войны.

— И то правда! Болезни же не могут исчезнуть, даже если армия перестала существовать. Раз вы только что выписались, вам, наверно, еще трудно путешествовать. Тем более добираться до этой холодной дыры Дзиппэки.

---

[1] Хибати — жаровня, служащая для отопления.

Мужчина лежал, закрыв глаза, женщина молча глядела на свои руки, протянутые к хибати.

— Ничего, что вы ушли с мостика? — Женщина взглянула на капитана.

— У меня трое молодых помощников,— засмеялся капитан.

Наверное, пароход вели молодые моряки, которых они видели на палубе.

— Вам куда в Хотару? — спросил капитан.

— В гостиницу Когэцу,— ответила женщина.

— Родственники Тори-сан?

— Какого Тори-сан? — Женщина с тревогой взглянула на лежавшего мужчину.

— Да Торикура-сан! Того, что работает в гостинице Когэцу.

— Нет.— Женщина покачала головой.

— Значит, знакомые его жены?

— Нет.

— Тогда...— Капитан с удивлением уставился на женщину.

— А кроме семьи Торикура, в гостинице разве никто не работает? — Женщина недоверчиво поглядела на капитана.— Там есть горничная?

— Горничная? Все горничные еще в прошлом году уехали.

— Уехали? Куда же?

— На заработки. Кто куда подались. Горничные из прибрежных гостиниц на зиму уезжают на горячие источники. Да и что им здесь делать, когда гостиницы закрыты.

Женщина явно забеспокоилась. Не спуская глаз с капитана, она легонько тряхнула мужчину, лежавшего у нее на коленях. Тот давно уже открыл глаза.

— Тут, как видите, горы,— продолжал капитан.— Как пройдет листопад, так туристский сезон и кончается. С ноября автобус уже не ходит. А как снег выпадет, сообщения и вовсе никакого нет. Отсюда можно выбраться только на горных лыжах или на тех санях, что вас привезли. Да и сани ездят по глубокому ущелью, только когда ветра нет и снег не валит. Вам еще повезло.

О том, что им повезло, сказал еще служащий на станции в городе. «Как добраться до озера Дзиппэки?» — спросили они у него, прибыв на станцию. «В такое время к озеру? — ошеломленно вытаращил глаза станционный служащий. Но, заметив в углу вокзальной площади сани, курсирующие до озера, сказал, улыбнувшись: — А вам повезло.

Попроситесь у возницы. Сани бывают здесь в тот день, когда у причала стоит пароход, идущий в Хотару. Не знаю только, как вы обратно доберетесь».

Да, им повезло, они едут в Хотару, но какое же это везенье, если там нет человека, к которому они направляются.

— Значит, вы едете к горничной в гостиницу Когэцу,— сказал капитан.

— Да, ее зовут Тэрада Тами. На год меня старше,— сказала женщина и сдержанно добавила: — Сестра его, Тами-сан.

Мужчина, закашлявшись, поднялся на постели. Капитан подул на огонь хибати, будто только что заметил, что он погас, и, отворачивая лицо от белого пепла, сказал:

— Тэрада Тами... Я не бывал в гостинице Когэцу. Зайдите туда. Может быть, сестра осталась и ждет вас. А если нет, Тори-сан, наверно, скажет вам, где она теперь.

— Надо бы пойти сменить кого-нибудь из молодых,— пробормотал капитан и вышел из каюты.

Мужчина и женщина, устало прислонившись к стене, некоторое время молча смотрели в дверной проем, куда ушел капитан, думая об одном и том же: «Что делать, если Тами и вправду не окажется в гостинице? Куда податься нам обоим?»

Они понимали, что должны будут сказать об этом друг другу, если взгляды их встретятся, и боялись произнести это вслух.

Слышен был шум двигателя, плеск воды, шорохи ветра, проникавшего сквозь щели в досках, которыми были забиты иллюминаторы, но было непонятно, в какой стороне озера находится теперь пароходик. Сквозь квадратный дверной проем белели крутые скалы окрестных гор и виднелась темная вода.

— Сима-сан! — позвал вдруг мужчина.

Женщина, вздрогнув, взглянула на него. Он по-прежнему глядел в дверной проем. Тогда она перевела взгляд туда же.

— Что?

— Когда ты жила в гавани, приходилось тебе зимой видеть берег с моря? — спросил мужчина.

Немного помедлив, женщина ответила:

— Нет, не приходилось.

— А я видел.

— Ты же рыбак.

— Похоже на эти места.

— Как у нас в Санрику [1]?

— Да, когда глядишь с моря.

Берег Санрику был скалист и мрачен и во многих местах круто обрывался вниз.

— В штиль, когда глядишь с лодки на берег, точно такой же вид, как здесь. Очень похоже.

— А я-то подумала, о чем это ты вдруг...— прошептала женщина, но тут же умолкла. Ей показалось странным, что он вспомнил родные места, она улыбнулась, и глаза ее наполнились слезами.

II

Сима и Отодзи были родом из приморского городка в районе Санрику.

Сима была дочерью хозяина рыбацкой харчевни, а Отодзи — сыном рыбака, завсегдатая этой харчевни. В детстве Отодзи с сестрой Тами тоже не раз захаживал туда, но ходили они не в гости, а за отцом, который, напившись в стельку, часто оставался спать за столом, заляпанным соевым соусом.

Отец Отодзи смолоду уже слыл отъявленным пьяницей, а когда родами умерла мать пятилетнего Отодзи, и вовсе спился с кругу. Напившись, он пропадал неизвестно где. Когда отец долго не возвращался домой, кто-нибудь из соседей, видевших его, кричал: «А отец-то ваш опять набрался!» В штормовую погоду хозяйки, возвращаясь из лавок, сообщали: «Ваш отец в бамбуковой чаще бродит». Это означало, что он шатается пьяный по гавани, вроде тигра в бамбуковой чаще.

«Ну вот, опять!» — с досадой думали Отодзи и Тами и бежали на улицу портовых кабаков искать отца. Они обыскивали дом за домом и чаще всего находили отца пьяным в харчевне Сима, хотя бывало, он торчал где-нибудь и в другом кабаке. У входа в дом Сима висел не веревочный занавес, как у всех, а длинный синий норэн [2] с белыми иероглифами — «Масутоку». Когда Отодзи окончил начальную школу, ему стало стыдно заглядывать за этот занавес. Он думал: «А не презирает ли меня Сима?»

Сима редко выходила в харчевню. Только однажды ее мать сказала о дурной привычке отца в ее присутствии:

---

[1] Санрику — северо-восточное побережье острова Хонсю.

[2] Норэн — занавес с изображением торгового знака предприятия.

«Мы торгуем вином и рады, когда у нас пьют, но Ёкити, уходя, всякий раз вытирает лицо занавесом. Сколько бы ни выпил, обязательно вытрется занавесом. Вот я и повесила для него полотенце».

Отодзи покраснел, ему было неловко перед Сима. Она молча улыбалась.

С тех пор Отодзи и стал думать, что Сима презирает его. Однако скоро это перестало его заботить. Осенью, когда он уже учился в средней школе, отец его утонул в море.

Отодзи и Тами осиротели, но, печалясь о смерти отца, Отодзи чувствовал в душе и какое-то облегчение от того, что отец его умер, как положено умирать рыбакам, а не погиб от водки.

Сима исполнилось двадцать лет, и она нанялась на работу в гостиницу в большом городе. Отодзи взяли к себе родственники, проживавшие в их портовом городке. Теперь он с нежностью вспоминал и тяжелую руку отца, который при жизни доставлял ему столько неприятностей, и его горячее дыхание на затылке и немного печалился, что не видит ни занавеса у входа в харчевню «Масутоку», ни ее хозяйку, ни Сима. Но, окончив школу и став рыбаком, он уже реже вспоминал и отца, и Сима.

Потом за три года жизни в родной гавани он дважды встречал Сима в совершенно неожиданных местах.

Однажды, возвращаясь с ночной ловли угрей, он шел босиком по берегу с тяжелой корзиной на плече и, проходя мимо небольшой верфи, у строящейся лодки, каркас которой смутно белел в темноте, услышал вдруг женский крик: «Пощадите!» Раздался треск разрываемой ткани, и из темноты выбежала женщина в белом юката [1].

— Эй, Сима, подожди! — окликнул ее грубый мужской голос. Женщина молча пробежала мимо остановившегося Отодзи, чуть не коснувшись его плечом. Не то от дуновения ветра, вызванного ее стремительным бегом, не то оттого, что женщина действительно коснулась плеча Отодзи, тихонько звякнул колокольчик на конце короткого шеста, воткнутого в его корзину.

Услышав звук колокольчика, мужчина в спортивной рубашке, гнавшийся за женщиной, остановился, и некоторое время они молча стояли друг против друга, разделенные несколькими метрами темноты.

---

[1] Юката — легкое летнее кимоно.

— Ты кто? — спросил наконец мужчина приглушенным голосом.

— Здешний я, из гавани. С ночного лова возвращаюсь,— сказал Отодзи.

Прищелкнув языком с досады, мужчина пошел прочь, пиная ногами песок, и исчез между лодочными сараями.

«Уж не Сима ли это из харчевни?» — подумал Отодзи с неприязнью и пошел, поплевывая в сторону. Да и голос мужчины был ему знаком. Он припомнил, что это был сын Курихара, хозяина сетей, который учился в институте в Токио.

И еще раз Отодзи видел Сима.

Он решил попытать счастья на чужой стороне и вечером, накануне отъезда на заработки в город Тёси в префектуре Тиба, зашел помолиться в местный храм. Выйдя из храма, он шел не спеша по сливовой роще за памятником павшим воинам и услышал внизу, ниже храмового двора, скрип качелей в маленьком парке. Звуки эти он знал с детства, ничего особенного в них не было, но теперь, когда он впервые в жизни покидал гавань, они показались ему такими родными, что Отодзи подошел к краю рощи и посмотрел вниз. На качелях развевался подол простого желтовато-зеленого платья Сима.

В парке никого больше не было. Сима одиноко раскачивалась на качелях, и их скрип почему-то тревожил его сердце. Отодзи подумал, что она кого-то ждет. Сразу пришло в голову имя сына Курихара, но он не мог быть теперь здесь — до каникул было далеко.

Странное чувство овладело Отодзи. Сима, которой было уже за двадцать, казалась ему сейчас маленькой девочкой, отвергнутой сверстниками в игре. Это была совсем не та женщина, которая как-то ночью с криком «Пощадите!» вырвалась из рук мужчины и бежала по берегу с разорванным подолом. Та Сима и эта были непохожи, как день и ночь. Непонятная какая-то, подумал Отодзи.

Он пробыл в Тёси без малого три года, и всякий раз при воспоминании о родных местах перед его глазами вставала фигурка Сима на качелях в развевающемся простом платье, а в ушах звучал знакомый скрип. И душа Отодзи наполнялась сладостным чувством. Он не мог думать, что все это из-за Сима, но образ ее был связан с радостным и светлым миром родины.

Пройдя медицинское освидетельствование перед призывом в армию. Отодзи подумал: не заглянуть ли в харчевню «Масутоку»? Ему захотелось сесть на тот стул под полкой

с закопченной «Манящей кошкой»[1], где любил сиживать отец, и выпить, как он, чашечку сакэ. Отодзи как-то незаметно для себя возмужал и иногда позволял себе выпить.

Но, вернувшись после долгого отсутствия в этот маленький городок на побережье Санрику, он не застал Сима. Рыбак, который вместе с ним проходил медицинское освидетельствование, сказал, что Сима отказалась выйти замуж за сына Курихара и не смогла больше оставаться в городке. Ходили и другие слухи — будто Сима забеременела от Курихара и скрылась из городка, чтобы уладить это дело. У Отодзи пропало желание заходить в харчевню, тем более что в военное время стало невозможно торговать водкой, и «Масутоку» превратилась в обыкновенную столовку, где кормили гречневой лапшой и вареным рисом с овощами. Вместо синего норэна над входом была прибита вывеска, у двери стояла бетонная бочка с водой на случай пожара, а под карнизом торчал шест для сбивания пламени.

Повестка о призыве в армию пришла в начале весны сорок четвертого года. Отодзи попал в казарму пехотного полка, стоявшего в старинном призамковом городке на западном побережье Тохоку.

Отодзи с детства никогда по-настоящему не болел. На вид он был тонкокостный и худощавый, но тело его, привыкшее к тяжелому труду, было словно скручено из тугих мускулов. В армии его не страшила никакая муштра, страдал он лишь от недоедания.

Однажды летом в сильную жару во время занятий по штыковому бою от голода у него закружилась голова, и, падая, он наступил на учебную винтовку командира подразделения, лежавшую на земле. Командир подразделения избил его. Затем заставил сражаться с ним на штыках, выбил из рук винтовку и несколько раз ткнул его, беззащитного, штыком, отчего Отодзи потерял сознание.

С того вечера у него появилась боль в правом боку за ребрами. Сначала он думал, что это просто ушиб, но боль все чаще давала о себе знать. Снаружи ничего не было заметно, однако самочувствие ухудшалось — мучил жар, тяжесть во всем теле. Есть не хотелось, хотя прежде он всегда испытывал голод. Наконец настал такой день, когда Отодзи не смог подняться с постели.

Командир подразделения неохотно разрешил ему сходить в госпиталь. Военный врач обнаружил трещину в ребре и сразу же положил его в госпиталь.

[1] «Манящая кошка» — глиняная фигурка, изображающая кошку, приглашающую гостей.

Отодзи полмесяца пролежал в хирургическом отделении. Боль слегка утихла, ему полегчало.

В это время его неожиданно навестила сестра Тами. Отодзи подумал, что она пришла к нему, получив из полка извещение о его болезни, но оказалось другое — Тами добровольно вступила в женский трудовой отряд и едет работать на военный завод в Кавасаки.

— Решила взглянуть на тебя перед дальней дорогой,— сказала она.— Гостиница закрылась. Домой возвращаться не к кому. Вот я и поступила в отряд. Думаю, что снаряды-то делать как-нибудь смогу.

Расставаясь, они не знали, что с ними будет завтра.

— Ну вот, солдат, а плачет! — весело засмеялась Тами, собираясь уходить из палаты.

— Я не плачу. Это из-за болезни,— сказал Отодзи.

— Ребра и глаза, выходит, родственники? Так, что ли?

— Жар у меня. Оттого и слезы.

Тами незаметно оглядела палату, приложила руку ко лбу Отодзи и испуганно отдернула ее.

— Да у тебя и вправду сильный жар!

— Вот я и говорю, что не плачу.

— Разве от трещины в ребре может быть такая температура?

— Не знаю. Боль утихла, а температура все повышается. И дышать почему-то тяжело.

— Неспроста все это. Может, врач не заметил?

— В этом отделении за выздоравливающими глядит только санитар. Температуру и то никогда толком не измерит.

— Какая нелепость!..

Тогда Отодзи подумал почему-то, что глаза сестры, широко открытые, с тревогой уставившиеся на него, он видит в последний раз.

III

Итак, в гостинице Когэцу Тами не оказалось. И уехала она не на зиму, в поисках заработка, а просто уволилась еще в конце лета прошлого года.

Судя по рассказу супругов Торикура, стороживших гостиницу, уволиться со службы ей посоветовал некий господин по имени Хаяма, который взял ее на свое попечение, еще когда она работала на военном заводе. Связь между

ними, по-видимому, продолжалась и после войны. В разгар лета в прошлом году Хаяма навестил ее. Это был привлекательный, как оннагата[1], мужчина лет сорока, похоже, довольно пробивной, совершавший какие-то сделки с оккупационной армией. Очень был респектабельный гость.

Через несколько дней Хаяма уехал, и после этого Тами сказала жене Торикура, что она, возможно, уволится из гостиницы. И когда та спросила, что же Тами будет делать, Тами ответила: «Хочу поехать в город и устроиться на работу. Ведь не вечно же я буду молодой».

Несколько дней спустя Тами получила письмо от Хаяма. Прочитав его, она собрала вещи и уехала.

— Точно не знаю, но, кажется, она говорила, что поедет в Кобэ,— сказала жена Торикура.

Отодзи хотел узнать адрес Хаяма, но сразу после войны гостей было мало, и в гостинице Когэцу не завели еще регистрационной книги. Впрочем, даже если Тами и вправду уехала в Кобэ, найти ее там было бы просто немыслимо.

— Сестра ничего не велела передать мне? Мол, напишет потом письмо. Или что я должен обратиться туда-то, если приеду?..

Супруги Торикура нерешительно переглянулись.

— Говорила, что хотела бы вместе с братом начать какое-нибудь торговое дело, когда накопит денег,— сказала жена Торикура.

Но в июле прошлого года Отодзи получил лишь короткую открытку, и с тех пор никаких вестей не было.

— Если бы все устроилось, адрес-то она бы сообщила. А раз полгода не пишет... Да и что тут ожидать в такой неразберихе.— Торикура подбросил дров в железную печку, поставленную прямо в очаг на кухне.

Отодзи и Сима молча глядели на гудевшую печку, раскалившуюся докрасна. Потом Отодзи сказал устало:

— Извините. Позвольте мне прилечь. Я плохо себя чувствую.

Он прилег на циновку, подперев голову локтем.

— Вы больны. Хлебнули горя, наверно,— сочувственно сказала жена Торикура.

— Отдыхайте спокойно,— добавил Торикура.— Гостиница закрыта, так что принять вас как следует не сумеем, но зато вы можете чувствовать себя совершенно свободно. Постелей сколько угодно, и ванна есть. Располагайтесь не спеша.

---

[1] Оннагата — актер театра Кабуки, исполняющий женские роли.

Делать было нечего. В тот день они все равно не смогли бы выбраться из поселка у этого вулканического озера. А завтра будь что будет.

Сима помогла жене Торикура принести постели из другой комнаты, и они вдвоем положили их поближе к прихожей. В гостиной с плотно закрытыми ставнями зажгли тусклую лампу.

— Вам можно стелить в одной комнате? — спросила жена Торикура.

Застигнутая врасплох этим вопросом, Сима немного помедлила, но потом сказала:

— Да, можно в одной.

Жена Торикура соорудила два княжеских ложа рядом. На одно из них лег Отодзи. Измученное болезнью бледное лицо его потонуло в подушке и выглядело старческим.

— Спи крепко, ни о чем не думай,— сказала Сима.

Отодзи засмеялся с закрытыми глазами:

— Мне не о чем думать.

И действительно, Отодзи тут же заснул глубоким сном. Сима посидела немного у его изголовья, потом встала и вышла на кухню. Жена Торикура что-то шила, сидя одна у железной печки.

— Не нужно ли вам помочь в чем-нибудь? Что прикажете, то и сделаю,— предложила Сима.

Жена Торикура, улыбнувшись, сказала, что ни о чем беспокоиться не надо, и спросила:

— Ваш муж уснул?

В первый раз Отодзи назвали ее мужем. Делать было нечего, и Сима ответила:

— Да, крепко спит. Устал очень.

— Трудно ему. Нездоров. Чем болен?

— Астма,— сказала Сима. Она знала, что в деревне как огня боялись чахотки. Жена Торикура тут же сообщила, что ее младшая сестра много лет страдает астмой, и поэтому она знает, какая это неприятная хворь.

— Холод вреден, не правда ли? Что будем делать, если приступ начнется?

— Не беспокойтесь. Я медсестра.

— Привыкли ухаживать?

— Нет, я действительно медсестра из больницы.

Жена Торикура удивленно округлила глаза.

— Во время войны в военном госпитале работала. Знаю, как обращаться с такими больными, так что не беспокойтесь.— Сима спокойно улыбнулась.

После захода солнца Торикура пришел сказать, что ван-

на готова. Отодзи все еще спал. Но если бы он и бодрствовал, то все равно не смог бы принять ванну из-за болезни. Сима пошла мыться одна. Наполнив ванну доверху горячей водой, она намылилась, как вдруг стеклянная дверь раздевалки открылась, и кто-то вошел туда. Прикрывшись полотенцем, Сима обернулась. За туманным стеклом двери виднелась тень Отодзи.

— Отодзи-сан? Можешь войти.

Приоткрыв дверь, Отодзи заглянул в ванную комнату и, смутившись, отвернулся.

— Проснулся, а тебя нет. Куда, думаю, ушла?

— Никуда я не уходила,— сказала Сима.

На Отодзи были два ватных кимоно, а сверху накинуто пальто.

— Извини меня, я решила искупаться. Потом я и тебя оботру.

Отодзи кивнул. Больных, которые не могли принимать ванну, обтирали обычно мокрым полотенцем.

— Холодно. Пойди погрейся у печки.

— Ладно.

Отодзи медлил.

— Тебе говорят, холодно. В дверь дует.

Отодзи неловко усмехнулся и закрыл дверь.

— Ото-сан!

— Что?

— Я пошутила.— Сима отвела глаза.— Можешь не закрывать.

И, покраснев, она продолжала молча мыться под его пристальным взглядом, как будто была одна в ванной.

Вечером Сима нагрела на печке воду в тазу, отнесла таз в комнату и обтерла Отодзи мокрым полотенцем. Было холодно, поэтому она проделала все это быстро. Отодзи остался недоволен.

— Что ты так спешишь?

— Но тебе нельзя охлаждаться.

— В больнице ты была более внимательна и обтирала медленнее.

— Тогда, может, вернемся в больницу?

Отодзи молча глядел в потолок.

— Если бы можно было вернуться...

Они убежали из больницы.

— Ладно, здесь останемся.— Отодзи вздохнул.

IV

Когда у Отодзи обнаружили плеврит, из хирургического отделения его перевели в туберкулезное. Сима и в голову не пришло, что это был сын пьянчужки Ёкити. Отодзи сразу же узнал Сима — видел ее и после смерти отца. Сима с тех пор не приходилось встречаться с Отодзи, и она, естественно, не обратила внимания на возмужавшего юношу.

Она не только не узнала его в лицо, ей ничего не сказало и его имя. Помнила, что Ёкити звался Тэрада, но что Отодзи и есть тот самый Ото, его сын, и не подумала.

Отодзи с первого взгляда показалось, что перед ним Сима, но от неожиданности он никак не мог поверить, что это и вправду девушка из харчевни «Масутоку». Он не предполагал, что Сима может стать сестрой в военном госпитале. Ему и во сне не могла присниться такая встреча. «Уж не обознался ли я, может, это вовсе и не она?» — думал он.

Сначала Отодзи лежал в большой палате, где стояло пятнадцать коек, и он спросил ефрейтора с соседней койки, как зовут сестру, так похожую на Сима.

— А ты приметлив,— ухмыльнулся ефрейтор.— Этого ангела зовут Масумото.

Отодзи опять удивился. Это была фамилия Сима.

Сердце Отодзи наполнилось нежностью. Встретить в армии земляка всегда радостно, а тут, когда болен и одинок, еще приятнее. Отодзи даже прослезился от волнения. Но хотя грудь его распирало от нежности, он не мог решиться заговорить с девушкой. Не мог, потому что Сима не узнала его с самого начала и к тому же она в своем белоснежном халате, так ладно облегавшем ее фигурку, казалась такой ослепительно красивой, что он смущался и отводил глаза всякий раз, когда видел ее.

Да и связывало их только то, что когда-то, лет двадцать назад, отец его захаживал выпить в харчевню «Масутоку».

Раз в неделю сестры приходили в палату обтирать больных. Отодзи молил бога, чтобы он не достался Сима. И если случалось все же, что это делала Сима, его охватывала дрожь.

— Холодно? — спрашивала Сима.

— Нет, не холодно.

— Расслабьтесь, чувствуйте себя свободней,— говорила она.

— Хорошо, я постараюсь,— отвечал Отодзи.

Сима видела в Отодзи просто молоденького солдатика,

такого же, как все, но состояние его здоровья внушало ей серьезные опасения. В правом легком Отодзи стремительно развивалась большая каверна.

Когда в январе Отодзи шел по коридору из уборной, у него хлынула горлом кровь. В ту ночь как раз дежурила Сима, и, заметив, что сгусток спекшейся крови застрял у него в горле, она подбежала и вытащила его пальцами. Отодзи сразу же перевели в отдельную палату.

На другой день вечером, когда она сидела у его постели, он вдруг открыл глаза и, глядя в потолок, спросил хриплым голосом:

— Отправили вторую телеграмму?

Телеграммы отправлялись родственникам в случае тяжелого состояния больных. Первая сообщала о болезни, вторая о критическом состоянии, третья о смерти.

— Вам нельзя говорить,— сказала Сима.

Он взглянул ей в лицо, увлажнившиеся веки его дрожали, но в глазах появилась решимость.

— Сима-сан из харчевни «Масутоку»?

Он сказал это чуть слышно, но Сима вздрогнула от неожиданности.

— Вы...

— Мой отец частенько засиживался у вас. Я Ото, сын пьяницы Ёкити.

Сима невольно вскрикнула и поспешно закрыла рот рукой.

— Нельзя! Вам нельзя говорить! — остановила она его. Сердце ее сильно стучало.

Кровохарканье прекратилось само собой. Несколько дней спустя Сима сказала:

— Вот уж я удивилась! Ты что, давно уже узнал меня?

Отодзи кивнул.

— Тогда почему не сказал? Почему молчал так долго?

— Не знаю, никак не мог решиться заговорить.

— Но смог же в тот вечер.

— Думал, умру, а перед смертью чего не скажешь. Похоже, я влюбился в тебя.

Для Сима все это было так неожиданно. Ей стало жалко этого парня, который собирался до самой смерти хранить свою тайну.

Давно известно, что милосердие должно распространяться в равной степени на всех больных, но Сима стала вскоре замечать, что руки ее гораздо нежнее обращаются с Отодзи, чем с другими больными.

Когда Сима в свое дежурство присаживалась у его по-

стели, он, глядя в потолок, рассказывал ей о себе. Говорил он так много, что она стала даже беспокоиться, не повредит ли это его здоровью. Отодзи рассказал и о том, как смотрел на нее сверху, когда она в одиночестве раскачивалась на качелях.

— Никак не могу забыть этого и теперь вот помню совершенно отчетливо,— сказал он.

— Почему?

— Не знаю. Не могу забыть, и все.

Сима почувствовала, что жаркая кровь, как в юные годы, бросилась к ее щекам.

— Что ты там делала одна? — спросил Отодзи.

— Думала, не умереть ли мне.

Она улыбнулась горько, как человек, уже немало поживший на свете.

— Почему умереть?

Сима молчала.

— Из-за Курихара? — спросил Отодзи.

Значит, знал. Сима сердито оборвала его:

— Не будем говорить об этом.

— Ты что, действительно выходишь замуж за него?

— Родители так решили в обоих домах.

— А ты?

— А я, вместо того чтобы умереть, стала медсестрой. Решила посвятить свою жизнь хорошему человеку. Гораздо лучше, чем весь век мучиться с нелюбимым. Окончила школу медсестер Красного Креста и вот работаю здесь. Ну все.

Сима хлопнула в ладоши, будто стукнула в колотушку, как ночной сторож.

Отодзи проболел до лета. Война приближалась к бесславному концу, «Б-29» бомбили города, превращая их один за другим в пепелища. Отодзи думал, что не сможет никуда бежать, если их город начнут бомбить.

— Когда будет налет, меня можно оставить,— сказал он.

— О себе только и думаешь. Как бы полегче умереть,— рассердилась Сима.

— Оставайся и ты здесь,— сказал он.

Однако, когда в конце июля, ночью, город подвергся вражеской бомбежке, Сима вместе с другой сестрой быстро положили Отодзи на носилки и отнесли в сосновый бор за госпиталем.

В ту ночь на город обрушился дождь зажигательных бомб, и все небо в той стороне, где был госпиталь, полыхало огнем. Потом пламя захватило и центр. Отодзи, лежа в

ряд с другими тяжелыми больными, глядел сквозь сосновые ветви на багровое небо. Больные молчали, никто не кашлял. Все застыли, словно потеряли сознание: кто стоя на месте, кто на корточках, кто лежа.

И в эти вот минуты молчания Отодзи подумал вдруг, что пришел их смертный час. Совсем скоро они сгорят тут вместе с сосновым бором.

Вдруг кто-то взял его за руку. Рядом с носилками сидела на корточках Сима. Рука ее была горячей. Отодзи понял — он не один. Чтобы убедиться в том, что он жив, Отодзи крепко сжал руку Сима. И тут до его слуха донеслись голоса насекомых, которых он не замечал до сих пор.

Однажды, когда Сима пришла обтереть его горячим полотенцем, он почувствовал, что прикосновения ее рук к его телу стали еще нежнее и заботливее. Она с любовью долго обтирала его бледную кожу, а потом — будто только что вспомнила — сказала:

— Курихара ушел добровольцем на фронт.

— Когда?

— Еще в марте. Письмом сообщил, приехать времени не было. Хотела промолчать об этом, но вчера, глядя на небо, подумала, что ты должен знать все.

За окном сияло ясное синее небо, совершенно не похожее на вчерашнее.

— Поняла, что все погибнем,— сказал Отодзи. Сима помолчала. Потом мизинцем слегка коснулась его руки.

— Если уж умирать, то вместе с тобой,— прошептала она и, не глядя на него, вышла из палаты.

В середине августа как-то неожиданно наступил день капитуляции, и мир беззвучно перевернулся.

V

Проснувшись утром, Сима никак не могла понять, где она находится. В безмолвную темноту комнаты сквозь дырку от выпавшего сучка в ставнях просвечивал белесый свет. Было тихо. Не слышно ни единого звука. Тишина эта порождала в душе Сима какую-то тревогу. Казалось, пока она спала, ее перенесли в другой мир.

Тут Сима заметила, что рядом кто-то спит. Поняла — это Отодзи, и оба они находятся на берегу озера Дзиппэки.

Отодзи спал крепко.

Она оделась, вышла из комнаты и увидела из высокого окна в коридоре снежинки, тихо кружащиеся под карнизом.

«А на улице как-то странно тихо»,— подумала она и остановилась, пораженная мыслью: если снегопад не прекратится, сани в город не поедут. Тогда не будет никакой возможности выбраться из поселка.

Из кухни доносился запах кипящего соевого супа.

— К сожалению, снег пошел. А вчера, когда спать ложились, звезды на небе высыпали... Погода в горах такая изменчивая,— сказала жена Торикура, резавшая лук у мойки. Снегопад усилился, и сосновый бор за окном, еще смутно черневший, казалось, вот-вот скроется в белой пелене.

— Пойдут ли сани в город?

— В такой снегопад вряд ли. В пути застрять можно, тогда беда.

Похоже, и потом, когда кончится снегопад, сани едва ли сразу отправятся в город — дорогу занесет, поняла Сима.

— Скучно, наверно, будет, но вы отдыхайте себе спокойно, будто приехали в горы к источнику,— сказала жена Торикура.

Поняв, что им вряд ли выбраться отсюда, Сима даже почувствовала облегчение. Если они и уедут на санях в город, деваться все равно будет некуда. Вкусно пахло соевым супом.

— Муж ваш все еще спит? Скоро завтракать будем,— сказала жена Торикура.

Сима вернулась в комнату. От скрипа раздвигаемой фусума [1] Отодзи проснулся.

— Кто там? А, это ты,— сказал он.

— А ты думал кто?

— Думал, сестра вошла. Я ее во сне видел.

Сима стояла и смотрела на Отодзи — он молча пытался продлить сон.

— Тихо, правда?

— Да, наверно, снег идет.

— А как ты понял?

— Слышно, как падают снежинки,— сказал Отодзи.

Снег шел весь день. Отодзи спал в комнате, выходя только поесть. Сима нагрела воды на печке и выстирала свое и его нижние кимоно. Иногда она заглядывала в комнату. Отодзи крепко спал. И, глядя на его тихое лицо, еще не потерявшее мальчишеского выражения, Сима думала, что за двадцать два года своей жизни он, пожалуй, никогда не был так безмятежно спокоен, как теперь. Может быть,

---

[1] Фусума — раздвижная перегородка в доме.

он вернулся во сне в свое детство и встретился там с сестрой, с которой, возможно, никогда уже не увидится наяву. Ей стало горько от этих мыслей.

На другой год после войны, в марте, когда Тами навестила брата в госпитале, был такой же снег. Сима шла по коридору, к ней подбежала мелкими шажками дежурная и сказала:

— Вот хорошо, что я вас встретила. Пришла сестра Тэрада-сан, а сейчас как раз время отдыха. Я сказала ей, что пройти нельзя, а она требует, чтобы ее пропустили в палату. Что делать?

С ноября того года, как кончилась война, военный госпиталь был преобразован в префектуральную больницу, однако врачи, сестры и тяжелобольные остались и, как прежде, соблюдалась строгая дисциплина. Сима все же поспешила в вестибюль, услышав, что пришла сестра Отодзи. На диване, положив ногу на ногу, сидела женщина, курившая сигарету. Она была в роскошном зеленом пальто — где только достала,— с распущенными волосами, как будто вышла из бани. Это была Тами, вернувшаяся из женского рабочего отряда. Не только Сима, несколько лет не видевшаяся с Тами, не сразу узнала ее, но и Отодзи не тотчас понял, что женщина с ярко накрашенными и оттого кажущимися большими губами, вошедшая вместе с Сима в палату,— его старшая сестра.

— Ну и залежался же ты! Я думала, тебя давно уж выписали. Никак не ожидала, что ты все еще здесь. Как самочувствие?

— Потихоньку поправляюсь,— сказал Отодзи, хотя в болезни его перелом еще не наступил и к тому времени он совсем пал духом, считая, что ничто уже ему не поможет. Он не знал, когда поправится, и думал, что вряд ли сможет вернуться к тяжелому рыбацкому труду, даже если выздоровеет. Как дальше жить, что делать? Ни солдат, ни рыбак — Отодзи и представить себе не мог свое будущее.

— И все же хорошо, что мы с тобой живы. При смерти ты уже был, так что теперь тебе ничего не страшно. Нужно с толком распорядиться жизнью, которую тебе подарила судьба.

Ободрив его, Тами уехала, сказав, что сообщит адрес, как только подыщет место. Когда кончился сезон дождей, она прислала открытку о том, что работает в гостинице Когэцу в Хотару, на берегу озера Дзиппэки.

«Очень тихое местечко, воздух чистый. Как только встанешь на ноги, приезжай на поправку»,— писала она.

Отодзи, во всем уже разуверившийся, стал с тех пор мечтать о незнакомом озере в горах, как о рае небесном. И поэтому в день побега из больницы, когда Сима сообщила ему, что Курихара вернулся и приехал за ней, он сразу же подумал о тихом озере в горах, засыпанном снегом.

Курихара уже заходил в больницу, сказала Сима, но она, сославшись на занятость, отправила его на квартиру, которую снимала. Все медсестры снимали в городе комнаты.

— Я сказала, что кончу работать в шесть, но я не могу вернуться домой.

— Ну почему же, возвращайся.

— Нет, не могу.

— Что же ты будешь делать?

Сима молчала, закусив губы. Потом закрыла лицо руками и сказала:

— Нет, не могу. Лучше умереть, чем идти к этому человеку.

И она заплакала.

— Я поеду на озеро Дзиппэки.

Эти слова сами по себе сорвались с губ Отодзи. Сима, сжав руки в кулаки, удивленно уставилась на него. И потом сказала спокойно:

— Я тоже поеду. Возьми меня с собой.

Однако, приехав на озеро, они увидели, что «рай», о котором мечтал Отодзи, был засыпан белым снегом, а нужного человека и след простыл.

В ту ночь Отодзи пожаловался на холод, и Сима, жаркая после купанья, прильнула к его похудевшему телу, стараясь согреть его. Отодзи, уткнув нос в ее грудь, сказал:

— Мылом пахнет. Хотел бы я хоть раз вымыться в ванне перед смертью.

Сима помолчала немного, потом сказала:

— Я вымою тебя как следует.

VI

На другой день снегопад прекратился, но подул ветер, и вокруг гостиницы Когэцу целый день бушевала метель. Наутро установилась ясная погода, однако Торикура объявил, что дорогу занесло и сани вряд ли поедут в город.

— Не следует расстраиваться из-за погоды,— сказал он.— Сегодня в клубе молодежь устраивает вечер. Сходите, развейте скуку.

К вечеру из клуба на холме послышались звуки флейт и барабанов. Торикура, как всегда, спросил из-за фусума:

— Ванна готова, будете купаться? Если собираетесь на вечер — я думаю, не стоит, а то как бы не простудиться.

В комнате промолчали, потом женский голос ответил:

— Сейчас выйдем.

Некоторое время спустя женщина вышла на кухню и спросила, нет ли бритвы. Торикура сказал, что может дать ей свою, японскую, но она не очень острая. Потом он закурил у печки трубку и вышел во двор за дровами. Из освещенной ванной комнаты доносилась тихая песня. Пели мужчина и женщина. Торикура показалось, что он где-то слышал эту мелодию — она чем-то напоминала рыбачью «Песнь о большом улове», — но он так и не вспомнил где.

Приняв ванну, мужчина и женщина вышли из комнаты, тепло укутанные в те же одежды, в которых приехали, и спросили, как пройти к клубу.

— Вы на вечер? А не простудитесь? — спросил Торикура, на что оба ответили, что опасаться нечего. Мужчина был чисто выбрит, и заострившиеся скулы его блестели.

Проводив обоих, ошеломленный Торикура сказал жене:

— Ишь вырядился! А совсем недавно в солдатах ходил...

— Молодой еще. И ты в молодые годы такой же был. Даже вспомнить стыдно, — засмеялась жена.

Однако в тот вечер никто не видел мужчину и женщину в клубе. Не вернулись они и в гостиницу Когэцу. Торикура забеспокоился и пошел в клуб. Вытащил на улицу парней, устроивших пирушку после вечера, — они обыскали все вокруг, но не нашли пропавших. Тогда в поселке поднялся переполох.

На другое утро стало известно, что ученица средней школы, возвращаясь с вечера домой, на окраину поселка, видела на скале Камивари странный блуждающий огонек. Скала Камивари отвесно выступала над озером. Никто не стал бы разводить там костры теперь, среди зимы, да еще глубокой ночью. «Может, это призрачный огонек, проделки лисицы-оборотня? — подумала девочка. — Но лисьи огни не горят зимними ночами». Она вернулась домой в полном недоумении.

Жители поселка побежали к скале Камивари. На льду озера они увидели два недвижных тела. По-видимому, погибшие бросились на лед со скалы. Женщина лежала лицом вверх со сломанными шейными позвонками. Мужчина — немного впереди нее, на самой кромке льда, головой в воде.

Сначала никто не мог понять, отчего у них лица были черными от сажи. Но когда забрались на скалу, сразу все стало ясно. У старой часовни виднелись следы небольшого костра. Спутники перед смертью разожгли костер и грелись, склонившись над ним. Оттого-то лица их и закоптились.

Из одежды на них оставалось только то, что прикрывало наготу. Не оказалось ни мужской меховой шапки, ни женского шерстяного шарфа, а в пепле костра нашлись обгоревшие кусочки меха. Значит, они сжигали в костре свою одежду и вещи.

Для чего же им понадобилось перед смертью разжигать костер? Может быть, бросая в костер одну вещь за другой, они хотели хоть немного продлить свою жизнь? Они понимали, что ничто уже не поможет им, и все же настойчивая мысль о том, чтобы как-то еще продержаться на этом свете, влекла их к костру. Но когда уже нечего было жечь и костер погас, наступил конец.

Тела их принесли в гостиницу Когэцу. Жена Торикура, вся в слезах, причитала:

— Могли бы и сказать, что хотят умереть. Такие нарядные пошли...

Причитая, она вытерла их лица мокрым полотенцем, но следы копоти от костра, въевшейся в кожу, так и остались.

Сётаро Ясоука

ХРУСТАЛЬНЫЙ БАШМАЧОК

После полуночи даже на Нихонбаси наступает тишина. Лишь время от времени далеко разносится громкий шум моторов автомашин, проносящихся по скоростной автостраде.

— Как дела?

Я переложил в другую руку мокрую от пота трубку, взгромоздил ноги на стол и, откинувшись на спинку стула, принялся болтать с Эцуко — она, как обычно, звонила мне, лежа в постели.

— Ох, как бы мне хотелось встретиться с медведем. Ты когда-нибудь видел, как медведь тащит на себе рыбу?

— Нет.

— С какой неохотой ты мне отвечаешь. Надо было повторить слово «медведь». Мне рассказывали, медведь иногда разговаривает с человеком,— это правда?

— Не знаю.

— Ты же говорил, что родился на Хоккайдо. И не знаешь этого?

Слушая голос Эцуко, воспроизводимый колебаниями тонкой металлической пластинки, я смотрел на выстроившиеся за стеклом витрины иссиня-черные стволы охотничьих ружей...

Еще совсем детское тело Эцуко — плоская грудь, непомерно длинные руки и ноги,— когда я обнимал его, в моей груди, казалось, что-то обрывается. И все же стоило ей начать сопротивляться, как меня охватывало невыносимое, отвратительное чувство: будто я задыхаюсь, запутавшись в водорослях на морском дне. ...А теперь вдруг какой-то медведь. Я стал разговаривать сам с собой. Нет, надо предпринять что-то решительное. Может, и сама Эцуко надеется на это. «Хочу встретиться с медведем». Наверное, у нее такой условный знак.

© Перевод на русский язык издательство «Радуга», 1984

— Кончаются летние каникулы... Сколько, интересно, осталось дней?

— Перестань, перестань.

Я нарочно заговорил о том, что было для нас табу.

Ждать — такова была моя работа.

Нанятый сторожем в охотничий магазин N., я обязан был охранять его в ночное время от воров и пожара. Работа нетрудная. Я ничем не отличался от термометра, висевшего у дверей кладовой, где хранились боеприпасы. С помощью термометра невозможно определить, вспыхнул уже в кладовой пожар или нет, а вступить в борьбу с ворвавшимися в магазин грабителями у меня все равно не хватило бы мужества, так что мне оставалось одно — спокойно ждать пожара и воров.

Это напрасное ожидание и позволяло мне сохранять работу. Не имея своего угла, я таким образом обеспечил себе не только завтрак и ужин, но и кров, под которым мог коротать ночь. Днем же я ходил в колледж — отсыпаться на лекциях.

Однажды хозяин магазина попросил меня отнести дробь для охоты на птицу подполковнику Крейгу — врачу американской оккупационной армии, который жил в Харадзюку. Подобные поручения не входили в мои обязанности, да и день был жаркий, как обычно в начале марта, и я всю дорогу костерил почем зря хозяина, но зато меня ждал радушный прием. Бледная худенькая служанка принесла мне попить, угостила печеньем. При этом она смущенно улыбнулась — как человек, сделавший что-то не совсем пристойное. Мне показалось, что она похожа на овцу. Почему-то она мне напомнила белую овцу, жующую бумагу. Открыв лапой дверь, в кухню вошел дряхлый с виду черно-белый пятнистый пойнтер; чтобы заставить его служить, я протянул ему крекер, но он и не повернулся в мою сторону. И лишь когда девушка положила на крекер сыру, он нехотя съел его. Поев, собака с подозрением взглянула на меня и, изобразив на морде выражение, свойственное ученому мужу, когда он, задумавшись, сидит за столом, подперев щеку рукой, улеглась у ног девушки. Подполковник Крейг, рассказала мне девушка, вместе с женой отправляется завтра на остров Ангаур, и она весь март будет одна присматривать за домом. Я собрался уходить, но девушка попросила меня побыть еще немного и, когда я достал из кармана трубку, собираясь закурить, протянула мне

пачку сигарет. Движения ее были медленные, неуверенные. Зажигая спичку, она, будто боясь обжечься, неловко держала ее за самый кончик, и лицо у нее при этом было невероятно серьезное. Наверно, она хорошо воспитана, подумал я.

В тот день я почему-то совсем не торопился. Когда я уходил, она, снова смущенно улыбнувшись, сказала: если хочешь, заходи, поразвлекаемся. Я согласился. Такое времяпровождение казалось мне гораздо приятнее, чем сидеть на жесткой скамье в колледже.

Так мы подружились с Эцуко. У меня и в мыслях не было, что я могу влюбиться в нее. Она, в общем-то, была не особенно привлекательной.

Не прошло и недели, как я снова отправился к ней; она была в легком домашнем кимоно с рисунком, напоминавшим теннисную ракетку, а оделась так, по ее словам, потому, что нездорова. Я посмеялся — рисунок на кимоно показался мне очень уж детским, и мы заговорили о летних каникулах. Эцуко сказала, что она — одна из лучших учениц. В ее бледности и аккуратной одежде было что-то от облика старосты класса. Но все равно начало учебного года было ей так же ненавистно, как и мне, последнему ученику. Нам было грустно оттого, что дни, оставшиеся до конца летних каникул, убывали один за другим. И еще нами владело детское беспокойство, причиной которого была опустошающая душу жара. Все, что мы испытывали, одинаково владело нашими сердцами, независимо от того, приятные это были чувства или нет. Даже сегодня, сказал я ей, когда я свободен и развлекаюсь, стоит мне увидеть гору тетрадей с летним заданием — а я к ним до сих пор не прикасался,— и даже стрекот цикад кажется мне невыносимым. Тут она вдруг спросила:

— Послушай, а ты когда-нибудь видел птицу цикаду?

Я был поражен. Эцуко ведь двадцать лет. Я переспросил ее, решив, что ослышался, и в уголках ее губ заиграла туманная улыбка. Я стал объяснять:

— Цикада вовсе не птица. А насекомое. Они бывают самых разных видов.

Мои слова поразили Эцуко. Она широко раскрыла глаза — а глаза у нее были очень красивые.

— Да-а? А я-то думала, цикада — вот такая огромная птица.— Она развела руки, показывая нечто величиной с арбуз.

...Я был потрясен. Бабочка величиной с верблюда, кузнечик как собака — такая фантастическая картина промелькнула у меня перед глазами. Мне стало весело, и я громко расхохотался. А девушка заплакала.

— Все, что ты мне наболтал,— сплошное вранье. Я сама видела таких цикад... В Каруидзава.

Говоря это, она горько плакала, прижавшись к моему плечу. По ее щекам тонкими струйками текли слезы. Я растерялся.

— Не знаю. Может, в Каруидзава и есть такие. Честно говоря, я ни разу в жизни не видел живой цикады.

Я обнял Эцуко. Так мы сидели некоторое время. Ее влажные глаза сверкали и от этого казались еще больше. Глядя на ее покрытое пушком бледное лицо, я вдыхал запах ее тела. Детский запах. Но он заставил меня почувствовать в ней женщину. Приподняв волосы, я поцеловал ее в мочку уха. Эцуко не отвергла моего поцелуя.

Но потом я встревожился. Поступок мой показался мне верхом неприличия. К тому же я не представлял себе, что было у Эцуко на уме. На самом ли деле ей ничего не ведомо? В замешательстве я и вовсе сгустил краски; в сущности, ничего не произошло — обслюнявил девушке ухо, и все. Мне даже стало казаться, будто в Каруидзава в самом деле водятся цикады величиной с арбуз. Но ведь настоящей-то «вруньей» была Эцуко. Поздно ночью она позвонила мне:

— Как дела? Плохо себя чувствуешь? — Я забеспокоился: может быть, девушка, жаловавшаяся мне на нездоровье, клянет себя за случившееся днем, и от этого у нее поднялась температура. Но она перевела разговор на другое.— Налетела тьма лягушек, и я никак не могу заснуть... Чувствую — на лице что-то холодное! Зажигаю свет — лягушки. Откуда взялись — не пойму. На кровати их прямо полно... крохотные лягушата с ноготок.

Нет, верить ей нельзя, подумал я. Даже если бы я считал ее россказни о лягушках правдой, пора кончать разговор — уже третий час ночи. Конечно, она нарочно болтает об этих лягушках, и, значит, ее «цикады», о которых мы говорили днем, тоже выдумка. После этого она всегда пользовалась одними и теми же методами, точно стремилась укрепить меня в сомнениях. Например, старательно выспрашивает о названиях деревьев, трав, зверей. А потом весело смеется, словно радуется: ты просто зазнайка, притворяешься, будто тебе все известно, и вид у тебя при этом такой серьезный. С этими словами она надевает обычно — покра-

соваться — желтый целлулоидный браслет, похожий на игрушечный.

Видимо, у Эцуко была привычка много раз повторять одно и то же. Однажды мы чуть ли не полдня играли в какую-то простую карточную игру. Щипцы для орехов оказались сломанными. И я стал учить ее колоть орехи, зажимая их дверной петлей, как мы делали это на сборах нашей школьной спортивной команды, и Эцуко с огромным увлечением занялась колкой орехов по моему способу. Сначала она сказала: достаточно будет расколоть три-четыре ореха — для печенья, но потом ей это так понравилось, что, вертясь около огромной двери в столовую, она каждый раз, расколов очередной орех, торжествующе восклицала: «Смотри! Готово! Смотри!» Заразившись ее азартом, я тоже колол орехи, приговаривая: «Ух ты, здорово!» А оцарапав по неосторожности руку до крови, шипел, грозя кулаком тяжелой дубовой двери: «Дождешься ты у меня!» И лоб мой при этом покрывался капельками пота, хотя я всегда гордился тем, что не потею. Эта наша игра продолжалась до бесконечности... Собака, напуганная тем, что мы делали, беспрерывно лаяла. В тот день я так объелся орехов — даже в голове помутилось.

Постепенно я обнаглел. У меня вошло в привычку утром, после работы, сразу же отправляться к Эцуко и там, приняв душ, укладываться спать на диване в столовой. Открывая входную дверь, я испытывал странное чувство: едва освободившись от своих обязанностей сторожа, я превращался в вора; но после сна, попивая приготовленный Эцуко кофе, я обычно приговаривал, морщась: жидковат. То же самое я мог бы сказать об Эцуко. Она сидела рядом со мной на ковре, поджав ноги, и со стороны ее можно было принять за хозяйскую дочь, уже много лет живущую в этом доме. У одной из стен столовой на расстоянии двух метров друг против друга, как в купе вагона, стояли кресла, а между ними был камин — предмет особой любви Эцуко. В топке горкой лежали черные куски стекла, напоминавшие каменный уголь, а в глубине были вделаны цветные лампочки. Стоило повернуть выключатель, и черные стекляшки начинали сверкать, будто в камине полыхало зеленовато-желтое пламя, но тепла он не излучал, а служил лишь украшением комнаты. Мы часто устраивались в креслах у камина со словами: давай сядем в поезд. Надо бы и еды прихватить, говорила Эцуко и приносила печенье. Смотри, как хорошо видна Фудзи-сан.

С полным ртом она указывала пальцем на картину с

изображением Фудзи, висевшую над каминной доской. Однако кресла стояли в двух метрах друг от друга, и, чтобы быть ближе, мы в конце концов сползали с них на пол. А там, «в купе поезда», было самое удобное место в комнате; все вокруг: стол, стулья и прочая мебель — становилось темным, будто мы сидели на дне глубокого ущелья, и лишь красный свет из камина освещал профиль девушки. Лежа на ковре и чувствуя, как его ворс щекочет влажное тело, я, глядя на ее темное лицо в красных бликах, вспоминал ощущение, испытанное в тот раз, когда коснулся губами мочки ее уха. Даже мурашки по спине побежали. Может, протянуть руку, думал я. Но почему-то не решался, хотя она всегда сидела так близко, что я легко мог коснуться ее. Тем более, даже не делая этого, я все время испытывал волнение... Может быть, это была любовь? Мне казалось, Эцуко сейчас выглядит совсем иначе, чем в тот день, когда я увидел ее впервые.

В конце концов Эцуко вовлекла меня в разыгрываемый ею спектакль. И я радовался этому. Безропотно подчиняясь ее прихотям, я чувствовал, что делаю ее «своей». Она предлагала играть в прятки, и мы играли. Выходило, будто и дом, и вся мебель — наши. Укромных местечек было сколько угодно. Под кроватью, за шторой, в шкафу, в туалетной комнате, полной зеркал... Однажды я поднялся на второй этаж и спрятался в кладовке, в висевшем без дела огромном походном мешке из водоотталкивающего материала. Такое я придумал впервые. Когда я с трудом опустил в него ноги, он стал раскачиваться из стороны в сторону, но стоило влезть в него с головой — оказалось, там очень уютно. Надорвав мешок по шву, я стал наблюдать за тем, что происходит: Эцуко, не зная, где меня искать, ходила взад и вперед по коридору, нерешительно открывала дверь спальни, потом туалета, потом, радостно вскрикнув, ворвалась в ванную и наконец сбежала по лестнице, выкрикивая мое имя, и скрылась в глубине дома. Сначала я изо всех сил сдерживался, чтобы не засмеяться, потом мне стало скучно, и я, наверно, заснул. Ночами я не спал — такая была у меня работа, поэтому и привык спать днем. Не знаю, сколько времени я проспал. Когда я проснулся, в доме царила странная тишина. Спустившись вниз и идя по широкому коридору с высоким потолком, я почувствовал, что у меня весь затылок в пыли. Я открыл дверь в столовую — Эцуко сидела перед стоявшим на столе неправдоподобно огромным тортом, залитым джемом.

— А, вот и ты,— сказала она сердито, увидев меня.

И тут же веселым голосом заявила, что ни за что на свете не даст мне попробовать этот вкусный торт, печь который ее научила хозяйка.— Ты со мной дурно обошелся. Теперь и я поступлю так же... Я еще вчера его испекла.

Не обращая внимания на ее слова, я стал просить хоть кусочек торта. Пока мы пререкались, я, выспавшись хорошенько, на самом деле почувствовал голод.

— Не дам. Сама все съем.

— Ну дай хоть укусить разочек.

Не успел я договорить, как она начала обеими руками заталкивать в рот кусок торта диаметром в восемь дюймов и, высунув язык, слизывать капавший с торта джем.

— Ой...

Тут уж я удивился по-настоящему. А она, шаловливо глянув на меня — в уголках ее губ налип джем,— рассмеялась.

— Ладно, откуси с этого конца, хочешь? — Она наклонилась ко мне с зажатым в зубах куском торта.

У меня не осталось времени для размышлений. Перемазанные джемом, мы стали целоваться.

Это случилось через три недели после отъезда подполковника Крейга.

Я уже не мог жить без Эцуко. Все, что не было связано с ней, казалось мне пустым и ненужным. В магазине я не находил себе места. Если бы хозяин вдруг решил проверить, как я несу свою службу ночного сторожа, он бы, несомненно, поразился моему усердию. Раньше, когда в магазине никого не оставалось, я, устроившись в самом удобном кресле, читал или дремал, теперь же я и минуты не мог усидеть на месте. Слонялся по магазину, протирал пирамиду с ружьями, бренчал ключами от дверей и ставней, проверял показания термометра у кладовой, где хранились боеприпасы... Но все равно, если бы даже в магазин ворвались грабители, я бы этого не заметил. Я был поглощен одним — ожиданием звонка от Эцуко.

Сидя в кресле, я весь дрожал от нетерпения, не отрывая глаз от телефонного аппарата, стоявшего на столе. Даже сидя в уборной, я напряженно прислушивался, не звонит ли телефон. Ничто не волновало меня так сильно, как разговор по телефону с Эцуко. Болтая с ней по часу, иногда по два, а то и дольше, я испытывал неудовлетворенность, точно мне давали нюхать угощение и этим ограничивались. Все мои слова растворялись во мраке, а ее — долетали до меня бесплотными скелетами. Мы словно занимались перетягиванием каната — держали в руках одно и то же, но

что — я не знал. Не понимала и она, о чем говорил я. Разговор она заканчивала обычно, подражая вою какого-то зверя:

— Ау-у, ау-у, ау-у.

И тогда мне хотелось, точно это был ломоть хлеба, съесть трубку, в которой еще не растаял голос Эцуко.

Мы неуверенно кружились вокруг главного. То, что тогда мы поцеловались именно так, было явной ошибкой. Можно, наверно, целоваться и так, как это сделали мы, но только если обычный способ уже надоел. Да и то в самом крайнем случае.

...С тех пор меня неотступно преследовали воспоминания о мягких с каштановым отливом волосах Эцуко, ее податливой белоснежной коже, на губах сохранялся вкус того сдобного, сладкого торта. Ощущение это оставляло меня только в минуты, когда я касался ее тела. Присущая Эцуко ребячливость была ее «искусством». Во всяком случае, для меня она служила неодолимым препятствием. Представления, которые устраивала Эцуко, превратились в огромные нелепые ширмы, отгораживавшие ее от меня,— может быть, этим я и был ошеломлен? Но, возможно, во всех ее действиях было нечто вынуждавшее ее беспрерывно прибегать к своему «искусству»?

И даже в моих объятиях она все время увертывалась:

— Только разочек... Сказала же, только разочек.

У меня опускались руки... Сопротивлялась она, правда, не особенно энергично. Но все равно я уже был ни на что не способен. И, так и не растратив переполнявших меня сил, возвращался в магазин. Интересно, что она обо мне думала? А может быть, ей просто нравились такие дурацкие штуки, потому и играла со мной в прятки? А на следующий день я снова гонялся за ней по всему дому, делая вид, будто хочу съесть ее всю, с головы до пят.

Я жил как в тумане. Днем теперь уже почти совсем не спал. Не спал и ночами, хотя и утратил свое былое служебное рвение. Расставшись с Эцуко, в те минуты, когда я не шагал нервно из угла в угол, я почему-то, уронив голову на стол, рисовал в своем воображении полет снаряда.

Время мчится со страшной быстротой. Но я не обращал на это внимания. Может быть, оттого, что я почти не спал, дни и ночи перемешались в моем мозгу, горевшем надеждой и нетерпением, и проносились как один бесконечный день. Однажды меня удивило вот что. Эцуко, собрав крошки крекера, залила их молоком и стала есть. Я понял — изобилие кончилось. В шкафу осталось лишь то, что нам

было не по душе,— маринованные оливки, анчоусы, чеснок, кокосовые орехи, похожие на мелко накрошенную сухую редьку; пойнтер стал наведываться в соседские кухни... Наши летние каникулы подходили к концу.

У меня был знакомый по имени Ханэяма — даже если бы он выходил из бани, тот, кто не знал его, подумал бы, что он только вылез из сточной канавы, куда случайно свалился. Он, наверно, и родился весь в грязи. При этом он никогда не был заросшим, не позволял себе надеть несвежую рубаху. Более того, имел собственный туалетный столик, и, в какой бы бедности ни пребывал, у него не переводились лосьоны и кремы, а обработанные перманентом волосы вились, как в низу живота. Он носил трусы в желтую горизонтальную полоску — «американские», хвастался он, готовый спустить штаны, чтобы продемонстрировать свои трусы, которые, по его мнению, были просто шикарными. Он без конца менял квартиры, поскольку все время влюблялся, но неизменно вызывал отвращение, и ему не оставалось ничего, кроме бегства. Каждый раз, когда у него появлялась новая возлюбленная, он приходил ко мне и подробно рассказывал о своих любовных историях, вызывавших у меня только скуку. Брызгая слюной, летевшей с ярко-красных губ, точно нарисованных на одутловатом бледном лице, он с серьезным видом рассказывал о своей любви — это выглядело удивительно смешно и в то же время грустно.

Вот этого-то Ханэяма я и считал экспертом по части женщин. И решил рассказать ему о том, что происходило между мной и Эцуко. Моему бессвязному рассказу все время мешал образ Эцуко, то и дело появлявшийся и вновь исчезавший, и в конце концов моя исповедь рассыпалась в прах.

— Так что же мне делать? — впился я глазами в Ханэяма.

Его ответ был краток.

— Ничего страшного. Ты на верном пути. Еще одно усилие — и все будет в порядке.

— На верном пути, говоришь?

Мне казалось, я понимаю, о чем говорит Ханэяма, но на самом деле ничего не понимал. А он, пристально взглянув на меня, заявил напрямик:

— Да, то, что ты делаешь,— единственно возможное,— и весело расхохотался, а потом, перестав смеяться, доба-

вил: — Но будь осмотрителен. Женское вранье, пусть незатейливое,— все равно вранье, так что, возможно, она тебя и обманывает.

Расставшись с Ханэяма, я вышел на улицу. Мне нужно было восполнить запасы, которые мы с Эцуко опустошили. Где только мог, назанимал я денег, да еще обратил в деньги те несколько учебников и словарей, которые у меня были.

Я шел по улице, и мне казалось, будто я уже давным-давно не ходил по ней. Было очень жарко. Вот-вот должно было наступить настоящее лето... Меня подгоняли, точно последние листки календаря, катастрофически уменьшавшиеся запасы еды в шкафу на кухне дома в Харадзюку. После «летних каникул» мы съели там все дочиста. Было ясно — случившееся с нами исчезнет бесследно, как наряд Золушки после двенадцати часов ночи. Теперь самым важным для меня стало головокружительно мчащееся время. Ночью, когда я выполнял свою работу, состоявшую в том, чтобы ждать, и велась наша бесконечная игра с Эцуко, ставшая теперь ненужным ритуалом. Времени, которое я просто не знал, куда девать, а готов был проклинать — так оно было мне в тягость,— этого времени, если вдуматься, у меня уже совсем не оставалось... Тут я неожиданно сообразил, что нужны лишь деньги, и я смогу купить все, что угодно. А я сидел сложа руки, словно ждал, покуда эта простая мысль не будет ниспослана мне небом. Переполнявшая меня радость вызвала даже странную иллюзию. Мне показалось, что, если шкаф будет набит продуктами, снова наступят летние каникулы...

В продовольственном магазине я растерялся, будто меня огрели по голове. Висевшие вдоль стен огромные соленые рыбины, связки сосисок, громоздившиеся повсюду самые разнообразные продукты окружали меня со всех сторон и подавляли своим обилием. Увидев горы свежих продуктов среди людской толчеи, я обомлел, будто передо мной была поставлена тарелка с ботинком, политым соусом... Я не испытывал ничего подобного до того, как познакомился с Эцуко. Узнав у продавщицы цены и расплачиваясь, я почувствовал нечто похожее на стыд. Получив сдачу у девушки с широким угловатым лицом, я подумал: покупать такие продукты мне не пристало. Я как-то упустил из виду, насколько повлияла на меня Эцуко. Подумал даже, что, наоборот, делаю это именно ради нее. Взяв в охапку огромный сверток с продуктами, я с воодушевлением, точно солдат, подбадриваемый командиром, покинул магазин.

Дом подполковника Крейга стоял на вершине холма, куда вел переулок, идущий от широкой дороги, обсаженной с двух сторон дзельквами. У дома переулок обрывался тупиком. Под ярким солнцем, с огромным свертком в руках я, обливаясь потом, поднимался вверх по дороге — ну, еще немного, подбадривал я себя, глядя на появившуюся, точно театральная декорация, крышу дома, потом окна, но когда наконец взобрался на холм, то увидел огромный военный грузовик с брезентовым верхом. Около него, чуть в стороне от входа в дом, стоял джип. Это был автомобиль Крейга... Вернулись, значит. Я чуть было не выругался: на целую неделю раньше приперлись. Но от усталости лишь тупо смотрел на происходящее, да, наверно, и отчаяние мое было не столь уж велико. Первым моим желанием было повернуться и уйти. Но непреодолимое желание избавиться от тяжелого, неудобного свертка подбило меня на авантюру.

Крейг в военной форме стоял у входа и зажатой в руке трубкой указывал, куда нести большие и маленькие ящики, которые выгружали из грузовика. С трудом успокаивая готовое вырваться из груди сердце, я вошел в ворота.

US... белая табличка с номером реквизированного дома неожиданно возникла перед моими глазами. С трудом передвигая ноги, я сказал громко:

— Гуд монинг.

Подполковник не ответил. На его полном достоинства лице с густыми бровями появилось недоуменное выражение, он пристально посмотрел на меня. Этого было достаточно, чтобы повергнуть меня в прах.

— Ошибаешься. Уже два часа дня.

Мне вспомнились станционные электрические часы с толстыми стрелками, и я почему-то сильно смутился. Но одновременно меня охватила злость, в бешенстве я круто повернулся и помчался вниз, точно колесом катился с холма.

Термометр показывал 34 градуса по Цельсию. Выведенная на дверях кладовой, где хранились боеприпасы, надпись «опасно» готова была потечь от жары.

...Сбежав с холма в Харадзюку, я, позабыв об Эцуко, весь день чувствовал себя опозоренным, ненавидел себя. Но теперь, немного успокоившись, отчетливо понял: моя жизнь, какой она была до позавчерашнего дня, как бы я ни старался, уже никогда не вернется, и при мысли об Эцуко сердце начинало бешено колотиться. Каким бы глубоким ни было мое отчаяние, вернуть прошлое невозможно. Я со-

образил, что маленькая деревянная табличка с номером реквизированного дома свидетельствует о чем-то дорогом для меня, попавшем в руки противника.

Грустно бродил я по магазину. Теперь, сколько ни жди, ничего не дождешься. Насыпанные горкой пустые гильзы, шарики фейерверка, которые пускают на спортивных праздниках, утиные чучела. Мой взгляд задумчиво блуждал поверх всего этого.

Около одиннадцати раздался пронзительный звонок. Усмехаясь, я побежал к телефону. Наш ритуал, существовавший до позапрошлого вечера, не забыт — сердце бешено заколотилось... Но секунду спустя дело приняло совершенно другой оборот. Звонил не телефон. Сквозь неплотно прикрытую штору за стеклянной дверью виднелась человеческая фигура, освещенная уличным фонарем. Эцуко. Я стал отпирать дверь, но ключ не слушался, никак не входил в замочную скважину. Увидев меня, девушка улыбнулась через стекло. Хотя и залитое оранжевым светом, лицо ее казалось страшно бледным. Открыв дверь и увидев, что она тут, рядом со мной, я все равно не мог в это поверить. Идя по вытянувшимся на полу теням от ружей, составленных в пирамиду, Эцуко сказала:

— Точно три года не виделись.

Ее слова пришли ко мне словно из другого мира.

Подполковник Крейг и его жена вчера неожиданно вернулись, а сегодня снова уехали. Устали от своего путешествия и отправились в Никко, немного отдохнуть...

— Удивлен? — Эцуко заглянула мне в глаза.— Сказали, что приедут послезавтра, так что наши каникулы продлеваются на два дня.

Я был не в силах отвечать. Эцуко спросила, удивлен ли я, а я не знал, как объяснить свое удивление. Действительно, жизнь, которую я считал конченой, возвращалась ко мне... Мне чудилось, будто я держу в руках хрустальный башмачок. Подаренные два дня представлялись мне этим башмачком, оброненным в спешке во время стремительно пролетевших каникул... Неужели вместе с башмачком вернется все, что я потерял?

— Вчера ты так быстро убежал. Я тебе сразу же стала звонить, но почему-то никто не отвечал.

Звонить днем было, разумеется, бесполезно. В это время меня не бывает в магазине. Эцуко следовало бы это знать. Когда я сказал ей об этом, она, широко раскрыв глаза, простодушно воскликнула:

— А-а, вот оно что!

Тут я вспомнил, какой она бывала обычно.

— Знаешь, как мне тебя пришлось разыскивать?

Я ей действительно не давал адреса магазина. Она нашла его в старом рекламном листке, в который были завернуты патроны, принесенные мной первый раз в Харадзюку.

— Спросила бы у кого-нибудь на станции, тебе бы сразу показали.

— Нет, спрашивать ни у кого не хотелось.

Говоря это, Эцуко прижалась плечом к моей груди. Я обнял ее. Сердце девушки колотилось о мою грудь. Потом она попросила, чтобы я вынул из нагрудного кармана рубахи трубку. Я резко вытащил ее оттуда и швырнул в сторону. Она раскололась, стукнувшись об пол из искусственного мрамора,— это было понятно по звуку. Я повел Эцуко к кожаному дивану, стоявшему в глубине магазина. Пробираясь между витрин с выставленными товарами, я несколько раз чуть было не упал — крепко прижавшись ко мне, девушка лишала меня свободы движений. А если бы упал, то свалились бы вдвоем, в обнимку, и нам бы ни за что не подняться.

Я принял твердое решение. Больше никогда не расстанусь с ней. Пришло время, когда мы должны слиться в одно целое. Не отдавая себе отчета в том, что доводы моего воспаленного мозга вздорны, я проникся этой мыслью, утопив свое разгоряченное лицо в мягких волосах Эцуко. И поэтому был поражен, когда моя рука, скользнувшая по ее юбке, была вдруг отброшена. Какая-то ошибка, подумал я.

— Перестань, не смей.

С этими словами она снова отбросила мою руку. В тот миг я испытал лишь стыд. На какое-то мгновение на моем покрасневшем лице появилась странная ухмылка. Но она тут же превратилась в злобную гримасу.

— Ну что ты дурочку из себя строишь? — Я с силой отвел назад ее руку.— Зачем тогда пришла! — закричал я. Мне хотелось задушить ее. Но это продолжалось недолго. От охватившего меня возбуждения я вдруг обессилел. Эцуко дважды отбросила мою руку, но потом перестала сопротивляться. Это было еще хуже. Она лежала на боку, с широко открытыми глазами, точно брошенная на диван сломанная кукла. Из-под юбки безжизненно торчали худые ноги... Я пришел в замешательство — ну точь-в-точь как эскадра, вынужденная в ходе сражения перестраивать боевой порядок. Впервые у меня закралось подозрение еще в то время, когда в начале «летних каникул» Эцуко назвала цикаду птицей. Теперь, как мне казалось, я понял свое за-

блуждение, понял, что она просто еще совсем ребенок. В моих руках, охвативших Эцуко, тело ее вдруг налилось тяжестью и отвердело, точно каменное, диван показался неимоверно узким. Глядя на потолок, подобный черной дыре, я прижался горячей щекой к спине Эцуко. Ощущение чуть шероховатой кожи было приятным.

Но вот Эцуко встала с дивана. Глядясь в стекло витрины, она поправила волосы.

— Если тебе нужно зеркало, там есть большое.

Я сказал это, утопая в кресле, и сам удивился своим словам. Выходит, я тороплю ее уход. Но ведь тогда все будет потеряно.

Я встал, проводил ее туда, где висело зеркало, и включил яркую лампу. Моя предупредительность привела к обратному — отдалила от нее. В ослепительном свете складка на платье между торчащих лопаток худенькой Эцуко выглядела непереносимо жалкой.

— ...— открыл я было рот, но так ничего и не сказал. Я хотел что-то сказать, но никак не мог подобрать слов. Любое слово сделало бы еще более явным мое притворное безразличие... И тогда она уйдет от меня в недостижимую даль. Значит, заговорить — равносильно тому, чтобы собственными руками разорвать связывающую нас нить.

Эцуко отвернулась от зеркала. Она беззаботно улыбалась:

— Проводишь до станции?

Я был не в силах сдержать себя.

— Нет... Нет, ни за что.

В охотничьем магазине N. все осталось по-прежнему. Меня это удивляло. На своей работе я теперь почти все время сплю. Делать ничего не хочется.

Открыв сонные глаза, я вдруг вижу на столе телефон. Я разом выпрямляюсь и хватаю телефонную трубку.

— ...

В ней ничего не слышно. Но я не выпускаю ее из рук. И, еще сильнее прижав к уху, жду. И ухо начинает наконец улавливать тонкое потрескивание — видимо, от ветра трутся между собой телефонные провода. Это, конечно, не слова. Но постепенно звук становится все тоньше и начинает напоминать человеческий голос. Что же он мне шепчет?..

Я долго не кладу трубку. Меня подстегивает желание быть обманутым.

Дзюнноскэ Есиюки

РЖАВОЕ МОРЕ

Когда бы все моря земли
Одним огромным стать могли,
Вот это было б море!

Когда б деревья всей земли
Одним огромным стать могли,
Вот это было б древо!

И все на свете топоры
Одним огромным стать могли,
Что это был бы за топор!

Когда бы люди всей земли
Одним огромным стать могли,
Вот это был бы человек!

Когда б свалил тот великан
Огромным топором
В пучину дерево-гигант,
Вот был бы шум и гром! [1]

Разные бывают моря.

Вблизи города море иссиня-черное. Его отношения с сушей вполне ясны — суша взяла верх над морем. Здесь нет отлогого песчаного побережья, изломанная граница берега образована бетонированными складами, подъемными кранами с мощно разинутыми челюстями, темными громадами газгольдеров. Продираясь сквозь них, море пытается вгрызться в сушу, но эти усилия тщетны. Непрерывно принимая в себя выделения города, море, неподвижное, замерзшее, испускает зловоние. Трупный запах, мертвое море. Облик его не меняется от времени, изменяется только окраска. Оно бывает красным, оранжевым, серым... Цвет всегда мутный, застойный. Даже если море отражает свет луны, не следует обманываться: под тонкой, сверкающей серебром поверхностью — чернота.

Впадающие в залив каналы не приносят свежей воды. Они тоже мутные и тоже зловонные. Каналы — точно сле-

[1] Это стихотворение в русском переводе С. Я. Маршака известно под названием «Если бы да кабы...» (Из английской народной поэзии).

ды когтей моря, исступленно пытавшегося вторгнуться в сушу.

В моторной лодке — инвалид-рулевой, потерявший руку на войне, вдова, увешанная множеством украшений, и я, тогда еще подросток.

Металлическое суденышко с низко погруженной в воду кормой в лучах щедрого полуденного солнца выглядит уродливо, так, словно присело на корточки, но у меня прекрасное настроение, и выход в море нашей посудины мне кажется романтичным. Правда, это настроение длится недолго.

Лодка бесцельно носилась по воде. Мы вошли в канал и стали подниматься против течения. На плавучей землечерпалке заработал подъемный кран. Земля, извлеченная со дна, была необычного черного цвета, она отливала вязкой бархатистостью. Русло канала резко сузилось, и моторная лодка, как будто съежившись, скользнула вдоль самого борта землечерпалки.

На мгновение стало не по себе. В нос резко ударил запах черной земли, и мне сразу же представилось, как я босиком ступаю по грязи. Делаю шаг — и между пальцами проступает вязкая блестящая масса, точно высовываются черные языки.

Раздался громкий радостный вопль. По разбитой асфальтированной дороге, шедшей вдоль канала, бежало множество босых ног. Подняв глаза, я увидел широко открытые рты на чумазых лицах. Рты, разинутые так, что была видна красная слизистая оболочка. Дети городских трущоб бежали рядом с нашей моторкой, которая поднималась против течения.

Вдова встала в качающейся лодке во весь рост. Она приняла позу примадонны, точно актриса на сцене, освещенная огнями рампы. Милостиво улыбаясь, вдова широким жестом стала разбрасывать карамельки. Радостный визг усилился, и улыбка на лице вдовы совсем размякла. Ползая по земле, ребятишки подбирали карамельки. Один подбежал к самой кромке берега, требовательно протянув руки. Вдова принялась бросать бананы, отрывая их по одному от грозди. С тяжелым тупым звуком они шлепались на мостовую. Всякий раз, как женщина поднимала или опускала руку, я отчетливо слышал, как негромко звякал браслет из слоновой кости у нее на запястье.

Запах ила еще усилился. Я затосковал по чистой воде, сверкающим на солнце гребням волн, по ветру, наполненному запахом моря.

Спустившись вниз по каналу, лодка вновь вышла в море.

На этот раз выход нашего судна уже не казался мне романтичным. Лодка была просто-напросто грудой черно-красного ржавого железа. Посвежело, и пустой рукав инвалида-рулевого лениво заколыхался на ветру. Ветер принес с собой запах гниющих отбросов и еще какую-то вонь, ту самую, которую я только что остро ощутил в канале. И тут наконец до меня дошло, что это пахло от женщины — пот, смешанный с ароматами парфюмерии. Я остро ненавидел вдову, и этот запах навеки отложился где-то в закоулках памяти.

Я сижу в одиночестве на вершине песчаной дюны, лет мне все еще немного.

Передо мной расстилается прозрачное голубое море, сверкают белизной гребни волн. Морской ветер прилежно гладит щеки. Пейзаж этот приятен, но что-то в нем безотчетно тревожит. Водная гладь несомненно живая! Вода, должно быть, где-то соединяется с морем возле города, но все равно это два совершенно разных моря.

Тогда, в моторке, я ничуть не боялся окружавшей меня воды. Но когда случалось оказаться посередине бескрайней равнины, простиравшейся от песчаного побережья до линии горизонта, меня охватывал панический страх. Каждая частица воды была живой, угрожала, скалилась, широко обнажая зубы. Солнечный свет ослепительно искрился в небе и на морской поверхности. Сверкание это было чрезмерным, морской ветер — чересчур соленым. Безжизненный блеск был живым, охотился за мной, и мне было страшно.

Я вдруг остро ощутил запахи того канала и даже затосковал по человеческому запаху, пусть даже запаху пота вперемешку с запахом ила.

«Нет, с этим морем я бы не хотел иметь дела»,— подумал я. И еще подумал, что здесь, на вершине дюны, я в безопасности, и отвел глаза от моря. И в то же мгновение волна с белым гребнем, одна из тех, что накатывали мерной чередой, вдруг разбухла и поднялась. «Встала на дыбы»,— промелькнуло в сознании. Высокая стена воды двинулась по песку к дюне, где я сидел.

Это не был обман зрения. Далеко в открытом море чернел военный корабль, казавшийся отсюда спичечным коробком. Волна шла от него. Но и поняв это, я не смог унять страх. Волна подступила к самой дюне, точно желая настичь меня, и тут с грохотом обрушилась.

Я кубарем скатился с холма и, зажав уши, помчался к проселочной дороге. Волна тем временем постепенно затихала.

В лавочке с тростниковыми шторами я выпил лимонаду. Перед лавчонкой помещалась выносная витрина в виде стеклянного ящика. Внутри был смонтирован миниатюрный подъемный кран, горой лежали коробки с конфетами и пакетики с леденцами. С наружной стороны ящика-витрины имелись ручка и кнопка, с их помощью игрушка приводилась в движение. Кран разевал пасть и острыми зубами вгрызался в груду сластей.

Я просто прилип к стеклянному ящику. Море осталось у меня за спиной. Небо, вода, песчаная кромка пляжа, деревья — все исчезло, я видел только подъемный кран. Игрушка в точности воспроизводила движения подъемного крана на землечерпалке. Из раскрывшегося брюха коробки одна за другой посыпались конфеты. Я вспомнил, как во весь рост стояла в моторной лодке вдова. Безмозглая тварь. Подъемный кран вновь и вновь повторял одно и то же движение.

— Хватит уж...— прозвучало у меня за спиной. Я обернулся и увидел девчушку с дочерна загорелым личиком. Я знал ее, это была дочка рыбака, они жили по соседству с тем домом, где мы на лето снимали комнату.

— Что ты крутишь без конца...

— Да вот, никак не могу остановиться.

— Дурак,— сказала девчонка с глупым выражением лица.— Пойдем лучше ловить цикад.

Я зашагал рядом с ней. Она завернула к лавке и вышла, держа в руках шест, обмазанный клеем, для ловли птиц и насекомых.

Мы пошли короткой дорогой, узкая тропка с обеих сторон заросла бурьяном. Девочка вдруг остановилась.

— Постой-ка...

Высоко подвернув подол кимоно, она присела на корточки среди зарослей травы. Круглая попка была коричневой от загара. Сюда проникал морской ветер и солнечные лучи. Маленькое неведомое животное сидело передо мной на корточках. Я смотрел на ее коричневую кожу с чувством какой-то потерянности. Когда я ощущал запах человеческого пота, я остро ненавидел вдову, но тогда у меня, что называется, было за что ухватиться.

Два моря. Два совершенно разных моря. И берега их несхожи. И мне определенно жить возле мертвого, испускающего зловоние моря. Это я понимал отчетливо.

Разные бывают моря.

Должно быть, все морские воды на земле соединяются между собой, а моря все равно разные. Дерево, растущее

на одном берегу, обильно покрыто листвой, но на другом побережье оно может и не зазеленеть. А иной раз дерево, кажущееся засохшим, полным-полно вязкого, блестящего древесного сока. Оно живое. Но пересади его на другую почву, дерево и впрямь зачахнет.

Когда бы все моря земли
Одним огромным стать могли,
Вот это было б море!

Когда б деревья всей земли
Одним огромным стать могли,
Вот это было б древо!

И все на свете топоры
Одним огромным стать могли,
Что это был бы за топор!

Когда бы люди всей земли
Одним огромным стать могли,
Вот это был бы великан!

Когда б свалил тот великан
Огромным топором
В пучину дерево-гигант,
Вот был бы шум и гром!

Прошло двадцать лет.

Все эти годы я жил в городе. Как-то ко мне вдруг заявился Имано. Имано художник, живет в провинции в маленьком припортовом городке. Море там бурное, живое. Имано привел с собой юношу.

— Мальчика пригласили участвовать в нынешней выставке.— Имано назвал одну из известных выставок. Его спутник, юноша лет шестнадцати, был подстрижен ежиком.

— Потрясающе, ведь он так молод...

— Его и по телевизору хотят показать как самого молодого, а меня вытащили потому, что он мой ученик. Чтобы заработать на краски, он ловит рыбу.

Мальчик смотрел на меня сияющими глазами. В этих чистых глазах отражалось ослепительное солнце и белые гребешки волн.

— Мы как раз идем на телестудию. Можно нам перекусить у тебя? — Юноша развернул пакет с завтраком.— Суси[1] собственного изготовления, это у него дома такие делают.

---

[1] Суси — рисовая лепешка, на которую кладется ломтик рыбы, моллюск, креветка и т. п.

Юноша предложил мне суси. Выговор его был грубоватым, провинциальным. К суси, величиной с добрый колобок, прилепился красный ломоть рыбы. Ни с того ни с сего мне вдруг вспомнилась коричневая попка маленькой дочери рыбака, но никакой потерянности я не ощутил. В руке я держал суси, и настроение у меня было превосходное.

На другой день на выставке мы с Имано стояли перед картиной юноши. Во всю ее величину был изображен нос рыбачьей лодки. И лодка и море были ржаво-красного цвета, но это не был цвет ржавчины, коррозии, это была яркая краска, в которой солнце смешалось с крепким морским ветром. И лодка и море были написаны смелыми резкими мазками, изогнутые линии почти отсутствовали. Конкретность нарисованного, интенсивный цвет и смелая линия в итоге создавали абстрактный эффект.

Море на картине было точно такое же, каким оно отражалось в глазах юноши.

— Неплохо, а? — кивнул на картину Имано.

— Неплохо. Мне даже захотелось взглянуть на это море. Давненько я там не бывал.

— Что ж, поедем с нами. Вкусной рыбкой угостим... Может, в этот раз сойдет?

— Может, сойдет.

Я хотел бы полюбить бурное море вблизи портового городка, но всякий раз, как я оказывался на его берегу, непременно заболевал. У меня уже был горький опыт, это повторялось неизменно. Однако стоило мне вернуться в большой город к мутному ржавому морю, как все неприятные ощущения разом исчезали. В пыльном прокопченном воздухе я чувствовал себя воскресшим. Это, видимо, говорило о крепости моего здоровья. Но мне бы хотелось жить безмятежно на любом морском берегу — вот о чем я думал. Имано обещает накормить вкусной рыбой, а я бы желал съесть само это море.

Однако и на этот раз к вечеру следующего после приезда дня я заболел. Не в силах терпеть, на третий день утром сел в поезд.

Прошло еще пять лет.

Несколько раз я делал попытки навестить Имано, но нездоровье вновь и вновь вынуждало меня вернуться раньше времени. Я сумел поладить с морем, где отстаиваются сточные воды и нечистоты, а вот здешнего моря мое нутро не принимало, как я ни пытался справиться с этим. Труднее всего мне было свыкнуться с его непомерным блеском и сверканием.

Больше года я не был в тех краях.

Однажды опять позвонил Имано. Был сезон выставок, он приехал в Токио и остановился в гостинице где-то в районе Уэно.

— Привез тебе гостинец, сардины. Только сегодня утром выловили. Знаешь, самые вкусные — величиной с указательный палец. Приезжай побыстрее...

В полутемном коридоре гостиницы я заметил большое полотно.

— Это что такое?

Имано назвал имя юноши.

— Он нынче не прошел на заключительную выставку. Вот, привез картину сюда и преподнес хозяйке.

Я разглядывал полотно, неловко изогнувшись в узком коридоре. Шероховатая поверхность картины, написанной маслом, находилась прямо перед глазами. Ржаво-красная картина в слабом освещении выглядела унылой — в отличие от той, пятилетней давности, где красный цвет впитал в себя яркое солнце и крепкий ветер.

Во всю величину полотна в абстрактной манере был изображен невод, а в глубине на ржаво-красном берегу несколько маленьких рыбачьих лодок. В их очертаниях прибавилось ломаных линий. Эти перемены меня заинтриговали.

— Интересно, верно?

— Ты находишь? Меня тоже что-то привлекает. Хозяйка, кстати, не прочь продать полотно хотя бы по цене красок.

— Я бы купил.

— И хорошо бы сделал.

Мы оторвались от картины и вошли в комнату Имано.

— Паренек уже два года в Токио. Работает в спорткомплексе в Синдзюку.

— Вот как, я не знал.

— Служит в какой-то конторе, заведует оформлением. Живет с девчонкой из бара. Хотел вроде с ней расстаться, но что-то там не вышло. Намучился в полную меру.

Я подумал о переменах в ржаво-красном колорите картины.

— Ты ведь любитель таких мест, как этот спорткомплекс. Может, съездим? — предложил Имано. Я поднялся с бамбуковой плетенкой в руках, в ней были сардины.

— Послушай, картина ведь большая, пусть он потом сам тебе ее доставит.

— Да нет, заберу.

С детских лет я обожал всякие увеселительные места для простонародья. Душа моя переполнялась восторгом, когда вокруг било ключом грубоватое веселье. Я любил незатейливые забавы, где вульгарная простота уживалась с новомодными техническими трюками. Рядом с тиром, где стреляли пробками из допотопных ружей, находилось американское электрическое устройство для стрельбы по мишеням, а по соседству с механическим бейсболом сачком ловили золотых рыбок. Если твердым шариком угодить прямо в живот железному черту, он с ревом замахивался палкой, а в раскрытой пасти и в глазах полыхали красные огни.

Имано вышел из конторы вместе с художником. Ежик превратился в длинную шевелюру, а юноша — в молодого человека.

— Твою картину купили.

— Простите, обременил вас.— Грубоватый провинциальный выговор исчез, но «любезной приятности» на городской манер в его речи не было.

Темные глаза задиристо блестели. Я смотрел в них, мысленно сравнивая обе ржаво-красные картины, но пока было не ясно, живут ли еще в его глазах белые гребни волн и сверкающее солнце. Картина была не тяжелой, но громоздкой, в машину она не лезла, пришлось закрепить ее на крыше автомобиля.

Дома она заняла почти всю стену.

Меня навестил друг. Показав ему приобретение, я спросил:

— Ну, что скажешь? Неплохо?

— Гм... Многовато бодрости. Многовато света, многовато мастерства...

— О предыдущей его картине так можно было сказать, а об этой — вряд ли...

— И уж совсем мне не нравится эта сосна.

— Сосна? А где ты видишь сосну?

Приятель с изумлением уставился на меня. Затем, подойдя к картине, он широко очертил пространство на ее поверхности указательным пальцем.

— Постой, разве это не невод? — И в то же мгновение, как я произнес это, часть картины превратилась в сосновый ствол с широко распростертыми ветвями. Ржаво-красный цвет ствола впитал в себя морской ветер и солнце. И нарисовано все было вполне конкретно.

— Невод... А где же невод?

— Нет-нет, сосна! Конечно, сосна! — Я рассмеялся. Что

было спорить! В комнату ворвалось живое море, то самое, бурное, на берегу которого стоял припортовый городок.

Сидя на стуле, я попробовал качнуться из стороны в сторону. Ничего неприятного я не ощутил.

Картина показалась мне абстрактной в темном и тесном гостиничном коридоре, дело было вовсе не в интенсивности цвета или в резкости линий. Приятель был прав, от картины действительно пахло морским ветром. Но избытка той силы, которая вызывала у меня нездоровье, в ней не было.

Моря бывают разные. И слиться в одно им трудно. Я вспомнил темные глаза юноши. Конечно же, в них все еще жило сверкающее море.

...Я сидел напротив ржаво-красного моря, и мною исподволь овладевало знакомое беспокойство.

Цутому Минаками

СНЕЖНАЯ ДОРОГА

1

Мать, в свитере с обтрепанным воротником и полосатом переднике, выводит из заснеженной конюшни лошадей. Годы согнули ее спину, и эта работа ей не по силам. Дойдя до угла — поводья провисли почти до земли,— она останавливается и, похлопав лошадь по брюху, привязывает ее к коновязи; тяжело дыша, подолгу смотрит в небо.

Обнаженные лиственницы почти вплотную подступают к конюшне и стоящему рядом дому. Солнечные лучи недолгим дождем льются сквозь ветви. В три часа солнце уйдет. Лошадей обычно выводят до полудня.

Лошадь дурит: вздрагивает всем телом, фыркает, мотает головой. Бродит из стороны в сторону, на всю длину свободно висящих поводьев, роет снег передними копытами. Сыплет коричневые яблоки.

Отца схоронили седьмого января. Прошлой зимой лошадей выводил он сам, один. Привязав всех пятерых на дворе, перетряхивал соломенные подстилки в денниках, мыл кормушки. Последний раз я видел его, когда он расчищал копыто старушке гнедой. Скорчившись у лошади под брюхом, он положил ее ногу на согнутое колено и, бережно держа на весу копыто, постукивал по нему бамбуковым скребочком. В больницу Уэда отец лег в конце осени, а третьего января скончался. Похороны состоялись седьмого. В городе говорили — умер от рака легких. С той поры лошадей выводит мать. Вскоре вернулась и дочь. Она училась на курсах в Токио, но мать вызвала ее домой. В феврале маленькая, с точеным личиком девушка уже трудилась не покладая рук. Поверх старенького свитера — фартук, талия перетянута шнурком. Выведя лошадь, она, как и мать, привязывает ее за недоуздок к соседней, чуть поодаль, коновязи. Может быть, оттого, что все это она видела с детства, получается ловко. Привязала лошадь — и назад, на конюшню.

И эта лошадь резвится. Шарахнувшись в сторону, приседает на задние ноги; ложится брюхом на землю, завали-

© Minakami Tsutomu 1980

вается на бок. Тянется, зарываясь мордой в сугроб. Лошадям нравится свежий снег.

Мать редко выводит на улицу пятерых, как это, бывало, делал отец. Одну, двух, редко — трех. И день короток, и мужских рук не хватает. Три денника мать с дочерью чистят до темноты. Я частенько вижу, как они бегут от конюшни к компостной яме с полными охапками соломы, от которой валит пар. Даже лица у них в грязи. Волосы, собранные на затылке в пучок, рассыпались, свисают прядями.

Из-за конюшни, врытой в землю, и сам дом выглядит приземистым, ниже всех остальных в окру́ге. Когда на крыше скапливается снег, дом, зажатый сугробами, которые насыпали проезжающие по дороге самосвалы, кажется погребенным под снежной массой. Я люблю смотреть на этот пустынный пейзаж, с поднимающейся за домом стеной лиственничного леса; никого — лишь старуха, девушка, лошади.

Одна лошадь вороная, местной породы, из Кисо, остальные — серая и темно-гнедые. Говорят, помесь арабских скакунов с англо-нормандцами. У вороной грива короткая, ушки маленькие: четырех-пятилетка, не старше. Но и она, похоже, не чистых кровей — слишком провис живот и коротковаты ноги.

Сам я родом из Вакаса. В пору моего детства у нас еще пахали на лошадях, и я немало повидал таких же низкорослых лошадок. То были рабочие клячи, которых разводят на Хоккайдо и в Тохоку. Рядом с сухими длинноногими скакунами они выглядят неказисто. Но я люблю их за доброту и ровный характер. Породистые лошади все как одна капризны и норовисты.

2

Если перестает валить снег и проглядывает солнышко, я выхожу на улицу и иду к тому дому. Случаются дни, когда лошадей не выводят, но и тогда, проходя мимо, я замедляю шаг. Между сугробами виднеется конюшня. Через ворота смотрят лошади, отделенные от входа узким, в три сяку [1], земляным коридором. Трутся шеями о жердь, бьют копытами. Ах, как хочется на волю! — понимаю я.

Матери и девушки поблизости не видно. Верно, уехали

[1] Сяку — мера длины, 30,3 см.

куда-то на фургончике, который водит дочь. При отце в прихожей дома помещалась контора. Там всегда толпился народ. Но теперь шторы опущены и отдергиваются редко. Когда идет снег, даже днем горит электрическая лампочка.

Летом городок всегда наводнен отдыхающими. Заполняются жильцами дачи. Дом с конюшней отделяет от торговых кварталов лиственничная роща, за ней и проходит объездная дорога. В июле — августе она всегда запружена велосипедистами. У станции сгрудились лавчонки: только филиалов токийских фирм здесь сотни три, но осенью все они закрываются, окна и двери забивают фанерой — на зиму. Кажется, что опустевшие магазинчики похожи на своих равнодушных столичных хозяев. Клуб верховой езды — за рощей, вдалеке от людных улиц; дома здесь стоят далеко друг от друга, и в округе всегда спокойно и тихо.

Обычно я, насмотревшись, как мать с дочерью, выведя лошадей, хлопочут на дворе и в конюшне, иду через рощу к гостинице М. Гостиница построена в начале Мэйдзи[1], прямо среди сосен. Это старинное, очень оригинальное деревянное здание в европейском стиле. Его нередко можно увидеть на фото в журналах. Прежде осенью гостиницу закрывали, но уже года три, как часть номеров готовят и на зиму, на уик-энды, и каждый день работает гриль-бар. В городке две католические церквушки, молодежь охотно венчается в них, вот священники и договорились с владельцем гостиницы — вместе теперь принимают заявки. В снежные дни сюда наезжают молодые пары, но все равно гостиница никогда не заселяется полностью. Мне нравится смотреть на пустующее здание, поэтому во время прогулок я непременно добредаю сюда.

Очень скоро я уже знал в лицо всех здешних официанток и боев. А седовласый, лет шестидесяти, управляющий Токонами оказался милейшим человеком. Не раз, сидя в одиночестве за столиком гриль-бара, при виде меня он любезно отодвигал стул, приглашая вместе выпить кофе.

— Да-а, и работенка же у хозяек Маттани,— заводил я.

— Молодец девочка! — подхватывал он.— Не пожалела бросить учебу.

Правда, может, были на то и другие причины, добавлял Токонами, ведь оставалось-то уж совсем немного, но все равно молодец, сейчас, пожалуй, и не сыщешь девушек, что согласились бы ходить за лошадьми.

---

[1] Мэйдзи — историческая эпоха, 1867—1912 гг.

— Знаете, ведь Маттани первый открыл у нас в городе клуб верховой езды. Уж как знал толк в лошадях — лучше его никого и не было. При американцах держал по двадцать голов. Да, лошадок он любил...

Токонами пускался в воспоминания о дружбе с хозяином Маттани и заключал:

— И вот ведь чудно́е дело: зимой кормят лошадей до отвала, а летом, когда дают напрокат, держат буквально впроголодь.

Я удивлялся. Мне казалось, что все должно быть наоборот. Если лошадь работает, тратит силы, значит, надо кормить ее досыта — так подсказывал здравый смысл. Но Ёнэдзо Маттани за долгие годы усвоил, что полукровки, зажирев, начинают беситься, капризничать, а потому в летний сезон всегда сокращал рацион. Сил у лошадей становилось поменьше, зато, когда в седло садились женщины или дети, они были как шелковые. Про Маттани пошла слава: его лошади самые послушные.

Я впервые слышал такое и заинтересовался.

— Ухаживать за лошадьми, как Маттани,— хлопотное дело. Хозяйка задает им корму пять раз на дню. Поднимается в пять утра. Попробуй проспи — лошади уже барабанят копытами в стенку, требуют свое. Следующая кормежка в полдень, потом в три дня, в девять вечера, и последняя — в одиннадцать ночи. Правда, в девять и в три что-то вроде полдника, сено да вода. А уж в другое время непременно сено с ячменем, не дашь — пойдут мотать головами... Да-а, дорогое удовольствие. Матери с дочкой в зимнюю пору и поспать-то толком не удается.

Теперь мне стала понятна бесконечная суета на дворе у Маттани. Я призадумался.

— В этом году к ним нанялись студенты, подработать, но все равно без дочки бы не управились. Да еще городская управа замучила — ругаются, что лошади пачкают улицы. С прошлого года скопились прямо-таки горы бумаг, Маттани не знают, что с ними и делать. Видно, пойдут теперь всякие строгости с верховой ездой...

Токонами вздохнул и неожиданно спросил:

— А вы любите лошадей?

Я растерялся: я даже не знал, люблю ли я их, да и в седле сидеть мне не доводилось. Однако ответил: «Люблю». Внезапный вопрос Токонами воскресил в душе старые, неясные воспоминания.

3

Это было тринадцать лет назад. Я впервые снял домик здесь, в горном городке. Тогда со мной приезжала моя младшая дочь. У девочки было плохо с ногами. В то лето ей исполнилось три года.

У дочери врожденный порок позвоночника, она так и появилась на свет — с горбом. Вскоре после рождения ребенку сделали операцию, дефект удалось устранить, но хирург неосторожно задел нерв. Из-за этого у нее отнялись ноги. Особенно скверно было от колен и ниже, ступни совершенно не действовали. Атрофировавшиеся конечности почти не развивались. Жена, опасаясь, что дочь сможет передвигаться только на инвалидной коляске, посоветовалась с врачами и решилась на операцию: пересадить ребенку собственную кость, нарастив недоразвитые косточки дочери. Это было великое дело. Дочь смогла бы ходить на костылях.

Операция закончилась как раз тем летом, я хорошо его запомнил.

Мимо нашего дома почти каждый день проходили лошади. Больной ребенок смотрел на них во все глаза. Дочка даже к воротам подкатывала на коляске. Порой лошадей было с десяток, целый табун, и на каждой кто-то сидел — парни, девушки, дети. Грумы вели лошадей под уздцы. Все лошади были из клуба Маттани — в те времена конкурентов у Маттани не было, в городе только они держали лошадей. И конюшня стояла не там, где сейчас, а в самом городке, у станции. Прогулочный маршрут, разрешенный местными властями, проходил мимо нашего дома, по старой дороге. Дочь со слезами умоляла покатать ее на лошади. Главный довод был такой: не могу ходить, так хоть дай прокатиться. Жена возражала. Ее можно было понять. К чему искушать судьбу? Да и грум вряд ли позволил бы это. Жена безуспешно пыталась успокоить дочь. В конце концов было решено свозить ее в утешение на конюшню, посмотреть лошадей. Жена выкатила коляску.

Вернулась дочь довольная: столько лошадок, и все разного цвета.

— Ей ужасно понравилась Ханако, серой масти,— рассказывала жена. У Маттани была только одна такая кобыла, поседевшая от возраста. На деннике висела табличка с кличкой: «Ханако».

— Она хотела погладить Ханако, но это не разрешается, и тогда мы попросили хозяина. Он нам позволил. Подумать

только, лошадь, а тоже что-то понимает! Тянет морду, трется. А дочка даже не испугалась, не заплакала, взяла и погладила мокрые лошадиные губы. Хоть ты и не любишь лошадей, а ведь это просто удивительно.

Странно, почему жена так сказала? Я вовсе не питал к лошадям неприязни. С тех пор дочь ежедневно отправлялась на конюшню. Когда мать бывала занята, ребенка отвозила тетка, старшая сестра жены, помогавшая ухаживать за девочкой.

— А Ханако совсем не лягается! — докладывала дочь, возвращаясь с прогулки. Но жена все равно ворчала на сестру: «Не подходите близко, может лягнуть».

В то лето у меня было много работы, и я так и не выбрался с дочерью в клуб. Других причин отлынивать у меня не было. Каждый день я давал себе слово, что завтра уж непременно схожу, но время шло, и между тем наступила осень. Может, потому жена и решила, что я терпеть не могу лошадей.

4

В мае сорок четвертого я получил повестку: меня отправляли в Фусими, в отряд № 43, обозным ездовым. Неизбежность грядущего поражения в войне становилась все очевиднее, и было совершенно непонятно, чего ради в армии продолжают набирать и выезжать молодых лошадей. Но за те три месяца, что я был приставлен к ним, мне пришлось хлебнуть лиха. С утра и до вечера я только и делал, что скреб коней, сушил загаженное навозом сено, чистил денники. На каждого ездового приходилось по три лошади. Мои оказались довольно покладистыми, но, случалось, попадались такие строптивые да норовистые, что калечили своих ездовых. Солдата Асакити Кобаяси лошадь убила копытом. Это произошло вечером, во время водопоя. Я помню, как все случилось.

Перед конюшней стояли поилки: длинные узкие желоба, наполнявшиеся водой из крана. И хотя поилок было пять, в тот вечер вокруг них царила суматоха. Солдаты выводили своих лошадей из конюшни, каждый норовил протиснуться вперед без очереди, и вскоре образовалась страшная сутолока. В том была немалая вина дежурного. И люди, и лошади, столпившиеся возле поилок, нервничали, злились.

Кобаяси, дождавшись, пока отойдет его приятель Отани, подвел к поилке свою лошадь Сикисима, потянул за повод, пригибая ее голову к земле — приветствовал стоявших рядом товарищей,— и попытался протиснуться к желобу. В это же время подвел к поилке лошадь по кличке Оясима солдат Ватанабэ. Неожиданно Оясима резко крутанула задом, и Кобаяси отлетел вправо, прямо на лошадь Аягину. Это был страшный момент. Пошатнувшись, Кобаяси ухватился за желоб, и тотчас зад Оясима уткнулся в его запрокинутое лицо. С удивленным выражением он выпустил повод и, потеряв опору, начал падать. Сикисима, вскинув голову, шарахнулась в сторону. Воздух прорезал вопль Кобаяси. Я оглянулся: его тело, пролетев метров пять, грянулось оземь. Он упал навзничь, что-то крича, но вскоре, раскинув руки, затих. Я заводил свою лошадь в конюшню и не мог подбежать к нему. Лягнувшая Кобаяси Сикисима неслась, вздымая пыль, к восточному входу конюшни. «Берегись!» — раздался истошный крик дежурного. Вокруг Кобаяси столпились товарищи. Но тот лежал молча, без движения. На лбу зияла рана, точно от топора, по лицу струилась кровь. Застыв под залитым багрянцем небом, мы смотрели, как Кобаяси несут к штабу эскадрона, в медкабинет,— смотрели до тех пор, пока носилки не скрылись в дверях.

После того случая мы стали осторожнее на водопое, но все три месяца с тайным страхом подводили лошадей к поилке. О смерти Кобаяси я узнал уже после демобилизации. Он скончался на четвертые сутки; нам об этом не сообщили.

5

Я никогда не рассказывал жене о своей службе в армии. Многие любят хвастаться этим, но лично мне нечем гордиться. Вспоминаю своих товарищей, низкорослых, сутулых, увечных — кто без глаза, кто без пальца. Было даже трое туберкулезных, таких, как я. Вторая-третья категории запаса. Работали в поле, в деревне — вот и призвали. В общем, всякая шваль, как называл нас наш командир. И солдатами не были, и жили не солдатской жизнью — толком и рассказать нечего. Многие, услышав про «кавалерию», делали круглые глаза и покатывались со смеху. После этого у меня и вовсе пропадала охота говорить.

Иногда мне вспоминался погибший Кобаяси. Не когда я рассказывал о своей службе, а как-то вдруг, в минуты одиночества. Но время шло, и те годы, казалось, совсем

истерлись из памяти. Странная штука — память. Люди склонны забывать все дурное. Может быть, оттого, что такие воспоминания причиняют им боль. И потому, когда жена, рассказав о восторгах дочери, потрогавшей лошадиные губы, добавила: «Не то, что ты!» — мне сделалось неприятно. Ведь в военное время мы даже не были с ней знакомы. Тогда я был женат на матери своей старшей дочери. С ней мы расстались вскоре после войны, я женился во второй раз, но только моя первая жена знала о том, что́ мне довелось пережить, и не упускала случая, особенно незадолго до разрыва, с презрением поведать посторонним о моей «службе». Новой жене я ничего не говорил о своем прошлом... Вопрос Токонами всколыхнул осевшие на дне памяти переживания: лошади напоминали мне о былом. Вот почему я так растерялся, не зная, что ответить ему. Выходит, черную кровь, струящуюся по лицу погибшего фронтового товарища — впрочем, не слишком ли громко сказано о нас, обозных ездовых, так и не понюхавших настоящего фронта? — лишь присыпало долгим снегом времени...

6

Всю эту зиму я пробездельничал, только и делал, что гулял. Когда выдавалась минутка, я шел к дому Маттани — посмотреть на лошадей,— но с хозяйками не заговаривал.

У коновязи, переливающейся серебром в лучах солнца, спокойно стоят серая и гнедая. Мать и дочь со смехом бросают в них снежками. В такие минуты мне очень хочется окликнуть их. Эта серая, единственная на конюшне,— не с ней ли играла тринадцать лет назад моя дочь? Может, она, Ханако?.. Но нет, этой, пожалуй, не больше двадцати. Значит, не она, вздыхаю я. А на другой день снова думаю: все-таки она, только очень одряхлевшая. Я знаю, ее редко выводят на улицу. Как ее зовут? Но мать с дочерью держатся так, что мне, постороннему, неловко приставать к ним с расспросами. Отца теперь нет, все тяготы легли на материнские плечи: скоро хлопотная пора — летний сезон. Надо за зиму хорошенько откормить лошадей. Маттани просто с ног сбились, готовясь к лету. А мать, наверное, еще терзают тяжкие думы о будущем дочери, пожертвовавшей учебой. Я не раз представлял, как захожу к ним на двор, и все же любопытство было не столь велико, чтобы заговорить с ними.

Вот уже третью зиму мы живем вдвоем с кухаркой.

Жена и дочь — в Токио. Девочка учится в третьем классе школы второй ступени и лишь изредка приезжает сюда, в городок. Это специальная муниципальная школа для калек, в Сэтагая. Благодаря отчаянным стараниям матери она научилась ходить на костылях, но все же частенько ей приходится добираться до школы на коляске. Жена не может оставить ее ни на час.

На днях я приезжал в Токио, по делам, и зашел домой, но никого не застал. Жена с дочерью ушли в больницу. Я сразу уехал обратно, а в тот же вечер жена позвонила мне.

— Тебе что-нибудь было нужно? — спросила она.

— Да нет, ничего,— ответил я,— просто хотелось взглянуть на дочь, раз уж приехал в Токио. А что говорят врачи?

— Сколько есть болезней — все собрались в нашем ребенке. Так сказал доктор.— Жена вздохнула.— У нас уже нет сил, ни у меня, ни у нее...

Это был обычный осмотр, но теперь у дочери начались нелады с почками. Атрофировался нерв мочеиспускательного канала, и в школе ей приходилось носить мочеприемник. Кроме того, недоразвитые ноги уже не выдерживали подросшее тело, органы работали не так, как должны работать. Ребенок растет, и вместе с телом растут недуги. Да, кажется, так говорила жена, мучительно переживавшая эти страдания дочери. Когда я время от времени приезжал в Токио, у меня возникало желание увидеть собственное дитя. Но дочь выползала навстречу, с трудом волоча свое почти взрослое тело. И я, бросив все на жену, снова сбегал в горы.

Местные говорят, зима в этом году выдалась снежная. Бывало, снег валил по два, по три дня подряд. По ночам разбушевавшийся ветер рвет дверь. В такие ночи бесполезно садиться за стол: ничего не напишешь, только потратишь время впустую, одолеваемый невеселыми думами. Нынешняя жена моложе меня на четырнадцать лет. Выходит, через двенадцать лет, когда мне исполнится семьдесят, ей будет пятьдесят шесть, а она по-прежнему должна заботиться о двадцатисемилетней калеке дочери. Не уверен, что я проживу больше семидесяти, хотя кто это может знать? Попав в армию, я думал, что найду свою смерть на чужбине, куда меня пошлют вместе с моими конями. Ведь погибли же те, кого отправили всего неделю назад! Вышедший из Симоносэки транспорт разбомбили уже у Тайваня, и он

затонул. Солдаты были при лошадях, в трюме, никто не успел спастись. Пока я ждал своей очереди, меня демобилизовали. Так я остался в живых. То, что я еще жив сегодня, в свои пятьдесят шесть,— дар небес. А уж дотянуть до семидесяти — и подавно. Это, конечно, так, но, если я умру, что будет с женой и калекой дочерью? Тринадцать лет назад, когда дочери пересаживали материнскую кость, чтобы она могла ходить на костылях, я не поехал в больницу. Сбежал, сославшись на неотложные дела. Я был эгоистичным отцом. Говорят, и вдали от людей человек тянется мыслями к людям; ну а мне же, наверное, самому хотелось насладиться ниспосланным мне даром небес — жизнью. Не выношу трудностей. Я бегу от них, зажмурив глаза. Смог ли бы я пожертвовать ради кого-нибудь собственной костью?..

7

В середине февраля неожиданно потеплело, и снег начал стремительно таять. Но оттепель длилась недолго, в последней декаде опять ударил мороз. Впрочем, конец февраля здесь почти так же суров, как конец января — самое холодное зимнее время. Горы оделись снегом до самых подножий. Полянки в лесных чащобах, где проплешинами повытаяла земля, снова засеребрились.

После полудня серые облака поредели и выглянуло бледное солнце. Надев теплое пальто и сапоги, я вышел на улицу. Само собой, направился к дому Маттани — и вдруг остановился. Между лиственничной рощей и питомником с подстриженными маленькими сосенками, на занесенной снегом дороге, где пролегли две колеи, отпечатались следы лошадиных копыт. Следы были совсем свежие и вели вперед: несомненно, лошадь прошла здесь недавно. Отпечатки такие четкие, что понятны даже мне, неопытному следопыту. Вот она передними копытами зарывалась в снег, а вот пятилась задом. Видно, радехонька, что вырвалась из тесной конюшни на волю. Постой-ка, ведь лошадь не может бродить сама по себе! Кто-то должен ее вести. Мать? Или дочь? Я с новым интересом осмотрел дорогу, пытаясь обнаружить другие следы — человека. Ну да, вот они. Явно женские. Размер примерно 9,5. Резиновые рифленые подошвы отпечатались поверх колеи, словно их хозяйка подражала скользящему по проволоке акробату; кое-где они сбивались в сторону — и снова возвращались на колею. Пожалуй, все-таки дочь. Судя по следам, она не могла уйти

далеко. Странно. Дочь почти никогда не выводит сама лошадей, а сегодня вдруг отправилась на прогулку. Вон оно как. Наверное, совсем застоялись лошадки за долгую снежную зиму, вот и выводят их по одной погулять.

Я зашагал быстрее. Вскоре следы привели к развилке и свернули вправо, где спускался в долину отлогий, поросший соснами склон. Снег здесь лежал нетронутый. Лишь следы лошади и человека перечеркивали целину четырьмя пунктирными линиями. Я поспешил туда. Сосновый бор сменился лиственничным лесом. Дорога вела вниз, но, если идти прямо, попадешь на холмы Минамигаока, где растут красные сосны. Говорят, вскоре эти земли отойдут во владения наследного принца, под загородную виллу. А дальше — развалины казарм авиаотряда, луга, где теперь пасут скот. Но куда подевались девушка и лошадь? Ну же, где они? Я снова прибавил шагу. Вокруг ни единого человеческого жилища. У дубов и каштанов поломаны ветви, кора на стволах ободрана; обуглившиеся от удара молнии, чудом уцелевшие огромные сосны возвышаются над обнаженным лесом. С гигантских корневищ вспархивают черные птицы...

Пустынная, безлюдная дорога. Куда же все-таки исчезли девушка и лошадь? Сердце нетерпеливо стучало. Голый лиственничный лес кончился, я вышел на холм, поросший пихтами. Глазам внезапно открылась равнина. Вот они. Лошадь и человек. Но... там не один человек! Девушка, которую рисовала моя фантазия, едет верхом. А ведет лошадь мать. Дочь едет, мать ведет. Две фигурки в серебристом просторе — блеклая черно-красная картинка на белой бумаге. Я замер, затаив дыхание.

На девушке алый свитер и что-то вроде шаровар. Вид гордый, волосы небрежно заколоты на затылке; повод держит с важностью. Мать изредка оглядывается на дочь и, снова опустив голову, бредет дальше. Ремень недоуздка туго натягивается. Небо опять хмурится. Серые тучи застилают солнце, оно съеживается в крохотный оловянный шарик и уже не излучает сияния, но равнина по-прежнему светится белизной. Лошадь темно-гнедая. Время от времени девушка поводом посылает ее вперед. Мать, не поспевая, торопится следом, горбясь и вытянув шею. Они уходят все дальше и дальше — на запад.

Синъити Юки

САД ОПАВШИХ ЛИСТЬЕВ

1

Каяма исполнилось шестьдесят лет, когда он занялся садом. С тех пор прошло десять лет... Тогда, в шестьдесят, не верилось, что он сможет прожить еще десять лет; самое большее — два-три года, вот и придумал себе занятие. А нынче уже семьдесят... Правда, он с самого начала сознавал, что потребуется по меньшей мере лет десять, чтобы сад мог дать ту необъяснимую радость, на которую он рассчитывал, и тем не менее почти весь свой капитал Каяма истратил на покупку участка в двести цубо [1]. Капиталом же было то немногое, что оставалось у него от денег, полученных при уходе с работы.

На краю рощи близ реки Тамагава, где еще сохранился облик прежней равнины Мусасино, он построил дом, в остальном полностью доверившись природе. А потому летом он жил в прохладе деревьев, осенью — среди ворохов опавших листьев. Во все времена в сад залетали птицы, летом появлялись змеи. Так и жил бы он, предоставляя ветрам ворошить и трепать опавшие листья, если бы вдруг не охватило его желание садовничать — это произошло через год после того, как двое его детей почти одновременно обзавелись семьями и покинули дом.

Каяма было пятьдесят два года, когда умерла его жена. А вскоре и дети — сын и дочь — попросили его согласия на брак. С тех пор они почти не появлялись в доме Каяма. Иногда Каяма невесело думал: уж не превращается ли он в типичного старого брюзгу? Может быть, в этой долгой трудной жизни без спутника как-то незаметно накапливаются странности, калечащие душу? — пытался он разобраться в самом себе. Но эти попытки лишь оставляли какое-то ощущение подавленности. Когда сын объявил о намерении жениться, Каяма испугался, не просит ли он согласия на брак уже после свершившегося факта, но, поговорив с сы-

[1] Цубо — мера площади, 3,3 кв. м.

ном, сразу дал согласие. И с дочерью было почти так же. Да нет, скорее уж он проявил снисходительность.

Дети с семьями жили в удобных современных домах и не очень-то стремились бывать в его старом доме. Это вызывало у Каяма не столько чувство горечи по поводу нравов современной эпохи, сколько опять же ощущение одиночества и оторванности... Прежде детей было двое, теперь их стало четверо, и, когда он думал о них, ему казалось, что и потерял он уже четверых... Ведь Каяма и не женился вторично только потому, что решил прежде вывести детей в люди. И может быть, чувствуя себя одиноким, именно в саде пытался он найти друга, к которому взывал.

«...Вырастить сад — и можно проститься с этим миром, вобрав последним взглядом все созданное тобой. Вероятно, единственное, что можно унести с собой в тот мир,— это лишь последнее мгновенье, запечатлевшееся в глазах...» — часто шептал Каяма, как бы убеждая в чем-то себя самого, хотя и не задумывался глубоко над тем, что такое *тот* мир,— над вопросом, на который вряд ли вообще есть ответ. Только говорил неопределенно — *тот* мир. И о саде он поначалу говорил без твердой уверенности или большого желания, ибо не принимал его очень всерьез, считая, что жить осталось самое большее два-три года.

2

Наступила осень, и к Каяма пришли садовник и торговец камнем. Садовника — звали его Судо — Каяма пригласил сам, торговец же появился неожиданно. На небольшом грузовичке он возил камни с горы Окутитибу. Найдя дом или сад, хозяевам которого нужен был камень, он продавал весь грузовик за двенадцать или пятнадцать тысяч иен. Машину обычно вел его сын, парень лет двадцати, торговец же сидел рядом. Иногда заказы ему делали заранее, но чаще он на машине, нагруженной восемью-десятью большими камнями, сам искал дома, которые еще только строились.

Так же случайно попал торговец и в дом Каяма — его привлекли размеры сада. «Вы только взгляните на мои камни»,— сказал он. Лицо красное, узкие глаза и белые зубы, под носом — маленькие усики. Без них его внешность, вероятно, казалась бы и вовсе не примечательной, хотя в лице этом было все же что-то ясное и открытое.

«Ладно уж, взгляну»,— подумал Каяма, а в результате

купил у торговца не один грузовик, а несколько. Приглянулся ему и сын торговца — еще более скромный, чем его простой и открытый отец, и очень работящий.

Случалось, что Каяма отказывался покупать камни или просил сбавить цену. «Учитель, вы прекрасно научились торговать»,— с серьезным лицом подтрунивал торговец и отдавал свой товар по той цене, которую называл Каяма. Вероятно, он знал от садовника, что Каяма когда-то преподавал в школе.

— Учитель, вероятно, понимает, что на такой большой сад,— торговец широко развел обе руки в стороны,— нужно машин десять камней. И не менее ста каменных плит для дорожек. А потом вы, я не сомневаюсь, захотите и большой камень.

— Но ведь у меня под сад отведено лишь пятьдесят цубо... А какой он, этот большой камень, о котором вы говорите?

Торговец развел в стороны свои сильные руки:

— Вот такой и еще раза в два больше и толще. Голубой. Он один займет целый грузовик.

«Интересно, где бы его разместил садовник Судо?» — подумал Каяма и тут же поймал себя на мысли, что, вероятно, голубой камень и завершит рисунок всего сада.

— Денег у меня маловато. Так что этим камнем и закончим. А у него действительно настоящий голубой цвет?

— Прекрасный голубой цвет! Я нашел его совсем недавно, еще никому и не говорил, сын только знает. Такой за всю жизнь всего два-три раза и встретишь. Вы, наверное, думаете, что дело наше прибыльное — продавай себе камни, которые ничего не стоят. А ведь бывает, что за три дня работы — всего одна сделка, и то неизвестно, сумел ли окупить затраты. Три дня потратишь, чтобы доставить камни в Токио: день — найти в горах камни, сочетающиеся друг с другом, еще день — погрузить их на грузовик, день — на перевозку. Бензин нужно покупать, с машиной бывают поломки, или помощник, если не очень умелый, случайно испортит хорошую находку. Бывает, так ни с чем домой и вернешься, да еще в долгах — какой уж там заработок. Кроме того, и рабочих ведь нужно рюмочкой угостить — парни-то молодые. Просто я люблю горы, люблю камни. А этот голубой чем-то меня особенно покорил. По-моему, в вашем саду ему самое подходящее место. Думаете, я стал бы его продавать, если бы у меня были деньги? — От возбуждения и без того красное лицо торговца полыхало, словно вечерняя заря.

Каяма вдруг почувствовал, как сильно забилось у него сердце. «...Взять большой голубой камень на тот свет? Мирно заснуть на нем?..»

Примерно через неделю торговец привез на своем грузовичке голубой камень. Отирая пот со лба, он сказал взволнованно:

— Верных пятьсот каммэ [1] будет!

Снять эту глыбу с грузовичка и перетащить ее было уже заботой садовника. Пять человек, ловко орудуя рычагами, постепенно перемещали камень в глубину сада. Мягкая земля задыхалась под его тяжестью. Торговец разделся и вместе с сыном суетился рядом с рабочими.

— Осторожнее, не поцарапайте,— громко предостерегал их Каяма, но было это скорее заклинанием, чем предостережением. Обычно Каяма говорил почти шепотом, сейчас же он сам поразился неожиданной силе своего голоса и решил: «Все, наверно, потому, что этот камень станет моим надгробием».

— Хороший камень. Великолепный камень.— Каяма похлопал по плечу торговца, но вдруг увидел, что это не он, а его сын. Сын мягко улыбнулся в ответ и чуть пожал плечами. Торговец же, прищурив и без того узкие глаза, сказал:

— На таком камне днем спокойно спать можно.

«Пожалуй,— искренне кивнул Каяма в знак согласия.— Днем поспать хорошо, но еще лучше позвать сюда детей и выпить с ними на этом камне хорошего зеленого чая.— Душа его неожиданно переполнилась радостью, но мгновенное замешательство подавило это чувство.— До чего же я наивен...»

Уже начало смеркаться, когда глыбу дотащили до середины сада. «Наверное, камню нужна вода»,— подумал Каяма и, вручив деревянную бадейку молодому рабочему, приказал принести несколько раз воды из колодца. Политая водой гладкая поверхность камня мгновенно расцвела густым ярко-синим цветом... Перед взглядом Каяма словно раскинулось далекое море. Глаза торговца слегка увлажнились, он приблизил лицо к Каяма:

— Приложите ухо. Слышите, как журчат горные реки в долине?

— Похоже. Хорошо бы после моей смерти эти звуки стали еще слышнее.— Каяма поглаживал рукой мокрую поверхность камня. По щеке торговца скатилась слеза.

---

[1] Каммэ — мера веса, 3,75 кг.

— Я приду еще, когда мне захочется взглянуть на камень. Вы разрешите тогда зайти хоть на минутку с черного хода?

— Да, пожалуйста, вы уж нам разрешите тогда...— нерешительно добавил сын.

3

Спустя два-три дня Судо пришел с хорошей новостью:

— В Аобадай распродается огромный сад. Правда, на него претендуют еще несколько садоводов-любителей, так что решать надо сегодня-завтра, если хотите купить. Продают почти даром, к тому же там, на мой взгляд, еще на три грузовика настоящих старинных камней — прекрасных, таких уже не привозят, и вы при всем желании нигде их не купите. Камни из Курама, Косю, Тикуба. Ведь, говоря откровенно, иметь камни, привезенные лишь из одного места, неинтересно. Хорошо бы соединить их с вашими. Что скажете на это?

Каяма расспросил поподробнее о хозяине, о причинах продажи сада.

— Это был особняк директора какого-то банка. Во время воздушного налета он сгорел. Прошло уже более десяти лет, а дом так и не восстановили, вот вдова и решила продать сад. Там пять, нет — семь тысяч цубо. Землю она продает отдельно — без камней и деревьев. У нее масса прекрасных каменных плит, которыми была когда-то выложена дорожка к чайному домику, их вам вполне хватит. А если там копнуть, то можно найти еще больше. Особняк-то сгорел, а камни огонь не тронул, так что это просто находка.

— Хорошо, вы сходите завтра со мной?

— Конечно. Сейчас же пойду предупрежу.

Каяма подумал, что он уступил Судо так же быстро, как и своим детям, когда они пришли просить его согласия на брак. Сын и дочь покинули его дом, но зато теперь здесь будет множество старинных камней из Курама, Косю, Тикуба, будут камни из горного потока, сбегающего с Окутитибу... Каяма почувствовал вдруг странное волнение, охватившее его, и в тот же миг ему показалось, что он словно проваливается в холодную пустоту... Впервые с тех пор, как он занялся садом, темная тень коснулась его души.

4

От дома Каяма до Аобадай — минут тридцать ходу. Каяма встал рано: по утрам, когда от прохладного осеннего воздуха было зябко, он поливал водой голубой камень, и это уже стало его ежедневной радостью и утешением. Камень напоминал мощный торс. Лежащий торс. Каяма видел, как синел камень, впитывая капли дождя, падающие с деревьев, и сердце его трепетало. Ему казалось, что от поверженного торса исходит не журчание горного потока, а божественный голос.

«...Взять с собой камень на тот свет? Мирно заснуть на нем...» — ожили слова, которые и прежде мелькали в его сознании. В этот момент с черного хода вошел Судо.

— Этот новый камень, конечно, хорош, но в камнях, прошедших сквозь годы, есть особая прелесть. Итак, я готов вас проводить.

Каяма вышел вместе с ним, не позавтракав.

Они вошли в сад Аобадай, и Каяма был поражен. Похоже, здесь не пять, а все десять тысяч цубо. За искусственным холмом — огромные кроны. Камни и деревья, по всей видимости, свозили отовсюду, не считаясь с расходами... Каяма долго бродил по саду, где словно витал еще дух древней Японии и все напоминало о вольготной жизни его хозяина до войны. Но в то же время было в этом саду что-то гнетущее—Каяма ощутил это всем существом. Будто эти десять тысяч цубо до сих пор хранили память о рушащемся, горящем в пожаре войны особняке — без сомнения, роскошном и вполне соответствовавшем такому саду.

— Были ли жертвы? — спросил Каяма у Судо.

— По слухам, в доме во время пожара оставались одни женщины — человек пять, кажется, погибли.

Каяма молча зашагал дальше. То тут, то там в огромном саду, который и глазом-то не охватишь, стояли грузовики, приехавшие за деревьями и камнями, и рабочие, садовники, как хлопотливые муравьи, не прекращали своей лихорадочной деятельности.

Судо привел Каяма к задним воротам и стал показывать ему камни. Глаза его при этом блестели, он то и дело восхищенно вздыхал. Затем Судо потащил Каяма по тенистой тропинке, тянувшейся вдоль рощи низкорослого бамбука.

Каяма увидел старый чайный домик, настолько ветхий, что он походил на завалившийся амбар. Трое молодых рабочих ломали его с такой же энергией, с какой ломают

бараки. Казалось, они радовались возможности сокрушить все одним махом. Каяма взглянул на их оживленные лица и почувствовал, как вновь души его коснулась темная тень. «Домику-то этому, наверное, более ста лет...» — подумалось ему.

Они пошли по другой узкой тропинке, идущей от чайного домика вниз, как вдруг садовник обернулся к Каяма и, воскликнув в крайнем возбуждении: «Здесь!», показал на группу рабочих. Те, услышав его голос, прервали работу, но потом вновь взялись за лопаты. Из-под земли, перемешанной с истлевшими листьями, появлялись черные каменные плиты. Штук пятьдесят уже выкопанных плит грудой лежали неподалеку, как бы напуганные ярким солнечным светом, заливавшим землю.

— Слышите? — спросил Каяма у Судо.

— Что?

— Ну, раз не слышите...

«Должно быть, женщины, погибшие в огне, часто, если не каждый день, ходили по этим плитам»,— подумал Каяма. Но разве скажешь Судо, что он и сейчас слышит далекие звуки их шагов... Садовник только посмеется над ним. Услышит ли он эти звуки, когда плиты уложат в его саду?..

Скрестив руки, Каяма зашагал по саду и вновь ощутил, как в душе его промелькнула темная тень.

5

Вскоре Судо вновь принес хорошую новость.

— Здесь совсем рядом продают еще один сад, все деревья. Что вы скажете на это?

Каяма сначала решил отказаться:

— Я ведь не собираюсь превращать в сад весь свой участок. Мне хочется и рощу сохранить, и эти лесные деревья, и уложить декоративные камни.

— Знаю, знаю. Но неплохо бы насадить и других деревьев — чтобы они гармонировали с камнями. Азалии, зонтичные сосны, что-нибудь еще... А возле воды так и просятся сливы...

— И все это там есть?

— Да.

Оказывается, Судо хорошо знал эти деревья, так как сам привозил их туда в самом начале войны. Он ручался, что деревья прекрасные. По его словам, там есть и пять боль-

ших, в обхват, литокарпусов, и гранаты — в общем, все самое лучшее.

Каяма и не предполагал, что рядом с его домом существует такой сад.

— Зачем же им продавать его?

— Хозяин имения умер недавно, а вдове деревья не нужны, она говорит, что хочет сделать лужайку и бассейн.

«...Значит, в моем саду сольются в один хор звуки тех каменных плит и деревьев этого сада. Все, что было близко умершим, объединится в моем саду и станет мне утешением...» Каяма прислушался к шелесту падающих листьев, которые кружил в воздухе легкий ветер. Вместе с листьями, бегущими по земле, они рождали какую-то единую тихую мелодию. И вдруг сквозь эту мелодию ему послышался голос: «Сад опавших листьев...» День был настолько прозрачным и светлым, что казался нереальным.

«Сад опавших листьев... Неплохое название»,— подумал Каяма и сказал Судо:

— Хорошо. Я покупаю этот сад целиком.

Каяма исполнилось шестьдесят пять лет, когда умер Судо. На седьмой день после смерти садовника он зашел в маленький садик за домом Судо. Там росла старая белая слива. Договорившись, что ему ее уступят, Каяма попросил другого садовника, приятеля Судо, перевезти это дерево к нему.

«...Вот и еще прибавилась одна вещь, которая была близка умершему...» Каяма смотрел, как перевозят белую сливу, и вспомнил день, когда Судо привез ему деревья из того сада.

...Корни деревьев, положенных на большую грузовую тележку, были большими и тяжелыми. Чтобы уравновесить их, спереди подвесили камни. Тележку тащили трое молодых парней, а маленький Судо торжественно шел впереди, медленно поднимаясь в гору, как во время праздничного шествия. Лицо его сияло. Неожиданно тележка, уже въехавшая во двор Каяма, наклонилась.

«Осторожно!» — крикнул кто-то, но Судо уже был у передней части тележки. Как ни в чем не бывало он приказывал молодым рабочим: «Сначала снимите камни». Его строгое лицо выражало недовольство ненужной суетой и криками вроде этого «осторожно».

Камни были сняты с тележки; освободившись от их тяжести, передок ее резко подскочил вверх, и деревья стали похожи на вздыбленных ржущих лошадей. Каяма подивился тогда легкости и подвижности Судо.

«Не хочу хвастаться, но травм у меня еще никогда не было. Может быть, потому, что я маленького роста. А вот со спортсменами-любителями, к примеру, без конца что-нибудь случается. На мой взгляд, одних лишь тренировок недостаточно».

И такой человек уступил болезни. Скорее, правда, не болезни, а сакэ. Каяма вдруг пришла в голову мысль, что тот торговец камнем с красным лицом тоже, наверное, любит выпить. Со смертью Судо торговец стал ему как-то ближе. «Я приду еще, когда захочется взглянуть на этот камень. Вы разрешите зайти хоть на минутку с черного хода?» — спросил он тогда, но с тех пор так и не появился.

6

Прошло пять лет. Голубой камень прекрасно прижился в саду. «Если приложить ухо, слышно журчанье горного потока»,— говорил торговец. Но уж если что и было слышно, то скорее голос самого камня, тоскующего по горным рекам на его родине.

Но голубому камню не суждено было увидеть родину. Его поверхность, помнящая дожди и ветры, впитывала в себя голубизну неба, в многочисленных узких морщинах ее жил темно-зеленый мох. Камень нежно обнимали пышные нижние ветви широко разросшегося над ним дерева. После дождей во впадине на груди этого похожего на торс камня оставалась вода. Прилетала откуда-то стайка быстрых воробьев, иногда с птенцами. Вытянув шейки, они пили эту воду, затем барахтались в ней, хлопая крыльями. Если вода высыхала, Каяма не забывал сам принести ее из колодца. Когда во впадине скапливались листья, Каяма сбрасывал их. У него теплело на сердце от ощущения близости живых существ.

Со смертью Судо уход за садом практически прекратился. Каяма не приглашал больше никого, считая Судо единственным и непревзойденным садовником. Так и росли ветви, осыпались листья. Ветер гонял их по каменным плитам.

Все шло, как заведено в природе, и сам Каяма, также следуя ее законам, стал быстро угасать. Спина не была уже такой прямой, болели плечи и поясница, сдавали глаза: в них поселилась тень смерти.

Два-три раза в день Каяма спускался в сад. Его все чаще донимала ноющая боль во всем теле, особенно если

целый день он проводил в комнате, погруженной в неподвижное безмолвие. В слабых глазах поднималась рябь, похожая на облака. В такие минуты его неодолимо тянуло в сад.

Управившись со своими нехитрыми повседневными заботами, он читал старинные книги, которые собирал в течение многих лет. Иногда занимался каллиграфией. Радость охватывала его, когда он опускал на бумагу кисть с черной тушью. Но он при всем желании не мог бы назвать эти дни днями спокойного, как принято считать, уединения, ибо тень смерти падала и на иероглифы.

В последнее время Каяма часто слышал звуки, исходящие от камней. Казалось, каждая каменная плита, по которой он прошел, отвечает негромким эхом.

«Может быть, это шаги тех пяти сгоревших женщин?..» — задумался однажды Каяма, и вдруг его охватил страх. Нет, конечно, это его собственные шаги.

Но однажды ночью к комнате Каяма, пройдя по плитам, приблизилась молодая женщина в белом кимоно.

— Кто там? — спросил он, но в ответ женщина лишь повернулась спиной. Пояс ее кимоно был не затянут. Женщина медленно, словно скользя, стала удаляться. Ясно, что она приходила звать его. Каяма босиком быстро спустился в сад, боясь от нее отстать.

Он шел по плитам, по которым ступала женщина, и шептал, что вряд ли у духов есть ноги, что все это ему не снится. Его поразило тепло каменных плит... Может быть, это тепло ее ног?..

В саду Каяма из восьмидесяти плит сада Аобадай были выложены разбегавшиеся веером три дорожки, и Каяма потерял из виду белую фигуру. Придя в себя, он увидел, что стоит у голубого камня. Шагнув к нему, он хлопнул в ладоши, как обычно зовут у пруда карпов, и услышал эхо, отозвавшееся из глубины камня. И вдруг вновь зазвучали за спиной каменные плиты. Каяма вспомнил, как Судо говорил ему, что погибших женщин было пятеро. «Может быть, это одна из пяти? — с трепетом подумал он, и перед его глазами вновь возник старый чайный домик, похожий на завалившийся амбар.— Может быть, к домику ходила только одна из пяти женщин?.. Именно та, которая появилась сегодня?»

— *Слышите?*

— *Что?*

— *Ну, раз не слышите...*— вспомнил Каяма свой разговор с Судо. Вряд ли сегодня за ним приходила его жена,

умершая более десяти лет назад. Нет, фигура этой женщины была совсем другая — похоже, это молодая девушка. Каяма раздирали сомнения.

7

Каяма исполнилось семьдесят лет. Теперь большую половину дня он рассеянно проводил в шезлонге на веранде, иногда погружаясь в дремоту. Он часто думал, что хорошо бы вот так же легко, без страданий покинуть этот мир. Сад, раскинувшийся на двухстах цубо, по-прежнему радовал его своей пышной зеленью, но в глубине души уже давно затаилась какая-то тревога. Каяма хорошо понимал, что от этого ощущения ему уже не избавиться.

С хозяйственной сумкой в руках Каяма выходил на улицу, где его оглушал шум многочисленных автомобилей, и нетвердой походкой спускался вниз к магазину. Замечая среди покупателей мужчин примерно своего возраста, он отворачивался. Отворачивался инстинктивно, съеживаясь от мысли о том, какое жалкое зрелище являют собой старики. Им не нужна роскошная мебель или антикварные вещи. Полупустая хозяйственная сумка в руках семидесятилетнего старика — нет, такое сочетание, пожалуй, вызывает не только жалость, но где-то и смех.

Аппетита у него почти не было. И если сад, казалось, разросся вдвое, то сам Каяма стал вдвое тоньше. Каждый раз в его сумку ложились одни и те же продукты: хлеб, масло, яйца, фрукты, зеленый чай — список был небольшим. Он считал, что и этого вполне достаточно, ибо, чтобы сократить обременительные хлопоты, относился к еде небрежно.

Изредка у него появлялось желание поесть настоящей японской еды, но он отгонял от себя эту мысль и довольствовался самым малым — опять же потому, что все это ему было безразлично. Три раза в день ел одно и то же, потом сократил еду до двух раз, а в последнее время и вовсе до одного. Только воды пил много: она заменяла ему пищу. За покупками Каяма выходил не каждый день, поэтому нередко ел хлеб, уже начинавший издавать запах плесени.

Ложился он с заходом солнца. Просматривал вечернюю газету, читал некоторое время старые книги, до тех пор пока не начинал чувствовать тяжести в веках. Тогда он закрывал книгу и думал, что хорошо бы вот так тихо отойти в мир сна... Но чаще он лежал в темноте с широко откры-

тыми глазами, дожидаясь наступления утра: ему было тяжело дышать, он покрывался потом и боялся сомкнуть веки.

В этот год женщина в белом вновь начала приходить к нему по каменным плитам садовых дорожек. Она стала появляться все чаще, и всякий раз Каяма спешил за ней в сад. С бьющимся сердцем шел он следом, слыша, как громкий голос в душе зовет и зовет эту женщину, пока, словно устыдившись чего-то, не останавливался в нерешительности... Женщина в белом всегда исчезала. И всегда в одном и том же месте — где-то за голубым камнем...

На щеку Каяма упала капля. Нет, это была не слеза. Откуда-то поднималась к глазам неясная боль, рождавшая эту скупую влагу. Ему вдруг пришло в голову, что торговец камнем тоже умер, как и Судо, побежденный сакэ.

«...Если ты жив, почему же не приходишь? Мне так хочется вновь увидеть тебя, твоего сына...»

В темноте плеснул на поверхности пруда серебристый карп и вновь исчез в поднятой им волне. По воде широко пошли темные круги. Там, в глубине, привольно плавали рыбы. Каяма замер, не в силах отогнать от себя волнующее видение женщины в белом. Ему казалось, что вот так, не двигаясь, сидит он на этом камне уже сотню лет...

8

Неожиданно Каяма увидел перед собой сына.

— А сын торговца?

— Что?

— Нет, ничего, я просто думал о другом... Когда ты пришел?

— Да уже давно. Ты болен, отец?

— Мог бы иногда и навестить меня, если это тебя беспокоит. Сколько раз в год ты бываешь здесь?

— Раза четыре, наверное...

— И считаешь, видимо, что этого достаточно?

— Да нет, но как-то уж так получается...

— Жена здорова?

— Ничего.

Каяма только что закончил свой нехитрый ужин.

— Пришел бы чуть пораньше, поужинали бы вместе.

— Теперь уж в другой раз.

— В другой раз... Ты действительно так думаешь?

— Конечно.

— В другой раз... В другой раз меня уже не будет.

Каяма попытался представить, о чем думает сейчас его сын и что бы он мог ему ответить.

— *...Ему ведь уже много лет... Очень много.*

— *Но я жил не для того, чтобы услышать такие слова.*

— *Чего он хочет?.. У него такое грустное лицо. Ведь сейчас он может иметь все, что ему нужно.*

— *Да, я когда-то действительно чего-то хотел. Но теперь мне уже семьдесят... А вот для тебя у меня кое-что есть.*

— Есть ли у тебя какое-нибудь желание? — спросил Каяма.

— Да нет, пожалуй, особых желаний нет.

— И деньги не нужны?

— Деньги нужны всегда, сколько их ни имей.

— Как раз об этом я и хочу с тобой поговорить. Денег-то, правда, у меня уже нет, но есть кое-что другое. Недавно я приготовил для тебя вот это.

Из ящика под книжной полкой Каяма достал конверт из пергаментной бумаги и положил его на колени сына.

— Что это?

— Открой — узнаешь. Не надо спрашивать.

Сын, едва лишь взглянув, сразу же вернул конверт Каяма.

— Не нужно?

— Деньги нужны всегда, но этого я взять не могу.

— Ты понял, что там написано?

— Это страховка от несчастного случая при автомобильной катастрофе.

— Если со мной что-то произойдет, сумма увеличивается в десять раз. Ты ведь знаешь, что самая высокая смертность среди пешеходов — именно среди семидесятилетних стариков и детей. Взнос — пятьсот тысяч иен, страховку же ты получишь в размере пяти миллионов.

— Я же сказал, что не могу этого взять.

— А вдруг я выйду на улицу, случайно споткнусь и упаду? Секунда — и я под машиной. Может ведь такое случиться?!

— Перестань, этим не шутят!

Лицо сына вспыхнуло от стыда. Увидев, что он смутился, Каяма почувствовал какую-то сладостную боль, она как бы подталкивала его совершить это безумие. Впрочем, ему было все равно — безумие это или трезвый расчет.

— Я не меняю своих решений. Так что возьми этот документ себе. В конце концов, все равно тебе от этого не уйти.

...Вдруг перед глазами Каяма всплыл огромный заброшенный сад в Аобадай; фигуры хлопочущих садовников и рабочих, выкапывающих камни, показались ему далекими призраками.

«Как знать, наверное, и мой сад придет в запустение. Построят вместо него какой-нибудь жилой дом или многоэтажный офис...»

Каяма заговорил тихим хриплым голосом:

— Может, ты сам соберешь камни в саду и продашь их. Их привезли сюда десять лет назад, но им — пять тысяч лет. Это живые камни. Я уже умираю. Деревья, вероятно, тоже погибнут, ведь воздух Токио — это уже не воздух.

Сын, казалось, был неприятно поражен услышанным. В это мгновение за спиной его промелькнула какая-то белая тень.

— Женщина!

— Ты о чем?

— Стоило мне только подумать о том, чтобы продать камни, как она сразу же появилась...

— Да о чем ты?

— Женщина! Она появляется иногда здесь, тоскуя по камням в саду. Это девушка в белом кимоно... Когда-то в большом особняке Аобадай жила молодая женщина. Но, к несчастью, пришла война, и она сгорела вместе с домом. Те камни — из ее сада. Наверное, она каждый день ходила по плитам к пруду и задумчиво сидела там. Затем вновь возвращалась по ним, входила в старый чайный домик и готовила там чай...

Прошептав эти слова, Каяма закрыл глаза. Темнота приближалась, и радость постепенно охватывала его, ибо глаза, уже привыкшие к этой темноте, начинали ощущать теплоту едва различимого света...

Ёко Такахаси

Я ЛЮБЛЮ ДОЖДЬ

Хорошо бы видеться с ним хотя бы раз в неделю, подумала я. А сегодня уже десятый день, если считать с нашей последней встречи. И все это время не переставая льет дождь.

Из-за дождя теряешь представление о днях недели. Ни за что не скажу, какой сегодня день. В моей комнате нет газет. А календарь висит еще с прошлого года. И то только потому, что мне нравится картинка на нем.

Картинка эта — так, пустячок, на ней изображена спящая на стуле кошка. Мне нравится белая шерстка у нее вокруг глаз. Глаза прищурены, точно от яркого света, мордочка покоится на мягких лапах.

Он тоже любит кошек,— вдруг вспоминается мне.

— А собак, значит, не любите?

— Не люблю.

— Почему?

— Они подхалимничают перед человеком.

— Стало быть, и людей такого рода вы не любите?

— Не люблю.

— Но ведь и мне не чуждо стремление угождать другим.

— Раз ты сама в этом признаешься, это не вполне так.

Возможно, он прав. Потому что все эти дни я продолжаю его ждать. Из дому вовсе не выхожу — наверное, из-за дождя. Порой я даже со страхом думаю, уж не является ли мое добровольное затворничество своего рода манией? Но, во-первых, ожидание мне приятно, а во-вторых, встречаться с людьми просто для того, чтобы развеяться, слишком обременительно.

Позавчера явилась Макико и сказала:

— Что ни говори, вы не подходите друг другу.

На мой вопрос, что это значит, пояснила:

— Если быть до конца откровенной, у вас нет перспектив.

© Takahashi Yoko 1981

«Если быть до конца откровенной»... Какая бестактность! Я все меньше понимаю ее. Макико — из тех людей, что торопятся с выводами. И сами же их смакуют.

Капли дождя скатываются по стеклу.

Однажды мы с ним наблюдали такую же картину. Когда это было? Ах да, мы ехали в машине.

Он попросил меня остановить машину. Я остановилась у парка. Он сказал, что мешает стук «дворников». Я выключила «дворники». И тогда вокруг внезапно воцарилась тишина. В этой тишине было даже что-то пугающее. Ночь, никаких прохожих, лишь падают дождевые капли. В ту ночь он сказал:

— Я люблю дождь.

Прежде я никогда не задумывалась, люблю дождь или нет. Если уж на то пошло, с дождем для меня были связаны некоторые неудобства, только и всего. Но теперь, глядя на капли, падающие на ветровое стекло, я почувствовала, что дождь загадочным образом манит меня. Я поняла, что дождь — красив.

Спустя некоторое время откликнулась:

— Я тоже люблю дождь.

Возможно, слова Макико попали в цель. Она допустила бестактность, но я не сержусь. А может быть, даже хочу, чтобы она меня побранила.

Я жду. Но чего? Разумеется, жду его, но что, в конце концов, мне от него нужно?

Встретились мы в поезде. По воле случая наши места оказались друг против друга, и поэтому было бы неестественно, если бы мы лишь обменивались взглядами и ни о чем не говорили.

Мы перекинулись несколькими короткими фразами. Откуда вы? Куда едете? Чем занимаетесь? Простите, а сколько вам лет? Наверное, чуть больше двадцати? Ничего интересного, значительного в нашем разговоре не было.

Когда мы подъехали к Токийскому вокзалу, я почувствовала страшную жажду. Выброшенная на платформу одновременно со звуком вырывавшегося из-под вагона сжатого воздуха «шу-у», я со всех ног помчалась к крану с питьевой водой. Вытянувшись на цыпочках, точно ребенок, стала прихлебывать струящуюся из крана воду.

И тут я почувствовала на себе чей-то взгляд. Не разги-

баясь, подняла от крана лицо и увидела, как он стоит и разглядывает меня. Все это длилось какой-то короткий миг, но мне показалось, что прошла бездна времени. Позабыв закрыть кран и не отирая губ, я уставилась ему в лицо.

Он подошел.

— Я временно живу в Камакуре. Сейчас пересяду на линию Йокосука и поеду туда. Дом у меня совершенно пустой, и мне очень одиноко. Не могли бы вы приехать ко мне погостить? — С этими словами он вложил мне в руку маленький клочок бумаги. И, уже сделав несколько шагов прочь, добавил: — Да, я забыл сказать о кошках. У меня есть кошки. Целых четыре. Я как раз еду их кормить.— И, едва улыбнувшись, он направился к лестнице.

Окликнуть его было уже поздно. Развернув зажатый в ладони клочок бумаги, я увидела обрывок какой-то рукописи, а поверх него номер телефона.

Какая навязчивость! — подумала я, но на душе отчего-то сделалось радостно.

В поезде мы обменялись лишь немногими словами, но что-то в нем неотступно преследует меня. То ли его взгляд, как бы очерчивающий контуры моей фигуры, то ли манера говорить, как бы заранее зная, что скажет в ответ собеседник, а может быть, просто всегда привлекающая меня в людях форма несколько удлиненного лица. Вполне возможно, что все это вместе или, наоборот, что-то совсем иное.

Не знаю. Странный человек. Впрочем, одно мне ясно.

То, что он неверно определил мой возраст. Дело в том, что с первого взгляда никогда не поймешь, сколько мне лет.

Поездка к нему была лишь вопросом времени. Без сомнения, меня тянет к нему. Тот бесформенный клочок бумаги, обрывок какой-то рукописи, порхает в моем сердце. Быть может, следует смело покориться? Главное, особенно не размышлять, не размышлять. Все будет хорошо, говорю я себе.

Нужно только набрать номер. И сказать всего одну фразу: «Мне и правда захотелось взглянуть на море».

Но ведь я ничего о нем не знаю, кроме его имени, не знаю даже, сколько ему лет. Я уже начинаю забывать его лицо. «Никогда не следует сразу же откликаться на приглашение,— говорила Макико,— мужчины от этого наглеют». Но ведь так считает она. Ей хорошо. Взяла на вооружение несколько готовых формул и применяет их в зависимости от ситуации.

А у меня незыблемых принципов нет. Их и не может быть, когда поступки рождаются из опыта.

А-а, дрожь все не унимается. Что же это такое!

Летний ветерок освежал. Давно уже не случалось мне ездить в одноместном купе, и жесткость сиденья была приятна. Пустой вагон. Как раз подходящее место, чтобы все хорошенько обдумать. «Такова сила обстоятельств»,— говорю я проплывающему за окном пейзажу.

Будто оправдываясь перед собой за то, что одного маленького клочка бумаги было достаточно, чтобы я сорвалась с места.

После Офуна зелени становилось все больше. Поглощенная рассматриванием мелькающих за окном картин, я снова сказала себе: «К тому же еще и пейзаж».

Под этим словом я разумею все, так или иначе связанное с его образом. Час сумерек, когда мы с ним встретились, плеск водопроводной воды, наконец, этот обрывок рукописи. Все совпадает в какой-то верхней точке. Сейчас я на вершине — и уже готова полюбить.

И вот я еду в город на берегу моря. Не значит ли и это, что я просто-напросто охмелела от окружающего меня пейзажа? Пытаюсь выдавить из себя не очень-то радостную усмешку.

Но все эти мысли занимают лишь частичку меня. На самом же деле я испытываю даже страх от собственного решения, настолько мной владеет чувство неуверенности.

Поезд плавно останавливается. Порывистым движением поднимаюсь с места и лениво выхожу из вагона. Сквозь прищуренные глаза вижу, как под лучами летнего солнца уже белесо сверкает пространство по ту сторону выхода. Из-за этого сияния фигуры ожидающих как бы скрадываются и предстают в виде силуэтов. Ищу глазами его. Виден человек с поднятой рукой. Похоже, что это он, но выглядит заметно похудевшим. Возможно, из-за прилипшей к телу майки.

— Ждали? — спрашиваю я напрямик.

— Нет.

Услышав этот ответ, впервые начинаю как следует его разглядывать На сей раз он одет совсем легко. Можно подумать, он только что из ванны. Майка и тоненькие джин-

сы, на ногах — гэта [1], в руках большой светло-коричневый бумажный пакет.

— Вот, по пути на станцию зашел за покупками,— смущаясь, объяснил он.

Медленно поднялись по бегущей вверх дорожке. Вот и его дом. Послеполуденное время. Полная тишина, только постукивание его гэта по мостовой.

— Видишь эти строения? Они пустуют. Здесь предполагалось открыть летний курорт.

Элегантные домики стоят с закрытыми ставнями и выглядят довольно уныло.

— А ведь сейчас как раз летнее время.— Я стараюсь представить себе незадачливых предпринимателей, которых обстоятельства вынудили забросить едва начатое дело.

— Ой, иди скорее! Отсюда видно море.— Вытянувшись на цыпочках, он машет мне рукой.

Оглядываясь назад, туда, где должно показаться море, я поднимаюсь вверх — за силуэтом города на линии горизонта показывается искрящаяся поверхность воды.

— Со второго этажа в доме тоже видно море, но отсюда оно красивее.— Он положил на дорогу свой большой пакет, уселся на середине склона и закурил. Я присела рядом и стала глядеть на море. И тут, перебежав дорогу, передо мной остановилась белая кошка.

— Малышка, Малышка, я купил еду.

— Ну и кто же он, этот человек? — со свойственной ей прямотой спрашивает Макико.

— Как тебе сказать? Он что-то пишет.

— А-а, стало быть, писатель?

— Не знаю.

— А что он пишет?

— Ну-у...

— Этого ты тоже не спросила. Дурочка.

Когда мы встречаемся с Макико, разговор наш всегда получается таким. Хотя между нами разница всего лишь в год, она постоянно меня поучает. И не потому, что я отношусь к ней как к старшей сестре, а она ко мне — как к младшей сестренке. Просто в соревновании за главенство, которое всегда бывает между подругами, я без борьбы выбрала поражение. Кажется, это вполне устраивает нас обеих.

[1] Гэта — японская национальная обувь на высокой деревянной подошве.

— У тебя сейчас, похоже, много свободного времени.
— Да...
— На репетиции ходишь?
— Редко.
— Почему? Ведь ты все перезабудешь.
— Да уже наполовину перезабыла.
— А как твоя работа?
— Ничего, понемножку.
— Ну и беспечная же ты!
— Похоже, так оно и есть.

Я вдруг перевожу взгляд на окно. Кажется, там, за красивым газоном, бассейн. Словно не в силах больше ждать наступления вечера, готовится к открытию пивной бар.

— Ты часто останавливаешься в этой гостинице? — На сей раз спрашиваю я.

— В общем-то, да, ведь мой знакомый круглый год снимает здесь для меня номер. Послушай-ка, а насколько он тебя старше?

— На двадцать четыре года. Ровно вдвое.
— Ничего себе, он же тебе в отцы годится.
— Да нет, он скорее напоминает ребенка.

— Я старше тебя в целых два раза! — радостно говорит он.

Для меня это обстоятельство абсолютно безразлично, у него же оно вызывает бурный восторг.

Мы поем разные песни. Мы выросли в разных городах. Мы читали разные книги. И это ему нравится.

— Какая песня сейчас в моде?

Я напеваю, а он хвалит:

— Хорошая песня, правда хорошая. Неужели есть такие хорошие песни? — И он старается ее запомнить. Говорит что-то вроде того, что слова ему понравились. И все-таки ни одной песни целиком он так и не выучил. Просто напевал какой-нибудь запомнившийся ему куплет. «Легкая пена исчезла, точно любовь...» — мурлычет он себе под нос и, будто спрашивая: «Ну как, получилось?» — ждет моей реакции.

— Правильно. Мелодия чуточку иная, но со словами все в порядке.

Выслушав мой ответ, он всегда виновато улыбается.

— Подожди-ка, в этой песне должно бы быть «точно щенок».

— Где?

— А вместо слов «точно любовь» [1].

— Да, можно и так. И верно — «точно щенок» выходит интереснее.

— В самом деле, «точно любовь» — это как-то скучно. «Исчезла, точно щенок» — куда лучше.

Он явно доволен своей выдумкой.

Вкусы наши сходятся только в том, что касается этой единственной песни. Все остальное он не приемлет.

— Что это такое? Как можно слушать эти электрические звуки? — Особенно непримирим он к рок-музыке.

У него есть только одна пластинка, которой он дорожит: Моцарт. Квинтет.

— Что это?

— Ты слушай, слушай.— Он бережно опускает иглу на пластинку. В проигрывателе то и дело раздается какое-то потрескивание, из-за этого долгожданная музыка теряет свое очарование.

— Ну как? Не правда ли, нежнейшие звуки?

Мелодия и правда великолепна.

А вот проигрыватель совсем никудышный.

Но, как бы то ни было, поддаваясь его увлеченности Моцартом, я тихонько прикрываю глаза.

Прислушиваюсь и различаю кошачье мяуканье.

— В эту комнату входить нельзя.— По его тону чувствуется, что он знает, как обращаться с кошками.

По-видимому, второй этаж — запретная для кошек территория. За то, что им позволено свободно выходить на улицу через дырявую плетеную дверь в прихожей, здесь появляться им не разрешается.

Поднявшись в эту комнату, с обещанным видом на море, я тотчас же почувствовала, как у меня по коже пробежал холодок.

Наверное, причиной тому кровать. Она занимает почти всю комнату.

А может быть, дело в красках.

Голубые простыни и белые стены, да еще кое-где на стене, к которой придвинута кровать, серые от облупившейся краски пятна.

— Когда-то в этом доме жил иностранец. Мне показалось полной безвкусицей висевшее здесь огромное зеркало. Я его снял, и остались эти следы.

[1] В японском языке слова «любовь» и «щенок» близки по звучанию.

И все-таки ощущение озноба не пропадает. Быть может, это неловкость от того, что меня привели в спальню.

Подхожу к окну и смотрю на море.

— Погляди-ка, вот там виднеются красные тории[1].

— А-а, правда, стоят в воде.

— А вон там, у скал, хорошо ловится рыба.

— Вы увлекаетесь рыбной ловлей?

— Да.

Меня и во время разговора что-то подталкивает как можно скорее уйти отсюда. Чтобы справиться с неловкостью, я решительно поворачиваюсь и говорю:

— Давайте покормим кошек.

На кухне собрались все четыре кошки и, разом открывая красные рты, мяукали, выпрашивая еду. Он объяснил, как каждую из них зовут: вот слева Суити-пай, за ней — Попкорн, Мама, а это — Малышка. Все они белые, их почти не отличить друг от друга. Разве что по величине.

— Не пойму, как вы их различаете?

— Когда привыкаешь, начинаешь различать их по голосу. У Суити-пай самый красивый. «Тю-тю-тю»,— каким-то особым голосом сзывает он кошек. Не спеша раскрывает пакет и достает из него консервные банки. Одна, вторая, третья, четвертая...

— Неужели они столько съедают?

— Я сразу даю им помногу, ведь бываю здесь не каждый день.

Наш разговор в комнате наверху и о кошках занял не так уж много времени. Я перехожу в соседнюю с кухней комнату и начинаю не спеша ее осматривать.

Внезапно мне на глаза попадается фотография, стоящая в углу книжной полки. Он и какая-то женщина, оба улыбаются. У женщины длинные распущенные волосы, смуглая кожа. Сфотографирована она по пояс, но по выпуклости груди и линии плеч можно представить, что она довольно полная. Когда же сделан снимок? Прическа и очертания лица выдают в мужчине человека еще молодого. Беру в руки маленькую рамку и всматриваюсь в фотографию.

— Что ты рассматриваешь? — слышится его голос.

— Вот,— протягиваю ему снимок.

— О, это давнишнее фото.

— Ваша супруга?

— Нет.

---

[1] Тории — священные ворота в виде прямоугольной арки, которые устанавливаются перед синтоистскими храмами.

— И тем не менее близкий вам человек, не так ли?
— Почему ты так решила?
— Ну, такое впечатление складывается само собой.
— Вот как? Да, прежде она здесь жила.
— И кошки тоже?
— Да. Она крестная мать Суити-пай и Попкорна.
— А теперь?
— Мы расстались. Теперь она живет за границей. Умная была женщина.
— Гм, но красавицей ее не назовешь.
— Правда? Мне она кажется красивой.
— Вам нравятся такие женщины?
— Да в общем, нет. Но она была очень славная.

Это замечание звучит не очень-то деликатно. Неприятно, когда в твоем присутствии превозносят прежнюю возлюбленную, думаю я и возвращаю фотографию на место.

В этот миг он встает передо мной, как бы заслоняя фотографию, и пристально заглядывает мне в лицо. Когда наши глаза встречаются, он произносит:

— Ты понимаешь, что значит быть с человеком единым целым?

Растерявшись от столь неожиданного вопроса, я отворачиваюсь. Все это так внезапно, что я не знаю, куда деть глаза.

Он точно впивается взглядом в мое растерянное лицо, потом раздается его ласковый смех. Преодолевая неловкость, я тоже смеюсь.

— Я не понимаю, что это значит,— говорю в ответ.
— Скоро поймешь.

Обронив эту многозначительную фразу, он берет на руки одну из кошек и снова с помощью каких-то особых звуков созывает остальных.

Почему надо быть с человеком одним целым? Неужели отношения мужчины и женщины настолько сложны? — начинаю я мысленный разговор с самой собой. Скучно. До чего же они скучны, эти занятия в труппе!

В квадратной пещере десятки начинающих актеров томятся в ожидании своей очереди читать стихи.

Вот какой-то парень с бледным лицом приступает к чтению Рембо[1]. Что за голос! Как ему не стыдно? Неужели этот человек когда-нибудь держал в объятиях женщину?

---

[1] Артюр Рембо (1854—1891) — французский поэт-символист.

Тогда, в поезде, он сидел у окна и, не меняя позы, водил рукой вдоль оконной рамы. Поэтому у меня была возможность рассмотреть его пальцы. Тонкие, изящные пальцы. Я тогда подумала, что они красивы.

— Вы что будете читать? — Мои короткие воспоминания прерваны. Девушка, задавшая этот вопрос, уже давно нервно листает Бодлера [1].

— Волнуетесь?

— Кажется, следующая очередь моя.— Еще не успев договорить, она мгновенно преображается и, откашлявшись, начинает медленно читать.

Как только голос читающей достигал высокой ноты, ее плотно обтянутые джинсами бедра вздрагивали.

Наверно, тогда было точно так же. Мое тело то и дело вздрагивало. Он с настойчивостью прикасался ко мне, эта избыточность его ласк почти пугала.

Дотрагиваться до себя он не позволяет. Такое впечатление, будто это поединок, в котором нет противников.

Я протягиваю руку, чтобы погладить его волосы. Но моя рука лишь порхает в воздухе, а вниз опускается черная тень.

В этот миг собственное тело кажется мне невероятно вытянувшимся, а он словно бы манит меня рукой откуда-то издалека. И вслед за этим — одиночество.

Неожиданно мой взгляд улавливает кошку, с которой я уже знакома. Она сидит не шевелясь и внимательно рассматривает меня. Лишь иногда, клинообразно раскрывая рот, выплескивает на нас загадочные звуки.

Все перед глазами заволакивает туман, и в это время раздается пронзительный голос, декламирующий стихи.

Почему все они любят только европейских поэтов? Извергают какие-то непонятные слова, эти слова кружатся под потолком. А потом, когда чтецы с довольным видом закрывают свои книжки, эти бесцельные слова плюхаются на холодный пол.

При том, что его слова как раз остаются.

---

[1] Шарль Бодлер (1821—1867) — французский поэт, предшественник символизма. Автор сборника «Цветы зла» (1857).

В комнате потемнело, как будто внезапно наступил вечер. Это ливень. В одно мгновение на окно обрушились потоки воды. Со всех сторон слышатся возгласы: «Дождь?», «Ну и ливануло!»

Следующая очередь, кажется, моя. Хуже обстановки не придумаешь. Но делать нечего — и я начинаю.

— Из моей любимой книги...

Кто объяснил слепой девушке,
Что такое лунный свет?
Бетховен или Шуберт?
Сегодня ночью я не могу
Положиться на память:
Мне кажется, то был малыш Бетховен.
А может быть, все-таки малыш Шуберт?

Откуда-то доносится хихиканье.

— Знаешь, на днях я читала стихи Накая Накахара. Все смеялись.

— Почему?

— Там есть слова: малыш Бетховен, малыш Шуберт.

— Видимо, ты выбрала неудачные стихи. А что, от вас требуется чтение стихов вслух?

— Да. Нас заставляют делать и еще более забавные вещи. Например, читать Шекспира в образе слона.

— Как это?

— А вот как. Нам говорят: изобразите животное, все равно какое, и каждый из нас, перевоплотившись в какое-нибудь животное, произносит реплики из драм Шекспира.

— Слон — это Гамлет?

— Нет, куда хуже, слон — это Джульетта.

— Хотелось бы мне разок на все это взглянуть.

— Сначала нас разбивают на пары. Парень, воплотившийся в гамадрила, расчесывая себе грудь, изображает Ромео. А я, низко пригнув голову и лениво шевеля руками,— Джульетту. Ору: «О мой Ромео!» Несколько необычно, не правда ли?

— И в этой позе продолжаешь произносить свою роль?

— Да. Тем временем к голове приливает кровь и пол перед глазами начинает покачиваться. Но и тут звучит беспощадный голос: «Как, это и есть все движения слона?!» Ничего не остается, как лениво повалиться на пол, довольно больно стукнувшись боком.

— Ну а что дальше?

— Громкие аплодисменты. Оказывается, мне удалось с точным чувством меры передать ленивую повадку слона.

Сегодня я красноречива. Слова из меня так и льются. Наверное, причиной тому плывущие вдоль дороги пейзажи. Хотя время сумерек давно уже миновало, легкая синеватая дымка все еще окутывает деревья и поля. Впереди ни одной машины. Видно, это какая-то частная дорога.

— Какая прекрасная дорога,— замечаю я, старательно огибая небольшой бугорок.

— Посмотри-ка, вон там виднеется красная крыша.— Он показывает в направлении поросшего зеленью склона.

— Что это?

— Мотель. Прилепился в этом не очень-то удобном месте. Мне уже давно хочется туда заехать.

— Ну и что, до сих пор не заехал?

— Нет, каждый раз проезжал мимо.

— Отчего же?

— Просто не хотелось съезжать с этого прямого и такого удобного шоссе на пыльную дорогу среди полей. К тому же не поймешь, как туда попасть.

Когда смотришь в сторону мотеля, здешняя природа кажется искусной поделкой, будто на кусок зеленого бархата, имитирующий горный склон, кто-то нашил красные и белые треугольники крыш.

— Когда-то я жил в похожем месте, столь же уединенном.

— С женщиной?

— Да. Сначала мы жили в городе, но однажды она заявила, что ей, дескать, очень уж докучает шум. Ну ладно, мы переехали на окраину и поселились в многоквартирном доме. Но ей стало казаться, что соседки косо на нее смотрят. Пришлось нам перебираться совсем в захолустье.

— Но и это не помогло, верно?

— В общем, да. Не прошло и трех дней, как я взял да и сбежал.

— У-у, мне даже кажется, я знаю, как это было.

— Ну и как это было?

— Ты медленно бредешь по дороге. Возможно, это выражение не вполне точно, но после трех переездов с места на место трудно предположить, что ты спешил домой. Итак, будем считать, что ты лениво бредешь по дороге. И вот вдалеке маячат огоньки дома, где ждет женщина. Флюоресцентной лампы у вас, конечно, не было, поэтому к тебе при-

ближается свет голой электрической лампочки, напоминающий разбавленный водой апельсиновый сок. И тут ты останавливаешься.

— Почему останавливаюсь?

— Ну если представить себе, что в этом бледно-оранжевом свете сидит женщина и молча ждет твоего возвращения, становится немного страшно, так ведь? Она целый день заперта в доме. Она ни с кем не разговаривает, даже окон не раскрывает, лишь, вся покрывшись испариной, ждет тебя. Тебе становится страшно открыть дверь...

— Все это очень любопытно. Но на самом деле было чуточку иначе. Мне просто стало трудно возвращаться в тот дом. А женщина была забавная.

— В чем это выражалось?

— Когда я решил с ней расстаться, объяснение у нас произошло, как сейчас, в машине.

— Она сидела за рулем.

— Нет, мы ехали в такси.

— Неужели можно вести в такси столь щепетильный разговор?

— Так получилось само собой. Она была ужасна. Если бы она просто плакала или кричала, это бы еще ничего. «Вот кольцо, которое ты мне подарил!..» Она сняла его и вышвырнула в окно. «А вот туфли, тоже твой подарок. А вот еще кольцо и кулон!» Все это опять-таки полетело за окно, я не успел ее удержать. Потом дошла очередь до блузки, что была на ней. «Это тоже твоя подачка!» — злобно выкрикнула она и пригнулась, желая ее с себя сорвать. Тут мне наконец-то удалось ее скрутить, но она все еще сопротивлялась. Хотя я крепко держал женщину за запястья, блузка расползлась по швам и упала ей на колени. Тут я решил — хватит, пора остановить машину, но, оказывается, она уже и так стояла, а шофер в зеркало наблюдал за нами. Неприятные минуты.

— Ну а что было потом?

— Потом моя спутница, как была, выскочила из такси. А я кинулся ее догонять, лавируя между машинами, заполнившими улицу. Любопытные взгляды из окон автомобилей точно прилипали к моей спине, я готов был сквозь землю провалиться. А когда я обхватил ее за плечи, как бы укрывая со спины, я уже окончательно пришел в себя. Мне было мучительно даже окликнуть ее Это был конец.

— Гм-гм, ты приходишь в себя именно в такие минуты?

— Когда переступают известную границу. Что значит швырять вещи? Злостный выпад или истерика?

— Видимо, не то и не другое. Просто минутное настроение.

— Отчего так бывает?

— Просто бывает, и все. И со мной такое было. Правда, не настолько бурно. Произошло это довольно давно, еще в школьные годы. Мы катались по озеру в лодке с парнем, с которым я дружила. Из-за какого-то пустяка вспыхнула ссора. И я не задумываясь бросила в воду кольцо, которое он мне подарил.

— Ну а он что?

— Разозлился и какое-то время дулся на меня.

— Разве это не мило?

— Но первой пришла в себя именно я. Ведь кольцо тотчас же скрылось под водой. Все это произошло слишком быстро. Когда я заглянула в воду, мне сделалось так худо, будто из меня вдруг выкачали всю кровь.

— Вот как? Ну а это, пожалуйста, не выбрасывай.— Он надел мне на руку — и когда только припас? — золотую цепочку.

«Что это?» — спросила я одними глазами, не выпуская из рук руля.

— На днях я обнаружил эту цепочку в ящике стола. Это хорошая вещь.— Он осторожно защелкнул застежку и с довольным видом погладил меня по руке.

Я поднесла руку к лицу, чтобы получше разглядеть подарок. Тонкая цепочка, в нескольких местах к ней приделаны круглые жемчужины. Когда опускаешь руку, жемчужины приятно скользят по коже.

— Кажется, она тебе чуть великовата,— сказал он.

Как-то меня приняли за его жену. Это случилось меньше чем через месяц после того, как я стала приезжать в этот приморский город. Коротать в одиночестве послеполуденное время летом совсем не плохо. Воздух здесь прохладнее, чем в Токио,— чувствуется близость моря. Сразу сбрасываешь с себя добрую половину одолевающих тебя в городе дел и забот.

Послушаешь пластинку, почитаешь книжку, покормишь кошек, глядишь — и день подходит к концу.

В один из таких солнечных дней сквозь дрему я вдруг услышала стук в дверь.

Короткое «тук-тук-тук», и снова, как бы проверяя, слышу я или нет: «тук-тук». Стучат так, словно знают наверняка, что в доме кто-то есть.

Кто это? Ведь о моем пребывании здесь никому не известно.

Не без колебаний подхожу к парадному.

— Госпожа, госпожа, это Исахая,— поторапливает меня голос, как видно принадлежащий торговцу.

Поворачиваю ручку и чуть приоткрываю дверь — передо мной возникает добродушный человек лет пятидесяти, его лицо залито лучами летнего солнца.

— Значит, вы, госпожа, снова сюда приехали...— На нем синий передник. Судя по всему, он хозяин винной лавки. Он низко мне кланяется, как и подобает торговцу.

— Вот дюжина пива и три бутылки сакэ, как вы заказывали.— Он снова обращает ко мне сияющее лицо.

Я мычу в ответ что-то неопределенное.

— Да, деньги я уже получил, так что не беспокойтесь. Ну и жара стоит! Замучишься, пока сюда к вам поднимешься.

Он непринужденно помотал головой, но, когда наши взгляды встретились, стал прощаться уже снова в свойственной торговцам манере.

— Если вам еще что-нибудь понадобится, пожалуйста, заказывайте по телефону,— произнес он несколько натянуто, устало закинул ногу на стоявший позади велосипед и уехал.

— Послушай, ну и что же ты почувствовала, когда тебя приняли за его жену?

— Как тебе сказать, какое-то странное ощущение... Неловкости, что ли...

— Может быть, у него и в самом деле есть жена?

— Нет. Он ведь говорил, что они расстались.

— Ну, это было давно. У него наверняка и теперь есть жена где-нибудь.

У Макико снова заблестели глаза. Когда она ради забавы строит свои умозаключения и сама же упивается ими, у нее всегда бывает такое лицо.

— Точно. Иначе и быть не может. Ведь он живет не только в Камакуре. Ты сама говорила, что в Токио у него есть комната, где он работает... Одним словом, получается...

— Ты ошибаешься. Это не так. Я знакома с его друзьями, я вижу его отношение ко мне. Быть может, у него и есть какая-то женщина. Но она ему не жена.

— Не жена... Хм, любопытно.

Возможно ли, что у него есть женщина? — снова размышляю я. Во всяком случае, женой ее не называют. Это ясно из общения с его друзьями. Они ни разу не произнесли этого слова.

И все же какой-то намек на существование другой женщины явно существует. Правда, пока мне это подсказывает всего лишь чутье. Но я почему-то не испытываю огорчения. И ревности тоже. Скорее всего, потому, что эта женщина — сплошная неизвестность. Я не могу ее себе представить. Ни ее лица, ни прически, ни возраста, ни голоса. В ней нет ни одной конкретной черточки. К чему же тогда ревновать?

Наши с ним встречи происходили в соответствии с раз и навсегда заведенным порядком. Редко бывало, чтобы я одна приезжала в Камакуру, а он появлялся вслед за мной. Обычно мы встречались вечером в одном из баров в Токио и уже оттуда ехали вдвоем.

Иногда мы добирались поездом, но чаще всего пользовались машиной, которую я одалживала у Макико.

Место нашей встречи опять-таки было раз и навсегда определено. Это был небольшой бар чуть поодаль от Роппонги: стойка, два кабинета на четверых да полная дама — хозяйка.

Посетители, как видно, собирались поздно, так что сразу после семи там можно было застать одну хозяйку, которая от нечего делать потягивала сакэ.

Как правило, я появлялась в баре именно в эту пору и, открыв дверь, слышала всегда одно и то же:

— А-а, заходите, пожалуйста. У вас сегодня назначена встреча? — Затем она добавляла: — Когда я открыла этот бар, первым моим посетителем стал ваш знакомый.— Говорить о нем с одобрением, по-видимому, тоже вошло у нее в привычку.

— Одолжи машину, а?

— Опять? Ладно, бери. Правда, сегодня я как раз собиралась ехать домой. Но ничего не поделаешь, могу и на сей раз остаться в гостинице.

Макико всегда охотно дает свою машину. Наверное, оттого, что это подарок, выклянченный у любовника, она не особенно дорожит ею. По полмесяца Макико живет в гостинице в Токио. Номер для нее снимает все тот же ее возлюбленный в течение всего года.

— Знаешь, а мне хотелось бы как-нибудь встретиться с твоим ухажером.— Макико неожиданно придвигается ко мне.— В самом деле, я постоянно даю вам свою машину. Должны же у меня быть хоть какие-нибудь права! Встречусь с ним и выскажу тебе свое мнение о нем.

— Хорошо. Как-нибудь,— говорю я и поскорее выхожу из комнаты.

Завожу машину. Вместе со звуком включившегося мотора мне передается вибрация. Испытывая на себе эту вибрацию, понимаю, что мое тело подчиняется какому-то совсем иному ритму. То же самое ощущение, когда мы с ним соприкасаемся кожей. «Нашла время думать об этом»,— ворчу я и потихоньку трогаюсь с места.

Однажды я услышала рассказ о том, как падает ветер. Ночь, кругом полная тишина, он лежит рядом и ведет неспешный, слово за словом, рассказ. Его голос звучит на редкость убедительно.

— Это неправда.

— Нет, правда. Здесь как раз середина горы, и в этом месте собирается весь ветер с моря. Днем он гнездится между деревьями, а с наступлением ночи с шумом падает вниз.

— Все это неправда. Ну хорошо, когда он падает, что слышно?

— Раздается страшный грохот.

— Неправда, неправда, неправда! Этого не может быть!

— Нет, это правда. С особой силой он обрушивается в ветреные дни.— Все это он говорит с серьезным видом, бесстрастно отметая мои возражения. Сейчас его лицо кажется мне смешным, и, уткнувшись в подушку, я давлюсь от смеха.

— Вот здесь море,— говорит он, пробегая ногтями по моей спине.— А сюда падает прилетевший с моря ветер.— Теперь его тон становится шутливым. Каждый раз, когда его жесткие ногти касаются ложбинки на спине, она покрывается гусиной кожей.

— Море заволновалось? — тихонько спрашивает он и, прижав ладони к моим лопаткам, ждет, когда начнется отлив.

— Знаешь, когда-то один человек, увидев, что на плечах или груди у меня появилась гусиная кожа, решил, что его нежности мне неприятны, и на полпути отступился.

— Ну и что же потом?

— Ничего. Отступился — и все тут.

На сей раз громко смеется он. Продолжая лежать ничком, я поворачиваю голову и смотрю на него. Никогда прежде не видела, чтобы он так смеялся.

Из разлитого в комнате полумрака выплывает его грудь. У мужчины грудь вовсе не должна быть могучей, мне куда милее, если она белая, гладкая, даже чуть впалая, решаю я для себя.

— Послушай, ты ходишь к морю?

— В этом году еще ни разу не был.

— Грешно жить рядом с морем и не бывать там.

— Именно оттого, что оно близко, я и не хожу. Впрочем, завтра мы можем покататься с тобой в лодке.

— Стало быть, завтра мне можно не уезжать в Токио?

От возможности быть с ним целых два дня я становлюсь счастливой и беззаботной. В только что купленных резиновых сандалиях и соломенной шляпе иду по торговой улочке напротив станции Дзуси. В поисках нового купальника заглядываю в витрины. Немного неловко просить мужчину помочь в выборе купальника.

— Этот, кажется, ярковат.

— Да, в самом деле.— Я сразу же направляюсь к следующей лавочке. Он идет за мной, ослепительно улыбаясь.

— Вообще-то так не поймешь, надо примерить.

— Нет, ни за что. Я совсем незагоревшая. Сейчас мне ничто не пойдет. Нет уж, не стану я надевать купальники в этой примерочной, да еще при дневном освещении.— Я произношу эту тираду уже почти сердито.

— Ну зачем же делать такое грозное лицо? — Он глядит на меня, словно я маленький ребенок, которого нужно успокоить.

Временами он обращает ко мне такую вот улыбку. Когда я прихожу в отчаяние от затора на дороге, когда пьянею от небольшого количества сакэ, когда ради забавы принимаюсь писать. Что, я настолько занятна? Настолько ребячлива?

Вообще-то он часто об этом говорил. Мол, когда я смеюсь, становлюсь похожей на мальчика-подростка. А понравилась я ему тогда, когда в день нашей первой встречи пила воду. Он сказал, что я выглядела очень трогательно, потягивая воду из крана с какой-то детской непосредственностью. Так ли это? Так ли это?

Наконец облачаюсь в синий в полоску бикини. Я выбрала именно бикини, и не без умысла. Надень я обычный за-

крытый купальник — и вот она я, та самая, которую он держит в объятиях.

В этом бикини усаживаюсь в лодку, но не защищенные узкой полоской ткани бедра и ноги кажутся какими-то странно белыми и, точно они не принадлежат мне, бесстыдными.

Солнце манит к себе тело. Я сижу напротив него и, изо всех сил упираясь в лодку руками и ногами, стараюсь удержаться в устойчивом положении.

Глядя на меня, он изящно перебирает веслами.

— Почему бы тебе не раздеться?

— Не хочу плавать.

На нем та же одежда, в которой он бродил со мной по торговой улочке,— майка с отпечатанным на ней флагом какого-то иностранного государства и закатанные до колен брюки из тонкой хлопковой ткани. Но почему у него такой хмурый вид, столь не вяжущийся с этим солнцем? Впрочем, он изо всех сил настраивается на мою волну.

Я не без вызова взбиваю воду рукой. Поднимаются брызги. Он обеими руками закрывает лицо.

Возможно, он не умеет плавать. Нет, просто не хочет раздеваться.

На воде перед нами покачиваются ослепительные в своей наготе обнаженные тела.

Он смотрит на меня с сомнением и говорит:

— Если ты опалишь кожу, вечером не сможешь пошевелиться.

— Не волнуйся. Вот подплывем к той скале — и я нырну в воду. Если время от времени смачивать кожу водой, она не обгорит.

Я люблю звуки в воде. Когда, затаив дыхание, бросаешься в воду, уши сначала пронзает какой-то металлический звук. Но стоит нырнуть поглубже, как давление на ушные стенки доходит до предела, и кажется, что ты балансируешь на грани жизни и смерти.

Тогда выпускаешь из ушей воздух и в тот же миг снова испытываешь нестерпимую радость.

Делается это так: одной рукой зажимаешь нос, рот закрыт, скопившийся в горле воздух выталкиваешь через уши.

Небольшое усилие — и в ту же минуту вместе со звуком, напоминающим хлопок, выходит воздух. И тогда боль

в ушах проходит, и ты как бы растворяешься в голубой воде.

Вода с беспредельной нежностью обволакивает тело. Каждый волосок на коже пританцовывает. Мелкие пузырики воздуха пробегают по коже. Провожу по телу рукой. Искрящаяся пена разлетается во все стороны.

Совершенно освоившись в воде, можно потихоньку перевернуться на спину. Руки и ноги движутся в воде свободно, точно водоросли. Подобно рыбе, делаю на дне мертвую петлю. Из легких выходит последний воздух, и я опускаюсь на песок.

Приятно, когда спина касается песка. Его поверхность гладкая, прохладная.

Смотрю вверх. Там, на поверхности воды, покачиваются солнечные лучи. Этот расплывчатый пучок света, подрагивая, скользит по воде — туда-сюда.

Водоворот лучей проникает в воду и постепенно доходит до меня.

Протянув к нему руку, резко взмахиваешь ею — и тогда с каким-то странным звуком: «фокон-фокон» — возникают самые разнообразные пузыри, крупные и мелкие.

Они цепляются ко мне и вскоре, вырастая и вытягиваясь, взвиваются ввысь. Смотрю им вслед, и такое чувство, будто погружаюсь в сон.

Там, наверху, он, наверное, со скучающим видом перебирает веслами. Растворившись в воде, их всплески доходят до меня уже каким-то невыразительным хлюпаньем.

Пока я вот так резвлюсь в воде, он сидит в лодке и, наверное, от нечего делать курит.

Когда из этого подводного мира смотришь вверх, почему-то люди на берегу представляются какими-то гротескными существами с возмущенно поднятыми плечами.

Милый, ты, наверное, не знаешь: вода — это сон. Этот мир — сон. Иначе разве могли бы безрукие и безногие рыбы вести здесь свою утонченную жизнь?

Ты, сражающийся на земле. Я хочу, чтобы после смерти ты стал водой. Здесь спокойно и тихо.

Да, ты будешь тихо жить здесь, под сенью скалы. А я время от времени буду к тебе приходить.

Ты будешь открывать рот и проглатывать принесенный мною корм.

Когда-то мы с тобой ходили в океанарий. Глядя на темный аквариум с глубоководными рыбами, ты рассмеялся: какие у этих рыб веселые глаза.

У рыб детская душа. Чем глубже погружаешься в воду, тем более похожим на ребенка становишься.

Всякий раз, ныряя в воду, я молодею. Прямо пропорционально глубине, на которую опускаюсь.

В самом деле. С каждым новым движением вода привносит в мой дух все больше и больше детского. Голова постепенно освобождается от мыслей.

Интересно, какой мир я увидела бы, нырнув на сто метров?

Быть может, то, что видела, еще не родившись, когда находилась в материнском чреве?

Да, тебе тоже следовало бы когда-нибудь нырнуть глубоко-глубоко и почувствовать себя в материнском чреве.

Тогда тебе уже ничто не будет страшно.

Позабыв о времени, я недвижно лежу в воде.

В совершенно стихшей воде раздается какой-то гул. Как будто прокатилась волна. Меня подхватывает течение.

Даже теряя равновесие, я отчаянно стараюсь удержаться на месте, виднеющееся же вверху дно лодки перемещается, переставая быть для меня надежным ориентиром.

Надо же, здесь, под водой, куда спокойнее, чем там, думаю я, и в тот же миг у меня неожиданно сводит тело. Видно, я слишком долго задерживала дыхание. Мне страшно.

Что есть мочи отталкиваюсь от дна. Вода с невероятной быстротой выталкивает меня. Только что не говорит: прочь отсюда!

Я вверяю себя воде. Снова вскипает пена. А я продолжаю тихо молить бога о том, чтобы выплыть.

Сегодня по пути домой я купила маленький подвесной колокольчик. «Зачем тебе это?» — рассмеялся было он, но я настояла на своем, и теперь колокольчик висит под карнизом крыши и мелодично позванивает.

Подставляя ветру обгоревшую кожу, рассеянно гляжу в окно.

— Поешь чего-нибудь? — доносится из глубины дома его голос. Когда он так спрашивает, можно не сомневаться, что он уже занят делом.

— Все-то ты умеешь! — кричу ему в кухню.— Вообще-то сегодня и я могла бы приготовить еду.

— Ладно, тебе не нужно ничего делать. Сиди спокойно. Ну вот и готово.

Он появляется, величественно держа в руках тарелки.

Приготовив какое-нибудь блюдо, даже самое нехитрое,

он с гордостью ставит его передо мной, как изысканнейшее лакомство на свете. Даже если это просто лапша из пакетиков или яичница-глазунья.

— Надо есть, пока горячее.

Сегодня у нас в меню опять что-то приготовленное на скорую руку, но он употребил немало выдумки, покрошив в еду лука и колбасы. Стоит мне отправить в рот первый кусок, как он заглядывает мне в лицо и спрашивает:

— Ну как, вкусно?

— Вкусно, очень вкусно,— отвечаю я, еще не успев проглотить, и тогда он, улыбнувшись одними глазами, придает своему лицу обычное выражение.

Когда я остаюсь с ним, почему-то всегда так выходит. Ни разу не было, чтобы я приготовила ему еду или убрала в комнатах. Не то чтобы я не хотела — просто он не позволяет. Кроме того, мы ни разу не бывали вместе больше двух дней, а этого слишком мало, чтобы женщина могла почувствовать себя хозяйкой в доме. Во всяком случае, он во всем меня опережает. То говорит: «Можешь принимать ванну, вода уже согрелась». То сообщает: «Сегодня я постелил в дальней комнате, там будет прохладнее спать». А мне остается лишь произнести дурацкое: «Хорошо» — и воспользоваться его услугами.

Сидя перед зеркалом, Макико занимается своим лицом.

— Ну как на море? — спрашивает она, оборачиваясь ко мне.

— Замечательно.

— Это и видно. Вон какой у тебя красный нос.

— Неужели я обгорела? — Подхожу к Макико и заглядываю в зеркало. Два лица, совершенно несхожие между собой. Одно — покрытое белой пудрой, с отчетливыми очертаниями, другое — красновато-коричневое, мальчишеское. Намазанные помадой губы запорхали:

— Послушай, а ничего, что ты загорела? Ведь в вашей профессии это, кажется, запрещено.

— В таких пределах не страшно. Ой, до чего же у меня невзрачное лицо! — мрачно говорю я и усаживаюсь поглубже на диван. Не теряя ни минуты, Макико произносит:

— Ты не права. Если за тебя как следует взяться, ты будешь красивая. К тому же женщине необходимо бывать на людях.

— Что это значит — бывать на людях?

— Ну как тебе сказать? Бывать там, где тебя заметят.

Конечно, я не имею в виду, скажем, универмагов. Речь идет, например, о фешенебельных ресторанах. Впрочем, и эта гостиница сойдет. Здесь публика нарядно одета, но и на тебя тоже смотрят. Если постоянно бывать в таких местах, на тебе сам собой появится лоск.

— Ах, вот оно что...

— Конечно. Нужно, чтобы на тебя смотрели. Разумеется, наличие возлюбленного тоже очень важно, но это еще не все. Нужно находиться в поле зрения многих людей. Чем больше взглядов обращено на женщину, тем красивее она становится.

— Но такие женщины бывают несчастливы.

— Опять ты за свое! Что за ерунду ты городишь? Мы говорим о разных вещах. Ведь часто случается так: какая-нибудь певица-дебютантка, поначалу настоящая простушка, по прошествии нескольких месяцев становится такой красоткой, что ее и не узнать. Вот о чем я говорю.— Макико понесло, и все это время она без передышки накладывает косметику. Наконец с лицом закончено. Я уже не слушаю ее, просто наблюдаю за тем, как она одевается.

— Кстати, куда ты собираешься? — пытаюсь приостановить изливающийся на меня поток красноречия.

— На Гиндзу. Мы встречаемся в клубе. А оттуда пойдем куда-нибудь пообедать. Может быть, составишь нам компанию?

— Что ты! Посмотри, в каком я сегодня виде.

— Ничего, такой ты моему знакомому даже больше нравишься.

Вернувшись с моря, я не успела переодеться, на мне все та же широкая блуза из махровой ткани и вылинявшие джинсы. Когда я входила в гостиницу, швейцар даже покосился на меня.

— Между прочим, мой приятель, оказывается, как-то видел тебя.

— Да? Где же?

— На Акасаке, в заведении, где играют в патинко[1]. Сначала он решил было тебя окликнуть, но, во-первых, до этого он виделся с тобой всего только раз, и потом — ну не забавно ли? — он говорит, что у тебя было такое сосредоточенное лицо. Впрочем, вскоре тебе перестало везти, и ты ушла.

— Надо же, правда?

---

[1] Патинко — игральные автоматы с шариками, которые загоняют в лунку.

— Да. И вообще, во время всякой игры, будь то патинко или сцена, ты становишься невероятно серьезной, ну просто озадачиваешь своим видом.

— Неужели?

— Честное слово, посмотри как-нибудь на себя в зеркало. Между прочим, ты его тогда совершенно очаровала. Одета ты была в своем обычном стиле. Ты ведь любишь облачиться в мужскую рубаху и джинсы или надеть охотничью шляпу. Он говорит, что в своей мешковатой рубахе ты была похожа на мальчишку и...— ну просто очень мила.

Опять мальчишка? Мне это уже начинает надоедать.

Когда-то он сказал: «Я люблю дождь». И точно, всякий раз, когда мы встречаемся, становится пасмурно и сыро.

Нашим встречам больше пристал не безоблачный смех, а обмен пасмурными изучающими взглядами. Вернее, так стало теперь. Он оставил во мне глубокий след. Я ощущаю кожей даже его слова. И все-таки это разные вещи: тело, совершенно привыкшее к нему, и не поспевающая за телом душа.

Такой меня Макико не знает.

На дворе стрекочут цикады. Вот и осень пришла. С этой мыслью прижимаюсь носом к его плечу. Сейчас кажется, что ничего дороже этой тишины нет.

— Ты знаешь, о чем поют цикады? — шепчет он. Не меняя позы, отвечаю ему в плечо:

— Корокорокоро, ру-ру-ру-ру.

— Когда ты выдыхаешь сюда, щекотно.

— Но ведь правда, они поют: корокорокоро, ру-ру-ру. Кажется, больше никаких звуков не разобрать.

— Нет, прислушайся как следует.

Ничего не понимая, поднимаю лицо и спрашиваю взглядом. Он говорит:

— Ката-тотэ, сусо-тотэ, близка холодная пора — вот как они поют.

— Что это значит? — На сей раз спрашиваю словами.

— В старину люди ходили в кимоно, вот цикады и предупреждают, что скоро, мол, наступят холода.

— А что такое «ката-тотэ, сусо-тотэ?» [1]

— Ну как же, летом жарко, поэтому рукава одежды поднимают в плечах, а полы подворачивают. Оттого цика-

[1] «Ката» по-японски — плечевая часть кимоно, а «сусо» — подол.

ды и говорят: распусти складки на рукавах, спусти подол, ведь холода уже близки.

— Вот оно что? Интересно. «Ката-тотэ, сусо-тотэ, близка холодная пора». В самом деле, так оно и есть.

Когда произносишь это в одном ритме с голосами цикад, удивительно совпадает.

— Ката-тотэ, сусо-тотэ...— весело повторяю я.

— Так в старину говорили люди.

— А откуда ты это знаешь?

— Мне рассказала бабушка.

— А-а, значит, и у тебя была бабушка?

— Естественно.

— Странно, такое впечатление, что у тебя не должно быть ни бабушки, ни дедушки, ни отца с матерью.

— Почему?

— Просто так кажется.

— Что же, у меня такой вид, будто я один-одинешенек на свете?

Да нет, думаю я про себя, но вслух ничего не говорю. Просто вглядываюсь в его профиль.

В небольшом домике где-то в нижней части города он, еще ребенок, и его бабушка лежат рядом и разговаривают про цикад. Эта картина возникает у меня перед глазами, но сразу же исчезает. Его хорошо вылепленный профиль выдает обитателя верхней части Токио с его особняками.

Странный он — этот человек. Хоть и мужчина, а любит дождь, обожает кошек, слушает Моцарта.

К автомобилям совершенно равнодушен. Разумеется, водительских прав у него нет. Рукописями своими занимается от силы два-три дня в неделю. Держится с редким благородством.

Так что же все-таки притягивает меня в нем, в этом загадочном человеке?

Среди ночи открываю дверь и сразу же немного сожалею об этом. Из помещения выплывает влажный воздух, откуда-то из темноты возникают четыре белых существа и льнут к моим ногам. В их протяжном мяуканье мне чудится угроза.

Второпях ищу выключатель и зажигаю свет. Щурясь от яркого света, кошки разом поднимают ко мне мордочки. И, как бы приглашая следовать за ними, бросаются куда-то в глубь дома.

Сегодня я зашла всего на несколько минут. Так, чтобы

при встрече сказать ему невзначай — дескать, на днях заезжала покормить кошек. Войти в дом, который долгое время был заперт,— довольно жуткое испытание. Особенно в столь поздний час.

Намеренно громко шелестя пакетом с консервами для кошек, иду в кухню.

Делаю два, потом три шага по коридору и вдруг останавливаюсь как вкопанная. В темноте различаю что-то черное. Этот черный предмет как-то неестественно лежит у входа в кухню.

В страхе протягиваю руку и нащупываю выключатель. Как только он щелкает, у меня перехватывает дыхание.

Это огромная черно-бурая крыса. Она мертва, лежит разодранным животом кверху, лапы сжаты.

Что же с ней делать? Я никогда не брала в руки дохлых крыс. К тому же таких огромных.

Мне хочется немедленно убежать прочь. Но из кухни доносится жалобное мяуканье голодных кошек. По их виду заметно, как они горды без труда добытым трофеем.

Собравшись с духом, поднимаю ногу и перешагиваю через крысу. Спешу в глубь кухни, чтобы открыть консервы. Все это время я стараюсь не дышать, опасаясь зловония. Открыв консервы, распахиваю окно. С улицы вплывает прохладный воздух.

Я снова ловлю всем телом тишь и кошмар ночи.

С тех пор прошел всего лишь час.

Лежу, свернувшись калачиком в кровати на втором этаже. Ну и ночь! В ней теснятся одиночество, тоска, страх — и выхода из нее нет.

Пальцы все еще чувствуют тяжесть крысы, ощущение ее скользкого мягкого тела преследует меня.

Разумеется, я не прикасалась к ней голыми руками. Мне ничего не стоило в несколько раз сложить газету и взять крысу через нее, но в руке до сих пор живо прикосновение.

Прижимаю эту руку к груди, точно пытаюсь ее защитить. Теплота руки и удары сердца постепенно сливаются в единое целое.

Мало-помалу страх отступает, но теперь на меня наваливается одиночество.

Наверное, именно в такие дни падает ветер, думаю я.

Теперь все это лишь шелестящий обрывок тех летних дней. Такой вот шелест я слышу всякий раз, когда чувствую приближение разлуки.

Фумио Нива

ЧУЖИЕ

Покой большого старинного дома нарушил телефонный звонок. Тиёко не сразу обратила на него внимание, потому что звонили ей редко. Она поспешила в телефонную будку, такое сооружение в доме по нынешним временам — диковинка.

— Алло, Куки слушает вас.

— Мать, скоропостижно скончался отец. Инфаркт. Доставили на «скорой помощи» в больницу, а через полчаса его не стало.

Это был Тани. Тиёко потрясла не смерть мужа, а голос Тани — точная копия голоса Масатанэ Куки. Ей показалось, что говорит муж. Все удивлялись сходству их голосов, к тому же сын не баловал мать звонками, поэтому слух порой подводил ее. Лишь через несколько мгновений до нее дошло, что муж умер.

— Как отец и говорил всегда — никаких погребальных церемоний. Венки и пожертвования[1] исключены. Всенощное бдение у гроба не нужно. Сказал, что прах можно хоть в море выбросить. Некролог короткий. Решено во всем следовать его наказу.

— Какая больница?

— А. Ю.

На этом разговор закончился. Точь-в-точь как отец, Тани официальным тоном изложил суть дела. Тиёко рассеянно стояла в будке. В душе была пустота. Опомнившись, она увидела себя перед шкафом. Начала собираться в путь. Прошел почти час, а Отоки, прислуживающая по дому, не появлялась в комнате. Звать ее было ни к чему. Уложив вещи, Тиёко вышла в коридор.

— Уходите? — спросила Отоки, заслышав шаги хозяйки.

— Еду в Токио. Вернусь завтра. Только что позвонил Тани — Масатанэ скоропостижно скончался.

© Niwa Fumio 1980

[1] В Японии существует обычай приношений семье покойного в знак уважения к его памяти.

Отоки хлопотала около хозяйки, бормоча:

— Ну надо же!

Тиёко вышла из дома с саквояжем в руке.

— Может, вызвать такси из Танъами?

— Поеду на автобусе. Об остальном уже позаботилась.

Отоки, приоткрыв рот, смотрела, как шестидесятилетняя Тиёко твердой поступью шагает к воротам. Вскоре за живой изгородью мелькнул пучок волос, выкрашенных в смоляной цвет. Гладкое, без единого пятнышка, восковой бледности лицо Тиёко казалось неестественным на фоне черных волос. Отоки застыла на месте. Хозяйка пересекла деревенскую дорогу. Метрах в ста от дома вдоль реки было проложено шоссе, но старая тропа неторопливо бежала рядом с новой дорогой. Жители деревни по привычке ходили по старой. Остановка автобуса находилась на шоссе. Словно опамятовавшись, Отоки бросилась следом. Догнав хозяйку, она молча протянула руку к саквояжу, Тиёко так же безмолвно передала его.

Они не обмолвились ни словом. Наконец подошел автобус. Отоки склонилась в учтивом поклоне, краешком глаза видя, как мимо проносятся легковые автомобили. Она была на год моложе Тиёко, но ее лицо давно избороздили морщины.

В автобусе Тиёко ни о чем не думала. Сердце ее билось учащенно, но тяжести на душе она не чувствовала. Через сорок минут она приехала в городок Танъами и купила билет до Нагоя. Время в электричке она провела так же бездумно. На вокзале Нагоя взяла билет на скоростной экспресс. Как только поезд отошел, Тиёко купила бэнто[1]. Поздновато я сегодня ем, подумала она. Глядя в окно, Тиёко подносила палочки ко рту. Со стороны можно было, наверно, подумать, что эта почтенная женщина едет в Токио проведать внуков.

К сердцу словно подкатывали волны. Тиёко, чувствуя смятение в душе, притворялась, будто ничего не происходит. Она с неприязнью вспомнила голос Тани — вылитый отец. Эта мысль задела ее за живое, но Тиёко не сразу осознала причину неожиданной горечи. Ей захотелось разобраться в себе. Пока она строила в уме смутные догадки, экспресс прибыл в Токио. Последний раз Тиёко была здесь на экскурсии с группой деревенских стариков три года назад, но ни с мужем, ни с сыном не виделась.

Больница А. Ю.— известное в Токио место, и таксист

[1] Бэнто — завтрак в коробке, который берут с собой в дорогу.

сразу же понял, куда везти Тиёко. В машине она пыталась представить себе встречу с Тани, говорившим совсем как отец. Сыну теперь уже тридцать два, подумала Тиёко, лет шесть не встречались.

Больница оказалась громадным зданием, у дверей толпились посетители. Наконец Тиёко протиснулась к входу. Оглядевшись, она направилась к справочной. Из комнаты для посетителей навстречу ей поспешил седоватый мужчина.

— Я родственница Масатанэ Куки, скончавшегося сегодня утром. Он еще в палате, наверно? Какой номер?

Мужчина предупредил ответ служащего:

— Вы, вероятно, супруга господина Куки? Моя фамилия Сэки. Мы с ним учились вместе в средней школе. Я по привычке просматривал первый вечерний выпуск и увидел сообщение о его кончине. Утром умер, а вечером уже в газете. Я удивился такой расторопности и сразу бросился сюда. Гроб установлен в ритуальном зале.

Сэки повел Тиёко в зал, по дороге с воодушевлением рассказывая:

— После окончания школы я потерял Куки из виду, а три года назад мы неожиданно столкнулись в Синдзюку[1] на встрече одноклассников нашей школы. Начали искать ребят из нашего класса, живущих в Токио,— набралось семь человек. Мы условились раз в год устраивать вечеринку, но Куки появился только однажды. Я вообще-то знал, что он работает на радио...

Сэки был родом из города Кувада, который недавно слился с Танъами. Ему казалось, что он раньше где-то видел Тиёко. У него в памяти сохранилось ее гладкое лицо.

— «Масатанэ Куки скончался 30 января в больнице А. Ю. По завещанию покойного погребальная церемония не проводится.» Я прочитал это объявление и подумал: как это похоже на Куки. Даже после смерти ошеломляет людей.

Тиёко его слова не казались странными. Она продолжала хранить молчание. Довольно долго они шли по коридору, потом из какой-то палаты по крутой лестнице спустились в подвал. В ритуальном зале было человек шесть. В центре его находилось возвышение, на нем стоял гроб. Кругом голый бетон, низкий потолок, тяжелый воздух. Ни свечей, ни курильниц. Букетик желтых хризантем в маленькой вазочке. Пронизывающий холод. Люди, неприкаянно стоявшие в зале, походили на сослуживцев покойного. Ни-

[1] Синдзюку — район Токио.

кто не знал Тиёко. Сэки, быстро сориентировавшись в ситуации, приблизился к одному из них.

— Позвольте представить жену покойного. Она только что прибыла с родины, из префектуры Миэ. Меня зовут Сэки, я друг господина Куки по средней школе.

Все как один изумленно уставились на Тиёко. Те, кто постарше, раскланялись. В этой неразберихе на нее неожиданно спихнули роль главного распорядителя. Она машинально произнесла положенные слова. Попрощавшись с покойным, сослуживцы начали расходиться, обмениваясь впечатлениями.

— Не подозревал, что у господина Куки есть жена.

— Он никогда не делился своими личными делами. Скрытный был человек. Интересно, чем это объясняется? О сыне я слышал—правда, тоже из третьих уст. А сам Куки о нем и не заикался.

— Я слышал краем уха какие-то разговоры о его женщинах. Великий конспиратор был.

— Говорят, что и этот твердолобый знал минуты слабости.

Тиёко понимала, что стала темой пересудов для сослуживцев. Ей хотелось остаться одной. Она стояла у гроба с поникшей головой и закрытыми глазами.

— Вы видели Тани?

— Когда я прибежал, ваш сын уже вышел отсюда. Это мне сказал кто-то с радио. Похоже, отдать последний долг пришли только немногие из коллег. Прощание, кажется, до шести. Тани, говорят, пробыл у гроба почти два часа.

«Почему же он не остался до конца?» — подумала Тиёко.

Сэки открыл было рот, но Тиёко прервала его:

— Я хочу переночевать в гостинице. Извините за беспокойство, не порекомендуете ли мне какую-нибудь?

— А разве вы не у Тани остановитесь?

— У него такая квартира, что там негде уложить гостя.

Сэки вышел из зала. Даже стульев не было. Тиёко осталась наедине с Масатанэ Куки, лежавшим в гробу.

«Я приехала сюда для того, чтобы в буквальном смысле навсегда распрощаться с тобой. Выполняю свою обязанность, поскольку по закону называюсь твоей женой. Ты отказался от священника — пожалуйста. Не захотел погребальной церемонии, всенощного бдения, пожертвований, курений — я не возражаю. Ты сказал, что прах можно выбросить в море, и мне остается только выполнить твою волю. Ты закончил жизнь, распорядившись всем по собст-

венному усмотрению. Уйти из жизни в шестьдесят три года — рановато, но все мы в руках судьбы. Тебя называли твердолобым и считали на радио человеком приметным. Только все, что ты ни делал, не имеет никакого отношения к жене. С той поры как Тани поступил в университет в Токио, ты забыл меня. А еще раньше ты бросил собственного отца. Оставшись одна, я десять лет ухаживала за твоим больным отцом. С капиталом семьи Куки я могла бы поместить его в любую городскую больницу и отдать его на попечение чужих. Отец, однако, отказался уехать из родных мест. Сначала были еще помощники, потом и сиделка сбежала, а я целых десять лет, до самой смерти отца, делала работу, которой побрезгует и медицинская сестра. Интересно, задумывался ли ты когда-нибудь над тем, что я совершила ради твоего отца? Тани пошел в школу, годы пролетели, и он учился в старших классах. Ты появлялся у нас, и дом Куки оглашался смехом. Ты редко приезжал на родину. По служебным делам бывал в Нагоя, Киото, Осака — ну что стоило по пути заглянуть к нам? Нет, ты ссылался на занятость. Отец через токийского знакомого наводил справки о тебе, потому что жалел меня. Я давно поняла, что ты не в ладах с отцом, однако серьезной причины не было. Я слышала, ты с детства любил уединенность и всегда чурался семьи. Такие дети не редкость. Считается, что с возрастом сосредоточенность на себе оборачивается эгоизмом. Отец тоже, наверно, отличался непростым нравом. Беда, что он не воспитал в вашей семье чувства единства. В характере твоего отца была такая черта: коли дети смотрели направо, он отворачивался влево. В душе вы испытывали неприязнь друг к другу. Ты поступил на радио, обрел смысл жизни в работе, а родина с каждым годом становилась для тебя все дальше и дальше. Узнав, что отец справляется о тебе через посторонних, ты взбесился от гнева и с того дня совсем порвал с домом. Ни ты, ни Тани даже не приехали на похороны отца. Мне пришлось солгать родне, что вы в зарубежной поездке. Ты, конечно, ничего не знаешь об этом. Твоя жизнь проходила в другом мире. И в Осака, и в Токио у тебя были женщины. Твердолобому требовались женщины. Это тайна, ведомая одному тебе».

Тиёко услышала шаги на лестнице. Она оглянулась — в зал вошел Сэки.

— Покажите это дежурному администратору в гостинице. Там меня хорошо знают, так что располагайтесь как дома,— сказал он, протягивая Тиёко визитную карточку.

На карточке значилось: «Директор-управляющий фир-

мы». Тиёко подумала, что обходительный господин Сэки вполне подошел бы на роль президента.

— Я хочу забрать прах с собой.

— Конечно. Покойный, кажется, завещал опустить урну в море. Остальные дела он предоставил на усмотрение близких.

— Большое спасибо за то, что вы нашли время помочь мне сегодня. Не смею вас больше задерживать. Я побуду здесь немного. Скоро уже закрывают, так что останусь до конца.

— Думаю, больше никто не придет, потому что всенощного бдения не будет.

Сэки оказался прав. После его ухода никто не появился.

«Я хочу спросить у тебя только об одном. Тани тридцать два года, он третий год женат. Почему же твоя невестка не пришла проститься? Принято, чтобы сын и невестка до последней минуты были у гроба, а осталась лишь я. Когда Тани позвонили, он поспешил к тебе и в твоей квартире обнаружил незнакомую женщину. Это она сообщила Тани, что тебе плохо. В больницу, однако, с тобой не поехала — видно, уже поняла твой нрав. Я обязательно встречусь с ней и поблагодарю за заботу о муже. В таких ситуациях женщины способны становиться актрисами. К тому же я в том возрасте, когда о соперничестве не может быть речи. Мне безразлична эта женщина. На сей раз я нахожусь в более выгодном положении. Значит, она была последней в твоей жизни. Наверняка и в крематорий не придет, не захочет, чтобы все пялили на нее глаза. Говорят, ей тридцать пять — что ж, в эти годы женщина еще цветет. В твоем вкусе, конечно,— крупная, неотесанная, неразговорчивая, зато кожа белая. Тани один пришел сюда. Почему не привел жену? Никто точно не знает, но некоторые кое о чем догадываются. Жена Тани белолица, дородна. Зовут ее Ясуко. Которой по счету она у тебя была? Она ведь родом из Токио? В отчетах детективного агентства она числилась любительницей гольфа. И ты, и Тани тоже играли. Уж не гольф ли свел Ясуко и Тани? Интересно, какое у тебя было лицо, когда ты узнал об их связи? Отношения отца и сына не изменились благодаря твоему поведению. Для тебя женщина всегда была лишь вещью. Ты без труда уступал ее другому и вскоре обзаводился новой. Право, детективы работают четко. Знакомый свекра, видимо, обратился в агентство с просьбой установить за тобой постоянное наблюдение, и каждый год нам домой присылали информацию. Мне тоже было интересно почитать. В тот же конверт вкладывали

счет за услуги. Негодяй умер, следить теперь не за кем, отчеты перестанут приходить в наш дом. Счастье, что ты узнал об этом сейчас, когда покинул мир. Среди твоих женщин были юные девушки, молодые вдовы, девицы из баров. Почему же ты не оставался надолго ни с одной из них? Вряд ли ты говорил о том, что на родине у тебя есть жена. Женщины, пожалуй, быстро смекали, что ты не намерен вступать в законный брак. Ты не знал хлопот с ними. Вот только Ясуко тебе нужно было зачем-то познакомить с Тани. Когда он переехал в Токио, ты взял на себя все его расходы, вплоть до платы за обучение. Я слышала, что ты всегда вручал ему деньги только в приемной своей компании. Никогда не приглашал сына домой. Ты придерживался железного принципа: для сохранения тайны надо прежде всего отделаться от родственников. Принцип твой лопнул, и Ясуко стала принадлежать Тани. Я не простила его. И не собираюсь прощать, если даже внук родится. Это мое право. Я понемногу становлюсь упрямой вроде тебя. От старости, наверно. Да, участь женщины горька. Ей на роду написано отдавать себя в чужие руки. От законов природы никуда не денешься. А вот мужчины появляются на свет для того, чтобы жить в непостоянстве, как ты.

Хорошо, что Ясуко не пришла. Наверняка отказалась, узнав от Тани о моем приезде. Тани, пожалуй, бормотал ей что-нибудь невнятное. Это похоже на него. Он уравновешен, хитроват немного, впрочем, характер у него мягкий. Я еще не виделась с ним. Говорит совершенно твоим голосом. Высокий, как и ты. Лицом, по-моему, тоже начинает походить на тебя. Когда он поступил в университет, часто приезжал на родину, а потом мало-помалу перестал навещать нас. Суета городской жизни убивает в людях память о родных местах. Ни ты, ни Тани не вспоминали о женщине, которая взрастила сына, отпустила его в Токио, а он отплатил ей равнодушием; о женщине, вынужденной десять лет ходить за стариком, страдавшим размягчением мозга. Короткой оказалась у вас память. Я всегда чувствовала себя забытой и мужем, и сыном. Почему так случилось? Свекор передал мне права собственности на землю и дом. Я распоряжаюсь всем его наследством. Я ведь совершенно чужой ему человек. Именно поэтому и оказалось возможным уладить финансовые дела. Муж и жена, мать и ребенок всегда болезненно решают эту проблему. Ты и Тани постоянно издевались над женой и матерью. Наверно, ни разу не подумали, как она страдает. Тани, может, привязался душой к Ясуко. Она старше его, хотя ей, конечно, куда лучше с Тани, чем

с тобой. У меня сердце стынет, когда я представляю сына, обнимающего любовницу своего отца. Не могу смириться с этой мыслью. Ты всю жизнь не замечал меня. Порвав с отцом, ты приблизил меня к нему. Ты пренебрегал мною. Ты презирал и женщин, с которыми спал. Они оставляли тебя, потому что догадывались о твоих чувствах. У тебя было множество женщин, но ни к одной ты не испытывал истинной любви. Впрочем, это твоя забота. Женщина требовалась тебе только в физиологическом смысле. Ты был привлекательным, в тебе ощущалась решительность и мужская сила, недаром на тебя часто оглядывались на улице. За твои способности хорошо платил деловой мир. О тебе постоянно шла молва, тебя, говорят, уважали, любили. Быть может, твои друзья и сослуживцы выпустят книгу воспоминаний о Масатанэ Куки. Похороны ты отменил, поэтому они считают себя обязанными почтить тебя. Я понимаю их. Моя память до сих пор хранит необыкновенное волнение, которое я пережила, встретившись с тобой на смотринах. Думаю, в воспоминаниях напишут только о тщательно проверенных фактах твоей жизни. Все понимают, что каждое слово в такой книге надо взвесить. Верно, хорошая книга получится. Про тебя каждый напишет честно. Среди авторов, наверно, окажутся две-три женщины, которые предпочтут подписать свои воспоминания инициалами. Но истинную твою душу знаю только я одна. Я — твой единственный обвинитель. Я до смертного часа буду хранить это право. Если компания решит выплатить вознаграждение за Масатанэ Куки, отдавшего жизнь служению ей, пусть деньги получит Тани».

Тиёко собиралась уже уходить, когда на пороге появился служащий ритуального зала. Склонив голову, она пошла по лестнице.

Приехав в гостиницу, Тиёко протянула администратору визитную карточку Сэки.

— Мы ожидаем вас.

Ее проводили в номер на четвертом этаже. За окном было темно, но ей все ж удалось рассмотреть, что гостиница находится вроде бы около рва. Тиёко позвонила Тани. Долго ждала, прежде чем услышала голос сына.

— Ты ведь будешь завтра в крематории?

— Да.

— Я не пойду. Прах доставь мне в гостиницу. Я сама решу, что с ним делать. В поезде подумаю, захоронить его в родовой могиле или опустить в море.

Тиёко словно видела, как Ясуко напряженно ловит каж-

дое слово разговора. Она назвала свою гостиницу и положила трубку.

На следующий день после обеда ей постучали в дверь.

— Только что привезли,— сказал бой, протягивая Тиёко квадратный ящичек, обернутый белой тканью.

— Человек этот еще здесь?

— Он сразу же уехал.

Значит, это Тани, раздраженно подумала Тиёко. У нее было такое ощущение, словно ее опередили в чем-то важном. «Неужели до такой степени малодушен?» — подумала она и загрустила.

Тиёко добралась до вокзала. Ящичек в белоснежной ткани привлекал людские взгляды. Она спустилась в подземный торговый центр и купила бумажную сумку. Подобрала подарок для Отоки. Минут двадцать она ожидала поезд, вглядываясь в токийское небо. Люди останавливали взгляд на женщине с гладким лицом, державшей в руках саквояж и бумажную сумку.

Экспресс тронулся.

«Мать не простила тебя. Пока не сойду в могилу, буду винить тебя, Тани, в твоем низком поведении».

«Хорошо бы мой прах предали земле в могиле моих предков»,— подумала Тиёко. Она почувствовала облегчение.

В Нагоя она пересела на электричку на линию Кинтэцу. Смеркалось, когда Тиёко вышла на платформу в Танъами. Вечерняя заря высвечивала горную цепь Судзука.

— В гавань,— бросила она, сев в такси.

— В Тику? — переспросил шофер.

В поезде Тиёко вспомнила, как в детстве она с одноклассниками ходила туда из Танъами. Это была небольшая овальной формы бухта в заливе Исэ. В ней стояли рыболовецкие суденышки.

— Что же за дело у вас в Тику? Темно совсем, оступиться можно,— сказал шофер, выйдя из машины.

— Надо выполнить одну просьбу. Бросить кое-что в море обязательно в этой гавани.

Шофер беспокойно смотрел вслед Тиёко.

Грубо отесанные камни пристани затрудняли шаг. «Ночь уже»,— подумала она. Лицо, одежда впитывали запахи моря. Оно было черным. Волны легко касались гребешками мола. Давно Тиёко не слышала прибоя. Первоклассницей она любила играть на песчаном берегу и разглядывать море. Тиёко родилась в деревне неподалеку отсюда. Ее родители, так же как и семья Куки, ходили в один храм Бо-

дайдзи, их родовые могилы были на одном кладбище. «Кладбищенский смотритель, пожалуй, удивится, когда мой прах опустят в могилу моих родителей»,— подумала Тиёко. Она стояла на самом краю мола. Достала из бумажной сумки ящичек, обернутый белым. Шофер, наверно, не увидит в темноте. Тиёко хотела бросить ящичек прямо в ткани, но потом заметила нагромождение камней вдоль берега, шириной метров в триста. В море, верно, не унесет. Она развязала ткань и вытащила из ящичка фарфоровую урну. В ней должен быть прах Масатанэ Куки. Получив ящичек в гостинице, Тиёко даже не заглянула в него. Спокойно она прицелилась в черную поверхность моря и швырнула урну. Раздался звон осколков, над водой взметнулось белое облачко. А может быть, Тиёко почудилось, что она видела его. Волны набегали на берег. Они плескались лениво, словно ничего не произошло.

Тиёко вернулась к машине.

— Я волновался за вас,— сказал таксист.

— В деревню Комодзава.

— Так вы не собирались в Танъами?

Тиёко молчала. Пока муж не ушел из этого мира, ей было непривычно отдавать приказы.

Куки, не желая нарушать привычный уклад семьи, избавил родных от необходимости встретиться на кремации и похоронах. Он по обыкновению распорядился чувствами всех. Вряд ли Куки полагал, что его прах окажется в море. Он отдал этот приказ в полной уверенности, что выполнить его не рискнут. Тиёко сама нашла способ отмщения.

— Прах вы привезли? — спросила Отоки, едва хозяйка ступила на порог дома.

— Оставила у Тани.

— Вот как? Оно и лучше, пожалуй.

Тиёко невозмутимо прошла в гостиную.

Такэси Иноуэ

СОКРОВЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ

Прижавшись лбом к оконному стеклу, я пристально всматривался в даль, с нетерпением ожидая приезда труппы иллюзионистов.

Из окна была видна вся деревня, лежавшая в узкой лощине. Через нее тянулась изрытая глубокими выбоинами дорога. Прямая, будто прочерченная по линейке, она пролегала точно посередине деревни и исчезала где-то далеко-далеко в изгибах горной гряды.

По обе стороны дороги были разбросаны поля, покрытые бурой щетиной жнивья, чернели участки, засеянные озимыми. Зелень проглядывала только на огородах с поздними овощами.

Крытые соломой крестьянские дома жались к стволам дзелькв, похожих на гигантские метлы, торчащие вверх помелом. На склонах гор, высившихся над макушками голых деревьев, лежали пятнышки теней от невесомых облачков. Слева, оживляя зимний пейзаж, краснели ворота синтоистского храма.

Укутав больную ногу вылинявшим шерстяным армейским одеялом, оставшимся после отца, и накинув на спину еще одно, ватное, я с самого утра сидел у окна. Из города в деревню вела только одна дорога, по ней и должны были проехать артисты. Пропустить их я никак не мог.

О приезде иллюзионистов я узнал дней пять назад от мамы. Она ходила на окраину деревни — отнести вещи, которые брала в починку, и, вернувшись домой, рассказала, что повсюду на телеграфных столбах расклеены афиши о предстоящих гастролях «Большой труппы иллюзионистов». Время для гастролей было удобное — крестьяне уже собрали урожай и закончили готовиться к зиме,— вот артисты и разъезжали теперь по окрестным деревням.

Я никогда не бывал в цирке, и мне страшно захотелось посмотреть представление, но я тут же понял, что это не для меня. Ведь я не могу ходить. И маме пришлось бы та-

© Inoue Takeshi 1977
© Перевод на русский язык издательство «Радуга», 1984

щить меня на спине, как она делает это каждую неделю, когда надо идти к врачу в городскую больницу. И мне всякий раз становится мучительно стыдно, если кто-нибудь видит нас. Ведь по годам я уже должен быть в третьем классе. А в деревнях за спиной носят только малышей. Посмотреть представление мне очень хотелось, но я понимал, что это невозможно.

Глядя в окно, я пытался представить себе картину появления «Большой труппы иллюзионистов». Приехать они должны, конечно, в фургонах, запряженных лошадьми, в сопровождении оркестра, под звуки веселой музыки. Иллюзионисты проделывают свои фокусы быстро, ловко — разве станут они тащиться на быках? Что же они покажут у нас? Взмах волшебной палочки — и красивая девушка превращается в тигрицу, свирепо оскалившую клыки. Об этом мне доводилось читать в книгах. А может быть, они перенесут зрителей в сказочную Страну Лакомств, где сколько угодно каких угодно сластей? Чем меньше оставалось до приезда цирка, тем сильнее разыгрывалось мое воображение, наделяя иллюзионистов все более чудодейственной силой. Я уже видел себя здоровым. Вот я бегаю с друзьями по всей деревне, брожу по горам, плаваю в реке, отвечаю в классе урок по чтению. Оживает умерший отец... Да-а, если бы такое сбывалось...

И хотя я уже смирился с тем, что не попаду на представление, от одной только мысли, что фургоны вот-вот покажутся из-за поворота, у меня тревожно замирало сердце. Но дорога по-прежнему была пустой.

— Уже полдня прошло, что же они так опаздывают? — недовольно пробурчал я, повернувшись к маме, сидевшей за швейной машинкой. Последнее время она совсем исхудала, в лице ни кровинки.

Не поднимая глаз от шитья — мама латала одежду для местных крестьян,— она успокоила меня:

— Теперь уже скоро,— и снова нажала на педаль. В сумраке запущенной комнаты стук машинки звучал както особенно резко и громко.

Мы были эвакуированными, отец у нас умер, и мы с мамой, младшей сестренкой и четырехлетним братишкой ютились в ветхой лачуге, крытой оцинкованным железом. Зимой в доме бывало темно и мрачно. Из щелей дуло, и мама заклеивала их бумагой. В тот день брат с сестрой куда-то запропастились — должно быть, заигрались у соседей.

— Сынок, не сменить ли грелочку? — остановив машинку, предложила мама.

Я пощупал грелку пальцами ног и кивнул. Поглощенный наблюдениями, я и думать забыл о грелке, но теперь, когда обнаружил, что она остыла, сразу ощутил боль в ноге.

Нога, конечно, болела не оттого, что я вспомнил про грелку, просто она всегда болит от холода. С приближением зимы боли усиливаются, а с той поры, когда на поля, покрытые белоснежным инеем, опускаются несметные тучи серых скворцов, тупая боль в правой ноге начинает мучить меня постоянно. Из-за неправильного кровообращения нога у меня всегда ледяная, сколько ни прикладывай к ней грелки. Холодными ночами она ноет так нестерпимо, что я зову маму. Она приносит мне новую грелку, меняет на бедре повязку, пропитавшуюся гноем, и потом подолгу легонько гладит больную ногу. Когда она начинает клевать носом и рука ее постепенно замирает, я громко окликаю ее, и она снова принимается растирать мне ногу.

— Мамочка, они в самом деле приедут? — нетерпеливо спросил я, дождавшись новой грелки.

— Приедут, приедут. Не надо так сердиться и волноваться.

Мама мельком взглянула в окно, положила около меня фаянсовую грелку, похлопала по ней ладонью и опять села за машинку. Я вовсе и не сердился, а просто потерял терпение от долгого ожидания. Пристроив больную ногу на грелку, я снова уставился в окно.

Я привык целыми днями наблюдать из окна за всем, что происходит на улице. Правда, в деревне, особенно зимой, мало интересного, так что очень скоро становится скучно. Мне нравится, когда на улице есть какое-то движение. Пусть это ребятишки, бегущие по темным полоскам межей, или крестьянин на упряжке быков, по самые щеки обмотавший голову полотенцем... Я буду смотреть им вслед, пока они не скроются из виду. Меня забавляют скворцы и звонкоголосые дикие утки, залетающие в наш сад полакомиться зернышками китайского бамбука. Я могу даже заглядеться на оводов, роящихся на солнышке. Меня радует, когда на улице появляется какой-нибудь старик — низко сгорбившись, опираясь на палку, он долго бредет по обочине. Я смотрю на него и думаю: ну что ж, пусть медленно, лишь бы ходить самому...

— Мама, мамочка! Приехали! — громко закричал я, прилипнув к окну. Вдали показалась крытая конная повозка. Наконец-то! Я сразу догадался, что это цирковой фур-

гон. Бычьих упряжек в деревне много, конные же — наперечет. Ну а конных повозок с крытым верхом и вовсе нет.

Когда повозка подъехала поближе, я так и ахнул: что за колымага?! Светло-коричневый верх фургона заляпан черными пятнами, сзади брезент оторвался и мотается на ветру. Измазанные боковые полотнища провисли. На них что-то написано, но можно разобрать только два иероглифа: «большая» и «труппа». Из-за того, что колеса повозки попадали в колдобины, фургон двигался как-то неуклюже, кренясь то на одну, то на другую сторону. Бритоголовый возница тотчас же натягивал или отпускал поводья. Он сидел без шапки, даже полотенцем голову не повязал — наверное, продрог на ветру. Дорога от города шла все время в гору, и лошадь, должно быть, выбилась из сил, преодолевая крутые подъемы. Возница то и дело подстегивал ее кнутом. Тучки песка клубились из-под копыт и быстро исчезали, подхваченные ветром.

Я ожидал, что из города прискачет несколько конных упряжек, а тут на тебе — всего одна повозка, да еще такая развалюха.

Да-а... «Большая труппа иллюзионистов» на одном-единственном фургоне?! И музыки не слышно! Все было так не похоже на мои ожидания, что у меня даже интерес пропал.

Когда фургон проехал полдеревни, его заметили ребятишки и, восторженно размахивая руками, помчались по межам вдогонку. Несколько сорванцов уже выскочили на дорогу и бежали за повозкой. Мужчина, сидевший на козлах, приподнялся и с забавными ужимками приветствовал их. Мальчишки радостно замахали в ответ. И мне вдруг тоже страшно захотелось броситься вслед за фургоном.

«Повозка, конечно, видала виды, да и всего одна, но раз в афишах сообщалось о «большой труппе иллюзионистов», значит, программа у них что надо»,— рассуждал я.

Покачиваясь из стороны в сторону, окруженный детворой фургон скрылся у подножия горы. Ему предстояло переправиться по деревянному мосту через речку к зданию начальной школы. Как только фургон исчез из виду, узкая дорога опустела, и деревня опять сделалась скучной и унылой.

Рывком распахнулась дверь, и, прерывисто дыша, в комнату ввалились наши гулены. Братишка принялся подгонять маму, теребя ее за шаровары:

— Собирайся! Скорее, скорее!

— Не торопись! Раньше вечера не начнется,— остановила его мама, не отрываясь от шитья.

— А сосед сказал, что, если мы не поспешим, нам не достанется места,— недовольно протянула сестра.

«Вот почему они примчались галопом»,— догадался я.

— Ведь вся деревня пойдет на представление, и мест может не хватить! — твердила свое сестра, даже не слушая маму.

— Или все без нас кончится! — надулся и этот бутуз с обветренными пунцовыми щеками.

— Детки, а может быть, мне попросить нашего соседа взять вас с собой? — Мама остановила машинку и положила руки на плечи малышам.

— Зачем? Почему это мы должны идти с соседом?! — в один голос обиженно загудели брат и сестра.

Я отвернулся и перевел взгляд на опустевшую улицу. Я знал, о чем думала мама.

— Старшему брату будет тоскливо одному. Да и работа у меня не закончена...

— Нет! Хочу с тобой! — настойчиво требовал братишка.

— И я тоже. Разве нельзя дошить завтра? А старшего брата ты можешь нести, как всегда, на спине,— вторя малышу, громко запротестовала сестра.

— Надоело! Если не терпится, отправляйтесь втроем!— выпалил я, пытаясь перекричать их. Все повернулись в мою сторону.— Идите, а я останусь смотреть за домом! — Метнув на них сердитый взгляд, я снова отвернулся к окну.

Солнце клонилось к закату. Полоски теней от телеграфных столбов, выстроившихся вдоль дороги, уже дотянулись до ее середины. Когда они перекинутся через дорогу и доползут до половины поля, солнце спрячется за горы.

— Будьте хорошими детками: ступайте с соседом,— тихонько попросила мама.

— Да-а, а почему он сразу начинает кричать? А ты обманываешь нас и всегда слушаешь только старшего брата.

При этих словах я снова взорвался.

— У-у, зануда! Катись отсюда! — не отворачиваясь от окна, заорал я. От моего дыхания стекло на секунду затянулось тонкой пленочкой и тут же опять стало прозрачным. Сестра продолжала что-то бубнить. Стоит ей начать, уже не остановишь.

— Погуляйте немножко,— сказала мама. Брат с сестрой послушно отправились на улицу.

В комнате опять стало тихо. Слышалось только стрекотание швейной машинки. Я отвернулся от окна, лег навзничь, подложил руки под голову и закрыл глаза.

По правде говоря, пойти на представление мне хотелось.

Оно состоится в актовом зале, значит, я увидел бы школу. Ведь я еще ни разу не был там. Друзей у меня нет. Узнать про школу я мог только от сестры, которая этой весной пошла в первый класс [1]. Ее рассказы всегда были полны восторга. Но если мама понесет меня на спине, все станут таращить на нас глаза, а то и насмехаться, приговаривать: ишь, младенец какой! А это для меня самое страшное. По утрам я прошу маму перенести меня к окну только после того, как с крыши застучит капель, хотя просыпаюсь гораздо раньше. До этого я не подхожу к окну. Мне грустно видеть, как собираются в школу мои сверстники. Им и стужа нипочем — бодрые, веселые, мчатся они по межам, огибая засеянные участки, и собираются на главной улице. В эти минуты я, затаившись, лежу в постели и только вслушиваюсь в их голоса. Отправляясь в городскую больницу, мы всегда выходим из дома рано-рано, пока на улице еще никого не видно. Взвалив меня на спину, мама, опираясь на палку и выдыхая клубы пара, осторожно спускается по обледеневшей щебенке к городскому поселку, через который проходит железная дорога.

Минуло три года с тех пор, как окончилась долгая, страшная война, в которой мы потерпели поражение, а болезнь моя заходила все дальше и дальше. Врачи признали у меня туберкулез тазобедренного сустава и сказали, что я нуждаюсь в специальном лечении, но в доме не было денег даже на лечебный корсет. Единственное, что мы могли,— это раз в неделю спускаться с гор, чтобы показаться доктору и получить лекарство. Нога начала болеть у меня после того, как однажды ранним летом, как раз в год окончания войны, я поскользнулся на горной тропинке, упал и ушиб бедро. Но к тому времени я уже, наверно, заразился туберкулезом от отца. У него стало плохо с легкими, когда он воевал на Южных морях, и его отправили домой. Отец вернулся, харкая кровью, и умер здесь, в деревне, осенью 1945 года. Через несколько дней после падения у меня опухло и начало болеть правое бедро. Больше всего припухлость выступала повыше колена, кожа на опухоли натянулась и стала какой-то прозрачной. Потом она лопнула, и из раны вытекло много гноя, после этого я окончательно слег. В деревне врача не было, и, взвалив меня на спину, мама пошла со мной в город за мазью. Ей сказали, что мою болезнь можно вылечить только в большой больнице, в Токио. Наш дом в Токио сгорел во время бомбежки, до-

[1] Учебный год в Японии начинается 1 апреля.

стать денег на поездку было негде. Я уже совсем не мог ходить и все то лето просидел у окна в мрачной, продуваемой сквозняками каморке, вдвоем с умиравшим отцом.

Зимой, на второй год после смерти отца, воспаление захватило всю кость от колена до тазобедренного сустава. Только заживал один свищ, как чуть повыше от него образовывался следующий. Когда открывался новый зловонный гнойник, прежняя рана затягивалась, оставляя на истонченной коже рубцы как после ожога. Пять таких шрамов совсем изуродовали мою ногу, кожа на бедре стала похожа на изъеденные гусеницами листья вишни. С каждым разом свищи все увеличивались и заживали все труднее. Из открывшегося недавно — уже шестого по счету — гнойника на днях вышел белый осколочек кости. Гниение перекинулось и на костную ткань. Я уже не ощущал боли, когда в рану вводили пинцет и он погружался туда почти наполовину. Болезнь поразила и нервы, которые чувствуют боль. Неужели поселковый врач прав и мне действительно угрожает ампутация?! От этой мысли мне становилось жутко, я начинал укорять маму и требовать, чтобы она скорее везла меня в Токио. В ответ она виноватым голосом просила потерпеть еще немножко. Но ведь починкой тряпья денег на поездку в Токио не заработать...

У нас уже почти ничего не осталось из одежды и утвари, привезенных из Токио: все самое ценное мама обменяла на рис и овощи. О том, насколько опустел наш комод, я догадывался по скрипу, с которым выдвигались и задвигались его ящики. Раньше, когда он был до отказа заполнен кимоно и оби[1], ящики двигались беззвучно, как смазанные.

...Я открыл глаза и в который раз принялся разглядывать отцовскую фотографию, висевшую на потемневшей дощатой стене. Снимок был сделан на городском первенстве по сумо[2], как раз в год моего рождения. На отце был цветной передник борца высшего класса. Мне до сих пор не верится, как при таком богатырском сложении можно было умереть от кровохарканья! И все же отец умер, а его болезнь передалась мне. Если бы он пропал на фронте без вести, как сын наших соседей, можно было бы еще надеяться, что он вернется, а так... Прижавшись лбом к оконному стеклу, я все смотрел и смотрел на гроб с телом отца, который уносили на плечах наши односельчане. Вот они сошли

---

[1] Оби — длинный широкий пояс для кимоно.

[2] Сумо — японская национальная борьба тяжеловесов.

с проселочной дороги и повернули к остроконечной горе, высившейся как раз напротив моего окна. Не поднимая головы, за гробом шла мама. Народу на похоронах было совсем мало. Началась кремация. Столб дыма, потянувшийся от подножия горы, к которой был прикован мой взгляд, еще долго поднимался ввысь, уходя в прозрачное небо.

Послышался стук распахнувшейся входной двери. Я высвободил руки из-под головы. Вернулась наша парочка.

— Мамочка, мы придумали! И старший брат сможет увидеть представление! — Глаза у сестренки сделались совсем круглые.— Послушай, мы повезем его на велосипедном прицепе и тогда сможем пойти все вчетвером! — заключила она с гордостью.

— На прицепе? — переспросила мама.

— Да, на двухколесном. Мы уже раздобыли,— прибавил братишка, вытирая тыльной стороной ладони нос.

— Раздобыли? Где?

— Попросили у соседа. И циновку тоже.— Взглянув на маму, сестренка подошла ко мне.— Братик, на прицепе тебе будет удобно. И пойдем все вместе,— проговорила она, растягивая окончания слов на местный лад.

Свой двухколесный прицеп старичок сосед использовал для перевозки риса и картофеля. Прицеп был выкрашен черной краской и выглядел вполне исправным. На нем-то они и задумали везти меня.

— Я не куль с рисом и не мешок картошки,— пробурчал я.

— Ты ведь стесняешься, когда мама носит тебя на спине. На прицепе же лучше. Мы тебя отвезем. Ну чего еще?! — Сестренка безошибочно угадала мои мысли. Но из-за того, что она проговорила все это с укором, глядя на меня сверху вниз, я не смог признаться, что она права. Снова отвернувшись к окну, я упорно молчал.

— Вечно он упрямится! — Сестренка с воплем затопала ногами, да так, что самой небось больно стало.

— Сказано, не пойду,— значит, не пойду! — отрубил я.

Если бы не моя нога, я сумел бы заставить эту паршивку попридержать язычок, но мне оставалось нагонять на нее страх лишь грозными окриками. Она стала такой дерзкой, когда пошла в школу. А теперь уже и этот карапуз перестает слушаться меня.

— Малыши специально для тебя достали повозку. Поедем с нами,— включилась в уговоры мама.

Мне уже все было немило, я натянул на голову одеяло и лежал не шевелясь. В комнате повисла гнетущая тишина.

Мне страшно захотелось по-маленькому. И я, как черепашка, слегка высунул из-под одеяла голову. Краешком правого глаза я увидел сразу всех троих. Их вид поразил меня. Мама стояла посередине, обнимая малышей за плечи. Слева к ней прижималась сестренка, готовая разрыдаться. Я опять поспешно натянул одеяло и затаил дыхание.

— Идите поиграйте во дворе,— попросила мама. Сестра и братишка вышли. Я лежал едва дыша. Из соседней комнаты донеслись голоса, потом послышался стук наружной двери — наверно, все вышли на улицу. Я откинул одеяло. В глазах у меня стояло лицо глотавшей слезы сестренки, и я как-то сразу обмяк.

На деревню спускались вечерние сумерки. Из окна было видно, как по межам и тропинкам двигаются фигуры крестьян, собирающихся на цирковое представление. Они раскланивались друг с другом и продолжали свой путь по проселочной дороге к школе. Отдельно от взрослых, маленькими стайками, бежали детишки. В руках у крестьян покачивались узелки с дзюбако [1] и бамбуковые корзинки. В них, наверно, была еда и бутылочки с местным сакэ.

Развлечения — большая редкость для сельских жителей. По словам нашего соседа, это был первый приезд цирковой труппы после окончания войны. Какие в нашей деревне развлечения? Праздник осени, спортивные состязания и весенний День культуры. В эти дни во всех домах в изобилии готовят вкусное угощение. Зрители занимают места за несколько часов до начала торжества. Я-то ни спортивных игр, ни празднования Дня культуры не видел. Да и во время Праздника осени из моего окна можно было разглядеть только, как далеко-далеко в поле несут священный паланкин.

Оживление крестьян, с радостными лицами спешивших в школу, еще больше разжигало у меня желание увидеть представление. Я отвернулся от окна, улегся на спину и закрыл глаза. Тотчас же передо мной возник иллюзионист в развевающемся черном плаще.

— Бра-а-тик! — раздался в саду голос сестренки. Я рванулся к окну. От резкого движения по правой ноге прокатилась глухая боль. Нахмурившись, я взглянул в окно. По саду на черном прицепе везли младшего братишку. Мама тянула спереди, сестренка подталкивала сзади. Она помахала мне, потом, совсем как настоящая крестьянка, держась одной рукой за повозку, другой оправила по бокам

[1] Дзюбако — набор ящичков с закусками.

платье и отерла лоб. Сосед жил рядом, прямо за нашим садиком, надо было только подлезть под забор. Так что нисколечко эта выдумщица не устала — и вспотеть ей было не от чего. Просто изображала из себя взрослую. Закутанный братишка весело гримасничал и барахтался в повозке.

Нагнувшись, мама пролезла под прицепной дугой, прошла через веранду в дом и вынесла одеяло и тюфячок. Положив их в коляску, она пришла за мной.

— Все готово! Пойдем! — позвала она, протягивая мне руки. И, как по утрам, когда мы ходим в больницу, я потянулся к ней. У мамы дрогнули уголки губ и потеплел взгляд. Она ловко подхватила меня под мышки и поставила на ноги.

— На улице свежеет, надо одеться теплее.

Она завернула меня в ватную стеганку, которую надевает, когда мы ходим в больницу. Ненавижу этот девчачий узор с мелкими красными и желтыми хризантемками. А когда тебя еще так закутают, и подавно легко спутать с девчонкой. Но на этот раз я стерпел, и мама делала со мной все, что хотела.

Она донесла меня до прицепа. Садясь в коляску, я ухватился рукой за железный борт и обжегся о настывший металл. Мама укутала мне ноги одеялом и набросила на плечи ватную стеганку. Я старался не смотреть на сестру и, делая вид, что не замечаю ее взглядов, продолжал молчать.

— Толкаю! Готово, ма? — прозвенел за спиной голосок сестренки.

— Давай, давай.

С возгласом «И я помогу!» братишка кинулся подталкивать прицеп своими обветренными ручонками. По отлогому склону они выкатили прицеп из сада на проселочную дорогу. Тут братишка стал требовать, чтобы его тоже посадили на коляску.

— У тебя нога не болит, дойдешь и сам! — назидательно изрекла сестра, но, не слушая ее, тот плюхнулся в повозку. Я пустил его к себе под накидку, и мне стало уютнее.

Дорога была вся в глубоких рытвинах, повозку сильно трясло, и толчки отдавались в ноге, но я терпеливо сносил боль. В западной стороне небосвода розовела вечерняя заря. Все выглядело гораздо внушительнее и красивее, чем из моего окна. Я не люблю смотреть из дома на багряное зимнее солнце, когда оно исчезает из виду, оповещая о конце дня. Я уже знаю, что ночь будет особенно холодной.

Заслышав за собой детские голоса, я сразу закрывал глаза. Обгоняя коляску, все, как по команде, замолкали. Конечно, разглядывали меня. Решив, что ребята уже прошли вперед, я открывал глаза, но, поймав на себе чей-то взгляд, снова поспешно зажмуривался. Только мама приветливо здоровалась с каждым.

Проехав через каменные ворота, мы въехали на школьный двор. Вот я и в школе! Я уже не мог больше зажмуриваться. Напротив ворот вытянулось деревянное здание сельской школы. В глубине двора я увидел турник, качели и песочницу, о которых мне рассказывала сестра. Повсюду играли дети. Я собрался было рассмотреть все как следует, но мне не удалось. Толпа людей кольцом окружила прицеп. Пытливо разглядывая меня, они шли рядом с тележкой.

Лучше бы не приезжать сюда! Здесь не место таким больным! Я старался делать безучастное лицо, но мне было не по себе.

Когда мы подъехали к входу в актовый зал, все смотрели, как мама снимает меня с повозки. Люди стояли плотной стеной. Мне стало страшно, я весь сжался и до хруста стиснул худенькие мамины плечи. Она только шепнула мне: «Держись как всегда». Но я, словно обезьяний детеныш, спрятал лицо у нее на груди.

В высоком актовом зале висели лампочки без абажуров, пол был застлан циновками. В прямоугольных деревянных жаровнях краснели раскаленные угли. Гремела музыка, чувствовалось общее оживление. Детишки сновали по просторному залу. Пожилые крестьяне весело скалили щербатые зубы, перешучиваясь с молоденькими девушками. Самые нетерпеливые уже распаковали свои коробочки со снедью и потягивали сакэ.

Мама донесла меня до первого ряда и, извинившись перед теми, кто пришел раньше, опустила на пол.

— Как здоровье сыночка? — спросила пожилая женщина, сидевшая рядом.

— Да вот с наступлением холодов беспокоят боли,— ответила мама, поблагодарив старушку за внимание.

Та сочувственно закивала головой, а потом медленно проговорила:

— И все же с болезнью можно примириться. А тех, кого унесла смерть, уже не вернешь...

Мама как-то рассказывала мне, что военный корабль, на котором плыл младший сын этой женщины, был потоплен и сын ее погиб. Я часто видел из окна, как, сжимая в руках букетик цветов, она ковыляла по дороге в сторону

кладбища. Старушка дала каждому из нас по вареной картофелине. В ожидании начала я принялся за угощение.

Наконец занавес раздвинулся. Посреди сцены, весь в черном, склонив голову, стоял иллюзионист. Поправив блестящий цилиндр, он высвободил из-под длинной накидки обе руки и высоко вскинул их, приветствуя публику.

— Начинаем наш аттракцион! — громко объявил он и взмахнул своей мантией. Мелькнула красная подкладка, и — что бы вы думали? — в руках иллюзиониста трепыхались два белокрылых голубя. В зале раздались аплодисменты. Я тоже торопливо захлопал в ладоши.

Из-за кулисы вышла молодая женщина. Прежде чем установить на подставку какую-то посудину, похожую на таз для умывания, она повертела ее в руках, показав со всех сторон зрителям. Затем эффектным движением она достала спички, чиркнула спичкой о коробок и бросила ее в таз. Оттуда тотчас взметнулись языки пламени.

— Ой! — вскрикнула в зале какая-то женщина.

Вот оно, волшебное пламя! Все так просто, даже обошлись без бамбуковой трубки для раздувания огня.

Фокусник неторопливо приблизился к подставке, отвесил поклон, издал какой-то возглас и накрыл пламя футляром, напоминавшим ведро. Пламя погасло.

— Ух,— выдохнула пожилая женщина, сидевшая рядом с нами.

— Посмотрим, во что же превратился наш волшебный огонь,— шутливо произнес иллюзионист и поднял футляр. В тазу сидела белая леггорнка.— Отлично, теперь у нас есть своя курица-несушка.

Леггорнка подняла лапку, и все услышали, как что-то стукнулось о дно таза. Курица снесла два яйца. Вот так фокус! В один миг — и два яйца... Ой, что это? У леггорнки торчал большой красный петушиный гребешок?! Так это петух! Где же видано, чтобы петухи несли яйца? Вместо аплодисментов из зала послышался смех. Иллюзионист сохранял серьезный вид. Он ничего не замечал. У меня от смеха даже в боку защемило. Наконец поняв свою оплошность и смущенно покашливая, фокусник извинился.

— Виновата моя волшебная палочка: отсырела и спутала петуха с курицей.

По залу снова прокатился смех. С довольным видом маэстро отдал петуха ассистентке и, вынув из таза яйцо, воскликнул:

— Продолжаем! Прошу всех повнимательнее рассмот-

реть это необыкновенное яйцо! — Он зажал яйцо между большим и указательным пальцами и повертел его перед зрителями. Мне казалось, что яйцо ничем не отличается от тех, что несли леггорнки у нашего соседа. Но, услышав, что оно необычное, я и впрямь поверил в это. Иллюзионист положил яйцо обратно в тазик, накрыл его крышкой и, повертев в руках свою черную палочку, дважды постучал ею по крышке. Публика затаила дыхание. Выждав некоторое время, маэстро с ликующим возгласом поднял крышку.

Деньги! Полный таз денег! Значит, действительно это было не простое, а золотое яйцо. Ассистентка обеими руками зачерпывала пригоршни монет и показывала их зрителям. Иллюзионист вытащил из таза кипу бумажных ассигнаций и, громко считая: одна, две, три, бросал их в снятый цилиндр.

Если бы у нас было столько денег! Мы поехали бы в Токио, и там в большой больнице мне вылечили бы ногу, подумал я и повернулся к маме. Приоткрыв от изумления рот, она не отрываясь смотрела на пачку денег в руках иллюзиониста. Вот он поднял высоко вверх последнюю бумажку и выпустил ее из рук. Ассигнация покружилась, словно лист, сорвавшийся с дерева, и плавно опустилась на сцену. Все зааплодировали.

— А теперь мы продемонстрируем силу гипнотического воздействия,— объявил иллюзионист, зажав свою палочку под мышкой. Зал загудел. Гипнотизер обвел взглядом ряды публики. Голоса начали стихать. Еще взгляд — и воцарилась полная тишина.

— Вот ты, пожалуйста.— Палочка указывала прямо на меня.— Да-да, прошу тебя сюда! — пригласил меня иллюзионист. Раздались аплодисменты, послышался свист. Я не знал, что делать, и повернулся к маме, глазами моля ее о помощи.

— Прошу прощения, но мальчик не может ходить... Вам лучше пригласить кого-нибудь другого,— извинилась она.

Я с облегчением поднял голову. И тут иллюзионист стремительно шагнул в своем развевающемся плаще прямо в зал, подхватил меня на руки и, запахнув в плащ, отнес на сцену. Усадив меня на стул, он спросил:

— Как тебя зовут?

Я ответил, и он задал следующий вопрос:

— В каком же ты классе?

Я готов был расплакаться. Уж лучше бы остался дома за сторожа. Зал притих в ожидании моего ответа. Мне хотелось убежать со сцены. Кусая губы, я опустил голову.

— Прекрасно, я все понял,— нашелся иллюзионист,— у тебя, мне думается, отличная успеваемость.

Послышался смех. Я облегченно вздохнул. Иллюзионист казался мне почти божеством. Положив руку мне на плечо, он объявил:

— Сейчас уважаемая публика увидит сеанс гипноза, во время которого этот мальчик откроет нам свое сокровенное желание. Прошу соблюдать тишину!

Когда все успокоились, гипнотизер, пристально глядя на меня, приблизил к моему лицу свою палочку и принялся повторять слова заклинания:

— Гипноз наступает, гипноз наступа-а-ет... хочется спать, хо-о-чется спа-а-ать...

Я ощутил какое-то онемение у переносицы и тяжесть в затылке.

Едва я успел подумать: не поддамся гипнозу! — как все звуки вокруг меня исчезли.

Почувствовав боль в правой руке, я очнулся. Плеча моего касалась палочка иллюзиониста. Гипноз окончился. Публика неистово хлопала. Иллюзионист отвесил поклон, с улыбкой взял меня на руки и отнес на прежнее место.

Я совершенно не представлял, сколько прошло времени, что происходило, пока я был под гипнозом, какое желание назвал я во сне.

Голова у меня все еще была как в тумане. Очевидно, гипноз рассеялся не полностью.

На сцене ассистентка занималась приготовлениями к следующему сеансу, ей помогал мужчина с бритой головой.

После представления меня опять усадили в коляску. Ветер утих. Над макушками сбросивших листву деревьев гинкго взошла луна, ярко осветившая школьный двор с турником и неподвижными качелями.

Зрители высыпали из актового зала. Рядом с ними по школьному двору заскользили их тени. Выйдя за каменные ворота, крестьяне по тропинке, пролегавшей через поле, возвращались в деревню.

Всякий раз, когда кто-нибудь из односельчан обгонял нас, он непременно желал нам доброй ночи. Мама приостанавливалась и склоняла в поклоне голову. Некоторые пытались заговорить со мной, спрашивали, понравилось ли представление, заботливо предостерегали:

— Смотри не простудись!

В ответ я только легонько кивал, а потом взял и натянул ватную стеганку на голову — уж очень не люблю, когда меня разглядывают. Про себя я только диву давался:

надо же, как понравилось представление! Так развеселило всех, что люди стали приветливо заговаривать с нами!

Представление действительно удалось на славу. Я перебирал в памяти моменты, когда из пламени рождался петух или яйцо превращалось в деньги.

Сразу же за школьными воротами стояло несколько домов. Как только мы миновали их, перед нами открылся вид на деревню. Она спала, погрузившись в темноту, окруженная кольцом гор, вершины которых вырисовывались на фоне ночного неба. В свете луны можно было разглядеть даже щебенку на дороге. Вдали ярко искрились полоски перил деревянного моста, должно быть уже успевших покрыться инеем. Под мостом протекала река. Речная дамба издали казалась мне насыпью из чернозема, нарытой кротами.

Осторожно обходя выбоины, мама с сестрой не спеша тащили повозку. Поглядывая на уродливо укороченную мамину тень, которая ползла у нее под ногами, я от самых школьных ворот с опаской следил за фигурами четырех парнишек, которые неотступно шли за нами, держась на расстоянии метров десяти. Временами до меня долетали обрывки приглушенного спора:

— Ступай ты вперед!

— Нет, лучше ты!

Я несколько раз потихоньку оглянулся. Все четверо были стрижены наголо и казались моими ровесниками. Когда я встречался с кем-нибудь из них взглядом, тот смущенно опускал глаза, а потом переглядывался с остальными.

Я сжался от страха, что сейчас они выкрикнут что-то обидное.

У въезда на мост, откуда уже было слышно журчание обмелевшей реки, преследователи кинулись к нам и окружили коляску. Мама остановилась. Я стиснул руку сидевшего рядом со мной братишки и весь напрягся.

— Тетя, дайте мы повезем,— выдохнул один из мальчишек.

Мама поблагодарила, но от помощи отказалась.

Продолжая твердить свое: «Разрешите, разрешите», они выхватили повозку и с радостным гиканьем покатили ее. Коляска легко понеслась вперед.

Братишка пришел в восторг. Сестренка подбежала и на ходу вскочила в прицеп.

Мальчишки сказали, что довезут нас до самого дома.

Почему они вызвались провожать нас? Не снится ли мне все это?..

— А тебе не было больно, когда он усыпил тебя? — спросил один из них.

— Нисколечко! — ответил я не без гордости.

— Я решил, что ты умер.

— И я тоже. Раз — и глаза закрылись.

— Мне даже страшно стало.— Ребята наперебой делились своими впечатлениями. Все четверо учились в третьем классе. Звали их Гэнта, Цунэ, Сёта и Минэо.

— Скажи, у тебя на самом деле уже все улетучилось? А если гипноз еще действует и перейдет на нас? — обернувшись, с опаской в голосе спросил бежавший впереди Гэнта. Все дружно расхохотались.

Дорога подмерзла, слышно было, как из-под колес отскакивали крошившиеся комья затвердевшей грязи. Поднимавшийся от земли промозглый туман окутывал коляску, но я совсем не чувствовал холода. Мы свернули с дороги, и прицеп мигом взлетел по пригорку к нашему дому. Мама все стояла и благодарила наших провожатых.

— Раз у тебя болит нога, я завтра сам приду поиграть с тобой,— предложил Гэнта.

— И я тоже,— присоединился Минэо.

Я кивнул, а самого душили слезы.

— На вот, возьми, это я по дороге нашел.— Цунэ достал из кармана орех и вложил мне в руку.

Сёта тоже вытащил из своих латаных-перелатаных штанов горсть орехов и протянул мне.

— Ну пока!

— До завтра! — И они побежали по освещенной лунным светом тропинке.

Глядя с веранды вслед убегавшим, сестренка порадовалась:

— Братик, как хорошо, что мы сходили в цирк. Теперь и у тебя появились товарищи.

Разложив орехи около подушки, я вдыхал исходивший от них аромат гор и никак не мог заснуть.

Наверно, Сёта и Цунэ нашли орехи у подножия горы, за школой, куда они успели сбегать до начала занятий. Сезон орехов уже давно прошел. Они долго пролежали под опавшей листвой, скорлупа у них потускнела и утратила ту глянцевитость, какая бывает у орехов осенью.

Некоторые уже выпустили росточки. Три таких я отложил отдельно. Утром попрошу, чтобы их посадили в саду

на видном месте, под моим окном. Весной орехи, подаренные мне моими друзьями, дадут зеленые всходы.

Я уже знал от мамы про свой ответ на вопрос иллюзиониста. Оказывается, находясь под гипнозом, я сказал: «Мое самое большое желание — иметь ДРУЗЕЙ!»

Заострив кончик спички, я смастерил из упругого орешка волчок и запустил его. В полумраке комнаты послышалось тоненькое протяжное жужжание.

Завтра ко мне придут друзья!

Я лежал и все слушал и слушал песню волчка.

Такако Такахаси

ТОМЛЕНИЕ

I

Я ждала Тамао. Ему было восемнадцать лет.

В городок Т. меня привело исключительно необычное душевное состояние. И хотя в молодости я в этих краях бывала, в самом Т. оказалась впервые.

Из поезда, когда он подъезжал к городу N., моим глазам открылась удивительная картина: далеко вокруг над самой землей низко стлалась сверкающая пелена, или, если быть точнее, от земли будто поднимались вверх воздушные струи, светящиеся каким-то металлическим блеском. Свечения настолько интенсивного мне до сих пор здесь видеть не доводилось.

А произошло вот что. В прошлом месяце, в январе, я села в первый попавшийся поезд и поехала неизвестно куда: есть у меня такая привычка — кататься в поезде без определенной цели; в этой бесцельности я нахожу свою прелесть: полнейшее отсутствие прагматизма, все подернуто дымкой неопределенности. Однако в тот раз поездка была вызвана особым обстоятельством — мой муж покончил с собой.

Несколько месяцев после этого я жила в состоянии прострации, ничем не могла себя занять. Тогда и пришла мне в голову мысль сесть в любой вагон и отправиться невесть куда. А поняла я, в какую сторону меня везет поезд, когда за окном заметила поднимающееся с поверхности земли сияние.

Смерть мужа все перемешала в голове, создав невообразимый хаос, в котором не было ничего от повседневной суеты. В подобных случаях люди обычно впадают в безумие — плачут, кричат, и это, видимо, приносит им какое-то облегчение. Но со мной было не так. Чем дальше, тем более беспорядочно нагромождались мысли, хаос миллиардами ледышек заполнял всю меня, грозя разорвать изнутри,

© Takahashi Takako 1980

а окружающий мир со всем, что в нем есть, словно растворился. И ничто не в силах было вывести меня из этого оцепенения.

И вот, увидев за окнами мчащегося поезда странный полусвет, я вспомнила, что еще в юности, проезжая по этой дороге, была поражена необычным, исходящим от земли сиянием. Вспомнила и свою интерпретацию загадочного явления. Здесь начинается горная гряда. Свечение наблюдается на узкой полосе между морем и горами, на пути от города N. до портового городка К., причем в районе города N. оно особенно поражает, возможно потому, что дальше глаза к нему привыкают. Объясняется этот феномен, по-моему, просто: горы состоят из гранита, за тысячи лет местами стершегося в порошок, который покрыл всю прибрежную полосу; или же в составе самой почвы изначально был гранит, частички которого и дают такое свечение.

Мне захотелось сойти с поезда в этом необычном месте, но, узнав, что на станции N. можно пересесть в другой поезд, который следует еще выше в горы, до станции Т., я решила ехать туда: по логике, чем выше поднимусь я в горы, тем ближе буду к истокам завораживающего меня зрелища.

На платформе было холодно, дул пронизывающий северный ветер. В воздухе, казалось, можно было явственно различить мерцающие пылинки гранита. Ощущение, будто я вступила в центр огромного ореола, не покидало меня, и я еще подумала: отличаюсь ли я сейчас, сию минуту, от той, какою была до поездки?

Самоубийство мужа. Оно назревало, видимо, в течение всей нашей десятилетней совместной жизни — исподволь, капля за каплей. Но было еще одно обстоятельство, мучившее меня. Задолго до этого брака покончил с собой другой человек, с которым я была близка. Мне представлялось, что какой-то нитью эти факты связаны между собой. Оба самоубийства не имели какого-то непосредственного повода: как покойный муж в течение десяти лет копил в себе смерть, так и возлюбленный копил ее те три года, что мы встречались. Да, они оба именно копили в себе смерть, по-другому не скажешь. И тот и другой, оказалось, были удивительно слабы, с годами их жизненная стойкость не возрастала, а, дойдя до какой-то точки, падала, и этой точкой был момент встречи со мной. Так мне объяснил все это один старик хиромант.

— Планида твоя такова: тебе свыше предопределено

тяготеть над другими. Оттого всякий мужчина, которого ты полюбишь, окажется в круге смерти,— добавил он.

Никогда прежде не думала я, что судьбою мне дарована такая власть, я всегда была уверена, что не отличалась силой — ни душевной, ни физической.

— Что это значит — оказаться в круге смерти? — спросила я.

В комнате хироманта горела свеча; кроме книги в кожаном переплете, ничто не говорило о таинствах его профессии. Огонь свечи пожирал темень.

Старик сказал:

— Существует круг жизни и круг смерти, и есть, следовательно, люди, жаждущие жизни, но не способные выйти из круга смерти, и люди, страстно желающие умереть, но не способные выйти за пределы круга жизни. И в том и в другом случае их жизнь адова. Большинство людей, правда, могут жить спокойно: их судьбы не связаны с этими кругами.

И добавил:

— Я, бывает, смотрю внимательно на людей и вижу вокруг некоторых из них едва мерцающие круги, освободиться от которых невозможно. Одни рождаются с таким кругом, а у других, как родимые пятна, он появляется позднее.

Неожиданно старик поднял свечу и, вытянув вперед руку, указал во тьму.

Я смутно различила где-то далеко людей, сонм людей. Один из тысячи был заключен в светящийся круг. Мне только непонятно было, каков круг жизни и каков — смерти. Зато я с поразительной остротой почувствовала, до чего мучительной должна быть участь тех, кто хочет, но не может умереть, и тех, кто стремится жить, но не в состоянии отодвинуть нависшую над ними смерть.

— Отчего в человеке накапливаются силы смерти? Как? — спросила я, и хиромант ответил:

— Вспомни, как люди меряются силой. У тебя с ними было так же. Вам казалось, что ваши руки недвижны, что они только напряжены, тем не менее скрытая борьба уже шла. Схлестнулись две силы, две судьбы, борьба шла на пределе, со стонами и скрежетом зубовным. Но что удивительно — вы сами этого не чувствовали. А я это видел. Я видел, как постепенно вокруг стоп твоих мужчин возникали круги смерти.

Этот разговор привел к тому, что меня обуял ужас: казалось, стоит мне пристально взглянуть, скажем, на какое-

нибудь насекомое — и, мертвое, оно упадет, словно высохшая чешуйка. Моя планида помимо моей собственной воли губительна для всего живого? Мир, в котором мне суждено обитать, должен быть усеян трупами? Значит, я ни к кому и ни к чему не смею приближаться... Чтобы не звать смерть, я сама должна затаиться, притвориться мертвой.

Почему все-таки и возлюбленный, а потом и муж покончили с собой? Я без конца размышляла об этом, но видимой причины найти не могла, только живо представляла себе, что какая-то сила втягивает того и другого в центр круга смерти, как в водоворот ночного черного моря. И они не пытаются спастись и не удивляются — приговор судьбы непреклонен.

Я не могу согласиться с тем, что причастна к таинству смерти или наделена неведомой силой. Не могу отнести себя и к тем, кто, обладая избытком жизненных сил, пожирает другого. Но отчего же стоит мне полюбить человека — и его втягивает в круг смерти? Моя планида тяготеет над другими, объясняют мне. А в чем она — эта особая сила, предопределенная мне свыше? И вообще, что это значит? Следует ли из этого, например, что если бы я занималась борьбой сумо, то победа всегда была бы мне гарантирована?

В ожидании поезда на Т. я стояла на платформе, погрузившись в воспоминания. В кромешной тьме различала фигуры людей, видела, как вокруг некоторых замыкаются круги смерти. Дул северный ветер, сухой и острый, как льдинки. Воздух был прозрачен, потому что в той стороне, откуда дул ветер, не было заводов, и светел, потому что нес к небесам свечение земли.

Неожиданно какое-то предчувствие заставило сжаться мое сердце. Оно стало определеннее, когда я села в старый пустой вагон, и поезд из двух ржавых вагонов, скрипя на рельсах, отошел от станции, медленно начал набирать скорость, и мир за окном стало заливать белым светом. Да, я была права: чем ближе поезд подходил к горному хребту, тем интенсивнее становилось свечение.

Предчувствие, от которого замирало сердце, можно было бы, пожалуй, обозначить словом «счастье». Я, только что блуждавшая в мыслях о смерти, неожиданно встретилась со счастьем. Наверное, правильнее было бы сказать: где-то далеко впереди увидела счастье! Именно так, потому что минерал, белым светящимся паром возносившийся с земли, казался мне материализовавшимся счастьем.

Не только свечение — весь пейзаж убеждал меня в том,

что где-то здесь сокрыто нечто очень глубокое и важное. Я не могла избавиться от ощущения, что каждая новая картина, разворачивающаяся за окном, исполнена особого смысла. Да, вот у меня и появилась цель — побывать в городке Т., и эта поездка, видно, предопределена свыше, мелькнула вдруг мысль.

За окном проносились деревья, старинные особняки, храмы, от всего веяло чистотой и красотой. Порой ночная тьма как будто разрывалась вспышкой, и тогда дома, деревья резко высвечивались, окутанные белым сиянием, исходившим от этой земли. Чарующее свечение я воспринимала как тайный знак, я чувствовала себя накануне пробуждения, мне стало казаться, что каким-то неведомым образом моя жизнь прочно связана с этим светящимся счастьем.

Предчувствие, охватившее меня, удалось, наконец, выразить словами: во мне зародилось и крепло убеждение, что мне суждено стать счастливой и я уже ею стала. Где-то в этих местах я создала свой очаг и коротаю свой век с семьей. Все вокруг настойчиво внушало мне это. И именно нелепость такой мысли делала ее для меня реальной. А и в самом деле: разве когда-нибудь рациональное было до конца истинным? Истина, мне кажется, обитает как раз где-то в складках алогичного и неясного.

Да, я живу здесь, в одном из домов этой залитой таинственным светом улицы. Я — не та женщина, жизнь которой до замужества была движением к некоему отрицательному полюсу, а совсем другая, моя жизнь теперь — движение к полюсу положительному.

Не доехав нескольких станций до городка Т., схожу с поезда.

Брожу по улице и всеми порами ощущаю эту землю, такую родную. Это моя земля, я тут живу, всегда здесь жила, просто на какое-то время забыла об этом. Мне бесконечно знакомо все вокруг и эта дорога, словно заботливо посыпанная светящимися песчинками, которые отбрасывают на меня свой свет. Великолепие этой картины не сравнить с той, что была видна из окна поезда; здесь все окрест живет своей удивительной жизнью.

Мое внимание привлек дом в европейском стиле. Видимо, построен еще до войны, вон как он накренился. Живая изгородь, когда-то окружавшая его, сохранилась только частично. Нынешний сетчатый забор — единственный современный элемент в постройке. Весь двор можно охватить одним взглядом. Огромное количество роз. Ко мне спиной

стоит женщина, поливает их. Я очень живо ощутила гладкую медь старой лейки, почувствовала на своей обуви брызги воды, лившейся из носика. Несколько поколений эта тяжелая лейка служит в доме. Сама я уже восемь лет выращиваю розы. Каждый раз, когда в этот предвечерний час с полным ведром воды и лейкой я выхожу в сад, заходящее солнце желтыми лучами еще согревает землю. Оно здесь не прячется за вершины гор, а медленно садится за невидимым отсюда морем; дни тут длиннее, чем в долине, и тянутся, тянутся, как желтая патока. И я каждый вечер поливаю розы...

— Простите...— сказала я, подойдя к забору.

Женщина повернулась ко мне.

Ощущение у меня в этот момент было такое, будто я никак не могу очнуться от тяжелого сна. Но заторможенность не препятствовала ясности восприятия.

— Я тут впервые... Не подскажете, в какой гостинице поблизости можно остановиться?

— Гостинице? Вам, пожалуй, лучше поехать в город Т.

«Город Т.!» — мысленно повторила я. Да ведь я сама туда собиралась! Совпадение очень обрадовало меня, перед глазами разлилось белое сияние, точно ореол на засвеченной фотобумаге.

— Мама! — послышался голос мальчика, и женщина ушла в дом.

До гостиницы в городке Т. я добиралась совершенно разбитая, меня будто силой вырвали из глубокого сна. Такое было со мной впервые.

Предчувствие, зародившееся, когда я сошла с поезда на станции N., еще не разрешилось, оно лишь все более разрасталось во мне.

В гостинице портье спросил, где я предпочитаю снять номер — в старом корпусе или в новом. Я, конечно, выбрала старый, но он, будто не услышав моего ответа, предложил поселиться в новом корпусе. Я повторила, что предпочитаю старый.

— Да, как раз сегодня там случайно есть свободный номер,— сказал он.— Но вообще в старом корпусе номера предназначены для гостей, которые намереваются жить в гостинице продолжительное время.

Недоумевая, что это за гости, я все-таки попросила этот единственный свободный номер.

Он оказался двухместным, довольно дешевым — три ты-

сячи иен в сутки; только в старом корпусе были такие недорогие номера.

Проведя здесь день, я осталась гостиницей чрезвычайно довольна и решила, как другие постояльцы старого корпуса, пожить еще несколько недель. За необходимыми вещами надо было съездить домой, и я снова оказалась в поезде. И снова густое белое свечение колдовской силой приковывало взгляд.

В гостиницу вернулась только спустя месяц, восьмого февраля. Все это время я ощущала вокруг головы сияние воздушных струй.

И вот началось мое длительное пребывание в этой гостинице. В первую же ночь причудливый сон приснился мне. Будто стоит в комнате восковая фигура очаровательного юноши в натуральную величину, юноше семнадцать-восемнадцать, максимум двадцать лет. Я назвала его Тамао. Мы с ним давние, очень близкие друзья и, судя по всему, очень долго будем вместе и впредь. Юноша абсолютно белый, только припухлые щеки слегка розовеют. Когда я прикасаюсь к нему руками, он как будто оживает. Мне очень хочется вдохнуть в воскового юношу жизнь, я мучительно пытаюсь найти в этой фигуре тайную пружину жизни. Руки поглаживают хрупкие плечи юноши, опускаются до груди. С удивлением обнаруживаю, что и у мужчин есть соски. Потом сквозь зыбкий сон я слышу: «тук... тук...» Бьется сердце, чье — неведомо. И к нему, как к центру Вселенной, стремится моя душа.

Не так уж длинен был сон, но мне казалось, что я жила в нем до самого утра; и потом еще, в течение дня, этот сон преследовал меня.

В полдень, войдя на своем шестом этаже в лифт, я увидела юношу в джинсовом костюме. Он чрезвычайно, до мельчайших деталей походил на восковую фигуру, привидевшуюся во сне!

— Уж не Тамао ли вы?! — нечаянно воскликнула я.

И юноша не сказал, что я ошиблась.

С тех пор я так и называла его, а ему ничего не оставалось, кроме как молча смириться с этим. Так произошло наше знакомство.

Мне кажется, в какой-то степени имя творит самого человека, и присвоение имени — в чем-то акт колдовства. Назвав юношу именем Тамао, я наделила его чертами, свойственными восковой фигуре из моих сновидений. Юноша,

разумеется, ничего не мог знать о ней, но через меня, через мои сны эта фигура так или иначе воздействовала на него.

Я уже поняла, какие гости продолжительное время живут в старом корпусе гостиницы. Например, Тамао намеревался здесь в течение месяца готовиться к вступительным экзаменам в университет (его родители несколько дней назад уехали работать за границу). Другие постояльцы — преподаватели университетов, стажеры, слушатели различных курсов; обычно они живут здесь одну-две недели. Туристов старое здание не привлекало, и хозяева, удешевив в нем номера, стали сдавать их упомянутой выше категории людей. Но для меня этот корпус, в котором изящная старина была покрыта патиной времени, где постоянно ощущался стойкий запах плесени и через пелену этого запаха просматривались стены, потолок, ковер, мебель, где словно бы витали души прежних людей, тонко чувствовавших красоту,— этот старый корпус подходил для моего отдыха как ничто более.

Однажды утром, пробудившись ото сна, в котором мне опять явился восковой юноша, я почувствовала, что в комнату врывается свежий воздух. (Отопление грело чрезмерно, и в номере обычно было душно.) Повернувшись к окну, заметила, что низ занавеса колышется. Кстати говоря, для гостиничного номера такой занавес выглядел слишком убого, он мог бы висеть разве что в комнате прислуги. Такое впечатление, будто его взяли из некогда роскошного, но впоследствии разорившегося дома; впрочем, в этом я нахожу для себя особое очарование. Так вот, трепетание занавеса от дуновения воздуха показалось мне странным. Раздвинув его, я увидела, что в одном квадрате окна не хватает стекла. Издалека совершенно незаметно. То, что никто из постояльцев до сих пор этого, вероятно, не замечал, в моих глазах придало старому корпусу гостиницы еще большую привлекательность. Прекрасно, когда с таким искусством сделанное окно настолько запущено.

Увидев в лифте Тамао, я сразу же поведала ему об окне, потому что как раз в это время бежала вниз напомнить о стекольщике, который все не приходил. (Красота красотой, а сквозило очень сильно.)

— К счастью, отопление хорошо работает,— добавила я, подспудно ощущая ностальгию по безвозвратному прошлому старой гостиницы.

— Да. Оттого и розы хорошо растут,— сказал Тамао.

Я опять поразилась белизне его кожи: кажется, притронься — и кончики пальцев ощутят прохладный воск. Ничто не выдавало в нем живое существо, разве лишь легкая розоватость щек.

— Какие розы? — спросила я, чувствуя прилив радости оттого, что он со мной заговорил.

— Которые я перевез сюда из оранжереи.— Голос у него был тоже безжизненным — ровным, лишенным интонаций.

— Вы выращиваете розы?! — Я не могла скрыть изумления.

Тамао ничего не ответил, а лицо его осталось бесстрастным.

В лифте больше никого не было. Пока ехали вниз, я внимательно разглядывала юношу. Когда он молчал, все признаки жизни куда-то исчезали, и даже тело его казалось безжизненным. Лифт был старый и полз вниз очень медленно; в отличие от современных — до того стремительно несущихся вниз, что пропадает даже ощущение движения,— этот скрипучий ящик как будто опускался в никуда. Глядя на Тамао, я интуитивно почувствовала, что такое состояние безжизненности для него естественно. Лифт остановился. Словно забыв, что только сейчас мы разговаривали, Тамао удалился — молча, как неживой предмет. Затем он обернулся, чтобы попрощаться; на миг блеснула улыбка, но какая-то неполная, словно загнанная глубоко вовнутрь, откуда она никак не может выбраться.

В эту ночь опять во тьме комнаты стоял восковой юноша. Я протянула к нему руки, ощутила мягкие живые волосы, маленькие — их можно было спрятать в кулаке — круглые уши, широкий лоб, тонкий нос. Я чувствовала, как мои прикосновения вселяют жизнь в фигуру, как под моими пальцами она теплеет. Зрение у меня было отключено, работало только осязание, и я представляла себя очень чувствительным сенсорным устройством. Но в то же время я еще и размышляла: пыталась придумать заголовок для исследования на тему о том, где в восковой фигуре сокрыт источник жизни.

И в том месте, где я, казалось, приблизилась наконец к разгадке, сон прервался.

А днем в кафе на втором этаже, когда я пила чай с живым Тамао, мне пришла в голову очень странная мысль:

с того момента, когда я впервые увидела этого юношу и неожиданно назвала его Тамао, он стал для меня продолжением восковой фигуры, наши встречи как бы продолжали виденные накануне сны. Здесь, в кафе, устроившись удобно в глубоком старомодном кресле, я продолжала в реальной жизни воспроизводить ирреальное, то, чем жила во сне. Невероятное ощущение! В чем же суть столь нелепого феномена? Вероятно, явившийся во сне образ отпечатывается в подсознании — где-то глубоко-глубоко, и я, отдельно и независимо от реальности, также и в подсознании, проживаю все это полной жизнью. Когда я возвращаюсь в реальный мир, этот образ в зеркале действительности воспроизводится в ожившем виде.

Тамао и меня разделяет круглый мраморный столик.

— На какой факультет собираетесь поступать? — спрашиваю я.

— На физико-математический. Хотел бы заниматься математикой,— отвечает Тамао; в отличие от меня он не утопает в кресле, а сидит напряженно, выпрямив спину.

— Математикой? — механически переспрашиваю я, потому что мои мысли поглощены другим. «Отнюдь не всегда и не всякий оживший образ воплощается наяву. Такой феномен наверняка чрезвычайно редок».

— Да, очень люблю математику,— повторил Тамао.

«Вот как!.. И я в молодости увлекалась ею».

На днях, проезжая город N., я в поезде как раз рассуждала математически: по отношению ко мне, двигающейся из какой-то точки к отрицательному полюсу, коррелятивно должна существовать другая я, направляющаяся к полюсу положительному...

— Не устали? Дни напролет сидите за книгами...— Я пыталась разговорить Тамао, потому что речь действует на него, как прикосновение рук на восковую фигуру.

— Нет, не устал,— с обычной бесстрастностью отвечает Тамао.

— За книгами с утра до поздней ночи? — Я пыталась связать образ жизни юноши со своими ночными видениями.

— Да ведь до экзаменов осталось совсем немного времени.

— Переутомиться не боитесь? Выглядите-то вы не богатырем.

Боюсь, вместе со словами я передала ему информацию о своих чувствах. Но Тамао, кажется, ничего не заметил: нежность, выраженную голосом, не видно, и на ощупь ее не почувствуешь.

— Действительно, я часто простужаюсь.
— Неужели?
— Да. И чуть что — живот болит.
— В самом деле?!
— Что «в самом деле»? — переспросил Тамао.

Он, кажется, не расслышал в моем голосе слишком сильной заинтересованности. Дело в том, что при тонкой восприимчивости у меня своеобразное, я бы даже сказала, болезненное чувство прекрасного. Не случайно мне так полюбился старый корпус гостиницы. И вообще, я нахожу прекрасным лишь то, в чем нет следов полнокровной жизни.

— Вам нравится здесь? По-моему, очень уютно — великолепный ковер, кресла.— Я показала рукой на пустующий зал кафе. Кресла, обитые темным бордовым бархатом, того же тона ковер на полу. Во всем убранстве отсутствовал прямолинейный практицизм, столь противоречащий моему пониманию красоты.

— Днем я здесь всегда один пью чай. Других развлечений тут нет,— проговорил Тамао.

Да, так оно и было. Зайдя как-то сюда, я застала Тамао, в одиночестве пившего чай, и решилась подсесть к нему.

— Забавно... Совсем молодой, а нравится вам то же, что и мне. О чем же вы думаете, когда сидите здесь один? — Меня внезапно осенило: сидя тут за столиком, он наверняка погружен в воспоминания. Какие? Это не может не показаться безумно невероятным, но я уверена, что Тамао вспоминает сон, виденный мною накануне. Человек вспоминает не обязательно только то, что пережил сам.

— О чем думаю? — Улыбка скользнула по его лицу.

О, в этот миг я поняла, что между нами установлен полный контакт. Но Тамао по-прежнему разумом не может знать, что находится в плену моих сновидений. Я решила действовать смелее:

— Вы слышали о художнике Альберто Мартини? У него есть картина «Любовь».

Огромный цветок, похожий на мак. Цветок раскрыт, и в чаше его видятся еще два цветка — два лика, обращенных друг к другу; губы слились в поцелуе. Мужчина и женщина в любовном экстазе заключены в чашу цветка, нет — как бы укрыты его лепестками. В картине не два отдельных явления — цветок и мужчина с женщиной — и не абстрагированно выраженное отношение между расцветшим цветком и человеческой любовью. Идея цветка проникает

в идею любви, а любовь мужчины и женщины воплощается в идее буйно цветущего растения. Так представлена в картине любовь, земная любовь.

II

Я ждала своего Тамао. Ему было восемнадцать лет.

В сновидениях я пыталась разглядеть, где в восковой фигуре Тамао скрывается тайная пружина жизни, и тогда же, во сне, мне удалось раскрыть тайну: она — в любви. Таинства жизни сокрыты в земной любви.

Дни и ночи сменяли друг друга. Ночи были заполнены встречами с восковым Тамао, а днем в кафе, куда почти не заглядывали постояльцы, я наслаждалась общением с реальным Тамао. Одинаковое имя создало нерасторжимое единство — удивительное в своем очаровании.

До экзаменов в университет оставалось совсем немного времени, и я стала беспокоиться, не мешают ли Тамао днем мысли о предшествовавшей ночи. А в том, что Тамао вспоминает мои сны, я не сомневалась. Наверное, сновидения — если это необычные грезы необычайно близкого человека — каким-то чудесным образом передаются, и другой человек может вспоминать то, чего сам не переживал. Вот почему изначально бесстрастное лицо Тамао становилось еще более неживым, как это бывает у людей, поглощенных воспоминаниями; вот почему с каждым днем его апатичное лицо все более приближалось к бессильной красоте восковой фигуры, в то время как кукла по имени Тамао после каждой нашей встречи во сне все более оживала.

Вот и в эту ночь я томилась в ожидании Тамао. Последнее время мне стало казаться, что мои сны строятся сознательно, волевым усилием. Конечно же, я отдавала себе отчет в том, что буйство моей фантазии выходит за пределы разума, вторгаясь в сферу сна. Слух и зрение во сне отключались, зато необычайно чутко функционировал осязательный аппарат, и я досконально изучила восковую фигуру Тамао. Опыт прошлых ночей убедил меня в том, как много — не меньше, чем зрение,— можно познать с помощью осязания.

Мои руки поглаживают худую гладкую грудь, кончиками пальцев я чувствую, как на белом восковом теле, лишенном волосяного покрова, алеют соски, ощущаю ребрышки, тонкие лопатки, округлости плеч. Затем руки стре-

мительно падают вниз, и я чувствую, как тело Тамао наполняется жизнью, становится теплым, напоминая зажженную свечу...

На следующий день я опять спустилась в кафе и застала там сидевшего в одиночестве Тамао. Он повернул в мою сторону белое, как воск, лицо, на котором заметна была необычная для него живость. Взгляд его был пристальным.

— О чем задумались? — спросила я, садясь рядом.

— Вспоминал кое-что,— вежливо ответил он.

— Вспоминали? Что? — Я подумала о том, что воспоминания — связующее звено между моими ночами и днями.

— Вам не приходилось слышать музыкальную композицию «Любовь»? — Подобие улыбки промелькнуло в лице юноши.

Мелодию образует одно-единственное слово «ай» — «любовь», которое то произносит женщина, и мужчина вторит ей, то произносит мужчина, а ему вторит женщина; это слово произносится, поется, возглашается в разных тембрах, с разной громкостью, скоростью, нежный шепот сменяется речитативом, возгласами и вырастает до пронзительного крика. Так описал мне эту композицию Тамао.

Мне стало не по себе: вряд ли я смогла бы воспринимать эту композицию только как чистую музыку.

— И вы сейчас вспоминали ее? — Я была в смятении, мне с трудом удавалось четко разделять героя сновидений и реального юношу, которые уже несколько дней и ночей представляли для меня неразрывное целое.

Я сравнивала картину «Любовь», музыкальную композицию «Любовь» и мои с Тамао отношения, которые трудно как-то определить, настолько они были своеобразны. И все же стремление определить их приняло форму наваждения. А вдруг аппарат восприятия воскового Тамао имеет что-то общее с растением? Я загорелась желанием найти растение, похожее на Тамао, нет — аналог Тамао, так сказать, Тамао-растение.

Над мраморным столиком, за которым я сидела с живым Тамао, витал запах лимона — ярко-желтый, как сам лимон. В кафе было тихо и почти пусто: кроме нас, только одна пожилая пара молча пила кофе.

— Где-нибудь поблизости есть ботанический сад? — спросила я.

— Да,— ответил Тамао.— Можно на поезде доехать до станции R., а оттуда немного по канатной дороге.

— Коллекция растений там богатая? — Я все еще была поглощена мыслью о растении, воплощающем в себе Тамао.

— Да ведь зима, вам не много удастся увидеть.

Пожилая пара поднялась из-за своего столика и, по-европейски скрестив руки на груди, прошла мимо нас к выходу. На лице дамы я заметила темные старческие пятна и вспомнила о своем возрасте — я была лет на двадцать старше Тамао.

— Думаю, кое-что интересное все же увижу,— многозначительно сказала я.

— Прежде там насчитывалось около тысячи видов растений, а теперь, возможно, и больше.

Осведомленность Тамао удивила меня.

— Приходилось там часто бывать?

— Я когда-то ходил туда любоваться розами. А потом и сам стал их выращивать.

— Розы?!

— Почему это вас так удивило? Вы даже в лице изменились.

— Возможно... Наверное, потому что вы заговорили о розах. Мне безумно хочется взглянуть на них. Странно, не правда ли?

Странно? Когда-то давным-давно я мечтала иметь собственный дом, во дворе его посадить розы, много роз... Бывает же так — совершенно забытые вещи вспоминаются вдруг в самый неожиданный момент. «Конфидэнс», «Уайт кристмас», «Эдэн роуз» — названия различных сортов отчетливо всплывают в памяти. «В ближайшие два-три дня непременно съезжу в ботанический сад»,— решила я.

Наступала ночь, и, значит, опять должен был появиться восковой Тамао.

Сначала, как всегда, он был холоден. Тепло моих рук вдохнуло в него жизнь, тепло моей души отогрело его. И я поняла наконец, что в этом — объяснение моей безумной привязанности к восковой фигуре. Встречи с восковым Тамао давали ощущение причастности к жизни другого. Он же, оставаясь восковой фигурой (кожа его в эти минуты, правда, теряла глянец воска), превращался в нечто качественно другое, в нем проступало что-то от растения. Но как только я переставала ласково прикасаться к нему, он моментально холодел, возвращаясь в свое первоначальное состояние куклы.

Что-то в ожившем Тамао меня не устраивало. Поняла! У него безжизненные губы. Я приблизилась к нему с помадой в руке и почувствовала теплое дыхание. Лицо мне было знакомо до мельчайших деталей; без труда найдя губы (какие они нежные! гораздо нежнее моих!), я на ощупь накрасила их помадой. Видимо, слишком сильно прижала помаду к губам, потому что почувствовала, что Тамао стал задыхаться. Губы приоткрыты, зубы разжаты; там, за чернотой, рождается дыхание.

Затем сняла фигуру с кровати и установила на полу. Отошла на несколько шагов и с восхищением стала смотреть на него. В темноте было видно лишь, что на белой восковой поверхности ярко горят губы. Остальное жило в моем воображении.

Я проснулась в приподнятом настроении.

После долгого самовольного затворничества захотелось погулять на свежем воздухе, и я вышла из номера.

У лифта заметила Тамао. Он на миг повернул ко мне лицо. Что-то неожиданное в нем поразило меня, я чуть не вскрикнула. Тамао весь сразу вспыхнул и стремглав бросился по лестнице вниз. Я тоже подбежала к лестнице, но Тамао уже сбегал по толстому бордовому ковру с пятого этажа на четвертый, с четвертого на третий. И тут я не смогла сдержать возгласа: не знаю, показалось ли мне это или так было в самом деле, но только сейчас я разглядела по краям губ Тамао не стертую до конца помаду — точно такую, какой пользуюсь сама.

Что со мной? Живя в реальности, я как будто вижу бесконечный сон.

Мне необходимо было знать истину, и я побежала догонять Тамао. Мягкий ковер скрадывал звуки шагов, и я не могла определить, на каком этаже он скрылся.

Зашла в кафе, надеясь застать Тамао там, но обнаружила только пожилую пару, которую впервые встретила вчера. Мужчина с дамой пили кофе. Я почувствовала усталость, присела за соседний столик и тоже заказала себе чашку кофе — вторую в это утро.

Огромные старинные часы с маятником показывали 10.38. Одним глотком я опустошила чашку. «Теперь-то совсем проснулась»,— подумалось мне. И все же реальная жизнь вокруг была неясной, окутанной туманом. Вероятно, я уже давно совершенно перестала различать границу между сном и явью.

Пожилые люди приветливо улыбнулись мне.

— Вы тоже приехали смотреть? — спросила дама.

Я не поняла ее.

— Нам захотелось освежить впечатления тридцатилетней давности, вот мы снова и приехали сюда, в эту старую гостиницу,— продолжала она, взглянув на мужа.

— Да,— улыбнулся он ей в ответ.— Раньше мне казалось, что только жена чувствовала себя в те дни очень счастливой, но теперь я смог убедиться, что то было замечательное время и для меня.

Я все еще ничего не понимала.

— «Цвели фиалки в дни первой нашей встречи...» — вполголоса запела женщина, а ее спутник, улыбнувшись, сказал мне, не очень, впрочем, рассчитывая на поддержку:

— Да... Нужно сильно постареть, чтобы понять, какое то было славное время. Вот потому моя жена ничего понять и не может.

— Ты опять за свое... Да ведь я только в тех снах молодая девушка...

— И все же красоту женщины может оценить по достоинству только мужчина с жизненным опытом,— твердо сказал он.

Я поднялась из-за стола. Сумочка с деньгами была при мне, я вышла из гостиницы и, поймав такси, попросила отвезти меня к канатной дороге у станции R.

Такси стремительно неслось вдоль реки. Позади остались гостиница, расположенное напротив нее, на другом берегу реки, здание женского музыкального театра. Оно напомнило мне слова мужчины, и я подумала, что, пожалуй, красоту юноши также может оценить лишь женщина с грузом лет на плечах.

Небо, недавно ясное, заволокло тучами, у подножия хребта дул пронизывающий ветер. На мне было одно легкое платье, и я остановилась в нерешительности — словно застыла от холода. Белое свечение, так долго державшее меня в восторженном состоянии, будто сдуло ветром, почерневшее небо поглотило его, пронизало меня своим сырым холодом. Море за домами тоже черное, как небо. Промозгло. Надо возвращаться в гостиницу.

Я снова села в такси. Меня знобило. Хотелось одного — оказаться на больничной койке. По моей просьбе таксист останавливал машину у каждой придорожной больницы, но все они были переполнены. Наконец где-то надо мной сжалились и положили в коридоре на черный кожаный ди-

ван. Пронизавший до последней клеточки холод сморил меня, и я заснула, как засыпают путешественники, замерзающие в зимних горах.

Очнувшись, обнаружила себя на том же диване в коридоре. Мимо сновали пациенты. Внимание привлек старик очень странного вида — он настолько горбился, что, можно сказать, не ходил, а передвигался ползком; в правой руке он держал линзу и глядел через нее на пол, под ноги проходящим. Старик напомнил мне хироманта с его речами о кругах жизни и смерти. (Я почти забыла о них!) Есть люди, стремящиеся жить и выжить любой ценой, но силы смерти скапливаются в них, и они умирают. Другие истово желают умереть, но этому препятствуют силы жизни. Те и другие обречены на адское существование... Я знала, что принадлежу к последним. Только недавно мне казалось, что, замерзнув, я больше не очнусь, так и уйду в мир иной,— но нет, глаза снова открылись, я продолжаю жить. Где-то во мне, там, где бессильна воля, кипят упрямые силы жизни, они могучи, они заталкивают моих близких в круги смерти, объяснял хиромант...

Старик продолжал двигаться вперед, разглядывая пол в лупу и иногда шаря по нему ладонью.

— Что вы делаете, дедушка?

— Да вот не знаю, как быть... Контактную линзу уронил, ничего не вижу. Куда она могла подеваться?..

Я с облегчением вздохнула. Захотелось быстрее добраться до гостиницы, где меня ждет Тамао.

Чем ближе я подъезжала к гостинице, тем сильнее становилась тревога, которая завладела мною с самого утра. Я понимала, что не успокоюсь, пока не найду Тамао. В кафе, где в три пополудни он обычно пил чай, его не оказалось. Постучала к нему в номер, но ответа не последовало. Обошла все этажи старого корпуса. Тамао нигде нет. Усталая, вернулась в свой номер и стала прислушиваться к шагам в коридоре — идя к себе, он должен пройти мимо моей двери. За окном взвывал порывистый ветер, скрипели старые сосны. Тускло поблескивали волны, перекатываясь по белесой поверхности моря. Шагов Тамао не слышно. Неужели бордовый ковер совершенно скрадывает все звуки? Подошла к номеру Тамао и снова постучала. Тишина. Я никогда не была у него, и мне захотелось посмотреть, как он живет. Заглянула в скважину большого старинного замка. Там стояло растение. Розы! Я почувствовала сильное волнение, сразу вспомнилась давняя мечта: иметь собственный дом, в саду разводить розы — «Офелию», «Ину

Хакнесс»... Как отчетливо вспоминаются названия роз.

В тот день мне так и не удалось увидеть юношу Тамао. Зато ночной Тамао явился в сновидении.

Перед сном я размышляла о Тамао-растении.

Сенсорный аппарат — сфера биологии, прежде меня этот аспект никогда не интересовал. Когда в Тамао просыпается жизнь, чувство, он напоминает растение, обладающее перцептивным аппаратом. Какое именно? Подумала вдруг о буддийских «небесных цветах», которые на латыни называются «ликорис».

И заснула.

Ласковыми прикосновениями, как и прежде, я пробуждала в Тамао жизнь. Сам же он по-прежнему оставался совершенно пассивен. Затем мне пригрезилось, что я нашла Тамао-растение. Я увидела начало осени. Из земли потянулся вверх стебелек ликориса — гладкий, зеленый, наверняка очень чувствительный; листьев нет, голый стебель. Он водянистый, но и маслянистый местами, оттого кажется довольно массивным. Тамао очень напоминает это растение в период предцветения. Бутон у ликориса тоже зеленый — жестковат, водянист. Внутри его пока скрывается нечто красное и ядовитое, потому кажется, что зелень бутона обладает повышенной чувствительностью. Вот бутон уже лопается, вот видна уже красная сердцевина его... Если бы я могла рисовать, я бы представила возмужание Тамао как расцвет ликориса.

— Тамао! — позвала я.

Впервые звук вторгся в сон. Ответа не было, но мне почудилось вдруг, что не восковой, а настоящий Тамао рядом со мной.

Проснувшись утром, я почувствовала в постели оставшееся после него тепло, а на подушке увидела четко обозначенный контур головы Тамао и несколько его волосков. Взяла в руки один, подошла к окну, посмотрела на свет — коричневого оттенка, очень тонкий. Выдернула свой волос, стала сравнивать. Почти одинаковы.

Позавтракав в номере, оделась и вышла в коридор. Погода была замечательная, ясная — идеальная для поездки в ботанический сад. Идея найти Тамао-растение все еще не оставляла меня. Только тогда наши отношения приобретут законченность.

Я постучала в номер Тамао. Он вышел в коридор.

— Собираюсь пойти в ботанический сад,— сообщила я.

— Боюсь, что сейчас, зимой, вам не много удастся уви-

деть.— Его лицо оставалось совершенно бесстрастным — и впрямь восковая фигура.

— Я вообразила себе некое растение и надеюсь найти его там,— через силу призналась я.

Тамао не поинтересовался, что за растение я имею в виду. Показав мне англо-японский словарь, он сказал:

— Сегодня заканчиваю, осталось только тридцать слов. Значит, я выучил уже почти восемь тысяч слов, каждый день по тридцать.

— Ах, да... Ведь вступительные экзамены начинаются ровно через неделю...

Я направилась к лифту и, оглянувшись, посмотрела на Тамао. Он стоял неуклюже, ничем не отличаясь от восковой фигуры, и тоже смотрел мне вслед.

В лифте я оказалась вместе с пожилыми супругами.

— Вы сегодня одна? — спросила дама. Ее супруг с деланной улыбкой взглянул на меня.

— Я всегда одна,— ответила я, выходя из лифта.

Подножье хребта заливало волшебное белое свечение, оно окутывало мои шаги; свет лился не с неба, а исходил из земли, обещая земное, а не небесное счастье. Я стою у канатной дороги, оглядываю окрестности, всей душой ощущая благодать, которая сегодня снизошла на землю. Вчера все здесь было совсем иначе.

Пассажиров на канатке было немного. Вагон легко взмыл вверх, и из его окна было видно, как, отчетливо выделяясь на фоне всего окружающего, уменьшается в размерах эта блаженная светящаяся полоска земли, как, пульсируя, густое белое облако поднимается от земли к небу.

— Как пройти к ботаническому саду? — спросила я, не в силах справиться с волнением.

Мне объяснили, что надо еще немного пройти в гору, сесть там на другую канатку, а потом на автобус, который и довезет меня до ботанического сада.

На второй канатной дороге народу было еще меньше. Взору открывалось только прозрачное утреннее небо.

Я оказалась на самой вершине горы, перед входом в огромный парк. Нашла остановку автобуса. Зимой они ходят редко, один автобус в час. Пришлось сесть на скамейку и ждать. По-прежнему над землей царила поистине небесная благодать, сияющее белое облако воспарялось к небу. Отсюда не видно было ни города Т., ни других селений — только плато хребта и синее небо.

До ботанического сада автобус ехал минут десять. Кроме меня, никто здесь не сошел, и в сад я вошла одна.

Тамао был прав. Деревья стоят голые, даже вечнозеленые растения побурели, под ногами шуршат сухие листья — печальная картина. И все же я была очарована пейзажем: увядшие деревья на фоне ярко-синего неба исполнены особой прелести. Редкие для такого грандиозного сада посетители не мешали мне.

Я бродила по саду, а в голове теснились мысли о Тамао-растении. Между миром людей и миром растений должно существовать полное соответствие: у каждого человека во Вселенной имеется соответствующее ему растение, только обнаружить его нелегко. Ночной Тамао, например, кратковременно проявляет свою сенсорность, таким же свойством должен обладать и его аналог-растение.

Мое внимание привлекли неожиданные пламенные краски вдали. Вглядевшись, я поняла, что это оранжерея и в ней выращивают розы. Я физически ощутила, как все клетки мозга моментально переключились на мысли о розах; ноги быстрее понесли меня к ним.

Войдя в оранжерею, я оцепенела от огромного количества роз, буйства красок и ароматов. Несколько раз прошла мимо стоявших стройными рядами кустов, не в силах воспринимать каждый цветок в отдельности. Потребовалось некоторое время, и я наконец смогла различать детали. Вот ослепительная ярко-красная роза, бесчисленные лепестки которой вложены один в другой; «Орэ» — прочитала я на табличке. А это «Интерфлора» — светло-красный цветок, в котором чувствуется сдержанность, солидность. Роза с бархатистыми, свежего красного цвета лепестками называется «Рэд дэвил». Сверкающий темно-красный цветок — «Папа Мэйян». Все они — красные, но насколько отличаются друг от друга! Как соревнуются друг с другом в красоте и изяществе!

В углу оранжереи я заметила маленькую кладовую, открыла дверь и обнаружила в ней садовые инструменты, совсем новые. Только лейка была старой. «Надо бы полить цветы,— подумалось мне.— Розы особенно нуждаются в воде». Я набрала воды и пошла меж рядами, останавливаясь у каждого куста, наклоняя перед ним лейку и наблюдая, как влага смачивает землю у корневищ. От красных цветов не спеша перешла к розовым. Когда глаза остановились на роскошных цветах кремового оттенка «Конфидэнс», перед глазами все померкло, расплылось, лейка показалась неимоверно тяжелой...

Вот она, моя миссия,— каждое утро, каждый вечер, не пропуская ни дня, поить цветы.

Косо просачивается сумеречный свет. В нем все обретает особую прелесть. Солнце уже скрылось за морем, но долго еще его лучи освещают землю.

Я выхожу из оранжереи и поливаю не расцветший еще розовый куст. Брызги в лучах заходящего солнца кажутся золотыми.

— Тамао! — позвала я сына.

В этот момент за сетчатой оградой послышались неуверенные шаги. Кто-то остановился и спросил меня:

— Извините, я тут впервые... Не подскажете, в какой гостинице поблизости можно остановиться?

Передо мной стояла женщина, растрепанная прическа свидетельствовала о ее душевных терзаниях.

— Вам, пожалуй, лучше поехать в гостиницу Т. Это в городке Т.,— ответила я ей.

Хидэо Такубо

ДЕРЕВЯННАЯ СВАДЬБА

Полумрак складского корпуса пронизывали солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь щели в дощатых стенах. Нагнувшись за стружкой, чтобы счистить ею с рук белесую древесную пыль, он почувствовал себя преступником.

Собственно, счищать было почти нечего. Просто, наверное, очень уж ярко белели в этой полутьме, за плотно задвинутыми дверьми, его не привыкшие к физической работе руки.

Он подобрал валявшиеся под ногами чурки и сунул их в картонный ящик. Поставил на крышку ящика рубанок и понес все это к выходу. Пахну́ло древесиной кипариса: у дверей загораживали дорогу только что привезенные свежие бревна.

Чтобы открыть двери, он поставил ящик на пол, и в этот момент ему вспомнился запах из далекого детства — запах костра у плотины на реке Накагава. Тогда тоже была полутьма, только это было на вольном воздухе, на рассвете у реки. Ему было лет семь, он ездил с отцом ставить снасть на форель. Небо было густо-синее, рассвет только начинался, еще видны были звезды. С гор дул ветер, река волновалась.

«Ты смотри не зевай,— сказал отец, орудуя длинным шестом.— Лодка-то прямо как рыба скачет». И действительно, впереди, ниже по течению, с серебристым блеском взлетали над водой то ли рыбы, то ли барашки волн, и лодка, казалось, вот-вот взмоет носом в пустоту...

Открыв двери и выйдя на залитый солнцем двор, он невольно сделал глубокий вдох, чтобы избавиться от надоевшего спертого воздуха, и лишь острее ощутил, как свежо дышалось тогда, на реке.

Он прошел мимо складских корпусов, выстроившихся в ряд на просторном дворе, и оказался на автостоянке фирмы. По сторонам выложенной каменными плитами до-

© Takubo Hideo 1981

рожки, ведущей от ворот к конторе, хватило бы места для семи-восьми автомобилей, но сейчас все машины фирмы, даже грузовики, были в разъезде, и тут стоял только его собственный желтый «седан» да два автомобиля посетителей.

Он положил картонный ящик на заднее сиденье своей машины. Потом направился к конторе. Автоматические двери, на которых сияло золотом название фирмы по торговле лесоматериалами, разъехались в стороны. Он убедился, что в конторе нет никого, кроме двух молоденьких девушек-служащих за барьером кассы. Сотрудники отсутствовали: и Сомия, и Сэкигава. Большая комната с двумя десятками столов была пуста — и управленческий, и производственный персонал разошелся кто куда. По ту сторону прохода, за полупрозрачной акриловой стеной, было еще две приемных. Слышно было, как в одной из них Сэкигава разговаривает с посетителем.

— А где Сомия-сан? — спросил он у той из девушек, что сидела поближе.

— Уехал на машине встречать супругу,— ответила девушка.

— А,— кивнул он и пошел по проходу в глубь помещения. Сомия ниже его по должности, но гораздо старше, поэтому он так вежливо его и называет: Сомия-сан. Должно быть, все приглашенные к ним сегодня сотрудники фирмы уже ушли: надо собраться, заехать за женами. Сэкигава тоже, конечно, уйдет, как только разделается с посетителем.

Дверь в конце прохода выходила на лестницу, которая вела к служебным помещениям второго этажа, но, кроме того, здесь был и черный ход. Бетонный крытый переход соединял его с передней жилого дома. Каждый раз, пользуясь черным ходом, он думал о том, что до его появления в фирме этим путем много лет шагал в контору и обратно его тесть, Нобутакэ. Это было как-то странно.

Вообще-то нет ничего необычного в том, что глава фирмы устраивает себе жилье рядом с работой,— в таких небольших компаниях это как раз принято. Но прежде он служил в крупной торговой фирме. И поэтому первое время, уходя домой после работы, не раз направлялся не к той двери.

За изрядно обветшалой тяжелой деревянной дверью передней было по-нежилому уныло. Правда, на полу из бетона с черной галькой стояли снятые при входе коричневые туфли Кэйко, его жены, но шкафчик для обуви, неза-

крытый, зиял пустыми полками. Дальше по коридору, в распахнутой гостиной, оставался один шкаф, дивана уже не было, лишь на ковре бессмысленно красовались вмятины от ножек. Диван они увезли вместе с прочей мебелью к себе на новую квартиру, а шкаф, сделанный из отходов, принадлежал еще тому времени, когда здесь жили тесть и теща. Когда они с Кэйко поженились, ее родители переехали в многоэтажный дом на одном из отвоеванных у моря участков неподалеку отсюда, меньше чем в десяти минутах езды на машине. Но с полгода назад по соседству с родителями случайно освободилась квартира; Ясуэ, мать жены, купила ее, привела в порядок и подарила дочери с зятем на пятую годовщину свадьбы. Ну а этим жилищем Ясуэ собиралась распорядиться по своему усмотрению.

Он вошел в спальню. Кэйко сидела на стульчике, так и не перевезенном на новую квартиру, и разговаривала по телефону. Видимо, она как раз переодевалась: у ног ее валялись розовое вечернее платье, пояс и домашняя одежда, которую она только что сняла, а сама Кэйко сидела, закинув ногу на ногу, в одной палевой комбинации.

— Это мама,— вполголоса сказала Кэйко, прикрыв трубку ладонью.— Говорит, чтобы я пораньше приехала, а то не успеем все подготовить.— И снова заговорила в трубку: — Да, с мальчиками из оркестра договорились. Им сказано прийти пораньше, но я еще раз проверю. Да, понятно...

Кэйко положила трубку и с недовольной усмешкой заметила:

— Вот всегда так: столько шуму насчет того, чтобы заранее все подготовить, а в конце концов никогда не успеваем.— Она снова набрала номер и стала разговаривать с мальчиками из оркестра.

Сегодня вечером родители устраивали ужин в честь годовщины их с Кэйко свадьбы. Собственно, сказать «родители» было бы не вполне точно: и замысел, и исполнение принадлежали исключительно теще. Подразумевалось, что папаша Нобутакэ торжественно отмечает пятилетие того дня, как он, зять, вошел в его дом в качестве наследника. По традиции пятилетний юбилей свадьбы называют «деревянным»; на этот раз в названии содержался еще и намек на семейное предприятие. Дело продолжается, как бы говорила семья. Правда, он хотел отметить эту годовщину тихо, вдвоем с Кэйко, но тут добавилось новоселье, и ничего не вышло. Он только попросил сделать все поскромнее, без особого размаха.

Однако, раз уж за дело взялась Ясуэ, сразу возникли и

обширные планы, и необходимость пригласить множество гостей. Он пытался ее удержать, но куда там: и руководство местного союза лесоторговцев, и старые друзья-оптовики, и всевозможные добрые знакомые, притом все с женами,— набралось больше десятка семей. А тут еще Кэйко вошла во вкус и решила пригласить приятелей, составивших любительский оркестр, хотя и сама учится играть на фортепиано. Ну а мать обрадовалась: это гораздо лучше, чем магнитофон, будет весело.

— Ты тоже давай переодевайся скорей,— сказала ему Кэйко, закончив телефонный разговор и нагнувшись за поясом.

Опасаясь, что на месте переодеваться будет некогда, они приготовили все необходимое здесь. Торжество было неофициальное, без излишней парадности, поэтому можно было ограничиться модным пиджаком. Доставая костюм из шкафа, он загляделся на жену, которая, нагнувшись, занималась своим туалетом. Благодаря волнистым волосам до плеч, стройной фигурке и длинным ногам она казалась моложе своих двадцати восьми. Глаза у нее были как у отца, с довольно припухшими веками, нос не слишком благонравных очертаний, но лицо и все тело, в любую погоду как будто слегка загорелые, светились янтарным сиянием.

Этот цвет лица да изящное сложение и покорили его, когда на третий год после окончания университета он впервые увидел Кэйко на вечерних курсах английского языка. Они понравились друг другу, стали встречаться, и вскоре зашел разговор о женитьбе; но Кэйко была единственной дочерью, и родители собирались выдать ее замуж с таким расчетом, чтобы сделать зятя наследником дела. Он был третьим сыном в семье, так что родственные обязательства не запрещали ему выписаться из своего посемейного списка и войти в дом жены, но место в торговой компании сулило ему блестящие перспективы, и терять его было жаль. Он поехал на родину посоветоваться со стариком отцом. «Да ведь что ж,— пробурчал тот,— куриная голова лучше бычьего хвоста». И он решился.

Однако после женитьбы оказалось, что Кэйко весьма своенравна и к тому же избалована родителями. Поэтому и к мужу, и к близким друзьям она относилась с откровенной расчетливостью. Именно из-за Кэйко у них все еще не было ребенка: она не хотела полнеть. Но родители и в глаза, и за глаза обвиняли его. Иногда жена вдруг вызывала в нем острую злость. Все-таки ее характер любого мог вывести из себя. Но в то же время он только сильнее при-

вязывался к ней, сам не понимая почему. Может быть, из-за того, что после замужества в ней проснулась необыкновенная чувственность. А может быть, потому, что она была так женственно капризна в домашних делах: подолгу бездельничает, но раз уж возьмется за дело, то все у нее выходит и умно, и ловко...

Когда Кэйко начала влезать в вечернее платье, за вырезом комбинации мелькнули маленькие груди; он протянул руку и легонько ущипнул ее за сосок.

Кэйко подняла на него блестящие глаза, наморщила носик и засмеялась.

Он оделся и, пока жена надевала золотые серьги и колье, первым вышел из спальни. Из передней пошел уже не крытым переходом, а сразу во двор и оттуда на стоянку. Сев в машину, он не спеша развернул ее, чтобы удобнее было выезжать. Тут подошла Кэйко и уселась на переднее сиденье.

Машина покатила вдоль канала. По берегу его тянулись такие же лесоторговые предприятия. В нижнем течении канал выходил на огромный лесосклад, а затем вливался в воды Токийского залива.

Там, где бетонированное шоссе под прямым углом пересекало узенький канал, они повернули налево и поехали к причалу, выросшему на засыпанном участке моря, километрах в трех от фирмы.

Мягкий свет весеннего солнца незаметно пошел на убыль, уступая место густой вечерней тени. На причале тускло блестели проволочные заграждения склада контейнеров да светились в закатных лучах стальные двери холодильных камер.

У обочины этого широкого шоссе и возвышался пятнадцатиэтажный дом, в котором они обзавелись новой квартирой.

Дом был отделан плиткой кирпичного цвета, ограды балконов, окна были выдержаны в элегантном западном стиле. В таком же духе подъезд, и вестибюль, и лифт. Он поднимался к себе на девятый этаж во второй раз — первый раз был, когда они перевозили вещи. Уж конечно, сказал он себе, все это и правда стоит столько, сколько говорит Ясуэ.

Однако в глубине души он чувствовал, что квартира ему не по вкусу. Он вырос в деревне на реке Накагава, все студенческие годы и первые годы службы прожил в нужде, полагаясь только на себя, и в этом доме, новехоньком, словно с витрины, не знал, куда ступить. В первый раз он было

заколебался: квартира отличная, может быть, здесь и в самом деле лучше, чем в домике при конторе. Но тесть и теща жили прямо за стеной, и когда он увидел, что Ясуэ во время ремонта велела пробить к ним сквозную дверь, пускай и с замком, то совсем пал духом.

— Наконец-то! Что ж так поздно? — В новом жилище их уже встречала мать, выбежавшая из маленькой гардеробной.

В дверях просторной гостиной виден был Нисина, молодой управляющий, не достигший еще и сорока; он давал какие-то указания двоим незнакомым мужчинам, очевидно рабочим. Рядом рослый Нобутакэ занимал беседой ранних гостей.

— И вовсе не поздно. Что вы, мама, паникуете,— ответила Кэйко.— Уже решили, где будут инструменты? — И, приподняв обеими руками длинный подол вечернего платья, она быстро прошла по коридору в гостиную.

— Чурки привез? — спросила Ясуэ у зятя, подойдя к нему вплотную.

— Привез.— Он снова поднял принесенный с заднего сиденья машины картонный ящик, который поставил было на кафельный пол.

— Там, в гардеробной, лежит шелк, Нисина принес, заверни,— сказала Ясуэ, слегка прикрыв глаза вместо кивка. От ее длинного черного платья исходил горьковато-сладкий аромат травных благовоний.

Ясуэ была выше среднего роста и хорошо смотрелась как рядом с мужем, так и рядом с ним. Судя по всему, она тщательно следила за собой и прилагала большие усилия, чтобы не полнеть; это ей удавалось, но только отчасти. Издали ее фигура, большие глаза, полноватые губы никак не позволяли предположить, что этой женщине уже сорок семь; ей давали от силы тридцать пять. Но сейчас, вблизи, было видно, как заплыли жиром веки и подбородок, как глубоки морщинки у глаз, а под густой косметикой угадывались пятна на щеках.

Однако, познакомившись с Ясуэ, он открыл для себя, что даже морщины и пятна, оказывается, могут быть привлекательны. Трудно сказать почему. Наверное, была в этой женщине какая-то скрытая духовная сила. Может быть, сказывалась та уверенность в себе, благодаря которой она, дочь заместителя управляющего провинциальным банком, обратила на себя внимание папаши Нобутакэ и до сих пор оставалась опорой мужу и фирме...

Как и велела Ясуэ, он отнес ящик в гардеробную и стал

искать шелк, что принес Нисина, но темная маленькая комнатка была завешана верхней одеждой гостей, заставлена их вещами и подарками, и шелка нигде не было видно.

Он отправился в гостиную — пускай Нисина сам вспомнит, куда он его дел. Просторная комната с обтянутыми белой материей стенами и серебристо-серым ковровым полом сливалась в единое целое с гостиной родителей благодаря распахнутым двустворчатым дверям — места было предостаточно. Повсюду были искусно расставлены столы и стулья, на столах красовались закуски и графины с винами и соками. Угощение обеспечивал французский ресторан, постоянной посетительницей которого была Ясуэ. Оттуда пригласили повара и официанта. Белый костюм официанта то и дело мелькал в дверях.

Назначенный час уже подошел, и гостей становилось все больше. Ясуэ встречала их в передней. Пришли и мальчики из оркестра со своими громоздкими инструментами; Кэйко развила кипучую деятельность по их размещению рядом с роялем. Играла Кэйко не блестяще, но ее больше волновало, скорее, качество инструмента и настройка, поэтому целый угол комнаты занимал американский рояль. Перед роялем был установлен квадратный стол, накрытый белой скатертью, на нем стоял большой фигурный торт с гербами в виде мандаринов.

Нисина, однако, все не попадался на глаза. Внезапно кто-то сзади похлопал его по руке.

— Ну как? Неплохой вечер, а?

Это был тесть, Нобутакэ. Он невозмутимо восседал в самом крупном из кресел и курил.

Его обычная манера разговора. Сам и пальцем не пошевельнет, но ведет себя так, будто все на нем держится. Причем с такой непоколебимой уверенностью, что кажется, он и правда так считает. Что в фирме, что в семье. В фирме Нобутакэ теперь нес только юридическую ответственность, а вообще всем заправляла Ясуэ, занимавшая должность заместителя, в последнее же время частично и он. Но Ясуэ никогда не демонстрировала этого и всячески подчеркивала главенство мужа. Нобутакэ со своей стороны, как будто ни о чем и не догадываясь, спокойно принимал этот порядок вещей, и посторонние, как правило, всему верили. Даже он сам порой вдруг задумывался: что, если Нобутакэ только притворяется, будто ни на что не способен, а на самом деле и Ясуэ, и он только исполняют его волю? Другие же если иногда и замечали что-нибудь странное, то, видимо, тут же об этом забывали.

— Я бы выпил, пожалуй. Можно уже наконец? — сдавленным от нетерпения голосом сказал Нобутакэ.

— Сейчас принесу.— Он взял со стола один из поданных официантом бокалов и протянул его тестю.

Глядя, как Нобутакэ цедит вино своими нездорового цвета губами, он подумал, что это лицо красноречиво свидетельствует о полном истощении сил, хотя тестю не было еще и шестидесяти. Сероватую высохшую кожу изрезали мелкие морщины, веки набухли, и только черные глаза еще чуть-чуть светились. Лицо ничего не выражало; скорее, обращали на себя внимание аккуратно причесанные остатки волос, дорогая рубашка и роскошный костюм.

Он припомнил, как Ясуэ однажды по секрету сообщила ему кое-что о прошлом мужа. Как-то за работой они остались наедине, она сказала: «Все равно тебе рано или поздно наследовать фирму, так и быть, расскажу». Выяснилось, что в тридцать с небольшим лет, став хозяином дела после смерти отца, Нобутакэ оказался большим деспотом. Он много работал, но зато без удержу распутничал. Ясуэ выросла в семье финансиста, имевшего безупречную репутацию, и ни с чем подобным прежде не сталкивалась; она пугалась, мучилась, ей было стыдно перед служащими фирмы, иногда казалось, что уж лучше ей было бы его убить. В делах же ему сильно мешала самовлюбленность и прирожденное отсутствие предпринимательского чутья. Когда после войны во второй раз начался строительный бум, он закупил много американского и тайваньского кипариса, но вовремя сбыть не успел и понес большие убытки. Чтобы покрыть их, он пустился спекулировать филиппинским белым деревом, и это нанесло ему еще более сокрушительный удар: и фирма, и вся недвижимость чуть не ушли на покрытие долгов. Спасла дело Ясуэ: она вступила в переговоры с банком своего отца, воспользовалась его деньгами и советом и стала фактической хозяйкой фирмы.

Услышав эту историю, он пришел в восхищение от решительности и энергии тещи, но одновременно и подивился ничтожеству тестя. Правда, Ясуэ всячески скрывала его ничтожество от посторонних глаз, а сам Нобутакэ, должно быть, и не отдавал себе в нем отчета. Но ведь это ужасно — не сознавать, как ты ничтожен, в то время как все вокруг отлично это понимают. Это делает человека ничтожным вдвойне. Может быть, подобная ситуация и не редкость, но уж он-то ни за что не хотел бы в ней оказаться.

Какая, однако, женщина Ясуэ — так относиться к мужу и при этом жить с ним долгие годы... Вероятно, если бы

Нобутакэ что и заметил, то не нашел бы в этом ничего особенно оскорбительного. Любовь ли все это питает столько лет, ненависть ли, но только такая глубокая, что и слов не найти.

Глядя на Нобутакэ, он чувствовал невыразимое отвращение и смутную тревогу — наверное, потому, что это были все-таки не совсем чужие для него проблемы.

Уже не надеясь, что Нисина где-либо отыщется, он снова пошел в гардеробную. Там было навалено еще больше, чем прежде, одежды, вещей и подарков. Найти какой-то шелк было явно немыслимо. Но он все-таки забрался поглубже в полутемную комнатку и обнаружил полку, на которую раньше не обратил внимания. На ней лежала плоская коробка с шелковой материей.

Подумать только. Он взял ее и уселся рядом со своим картонным ящиком. Открыл его и достал чурки. Это были прямоугольные куски свежего некрашеного дерева размером с каменную тушечницу для письма кистью или небольшой блокнот, только раза в три толще, и у каждого на обороте было написано тушью название: «криптомерия», «американский кипарис» и тому подобное.

Он достал из коробки несколько кусков шелка и стал обертывать чурки, но сперва понюхал их. Пахло свежим, еще не просохшим деревом.

«Отец Нобутакэ отлично умел узнавать древесину по запаху с завязанными глазами. Это у него называлось «чуять дерево». Когда они с приятелями состязались, кто лучше чует, он почти всегда выходил победителем,— сказала ему Ясуэ вчера утром, когда заказывала эти чурки мастерам.— Нобутакэ в молодости, только женившись, научился у отца и тоже замечательно угадывал. Хочу завтра у вас на празднике ради забавы устроить такое состязание. Будет много лесоторговцев, вот пускай муж и покажет, что он лучше всех».

Ясуэ говорила с улыбкой, но его эти слова озадачили. Да как же Нобутакэ сумеет оказаться лучше всех? Что-то не верилось, чтобы тесть в его-то годы мог по запаху такой вот чурки определить вид древесины. Забава забавой, но неужели Ясуэ не понимает, что эта затея обернется для ее мужа позором? Все это казалось очень странным и до самого вечера не давало ему покоя. Вдруг он подумал: а что, если...— и решил непременно найти Ясуэ и спросить у нее. Однако Ясуэ куда-то пропала — должно быть, занималась подготовкой деревянной свадьбы. Когда рабочий день окончился и он пошел к себе, то обнаружил, что Ясуэ там:

она стояла у шкафа в опустевшей гостиной и что-то торопливо доставала из ящика.

«Ах, вы здесь,— вырвалось у него. Он подошел поближе. А если он ошибается? Ладно, будь что будет.— Вы сказали, что завтра на состязании отец выйдет победителем. Я все понял. Вы решили схитрить».

Ясуэ удивленно взглянула на него и некоторое время молчала. Потом вдруг потянула его за руку, приглашая сесть на ковер.

«Совершенно верно. Мы сделали на чурках маленькие зарубки, не больше следа от ногтя, так чтобы их можно было пересчитать на ощупь. А ты молчи: об этом знаем только я, он и Нисина, который делал зарубки».

Пораженный, он уставился на тещу.

«Зачем вы это делаете? Ну пусть даже он проиграет — что из того?»

«Нет. Это очень важно — определять дерево по запаху,— возбужденно сказала Ясуэ, садясь на ковер коленями вплотную к нему.— Если человек так хорошо разбирается в дереве, значит, он может возглавлять фирму и первенствовать в деле. Конечно, скоро Нобутакэ все передаст тебе, но пока я хочу, чтобы он был на высоте положения. Завтра придут разные люди, с мнением которых приходится считаться. Это как раз удобный случай. Мы всех удивим».

Тут он заметил, что пальцы собеседницы, тянувшие его за рукав в знак приглашения присесть, все еще покоятся у него на руке. Пухловатая, влажная кисть. В тусклом, сумеречном свете руки и лицо тещи, смутно белевшие, словно́ от крема, показались ему обольстительными. Легкие морщинки и складка на подбородке только обостряли это чувство. Оно возникло в нем без малейшего сопротивления, с такой же естественностью, с какой приходит сон. Еще немного, и он был бы готов прижать ее к себе.

Но вдруг он вспомнил бледное, с нависающими густыми бровями мужское лицо. Нисина. Месяца два назад поздно вечером он вернулся со склада в контору. Было темно, свет горел только в комнате правления. Он понял, что там кто-то есть, и направился к двери, но в этот момент дверь сама отворилась, и из комнаты вышла Ясуэ. Что, уже домой? — улыбнулась она. Лицо ее раскраснелось, руками она пыталась привести в порядок волосы. Дверь поспешила закрыть, но он успел заметить, что в комнате на диване сидел Нисина. Он подумал тогда, что у тещи, несомненно, интрижка с этим человеком.

Впрочем, Нобутакэ как муж, скорее всего, уже никуда не годился, и не было ничего удивительного в том, что энергичная Ясуэ кого-то себе завела. Поэтому он тогда не придал своему открытию особого значения.

Но теперь, сам поддавшись ее чарам, он недоуменно спросил себя: неужели Ясуэ готова завлекать кого угодно? Ему припомнились рассказы об отце Нобутакэ, который в молодости многим ей помог; может быть, и с ним у нее что-то было? Ощущая, как Ясуэ опутывает его какой-то прозрачной нитью, мерзостной в своей почти кровосмесительной всеядности и в то же время сладкой, он резко встал и вышел из комнаты...

В полутьме гардеробной он еще раз осмотрел чурки. Пощупал пальцем те места на боковых сторонах, где полагалось быть зарубкам. Ни малейшего следа зарубок не было: ведь он сам только что в складском корпусе обстругал эти места рубанком. Чурки совершенно гладкие.

Окончательно удостоверившись в этом, он завернул их в белый шелк, каждую в отдельности. Еще немного — начнется состязание, и тогда Нобутакэ возьмет их, удивится и растеряется. Так ему и надо. Пускай сам убедится в собственном ничтожестве. Пускай устыдится, что Ясуэ своими нежными руками прикрывает, охраняет его от всего и от всех.

Он встал, поднял чурки. В это время в гостиной зазвучало фортепиано. Очевидно, это играла Кэйко. Потом раздались завораживающие звуки тенор-саксофона. Исполняли популярную композицию Монка. Вообще-то он не разбирался в современном джазе, но Кэйко еще в пору их совместной учебы на курсах английского языка занялась его музыкальным образованием, и постепенно эти вещи стали ему нравиться.

Должно быть, музыка всем подняла настроение: когда он вошел в гостиную, гости уже пили, ели и шумели вовсю, торжество было в разгаре. Не успел он положить свою ношу на стол с тортом, как кто-то из гостей подошел его поздравить.

Беседуя с гостями, он краешком глаза взглянул на сидевшую за роялем жену. Кэйко, раскрасневшись, не глядя в ноты, попеременно с длинноволосым юным тенор-саксом импровизировала вариации на мечтательную тему Монка. Он вспомнил: Кэйко как-то говорила ему, что этого саксофониста в черной рубашке зовут Яцуги. Поначалу Кэйко играла скованно, но, чем больше она втягивалась в диалог с саксофоном, тем увереннее бегали ее пальцы. Яцуги не

уставал извлекать звуки из своего саксофона, встряхивая шевелюрой и извиваясь худощавым телом; ему подыгрывали остальные мужчины: средних лет трубач, бородатый юноша-контрабасист, похожий на мальчишку ударник.

Увидев Кэйко такой воодушевленной, он почувствовал острую ревность. Конечно, увлечение музыкой не из тех увлечений, что заставляют ревновать. Но теперь он знал, какое неожиданно сильное женское начало таит в себе Ясуэ, а Кэйко ведь все-таки ее дочь.

Внезапно у микрофона рядом со столом появился седовласый Сэкигава. Он заговорил, музыка смолкла. Сэкигава предложил, чтобы председатель союза лесоторговцев Симамото, а также постоянный деловой партнер их фирмы Оосэ произнесли поздравительные речи.

Ну вот, начинается, подумал он. Скучно и противно. Противнее всего, что сейчас после поздравлений его и Кэйко позовут к столу, заставят резать торт, и все будут фотографировать это событие.

Когда эта церемония закончилась, Сэкигава снова подошел к микрофону и начал:

— Ну а сейчас, как я уже говорил, мы хотели бы предложить вашему вниманию негласно проводившееся в этой семье на протяжении многих поколений состязание в искусстве «чуять дерево».

Ага, значит, об этом уже объявляли, когда он сидел в гардеробной.

— Разумеется, это состязание не более чем игра. В ней может принять участие каждый из вас. Между прочим, приготовлено много призов.

Пока Сэкигава говорил, к столу подошел Нисина, которого ему все никак не удавалось отыскать. Нисина аккуратно разложил шесть завернутых чурок на белой скатерти, предварительно перемешав их.

— Можно я попробую? — К столу направился полуседой, коротко стриженный Сомия. Наверное, его подговорила Ясуэ.

Девочка, племянница Ясуэ, подошла к старику и завязала ему глаза платком. Сомия с комической миной протянул руку к чуркам, потом вдруг испуганно отдернул ее. Присутствующие разразились хохотом. В этот момент началось музыкальное сопровождение: Кэйко заиграла на рояле что-то легкое, успокаивающее. Должно быть, Ясуэ подсказала, подумал он. Очень хорошо играет.

Под смех гостей и звуки фортепиано, в обстановке все-

общего оживления Сомия взял крайнюю правую чурку, понюхал ее и объявил:

— Криптомерия из Ёсино.

Гости снова расхохотались. Всем была видна отчетливая надпись на чурке: «красная сосна».

Из шести чурок Сомия не угадал ни одной. Но племянница Ясуэ все-таки вручила ему приз в виде большой, красиво упакованной коробки.

Первая попытка возбудила в гостях живейший интерес. К столу один за другим стали подходить желающие. Молодая жена одного оптовика обнаружила недюжинное обоняние и угадала целых три чурки. Потом вышел пожилой председатель союза лесоторговцев, но он правильно определил только одну. Успевший напиться приятель Нобутакэ принялся отгадывать торжественно и громко, но потерпел полное поражение, не угадав ни одной из чурок.

— Ну а что же хозяин дома, у него ведь богатый опыт! — то ли намеренно, то ли просто так подал голос один молодой человек из числа родни. Нобутакэ сидел неподалеку от окна и потягивал вино, но окружающие вытолкнули его к столу.

Ему завязали глаза. Длинноногий, красный от вина, он слегка покачнулся. Кэйко продолжала негромко играть.

У него забилось сердце. Тесть подошел вплотную к столу. Взглянул на Ясуэ, стоявшую чуть позади в окружении племянниц. Она со спокойной улыбкой смотрела на мужа. Представив себе, что сейчас произойдет, он затаил дыхание.

Нобутакэ пошарил по столу рукой, взял крайнюю чурку справа и небрежно поднес ее к лицу.

— Кипарис из Кисю...— сказал он тихо, почти себе под нос. Гости зашумели. Именно это и было написано на чурке.

— Американский кипарис,— сказал тесть, несколько торопливо взяв со стола следующую чурку. Присутствующие опять заволновались, послышались аплодисменты. Нобутакэ снова угадал.

Он с изумлением вгляделся в руки тестя: ему показалось, что Нобутакэ и не думает ощупывать чурки с боковой стороны. Но он стоял слишком далеко, и видно было плохо. Впрочем, зарубок все равно не было, и он ничего не понимал.

Не дав ему прийти в себя от изумления, Нобутакэ одну за другой правильно отгадал все шесть чурок.

Гостиная разразилась возгласами восторга и рукоплесканиями. Нобутакэ слегка улыбался, словно бы непричаст-

ный к этому шуму. Позволив снять с себя повязку, тесть вернулся на свое место у окна.

Он все стоял, не вполне уверенный, вправду ли это, не зная, что думать, и не в состоянии что-либо сказать. Неужели внешность так обманчива, и Нобутакэ все же обладает некой скрытой силой? Значит, он не такое уж ничтожество?

Он посмотрел на Ясуэ, которая все на том же месте беспечно болтала с племянницами. Должно быть, она довольна. Пожалуй, надо было бы сказать ей, что́ он сделал с чурками.

В это время он увидел, как Кэйко встала из-за рояля и направилась к матери. На полдороге она словно ощутила на себе его взгляд, посмотрела на него и улыбнулась. Он жестом подозвал ее к себе, она подошла, вспотевшая, но, как всегда, сияющая янтарной кожей, и спросила:

— Ну как?

Должно быть, вопрос относился к ее игре, но он невольно заговорил совсем о другом:

— Отец все отгадал. Как странно.

— Да,— кивнула Кэйко, хотя как-то не слишком уверенно. Это показалось ему подозрительным. Тогда она добавила: — Все так и думают. А это я ему подсказывала.

Он не поверил собственным ушам.

— Ты? Не может быть. Каким образом?

— Я ему давала знаки своей игрой. Я делала ударения на некоторых нотах, а число ударений передавало номер чурки.

Какое-то мгновение он был не в силах что-либо ответить и лишь молча смотрел на жену. Его словно ударили, и оправиться от удара все никак не удавалось. Не хотелось видеть ни Кэйко, ни Ясуэ. И омерзительнее всего был этот жаркий, набитый людьми зал.

Он молча пошел в переднюю, обулся и вышел из квартиры. Спустился на лифте на первый этаж и зашагал к шоссе. Уже совсем стемнело.

Дул приятный, прохладный ветер с моря. Спешить было некуда, но он шел быстро и остановился только у небольшого каменного моста. Под мостом проходил узкий канал, такой же, как перед фирмой. Склонившись над водой, он понял, зачем торопился прийти сюда. Не только Ясуэ, но и Кэйко, ее дочь, знали, как опутать его прозрачной нитью незаметно для него самого. Он ушел, чтобы вырваться. Но это

было бесполезно. Что-то уже окутало его, как окутывает ночная тьма.

Он посмотрел на черную воду так, будто его мучила жажда. Вспомнилось, как на рассвете они с отцом плыли вниз по реке Накагава. Небо было густо-синее, еще видны были звезды, дул ветер. Качаясь на волнах, лодка взмывала носом в звездную пустоту, словно серебристая форель.

Теперь, под черным небом, это ощущение взлета снова вернулось, и ему почудилось, будто он сам сейчас взмоет навстречу свету звезд.

Ко Харуто

РОДНИК

I

Оказалось, что родник всегда был связан в моем сознании с памятью о матери. Раньше я и не представлял себе, что такая связь существует. Я совсем забыл о ней. Что ни говори, ведь мне было только восемь лет, когда мать умерла.

С тех пор прошло тридцать три года, и ни разу я не вспомнил о нем, пока соседи, которых я хорошо знал, не стали умирать один за другим. Почему же именно тогда снова встал перед глазами тот родник? Врачи рекомендовали матери для поправки здоровья переехать в другой район, и вот там-то, близ временного ее жилья, был родник...

Спустя много лет я однажды сходил туда по настоянию отца и посмотрел родник. Его хорошо было видно из комнаты, которую снимала мать.

Лечение ничего не дало — вскоре после возвращения домой мать угасла.

Не оттого ли я думал о смерти матери, что уже ушло из жизни столько наших соседей? Все больше и больше я склоняюсь к этой мысли.

Минуло три года после окончания войны, но я еще хорошо помнил март 1945 года, когда во время страшного налета американской авиации были огромные человеческие жертвы. Затем, месяц спустя, в мае, еще одна разрушительная бомбежка.

«Малых» бомбежек и вовсе было не счесть. Горящие здания и умирающие люди стали обыденностью, привычной, как вечернее чаепитие.

Но одно дело чужие смерти, а другое — твоя собственная. Когда же начал я рыть противовоздушное укрытие, в котором видел спасение для самого себя, своей семьи и своего имущества?

В 1943 году я был мобилизован на трудовой фронт. Работал монтажником на авиационном заводе. Мы занимались разборкой и сборкой карбюраторов самолетных дви-

гателей, а в перерывах копали для себя укрытия и щели. Корпуса завода были соединены обычными траншеями, которые должны были служить убежищем для рабочих, но примерно в июне 1944 года в целях обеспечения безопасности многочисленного персонала предприятия нас заставили рыть длиннейшую щель на заднем дворе, где раньше была спортплощадка.

Впрочем, слово «спортплощадка» здесь, очевидно, не подходит. Это был скорее плац, где проходили военную подготовку мобилизованные на трудфронт со всех концов страны. Тех, кто был мобилизован раньше всех, называли «первый призыв». Затем шел второй призыв, третий и так далее в зависимости от возраста. Наш призыв был, если не ошибаюсь, восемнадцатым по счету. Среди попавших сюда немало было отцов семейств с двумя-тремя детьми — свидетельство того, как затянулась война, и верный признак грядущего бесславного ее конца.

Кадровые рабочие называли нас «мобили», и в кличке этой сквозил оттенок презрения.

Противовоздушное укрытие заставляли рыть «мобилей». Траншея была глубиной мне по грудь. Она зигзагом вилась по плацу, словно ползущий дождевой червь. Изнутри, если присесть на корточки, видно было только синее небо над головой. Никакого наката над траншеей не делали, поэтому не создавалось и ощущения безопасности.

Люди поговаривали, что у начальства есть отдельное, надежное бомбоубежище, хотя сам я его не видел и не могу сказать, насколько справедливы были слухи.

Но уж что бесспорно, так это проявление дискриминационного подхода к людям в зависимости от их положения, должности, состояния. Так было и на восточной окраине Токио в районе Тодзима, в квартале Нагасаки, где находился мой дом. Пока построили противовоздушное укрытие при доме Суэнага, отделенном от моего дома переулком, прошло месяца два. Только землю возили на грузовиках, наверное, не меньше недели.

В то время грузовик уже считался роскошью. Когда мне пришлось переезжать из Усигомэ в другой район, грузовик найти так и не удалось — весь багаж везли на телеге.

Этот Суэнага был директором какой-то компании. Каждый день по дороге на работу и с работы я созерцал гору красноватой глины, возвышающуюся в углу его двора, прямо перед домом. Почему решили строить укрытие именно здесь? За домом был разбит сад, где росли разнообразные

деревья, местами живописно громоздились валуны. Калитка в сад Суэнага находилась как раз через дорогу, напротив ворот моего дома. Чтобы пройти к убежищу от той калитки, надо было свернуть направо. Жителям соседних домов тоже волей-неволей приходилось рыть противовоздушные щели, но при этом все понимали, что рядом, за живой изгородью, находится куда более надежное и комфортабельное укрытие.

Идея постройки индивидуального убежища захватила меня, видимо, как раз в те дни, когда я вместе с другими «мобилями» приступил к рытью траншей во дворе завода. Прежде я в своей квартире в Усигомэ и не думал о таких вещах. Противовоздушные щели, траншеи, укрытия казались мне понятиями из какого-то далекого, чуждого мира. Обитатели других квартир в нашем доме разделяли мое спокойствие. Да к тому же в окрестностях и не было свободного места для подобных затей. Все жильцы в случае бомбежки намеревались искать спасения в ближайшем храме, прихватив с собой самое необходимое. А уж если сгорят вещи, оставшиеся дома, значит, такое несчастье было на роду написано, считали они.

Однако на самом деле никто всерьез не хотел верить, что когда-нибудь над Токио появятся вражеские самолеты. Не только жильцы нашего дома, но и весь народ, большинство населения не могло и помыслить такого. Ведь перед тем, как злополучные самолеты все же прилетели, мы одержали столько побед и война, казалось, уже близилась к концу.

Впоследствии наш дом сломали как раз потому, что прилетели те самые американские самолеты, в появление которых все отказывались верить. Жилые дома в Усигомэ стояли один к одному. Считалось, что при таком скоплении народа бомба или зажигалка могут натворить много бед. Жильцы добились новой площади и стали постепенно разъезжаться. Я переехал в тот самый дом, отделенный переулком от двора Суэнага. В ту пору убежища у Суэнага еще не было.

Впрочем, не только у него. Не строили убежищ и другие наши соседи. Зато свободного места вокруг было сколько угодно, доски и бревна также валялись в изобилии. Позади дома, чуть правее, тянулось широкое рисовое поле. Бросать сюда фугасы и зажигалки вроде бы и ни к чему, рассуждал я, какой от них вред? Я не говорил на эту тему с соседями, но подозреваю, что они придерживались того же мнения.

Однако три месяца спустя после нашего переезда часов в восемь вечера в небе появились американские бомбардировщики. Мы с Хироко, моей женой, собрались в ужасной спешке, вытащили в крошечный садик чемоданы и саквояжи и устремились с ними к пустырю на задворках. Отовсюду бежали перепуганные соседи.

Глухо и страшно гудела от взрывов земля. Вспыхивали зажигалки, заливая окрестность неверным мерцающим светом. Мне казалось, что настает мой смертный час.

Но и тогда не вспомнил я о роднике. Тот родник находился не в Токио, а в далекой префектуре Кумамото, на окраине городка Яцусиро, который в ту пору был еще поселком. Поскольку я вообще никогда не вспоминал о Яцусиро, то и во время воздушного налета едва ли должен был о нем вспомнить.

В Яцусиро мне довелось жить до четвертого класса тогдашней средней школы. По окончании четвертого класса я перешел в другую школу, в городе Кумамото. Произошло это из-за смерти отца, который все последние годы работал в Яцусиро, в конторе цементного завода. Отец был родом из той же префектуры, только из другого, северного уезда Сикамото. Родная его деревушка называлась Ямамото. В Яцусиро у нас не было ни родных, ни близких, поэтому после смерти отца нас ничто там не удерживало. Вот и решили перебраться в Кумамото — все-таки большой город.

В период жизни моей в Кумамото я тоже ни разу не вспомнил о роднике. Впоследствии, окончив среднюю школу в Кумамото, я отправился в Токио с целью поступить в техническое училище. В училище благополучно поступил, но после учебы в Кумамото уже не вернулся — так и осел в Токио.

В те годы я несколько раз менял место жительства, но при этом не забывал время от времени навещать Кумамото и деревню Ямамото. Чтобы добраться на поезде из Токио до Кумамото, требовалось тогда двадцать три часа. В Кумамото жила моя мачеха, которая после смерти матушки растила меня как родного, а в Ямамото находились могилы отца и старших братьев. Но и в те краткие наезды ни разу не вспомнил я о роднике.

Мысли мои стали возвращаться к роднику по мере того, как один за другим начали умирать соседи.

Первый покойник появился не в доме Суэнага, а в семействе Токита, что обитало в соседнем доме. Умер сам То-

кита, молодой мужчина в полном расцвете сил. Тем не менее все приняли его смерть как должное. Он скончался в ноябре 1945 года, вскоре после окончания войны.

II

Наш домишко состоял из двух комнат площадью в шесть и четыре с половиной татами. Вдоль переулка выстроились шесть стандартных домиков — все точь-в-точь как наш. Токита был рабочим на заводе. Я спрашивал, на каком именно, но забыл. Во всяком случае, он был кадровым рабочим, а не мобилизованным. Я же до мобилизации на трудовой фронт числился внештатным редактором в одном маленьком издательстве. Крепким здоровьем и богатырским телосложением я никогда не отличался, но на заводе копать противовоздушную щель заставляли всех, тут уж ничего нельзя было поделать. О строительстве же укрытия у себя дома я и не помышлял. Считал, что для такого предприятия у меня не хватит ни душевных, ни физических сил.

Хироко, может быть оттого, что проводила все дни дома, больше меня знала про убежище, которое соорудил себе Суэнага. Однажды она сказала:

— Изнутри у них все стены забетонированы. Места там много, а их-то всего трое — сам Суэнага, жена да ребенок. Куда им одним-то! Может, смилостивятся, пустят и нас, а?

— Не для того они строили убежище, чтобы нас туда пускать,— возразил я.— У них небось ценного имущества полным-полно. К тому же в доме есть еще служанка, да и за ребенком присматривает няня.

— А как же мы? Ты только вспомни, что было при налете! Жалко ведь, если все сгорит. Одного кимоно и то жалко!

Действительно, во время недавней бомбежки запылали несколько домов в квартале. Искры падали и на наш дом. Развалины сгоревших зданий дымились еще трое суток.

Домики наши стояли по два в ряд. Точнее, друг за другом выстроились три пятистенка, разделенных на две половины каждый. Между пятистенками шли узенькие проулки. У каждого домика имелись палисадник и ворота.

Таким образом, вполне естественно было предположить, что пожар от одного дома сразу же перекинется на все остальные. Возможно, Суэнага и выстроил свое укрытие

(впрочем, его следует называть не укрытием, а настоящим бомбоубежищем) из опасения, что в один прекрасный день наши ветхие жилища разом вспыхнут рядом с его домом.

И вот однажды, когда я вернулся с завода, Хироко встретила меня сообщением:

— У Токита уже копают щель. Посмотри сам, когда пойдешь в баню.

— Значит, роет все-таки Токита? Ну что ж, он ведь в наших шести домах, почитай, самый молодой. Может, и выкопает, если захочет. Только где же он нашел место для щели?

Вдоль наших пятистенков тянулась дорожка, по другую сторону которой была усадьба Суэнага, скрытая за живой изгородью. Токита, как выяснилось, начал копать прямо на дорожке перед своим домом.

В тот вечер, отправившись в баню, я и впрямь увидел возле дома Токита довольно глубокую канаву.

Дней пять спустя у меня был выходной. Поздно позавтракав, я решил прогуляться в букинистический магазин у вокзала. Хотя все издания строго контролировались цензурой, да и печаталось литературы немного, мне порой удавалось откопать у букиниста интересную книжку. Выйдя за ворота, я услышал характерный звук — где-то рядом копали землю. «Все долбит свою щель!» — подумал я. Неизвестно было, что собирается делать Токита с выкопанной землей, но под навесом у него во дворе виднелись аккуратно сложенные в несколько слоев доски. Вероятно, он собирался сделать накат над убежищем. Щель почти вплотную примыкала к живой изгороди вокруг особняка Суэнага. Я заглянул внутрь. В этот момент Токита поднял голову и заметил меня. Щеки у него обросли щетиной, глаза сверкали лихорадочным блеском. Под его взглядом я невольно отпрянул и втянул голову. Про себя я отметил, что щель заметно углубилась. У нас на заводе выходной рабочим полагался два раза в месяц. Интересно, сколько выходных было у Токита? Наверное, он взял отгул, чтобы копать без помех.

Прочие соседи, которых пример Токита, должно быть, задел за живое, тоже принялись копать. Те, у кого рядом с домом совсем не было места, рыли поодаль на пустыре. Я тоже не смог усидеть и взялся копать вместе со всеми. Обращаться за помощью было не к кому — оставалось рассчитывать только на собственные силы. Хироко у меня была слабогрудой и для земляных работ, естественно, не годилась.

Авиационный завод, на котором я работал, находился в районе Нисиогикубо. При налетах иногда отключалось электричество, и нас отпускали по домам раньше, чем обычно. Идти, разумеется, приходилось пешком. Во время этих импровизированных отгулов я и копал свою щель. Сама по себе работа лопатой была непосильной нагрузкой для моей поясницы, но хуже всего обстояло дело с подъемом земли наверх. По сравнению со щелью Токита моя канавка выглядела настолько убого, что Хироко скрепя сердце посоветовала мне бросить это дело. В конце концов я решил, что хватит.

Как-то раз, когда Хироко подавала мне бог весть откуда добытую доску, из усадьбы Суэнага через заднюю калитку вышел человек. При виде наших стараний он пробормотал себе под нос: «Ужас просто, а не убежище!» Тот человек захаживал к Суэнага и раньше, я знал его в лицо. Впрочем, что бы ни говорили о моей щели, больше я с ней все равно ничего делать не собирался.

Спустя две недели произошло совершенно неожиданное событие, хотя я-то еще с тех времен, когда был внештатным редактором в издательстве, давно ожидал, что меня либо мобилизуют на трудовые работы, либо пошлют на фронт.

Совершенно неожиданное событие, о котором идет речь, было связано с вмешательством тайной полиции. В те годы левое движение было объявлено вне закона, а на выпуск и продажу книг, имеющих отношение к левым организациям, наложен запрет. Все подозрительные подвергались обыскам и арестам. Меня тоже арестовали по доносу кого-то из наших заводских «мобилей». Вполне понятно, что я, в ту пору почти сорокалетний мужчина, с моими взглядами и привычками мог прийтись не по вкусу работавшим рядом со мной парням, которые были лет на десять, а то и на двадцать моложе. Случилось это незадолго до конца войны, и несколько месяцев мне пришлось провести в полицейском участке, в камере предварительного заключения. Как сейчас помню, что посадили меня за решетку двенадцатого апреля. Там же я находился и во время страшной майской бомбежки, о которой упоминалось выше. Должно быть, в тот вечер Хироко, находившаяся на другом конце города в квартале Нагасаки, глядя на небо, пламеневшее от пожаров, мысленно уже прощалась со мной. Двумя днями раньше она приходила ко мне на свидание, но после налета в течение пяти дней все свидания были запрещены. На шестой день, когда мы наконец встретились с Хироко в ком-

нате для свиданий, я выглянул в окно и увидел вокруг мертвое пепелище.

Но и тогда не вспомнил я о роднике. Весь район по соседству с полицейским участком выгорел дотла. Возможно, кое-кто скажет, что на таком пожарище и не место было думать о роднике. Как бы то ни было, большая бомбежка превратила город в сущий ад. Зрелище это не располагало к ностальгическим воспоминаниям. Тем не менее в камере я писал нечто вроде мемуаров, записки о своей жизни. В них упоминалось и о Яцусиро. Политзаключенным в отличие от уголовников разрешалось в тюрьме писать. От них даже требовали, чтобы они писали. Таким, как я, не слишком разбиравшимся в теории коммунизма, инспектор тайной полиции сам подсказывал, что именно писать. Следовало, привлекая соответствующие теоретические положения, объяснить, почему поверил в коммунизм, почему примкнул к коммунистическому движению и так далее. Коммунистическое движение уже давно, с самого начала войны в Китае, подвергалось жестоким репрессиям и к тому времени фактически перестало существовать. Думаю, можно сказать, что весь народ в той или иной форме оказывал посильное содействие войне.

Однако подобные мысли не интересовали инспектора тайной полиции. Он требовал, чтобы человек, переворошив свое прошлое, признал все содеянные грехи и подписал официальное отречение. Даже случайно заподозренные вроде меня, никогда не состоявшие в компартии и не принимавшие участия в коммунистическом движении, все равно должны были во всем «сознаться» и покаяться. Правда, у меня были кое-какие сомнения относительно характера войны и ее исхода, но скольких же людей должны были одолевать подобные сомнения! Подвели меня несколько найденных при обыске книжек «левого» содержания, которые я взял почитать у приятеля.

Итак, пришлось приступить к написанию исповеди. Мне было обещано, что я выйду на свободу после того, как записки окажутся на столе у инспектора.

Писал я не каждый день — ежедневно писать было не положено,— и потому времени на эту работу ушло довольно много. Когда набиралось уже порядочно исписанных листков, инспектор брал их посмотреть. Если ему что-то не нравилось, он заставлял меня переписывать.

В своих записках я касался не только коммунистического движения. Вспоминал все по порядку с самого детства. Вначале как раз шел рассказ о годах, проведенных в Яцу-

сиро. Написал я и о том, что родился в доме, принадлежащем цементному заводу, и о том, что в возрасте восьми лет потерял мать.

Но и тогда не вспомнил я о роднике. У меня было два старших брата, но оба они умерли в Яцусиро — один за год до смерти отца, а другой полгода спустя после нее. От всей семьи остались только мы с мачехой, которая пришла в наш дом через два года после смерти мамы.

Я подробно рассказал в записках о нашей жизни с мачехой после переезда в Кумамото. Из Яцусиро мы уехали потому, что мачеха была родом из Кумамото и там у нее был свой дом.

Впоследствии я никогда не навещал Яцусиро не только потому, что у меня не осталось там родных и близких. Слишком тяжелые воспоминания были связаны с этими местами. После переезда в Кумамото и позже, обосновавшись в Токио, я так ни разу и не собрался поехать в город детства.

Стремясь как можно меньше писать о коммунистическом движении, я в мельчайших деталях описывал события давно минувших дней. Однако я понимал, что одного моего нежелания недостаточно и, если я просто откажусь писать то, чего от меня ожидал инспектор, свободы мне не видать. Приказано было писать об участии в левых организациях — что угодно, даже если все будет заведомой ложью, выдумкой с начала до конца. Но я не хотел писать неправду, старался по возможности оттянуть тот день, когда придется переходить к этому. Потому-то мне доставляли внутреннее удовлетворение даже самые неприятные, горькие моменты из далекого детства, которые удавалось восстановить и запечатлеть на бумаге. Должно быть, всему виною был мой слабый характер.

Таким образом, время шло, а конца моим запискам все не было видно. Инспектор гневался:

— Сколько можно писать! Хватит, переходи к главному! Любой человек может о себе целый роман сочинить, дай ему только волю. Если не напишешь все так, как я тебе сказал, сгниешь в камере!

При том, что писал я о прошлом очень подробно, родник ни разу не появился в моих записках. Очевидно, эти воспоминания слишком глубоко были скрыты в недрах памяти. Там дремали они на протяжении тридцати трех лет. Отчего же вдруг суждено им было проснуться? Когда именно мелькнул в моем сознании образ родника?

Из заключения я вышел до крайности ослабевшим и из-

можденным. День окончания войны тоже встретил в постели.

Только к осени я стал понемногу выходить из дому и гулять в палисаднике. В то время мобилизованным я уже не числился.

Исчезли и соседские общины жильцов с круговой порукой, и квартальные дружины. Все это казалось фантастикой в сравнении с той действительностью, которую я застал в конце войны. Много семей было эвакуировано. С продовольствием становилось все хуже и хуже. Хироко, взвалив на плечи узел с одеждой и кое-каким домашним скарбом, ездила куда-нибудь на электричке и возвращалась, обменяв вещи на рис, яйца, овощи.

В нашей округе только Суэнага никуда не ездили за продуктами. Высокая, плотная жена Суэнага с трехлетним ребенком за спиной нередко выходила постоять к задней калитке усадьбы. Можно было представить, как дорог родителям поздний ребенок, если Суэнага, кроме служанки, наняли для него еще и няню. Ходила эта няня в рабочих шароварах, и я поначалу принял ее за вторую служанку.

Может быть, и бетонированный бункер в саду строился в основном для ребенка.

Тринадцатого мая во время большого налета Хироко в растерянности стояла перед домом, когда к ней подошла служанка Суэнага и сказала:

— Госпожа просит вас пожаловать к ним в убежище.

Не только Хироко, но и все жители наших пятистенков здоровались из всего семейства Суэнага лишь со служанкой. Если же им доводилось встретиться с самой госпожой Суэнага, то она проходила мимо с отсутствующим видом и на поклоны никогда не отвечала: вероятно, считала, что с такими соседями следует общаться только служанке или няне.

— Значит, впустила она тебя? — спросил я Хироко, услышав о предложении госпожи Суэнага.

— Да что толку, если бы она меня одну и впустила! Хотя звала несколько раз...

Соседям Хироко говорила, что я заболел и лежу в заводской больнице. Жена Суэнага, наверное, прослышала об этом от служанки. Она видела и жалкую противовоздушную щель, которую я вырыл. Вероятно, само убожество щели наполнило ее сердце состраданием к одинокой женщине.

— Значит, во время моего отсутствия моя щель все-таки немного пригодилась? Хоть раз да пригодилась!

Хироко горько улыбнулась. Мое лицо тоже невольно скривилось в улыбке.

— И с чего ты вдруг взялся копать? Умом тронулся, что ли?

Каждый день, когда я входил во двор, взгляд мой упирался в злополучную щель. Сквозь настил просачивалась дождевая вода, образуя лужи на дне: в свое время я поленился хорошенько промазать доски глиной. Зато щель Токита сверху напоминала пухлый пирожок — над дощатым настилом красовалась внушительная глиняная насыпь. По слухам, Токита лишь однажды во время налета тринадцатого мая с молодой женой и матерью укрывался в своей щели.

После возвращения из тюрьмы я только раз видел Токита, проходя мимо его дома. Он спал. Дверь в прихожую почему-то была открыта, с улицы просматривались обе комнаты, побольше и поменьше.

Токита лежал в маленькой комнате, укрытый грудой одеял. У его постели в изголовье сидела жена.

III

Супруга Суэнага умерла, если я не ошибаюсь, весной следующего года. Не помню точно, какая у нее была болезнь. Что касается Токита, то все соседи сходились на том, что причиной его безвременной смерти послужила никому не нужная противовоздушная щель. Похоронив беднягу, мать и вдова Токита уехали в свои родные края, в Вакаяма. Дом некоторое время пустовал, а затем в нем поселилась другая вдова с двумя детьми.

Между тем щель возле бывшего дома Токита зарывать не стали. Поглядывая на нее, Хироко иногда говорила:

— Ах, лучше б он, бедненький, вообще никакой щели не копал. Ведь это ж надо, какую отгрохал! Во всей округе другой такой не найдешь, если, конечно, не считать убежища у Суэнага и Такэмото.

Да, после войны легко было рассуждать. Поговаривали, что у Токита давно были неполадки с легкими. Тем не менее он в одиночку взялся за сооружение громадной противовоздушной щели, не пощадив здоровья ради спасения матери и жены.

В отличие от нас с Токита жена Суэнага была дамой тучной. Ее комплекция говорила о неумеренном пристрастии к еде. Таким же жирным был и ребенок, которого она

таскала за спиной. Няня рассказывала, что ребенка еще пичкают разными питательными снадобьями.

Кончина госпожи Суэнага не вызвала особого сочувствия у соседей. Слишком уж разный был у нас жизненный уклад, хотя, возможно, в глубине души многие ее и жалели. Как бы ни отличались условия жизни Суэнага, казалось, их дома тоже достиг наконец дальний отзвук войны.

Начиная с сентября на протяжении осени и зимы продолжали умирать соседи. Прежде чем перейти к подробному повествованию об этих событиях, напомню, что дом наш стоял в самом начале переулка и окна в задней стене были обращены на запад. От них было рукой подать до дома Суда, стоявшего по другую сторону дорожки. Дом Суда представлял из себя довольно большой коттедж. Может быть, он казался больше оттого, что в мансарде помещалась художественная мастерская. Госпожа Суда, владелица дома, куда-то эвакуировалась незадолго перед тем, как мы сюда переехали. Потом в доме квартировал служащий одной фирмы. Я встречался с ним пару раз на улице. Через некоторое время он исчез и больше не появлялся, а в дом вернулась хозяйка, госпожа Суда, с мужем.

Надо сказать, что сам Суда, скульптор, умер еще до эвакуации. Вдова вышла замуж за другого, так что супруги Суда, о которых идет речь, были уже не прежними Суда. Но мы-то этих подробностей не знали, да и не желали знать. Какое нам дело до чужих людей!

Суда перестроили студию в своем доме, сделав из нее несколько жилых комнат. В конце концов двухэтажный коттедж оборудовали под небольшую гостиницу. Все было сделано с неимоверной быстротой. Не успела появиться над входом вывеска, как в номера зачастили на джипах американские солдаты с размалеванными красотками. Мужчина в окне второго этажа играл на гитаре, из комнат доносился женский смех, и так повторялось день за днем. Мы с Хироко старались не обращать внимания — все равно не в наших силах было что-либо изменить.

Рядом с номерами Суда стоял еще один дом со студией. Там жил художник «европейского стиля» Итихара с женой. Не знаю уж, как получилось, что художник и скульптор поселились в соседних домах. Семьями они никогда не дружили. Похоже было, что Итихара и Суда вообще друг друга предпочитали не замечать — что называется, в упор не видели. В эвакуацию Итихара с женой уехали раньше Суда, а вернулись позже, когда Суда уже успели превратить свой дом в гостиницу.

Встречаясь в овощной лавке или в рыбном магазине с Хироко, госпожа Итихара обычно начинала перемывать кости супругам Суда.

Не знаю уж, почему она выбирала в собеседницы именно Хироко. Сидя у нас в большой комнате, можно было наблюдать из окна не только посетителей номеров Суда, входящих и выходящих из дверей, но и ворота дома Итихара. Возможно, это обстоятельство сыграло роль психологического стимулятора, заставив госпожу Итихара проникнуться сознанием близости к нашему семейству.

В сущности, единственная связь между нами и Итихара сводилась к тому, что Итихара во время эвакуации жили на квартире у доктора А., у которого дом впоследствии сгорел. Доктор А. работал на военном заводе, о чем каким-то образом проведала Хироко. Пока я сидел в тюрьме, Хироко несколько раз доставала для меня у доктора дефицитное лекарство от чесотки. После того как Итихара вернулись к себе, доктор А. на месте сгоревшего дома построил времянку и жил там с женой.

После переезда мы с Хироко в тот же день, прихватив овощей и сахару, пошли к Итихара, чтобы поприветствовать их на новом месте. Тогда нам впервые довелось посмотреть их дом изнутри.

Хироко слышала от самой госпожи Итихара, что Суда построил у себя мастерскую позже, чем Итихара.

В то время Суда еще был холостяком. К нему постоянно приходила позировать одна и та же натурщица, с которой он лепил все свои скульптуры. Потом они стали жить вместе. Легкомысленная натурщица и стала нынешней госпожой Суда.

— Все-таки раньше хоть у них с мужем была работа как работа. А тут — нате, пожалуйста! Додумались открыть номера! Говорят, этот тип, которого она сейчас подцепила, какой-то спекулянт, аферист. Чтобы в таком приличном квартале — и устроить дом свиданий! Нет, как вам это нравится!

Оказывается, до эвакуации Итихара и Суда все-таки общались, но с тех пор, как открылись номера, они перестали даже здороваться и проходили мимо, не глядя друг на друга. Все это тоже рассказала Хироко госпожа Итихара.

Госпожа Итихара была на редкость рослая и крупная, во всяком случае для японки, а мадам Суда, наоборот, была особой субтильной. На вид ей было не больше тридцати, и внешность у нее была очень привлекательная. Ей просто сам бог велел быть натурщицей.

В разладе между Итихара и Суда явно была виновата красотка Суда. Муж ее часто уходил куда-то, надев пиджак. И пиджак, и туфли, и портфель — все у него было шикарно. Но манера держаться все же выдавала деревенщину. Низенький, коренастый, он производил впечатление человека недалекого и прямолинейного. Оставалось только удивляться, что же мадам Суда в нем нашла.

И вот этот самый новый муж, проболев неделю, скоропостижно преставился. Нам сообщила о его смерти госпожа Итихара. Сама она тоже узнала новость с опозданием — слышала разговор где-то в конторе муниципалитета. На люди он почти не показывался, пышных похорон ему тоже не устраивали, а звон гитары и хохот по-прежнему слышались из дома Суда, так что печальное событие прошло незамеченным.

С тех пор госпожа Итихара внезапно перестала говорить о номерах Суда. Между тем Итихара получил заказ на портрет от какого-то высшего чина из оккупационного корпуса и стал ездить в центр, в особняк бывшего сановника, где обосновался американец. Я не раз видел, как он, насвистывая, проходил мимо нашего дома. Однажды, вернувшись с очередного сеанса, он застал жену мертвой.

Муж мадам Суда умер в сентябре, а госпожа Итихара скончалась три месяца спустя. Тогда в нашем квартале только о том и толковали.

Итихара, не прикасаясь к трупу, сразу же вызвал врача. Тот посоветовал прежде всего заявить в полицию. Причиной смерти, по его мнению, явилась острая сердечная недостаточность, но, поскольку в момент смерти никого рядом не было, он настаивал на тщательной проверке.

Не знаю, как жили Итихара до эвакуации, но думаю, что по крайней мере еды у них было больше, чем у нас.

За три с лишним месяца, проведенных в тюрьме, я ни разу не был в бане. От грязи и от скверного питания у меня началась чесотка. По выходе из заключения болезнь не только не прошла, но, наоборот, распространилась по всему телу.

Я часто думал, что если бы жена Итихара и муж Суда не вернулись из эвакуации в Токио, то они, быть может, остались бы в живых. При этом меня тоже начинали одолевать мрачные предчувствия.

Однако же умерли они неспроста. Должно быть, здоровье расшатывалось незаметно, пока не наступил кризис. Ведь даже вернуться из эвакуации было достаточно сложно. Каких хлопот стоило купить билет на поезд! А каково

было потом трястись в переполнённом вагоне, куда пассажиры влезали через окна!

Да и мужу мадам Суда, как видно, пришлось попотеть, чтобы перестроить студию под гостиницу и открыть свои номера.

Вот какие мысли приходили мне в голову...

IV

Если бы больше никто не умер, может быть, я так и не вспомнил бы о роднике. До того момента умерло уже четверо, но я так и не мог связать эту цепь смертей воедино. Мне не хотелось слишком много думать о страшном.

Я решил вернуться к тому делу, которым занимался до мобилизации на трудовой фронт, и стал внештатным редактором одного из небольших издательств, реорганизованного вскоре после войны. На работу можно было ходить раз или два в неделю в удобный для меня день. Издательство находилось неподалеку от вокзала Симбаси. Чтобы добраться туда из квартала Нагасаки в Тодзима, где находился мой дом, нужно было ехать на поезде до Икэбукуро и там пересесть на линию Ямадэ.

В то время я разработал некий план, и для его осуществления необходимо было повидаться с постоянным автором издательства. Когда я надевал костюм, следов чесотки не было видно, хотя спина, живот и руки все равно ужасно зудели. Это было признаком улучшения. В тот год чесотка, мучившая меня неимоверно, стала проходить. После того как желтый гной иссякал и образовывались черные струпья, кожный зуд становился просто невыносимым. Однако затем высохшие струпья отваливались, и кожа очищалась.

В тот день я решил съездить к господину М. в Тасонотёфу. М. был писателем, пользующимся большой популярностью у молодежи и выпустившим за свою долгую творческую жизнь изрядное количество книг. Я хотел просить его о переиздании одного его романа. Уверенности в том, что удастся получить одобрение руководства, у меня не было, но в издательстве, против ожиданий, все прошло гладко, и особых трудностей на пути осуществления своего плана я не встретил. Оставалось только попытаться достигнуть договоренности с автором.

Первое, что я увидел, сойдя с поезда на станции Тасонотёфу, была цветочная клумба посреди площади. Ухаживали за ней, как видно, плохо — все цветы заросли тра-

вой. Я присел на бетонный барьер, окружавший клумбу, чтобы немного передохнуть. Отсюда до дома М. было уже совсем близко.

Некоторое время мне пришлось ждать в прихожей. Наконец вместо самого М. появилась молодая женщина и с огорченным видом объявила, что господин М. не может меня принять. Стало ясно, что ничего не выйдет. Настаивать и упрашивать было бесполезно. Я предпочел тихо удалиться.

Не торопясь шел я обратно на станцию. Домой вернулся уже под вечер. Когда я открывал калитку, меня окликнула какая-то девушка. Она спрашивала, где живет Исии. Я указал ей на дом вдовы с двумя детьми. Раньше такие девицы захаживали только в номера Суда, а теперь повадились ходить и к Исидзима. Поскольку в доме было всего две небольших комнатки, во время визитов детей отправляли погулять во двор. В руках у них вечно были хлеб, шоколад и прочие дефицитные вещи, которых мы достать не могли,— разумеется, то были подарки от девиц легкого поведения.

Вдова работала, по ее словам, уборщицей где-то в больнице, но не прочь была заработать еще тем же способом, что и Суда с их номерами, то есть сдавая комнатки для свиданий. Трудно сказать, сколько она с этого имела. Во всяком случае, девицы к ней приходили часто, а вслед за ними или вместе с ними являлись парни, с виду похожие на американских солдат. Правда, такого шума, как в номерах Суда, они не поднимали. Может быть, потому, что заведение было нелегальное. Тем не менее оно существовало у нас прямо под боком.

Нет ничего удивительного в том, что спрос на комнаты был достаточно велик. Во время бомбежек сгорело много домов, и мест для любовных свиданий заметно поубавилось.

Я и удивлялся, и сердился на вдову Исидзима за то, что она решилась открыть такой промысел. Дом Исидзима, вплотную примыкавший к нашему, казался гораздо ближе, чем номера Суда, расположенные через проулок и выходящие на заднюю стену нашего дома. Естественно, все, что происходило рядом, и воспринималось острее.

— В таком квартале, как наш,— и открыть дом свиданий! Да что она себе позволяет! — ворчал я.

— Но ведь ей же одной надо двух сыновей поднять. Все соседи это понимают, вот и помалкивают,— урезонивала меня Хироко.

Я, кажется, начинал испытывать к вдове то же чувство, что покойная госпожа Итихара питала к Суда. Чувство было такое, будто лично мне нанесли оскорбление.

— С одной стороны номера Суда, с другой теперь еще новый притон. Просто некуда деваться!..

Однако по здравом размышлении я тоже решил не поднимать особого шума. Как-никак и мы ведь жили на продуктах с черного рынка.

Между тем жена Такэмото, того самого, о котором Хироко упоминала, нахваливая его бомбоубежище, посреди всего этого бедлама тихо и незаметно угасла. Во всяком случае, так я воспринял ее смерть, хотя сам и не был у ложа в тот час, когда бедняжка испустила дух.

Забор, отделявший особняк Такэмото от наших пятистенков, давно завалился — вместо него стояли в ряд десять-двенадцать криптомерий. Между деревьями виднелись земляная насыпь над бомбоубежищем и ведущая вниз лестница.

Дом Такэмото занимал передний угол в четырехугольнике, где задний угол был занят домом Итихара. Черный ход выводил со двора Такэмото на дорогу, которая огибала весь четырехугольник. Прямо за этим блоком домов начиналось поле, и копать здесь щель как будто бы было ни к чему, но после того, как поблизости стали взрываться фугасы и зажигалки, хозяева все-таки построили убежище в обширном саду.

Такэмото, по слухам, был большой шишкой в одной целлюлозно-бумажной фирме. Он был хилого сложения, сутулый, ходил вечно сгорбившись — словом, был полной противоположностью грузному Суэнага.

Я много раз видел жену Такэмото, одетую в рабочие шаровары. Казалось, она всегда ходит опустив глаза. Не припомню, чтобы мне довелось слышать ее голос. Кроме двух ее сестер, в семье жила еще сестра самого Такэмото, но держались все пятеро очень замкнуто, вели тихую, обособленную жизнь.

Говорили, что жена Такэмото заболела давно. Хотя их семейство почти ни с кем не общалось, Хироко все разузнала у бакалейщицы, жившей по дороге на станцию. Такэмото частенько заходил к ней за сигаретами.

Хироко приняла известие о смерти жены Такэмото довольно равнодушно. Соседи тоже делали вид, как будто ничего не произошло. Мне поначалу это представлялось странным, но потом я вспомнил обо всех предшествующих смертях.

«Может быть,— размышлял я,— от звона гитары, от кричащих тряпок размалеванных девиц, которые шлялись в дом Исидзима и в номера Суда,— от всех этих прелестей нашей жизни у людей голова пошла кругом и привычные понятия сместились? А может быть, со мной самим что-нибудь не в порядке?»

Я потерял одного за другим двух братьев и отца. Возможно, поэтому у меня сформировалось особое, не такое, как у других, отношение к смерти?

Между похоронами госпожи Итихара и смертью жены Такэмото минуло всего десять месяцев. Первая умерла в ноябре 1946 года, вторая — в августе следующего года. Наверное, оттого, что в середину этого краткого срока вклинивался Новый год, казалось, что времени прошло значительно больше. Третий послевоенный Новый год мы встречали в более или менее праздничном настроении, но за две недели перед следующим Новым годом отдал богу душу Суэнага, который на всех, честно говоря, производил гнетущее впечатление. В ту зиму стояли лютые морозы. Топлива не хватало. Мы затворились в доме и старались пореже выходить на улицу. Работу в издательстве я еще раньше на время бросил.

Однажды мы увидели возле задней калитки усадьбы Суэнага несколько машин. Вокруг суетились люди с черными повязками на рукавах. Сомнений не было...

— Их нянька говорила, что у него совсем плохо с легкими. Но как он скоро все-таки умер! — заметила Хироко. Я вздохнул и укоризненно посмотрел на нее. Хироко помолчала немного, потом сказала: — Теперь ребеночек остался сиротой!

Хотя сидела она рядом со мной, слова прозвучали будто бы издалека. Вот тогда, кажется, я и вспомнил... Вдруг почему-то в памяти возник тот родник на окраине Яцусиро.

И тотчас многое давно забытое как бы воскресло из небытия. Я был поражен.

Сначала вспомнился мне только сам родник: вот я нагнулся над водой, смотрю в глубину... Бочажок над родником, бьющим из земли. Вокруг него лежат валуны, и струя стекает через расщелину меж камней. Пристроившись на одном из валунов, я пристально смотрю туда, где бурлит и вскипает вода...

Не знаю, почему мне пришла на ум эта картина. Да, сначала я видел только родник и совсем не думал о матери. Потом всплыла в памяти комната, откуда хорошо был виден источник,— комнату снимала моя мать.

Через Яцусиро протекала речка, впадавшая в море. Воздух там был чудесный, и природа вокруг дивная — кроме того района, где находился цементный завод. Близ завода было шумно и пыльно. Дом, в котором мы жили, принадлежал компании и находился возле самого завода, и мать, страдавшая от чахотки, вынуждена была снять комнату на окраине, неподалеку от источника.

В следующие два дня я продолжал вспоминать. Я думал о Суэнага, о его покойной жене, об их ребенке-сироте. Внезапно между ними и родником словно установилась какая-то связь.

Кстати, совсем забыл сказать об одном важном событии: после смерти жены Суэнага вторично женился. Видимо, жена ему была просто необходима — как-никак в доме остался маленький ребенок. К тому времени нянька от них ушла, как и та служанка, что пригласила когда-то Хироко в бомбоубежище. Вместе с новой женой в дом пришла и новая служанка.

Быть может, судьба ребенка Суэнага напомнила мне мою судьбу — оттого и нахлынули воспоминания детства? Впрочем, в судьбе этого ребенка не было ничего особенного, и едва ли от сочувствия к нему могли пробудиться воспоминания, дремавшие тридцать три года.

За время жизни в Токио мне, наверно, десятки раз приходилось видеть похороны, но такого калейдоскопа смертей прежде никогда не было: Токита, затем жена Суэнага, муж Суда, жена Итихара, жена Такэмото и наконец сам Суэнага. Все эти события, связанные в единую цепь, вероятно, и вызвали тот поток воспоминаний.

Похороны Суэнага устроили пышные — под стать тому положению, которое он занимал при жизни. На машинах привезли венки и расставили их в ряд на веранде.

Хотя наш дом стоял ближе всех к дому Суэнага, никакого извещения о смерти нам не прислали, как и в тот раз, когда умерла его жена. Мы не пошли прощаться с покойным, и нашему примеру как будто бы последовали все соседи. Из всех упомянутых в моем рассказе покойников мы были на панихиде только у Токита.

Шли дни, и я постепенно понял, что некоторые вещи могу припомнить в мелочах, а некоторые нет. Ничего удивительного — ведь с тех пор минуло столько лет!

Еще до того, как мать сняла комнату возле источника, она довольно долго пролежала дома. За ней ухаживала сиделка в белом переднике. Эта сиделка сопровождала ее и на новое место.

Комната, которую снимала мать, находилась на окраине Яцусиро, но от нашего дома была совсем недалеко, не больше одного ри[1]. В том месте на большом удалении друг от друга стояло домов пятнадцать. Жители деревушки издавна занимались сельским хозяйством и рыбной ловлей.

Прямо перед комнатой были устроены подпорки для глициний, а за ними виднелся бочажок над родником. Это я хорошо помнил. Еще я помнил, что отец велел мне что-то сделать, но что именно?..

До боли отчетливо вспомнилась мне прохладная сильная струя, бьющая меж замшелых, потемневших камней. Вот я, восьмилетний, смотрю, как разбегается рябь в бочаге...

Не помню, чтобы мать была со мной особенно ласкова. Почему-то запомнился день ее похорон. Собралось много народу, все вокруг разговаривали. Я развеселился и стал шуметь — отец отругал меня. Наверное, потому тот день так отпечатался в памяти.

Когда в дом пришла мачеха, я быстро к ней привык. Братья меня попрекали:

— Неужели ты забыл нашу бедную маму?

Мачехе не нравилось наше старое жилище, где все напоминало о прежней хозяйке, и по ее настоянию мы переехали в другой район. Новый дом, большой, просторный, стоял в самом центре городка.

Там, в нашем новом доме, отец и братья умерли от той же болезни, что и мать,— от туберкулеза легких. В те времена многие неправильно представляли себе туберкулез: считали, что можно заразиться, просто подышав воздухом в доме больного. Не все, правда, верили в это, но подобные сомнения доставляли и мне, и окружающим дополнительное беспокойство.

Сейчас, конечно, никто уже не верит в такую чепуху. Если сказать кому-нибудь, что туберкулезная инфекция передается по воздуху, человек только посмеется.

В начале года вторая жена Суэнага продала дом и уехала в свои родные края, в Мукодзима. Ребенка она взяла с собой.

— Хорошо все-таки, что у ребенка, пока он не вырастет, будет хоть какая-никакая мать...— говорила иногда Хироко, точно вспомнив вдруг что-то. Слова жены напоминали мне о моей мачехе. Она была на десять с лишним лет моложе отца, так что нас часто принимали на улице за брата

[1] Ри — единица длины, около 4 км.

и сестру. Своих детей у нее не было — может быть, потому она выглядела так моложаво.

Дожив холостяком до двадцати восьми лет, я женился на Хироко, а года полтора спустя мачеха повторно вышла замуж. Бывая в Кумамото, я каждый раз навещал ее.

Дом Суэнага купил биржевой маклер по фамилии Отани. Прежде чем оформить покупку, он наверняка наводил справки и знал о безвременной смерти первой жены Суэнага и самого хозяина дома. Знал ли он о соседях, умиравших в последнее время один за другим? Даже если и знал, вполне возможно, что за годы войны у него выработалось спокойное отношение к смерти, как, впрочем, и у других обитателей нашего квартала.

У Отани было трое детей, все мальчики. Самый старший уже учился в университете. Ребята играли в мяч, боролись. Из сада у них вечно доносился звонкий смех. Шуму было ничуть не меньше, чем от номеров Суда.

— Интересно, что они будут делать с противовоздушной щелью? Такой бункер и сломать-то непросто,— говорила Хироко.

— М-да, а ведь за всю войну никто из соседей не погиб, никто не пострадал от бомбежек...

Беседуя с женой, я вспоминал родник, мелкие волны, расходившиеся кругами в бочажке. И казалось, перед моими глазами расходятся волны смерти — от дома Токита к дому Суэнага. Мне стало страшно: уж не потому ли возник в моем сознании образ родника?

Конечно, смерть не обязательно должна была прийти за нами, если бы мы остались жить в этом месте. Может быть, ничего плохого и не случилось бы, но меня постоянно преследовало странное чувство обреченности. Внутренний голос подсказывал мне, что нужно уехать.

Я не знал, как объяснить все Хироко, как заставить ее понять. Придумал что-то насчет шумного соседства и заявил, что необходимо переезжать как можно быстрее. Я не был уверен, что мне удастся, преодолев все трудности, найти новое жилье, но внутренний голос твердил: «Кто ищет, тот найдет!»

Мэйсэй Гото

МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ ВОЗВРАТИЛСЯ ДОМОЙ

Мужчина, возвратившись из поездки после недельного отсутствия и бросив взгляд на свой рабочий стол, обнаружил на нем большой толстый конверт. Рабочий стол был темно-коричневого цвета, без всяких ящиков. *Мужчина* обычно писал за ним, сидя в кресле. Посредине стола стояла лампа дневного света, справа — кожаная коробка для мелочей, слева — четырехугольный пластмассовый ящик, заваленный письмами и журналами, которые прибыли за время его отсутствия. И, как бы соединяя то, что находилось справа и слева, лежал большой толстый конверт — подобие некоего жертвоприношения.

— Что это? — спросил *мужчина,* повернувшись в сторону соседней комнаты.— Что в конверте?

Мужчина не мог оторвать взгляда от стола. Он не взял в руки конверт и не показал его жене. Так что она, находясь в соседней комнате, где распаковывала вещи мужа, не поняла, о чем он спрашивает.

— Все, что пришло в твое отсутствие, я, как обычно, сложила в ящик. Писем, за исключением адресованных мне, не вскрывала.

— Понятно.

— Ты увидел там что-то необычное?

— Нет-нет,— ответил *мужчина,* опять как-то рассеянно.

Жена, однако, не придала особого значения неопределенности, слышавшейся в его тоне. В последнее время он часто отвечал так, будто разговаривает сам с собой. Вначале предполагалось, что поездка продлится десять дней. В течение недели он должен был писать путевые очерки — в этом состояла его работа,— а оставшиеся дни использовать по своему усмотрению. По своему усмотрению? В общем, закончив свою работу в районе Хокурику и Хида, куда он направился, чтобы написать путевые очерки, он предполагал заехать в Фукуока к матери. Пожалуй, его поездку к матери можно было считать чем-то вроде «посещения ро-

дины». Итак, закончив свою работу — путевые очерки,— *мужчина* предполагал посетить родину, то есть отправиться в Фукуока. В экономном японском языке «посещение родины» передается одним кратким словом «канкэцу». Но соответствовало ли оно тому, что собирался предпринять *мужчина?* Он и сам не мог бы дать удовлетворительного ответа. И не только на этот вопрос. *Мужчина* был не в состоянии дать удовлетворительный ответ даже на вопросы старшего сына — ученика четвертого класса — и четырехлетней дочери.

— Папа, ты поедешь к бабушке на родину?

— Да-а.

— Дура ты, Сатоко! Ведь бабушка живет там, где папина родина.

— Это правда, папа?

— Да-а. Это верно.

— Тогда почему же ты не отправил бабушке мое письмо?

— Что?

— Я так старалась, писала бабушке открытку, а ты, папа, даже в почтовый ящик ее не бросил.

— Папа, ты правда не отправил открытку Сатоко?

Однако тогда эти вопросы не особенно расстроили его. Он не мог отправить бабушке, то есть своей матери, открытку, о которой говорили сын и дочь, по очень простой причине — не знал нового адреса матери.

— Папа сам отдаст бабушке открытку, которую я написала, вот так.

— Она у тебя?

— Да-а.

— Поездом поедешь?

— Да-а.

— Пап, а вдруг бабушка не разберет каракули Сатоко? Она ведь все наоборот написала.

— Ничего, поймет.

Мужчина положил написанную дочкой открытку в средних размеров саквояж и уехал из дому. И все-таки он не передал открытку матери. Собрав материал для путевых очерков, он сразу же вернулся домой. Почему же *мужчина* изменил свой первоначальный план и не заехал к матери в Фукуока? Он настолько погрузился в свои очерки, что думал лишь о том, как бы сделать их получше. Однако его работа ни на десятый, ни на двадцатый день не сдвинулась с места, и сейчас, сидя за столом и сжимая руками голову, он готов был выть от досады. Открытка, которую дочь напи-

сала бабушке, по-прежнему лежала в саквояже, являя собой немой вопрос, на который ему нужно было дать ответ. И в то же время это был его вопрос к самому себе. Но ни дочери, ни себе он не смог бы дать удовлетворительного ответа. *Мужчина* все смотрел и смотрел на большой толстый конверт, лежавший на его рабочем столе. Жертвоприношение? Однако во имя чего жертвоприношение?

Примерно в мае он получил от матери письмо, где говорилось, что хозяин решил перестраивать дом, который она снимает, и месяца на два ей придется куда-то переехать. Перестраивать? *Мужчина* никак не мог понять, что за смысл в этой перестройке. Это было деревянное одноэтажное строение, стоявшее за главным домом, где жил хозяин. Его построили для сына, когда тот женился, но по какой-то причине молодожены не стали в нем жить.

Вначале мать поселилась в семье старшего сына. У нее было семеро детей, пятеро из которых жили в Фукуока, и то, что она поселилась у старшего сына, было вполне естественно. Снять же деревянный одноэтажный домик матери пришлось только после того, как старшего сына перевели по службе в Осака. И в этом случае причина, почему она не поехала с ним, была тоже совершенно естественной — ее дочь, младшая сестра *мужчины,* обручилась с юношей, жившим в Фукуока. *Мужчина* был старше сестры на двенадцать лет.

Для сестры, до того как она вышла замуж, и матери, которой перевалило за шестьдесят, — для них двоих деревянный одноэтажный домик был в самый раз: не слишком велик и не слишком мал. Судя по всему, матери доставляло удовольствие, что в крохотном садике между изгородью и верандой она могла почти круглый год выращивать цветы. *Мужчина* чувствовал это по ее письмам. Он ничего не смыслил в названиях цветов, а в каждом письме матери, по какому бы поводу оно ни писалось, обязательно назывались один-два цветка, которые цвели в то время. В открытках внукам мать иногда даже рисовала цветы. Было ли это характерной чертой японки, родившейся в эпоху Мэйдзи? Или просто самым доступным развлечением, придуманным для себя матерью? В общем, так или иначе, ее вполне удовлетворяла жизнь с дочерью в деревянном одноэтажном домике. Потеснившись, в нем вполне могли уместиться четверо-пятеро сыновей с женами и десяток внуков. Правда, *мужчина* ни разу не приезжал к матери вместе с женой и детьми, но, бывая по делам в Фукуока, он обязательно к ней загля-

дывал, и в ее домике всегда собирались двое-трое братьев с женами и детьми.

Последний раз он ездил к матери в ноябре прошлого года на свадьбу младшей сестры. Выходит, он не виделся с матерью с тех пор, как сестра, выйдя замуж, уехала и мать осталась одна; все-таки непонятно, почему ей нужно было жить в одиночестве даже после того, как сестра вышла замуж. Почему даже после замужества сестры мать не переселилась в Осака к старшему сыну? Может быть, она не ладит с его женой и у нее не было желания жить с ними в Осака? *Мужчина* хотел, чтобы мать следовала именно этой логике. Не должны ли старики жить как все люди? *Мужчина* не желал хотя бы чуточку задуматься над чудачествами, свойственными пожилым людям. Воспринимал ли он поведение матери как некий гротеск? Нет, скорее как второсортную трагедию. Похоронив себя в прошлом, она хочет заставить молодежь, живущую в ногу с веком, задуматься над истинным значением времени. Но не в этом ли и есть привилегия пожилого человека? Не в том ли она, чтобы стать олицетворением прошлого? Не состоит ли высшее наслаждение старика в стремлении, чтобы семьи его детей на собственном опыте убедились, что именно грядущий век хоронит нынешний — то есть век хоронит век. Чудачество старика? Пожилой человек, свободный в своих поступках? В этом и заключается, как казалось *мужчине,* противоречивость облика стариков. По его мнению, это полностью относится к матери. Пожилые люди в конце концов неизбежно впадают в детство! Можно даже сказать, что *мужчина,* второй по старшинству сын матери, страстно желал такого объяснения.

Однако он не собирался особенно возражать против того, чтобы мать осталась жить в своем деревянном одноэтажном домике после замужества дочери. До матери было так далеко. Он и к старшему брату в Осака не поехал, чтобы высказать ему по этому поводу свои соображения. Если его братья и сестра, живущие в Фукуока, считают это в порядке вещей, у него тоже возражений нет. *Мужчина,* живший в кооперативной квартире в пригороде Токио, совсем не стремился к повседневному тесному общению с матерью. Его больше устраивало, чтобы она приезжала повидаться один-два раза в год, как это было до сих пор. Причем ему и в голову не приходило, что думать подобным образом безнравственно.

Главной же причиной, почему мать не переехала к старшему сыну в Осака и одна продолжала жить в Фукуока,

было то, что ей ни за что не хотелось расставаться с родным городом. Действительно, Фукуока был ее родиной. Там она пошла в начальную школу, окончила колледж, позже, покинув Фукуока, переправилась через Корейский пролив и вышла замуж в Корее, родила семерых детей, через год после окончания войны снова переправилась через Корейский пролив и возвратилась в Фукуока. К тому же деревянный одноэтажный домик, в котором в одиночестве жила мать, находился в четырех-пяти минутах ходьбы от той самой начальной школы при педагогическом училище, в которую она ходила шесть лет. Сразу же за западным парком. Но можно ли говорить, что это родной дом, если ты его снимаешь у чужих людей? В песнях об этом, правда, не поется, но всякому ясно, что родной дом — это дом, принадлежащий лично тебе, какой бы развалюхой он ни был.

Второй причиной, почему мать хотела жить одна, было то, что она поддерживала отношения со свекровью и золовками, жившими в Корее, и ей хотелось оставшиеся годы жить, как ей заблагорассудится, не стесняя семьи сыновей. Вырастив семерых детей, она, пока это было ей под силу, хотела жить без особых забот и оставаться независимой. И вот она получила возможность жить вдвоем с отцом (дощечкой с именем покойного). Мать не особенно любила ходить в храм и не хотела приглашать в дом священника. Она, видимо, принадлежала к людям, для которых формальности не играют никакой роли, и, с точки зрения *мужчины*, это тоже не был образ мышления, свойственный старикам. Но ему приходилось принимать поведение матери как должное. Он никогда не убеждал ее посещать храм. Не настаивал и на приглашении священника, чтобы тот читал заупокойную сутру. Может быть, виной всему было то, что они жили далеко друг от друга?

У *мужчины* создалось впечатление, что ему пока неведомы истинные намерения матери. Пока? Или, возможно, ему, как сыну, не понять их никогда? А может быть, и ни к чему их понимать. Возможно, именно поэтому рассуждения *мужчины* о том, что пожилой человек должен олицетворять прошлое, были сродни его желанию считать именно так. Можно представить себе горячее стремление человека оставить то, что он вряд ли поймет или, не исключено, не должен понимать, в таком виде, будто ему все понятно.

И все-таки, куда решила переехать мать? Мысль завернуть в Фукуока на обратном пути после завершения работы над путевыми очерками была вызвана беспокойством о

ее судьбе... Одна из открыток, которые он изредка посылал матери, явилась, наверно, причиной каких-то неурядиц.

Он получил от матери несколько писем, в них она писала, что на два месяца, пока будет перестраиваться дом, который она снимает, ей нужно куда-то переселиться. Были письма непосредственно об этом событии, были письма о том, что она понемногу пакует вещи. А были и такие, в которых она писала, что еще со времени эвакуации убедилась — лишних вещей иметь не нужно, а вот сейчас, когда она собралась переезжать и вытащила все свои вещи, просто поразилась — зачем их столько старому одинокому человеку. *Мужчина* отвечал не на каждое ее письмо. Не хотелось писать, что он огорчен, не имея возможности приехать помочь ей, а с другой стороны, если возникнет такая необходимость, вполне достаточно живущих в Фукуока его братьев и сестры. Помимо всего прочего, мать обожала писать письма. *Мужчину* просто поражало, до какой степени ей нравилось это занятие. Интересно, где и когда она пишет? Он пытался представить себе, как мать, смотревшая одну-единственную телевизионную программу — многосерийные исторические драмы,— в комнате, где стоит телевизор, склонилась над низеньким обеденным столом. Она всю жизнь страдала сильной близорукостью, и поэтому сейчас, когда ей уже далеко за шестьдесят, читает без очков. Видел ли когда-нибудь он на самом деле, как мать пишет? Всякий раз удивляясь ее пристрастию к писанию, он пытался вспомнить это. И ему часто приходила на ум где-то вычитанная фраза, что великие писатели с удовольствием писали письма. Достоевский? Чехов? Осаму Дадзай?

„Если судить по любви к письмам, мама стоит в одном ряду с великими писателями“,— сказал он как-то жене. Сейчас он уже не помнит, что она ему ответила. Но это, в общем-то, не имело никакого значения. Он бросил тогда эту фразу вместо того, чтобы тяжело вздохнуть. Лучше бы не писала она так часто!

Действительно, видел ли он когда-нибудь мать с пером в руках? Сразу и не вспомнишь. Кажется, видел, когда отца призвали в армию и она стала хозяйничать в лавке. Лавка представляла собой деревянный одноэтажный дом, уже очень старый, построенный еще прадедом — плотником, сооружавшим храмы. Что в ней продавалось? Пожалуй, ее можно было назвать мелочной и одновременно продуктовой. Нет, вспоминать сейчас, чем там торговали, ему не хотелось. В памяти возникало другое — фигура матери, сидящей за столом, но все же он до сих пор помнит, как,

войдя в лавку, сразу же окутывался запахом керосина, его сменяли запахи сои и мисо [1], потом — запахи сахара и соли, а примерно посреди лавки плавал запах сакэ. Пахло там еще и металлическими напольными весами, деревянными мерками, и, наконец, витал запах типографской краски — обычный в лавке, торгующей школьными учебниками для корейцев. Значит, если он видел мать с пером в руках, то именно тогда, когда она сидела за непомерно большой конторкой в самом центре лавки. Конторка вполне подошла бы для ломбарда — между ее крыльями, подобно двум мысам выдающимися в сторону входа, спиной к металлическому сейфу размером с домашний холодильник, в вертящемся кресле старой конструкции обычно сидел отец, покуривая и разговаривая по телефону. Отец, не отходя от телефона, покупал партию лесоматериалов, которые предлагал ему А. по такой-то цене, и тут же, не успев положить трубку, звонил В. и говорил, что готов продать ему партию лесоматериалов по такой-то и такой-то цене,— видимо, отец вел и подобного рода торговые дела. Когда же телефон, висевший на деревянном столбе, был заменен настольным?

Во всяком случае, когда мать вместо отца расположилась спиной к сейфу в старинном вертящемся кресле и что-то писала, телефон уже был настольный. В каком же классе он тогда учился? Ему исполнилось десять лет, когда началась война с Америкой и Англией, а окончилась она летом — он был уже учеником первого класса средней школы. Но если он видел мать что-то писавшей, сидя в вертящемся кресле отца, это могло быть только до войны с Америкой и Англией. Ведь отец ушел на войну уже после того, как сам он переехал в общежитие средней школы. Отец, пехотный лейтенант запаса, еще до войны с Америкой и Англией неоднократно призывался в армию. И, видимо, всякий раз мать устраивалась в его вертящемся кресле. Сколько же лет было тогда матери? Наверное, она была моложе, чем он сейчас. А сам он был тогда, пожалуй, на год-два младше своего девятилетнего сына — ученика четвертого класса начальной школы. Значит, когда ему исполнилось девять лет, как теперь его сыну, матери было тридцать пять. Расчет простой — с тех пор прошло уже лет тридцать, *мужчине* сейчас тридцать девять, а его матери — шестьдесят пять.

Кроме пристрастия к писанию писем, *мужчину* поражало еще и то, что они были написаны ученической ручкой со

[1] Мисо — густая масса из перебродивших соевых бобов, которые используют для приготовления соусов, супа и т. п.

вставным пером. Не шариковой, не вечной и, разумеется, не карандашом. Интересно, каким пером она писала? *Мужчина* никогда не видел ручки, которой пользовалась мать. Но то, что это не авторучка, было ясно по почерку и по нажиму. В некоторых местах было видно, что кончик пера разошелся. Кое-где было заметно, что перо царапает. Мать употребляла старую орфографию, но устарелым шрифтом азбуки кана не пользовалась. В своих письмах она всегда повторяла: я никогда не перечитываю написанное; и в самом деле, иероглифы она писала одним духом, и по ним было видно, что́ у нее в данную минуту в голове и на душе. От ее нажимов перо, конечно, быстро изнашивалось. Интересно, где она покупает перья? Может быть, в писчебумажном магазине, там, где покупала бумагу и карандаши, еще когда училась в начальной школе или в колледже? Едва ли!

Мужчина очень редко отвечал на письма матери, полагая, что для нее, такой молчаливой, письма — единственная возможность высказаться. Хотя ее и нельзя было назвать человеком замкнутым, но особенно разговорчивой тоже не назовешь. Даже с приятелями сыновей она не бывала приветливой. *Мужчина* не помнил, чтобы мать когда-нибудь сказала его приятелям: относитесь хорошо к моему сыну; у него, конечно, много всяких недостатков, но вы уж, пожалуйста, дружите с ним. *Мужчине* становилось не по себе всякий раз, когда он слышал такие слова от матерей своих приятелей. И всегда возмущался матерью. Какая она неприветливая! Непохожая на обычных матерей! Разумеется, вслух он ничего подобного не произносил. Разве может сын говорить такое матери! Но это не означало, что ему не приходила в голову мысль, какой бы он хотел видеть мать. Даже наоборот. Он хотел, чтобы его мать была как у всех людей. Недавно *мужчина* наконец понял это. Даже сейчас у него вызывала раздражение страсть матери к писанию писем! Но, не отвечая на каждое из них, размышлял *мужчина*, он превращается исключительно в слушателя болтовни — писем матери, которая не сказала ни одного приветливого слова его приятелям. В общем, ее не втиснешь в рамки обыкновенного человека. И, удивляясь сейчас пристрастию матери к писанию, он проявлял к ней снисходительность хотя бы тем, что не отвечал на них.

Думал *мужчина* и о переезде матери в связи с перестройкой дома, который она снимала. Из многочисленных ее писем у него сложилось впечатление, что вопрос как будто решен — на два месяца она переедет к его брату Сабуро, третьему по старшинству в их семье. Громоздкие вещи бу-

дут перевезены к тетке, родной сестре матери. А самое необходимое — к Сабуро. Поскольку она не ехала к старшему сыну в Осака, такое решение казалось вполне разумным. Действительно, старший, Такэо,— в Осака. Второй, Дзирэ, и самый младший, Рокуро,— под Токио. И, таким образом, в Фукуока живут третий сын, Сабуро, четвертый, Сиро, пятый, Горо, и замужняя дочь, причем все с семьями, а у Горо к тому же тесная кооперативная квартира. Собственные же дома имеют только Сабуро и Сиро. Потому-то *мужчина* и был согласен с тем, чтобы мать переехала на два месяца к Сабуро. Они с братом были погодками. Сабуро женился на своей сослуживице, и теперь у них было трое детей — один в пятом классе начальной школы, и двое младших ходили в детский сад. Всего лишь два года назад они построили себе дом в западном пригороде Фукуока. Приехав в прошлом году на свадьбу сестры, *мужчина* обещал посмотреть их дом. Но, засидевшись у матери и много выпив, он, вместо того чтобы ехать к брату, пригласил его с женой к себе.

— Ну что ж, выпьем холодного пивка,— сказал брат, выставляя на низкий обеденный столик батарею бутылок, которые он привез на такси.

— А вот закуску не захватили, не обессудьте,— сказала жена брата.

Бойкая бабенка, подумал он. Но чувствовал себя с ней как-то неуютно. А может быть, именно такой и должна быть жена. Хоть чуточку, а подколоть деверя нелишне. Ничего не скажешь — жена у брата реалистка, да и в практической сметке ей не откажешь. Но нужно признать — она сразу же откликнулась на приглашение *мужчины*, который напившись, нарушил свое обещание, и, принарядившись, вместе с мужем сразу же отправилась к нему!

— Ну что вы, это я во всем виноват. Мне очень хотелось посмотреть ваше новое жилье, но вот...— сказал *мужчина*, кланяясь жене брата.

— Действительно жаль. Когда приедете в следующий раз, обязательно остановитесь у нас.

— Обязательно так и сделаю.

После этого он стал восхищаться их сыном, добившимся, как он слышал, больших успехов в учебе. А у его сына ничего не получается, и он просто не знает, что делать,— может быть, они ему что-то посоветуют?

— Я придерживаюсь принципа невмешательства.

— Если принципом невмешательства можно чего-то добиться, это прекрасно.

— Я слыхал, ваш начал недавно заниматься фехтованием.

— Да, с полгода назад, но что из этого выйдет...

— В любом случае нужно чем-то заниматься, верно?

— Нет, главное — учеба. Если человек способен хорошо учиться, он способен сделать все. Тот, кто находит в себе силы хорошо учиться, всего достигнет — он испробует одно, другое и в конце концов пробьет себе дорогу.

Мужчина вернулся домой, так и не увидев дома брата. Не увидел он его и позже, но мать, кажется, довольно часто бывала там. Он даже не представлял себе, что это за дом, хотя полагал, что достаточно просторный, чтобы мать временно, каких-то два месяца, пожила там. Вот уж действительно — даже суп не успеет остыть. Это английское выражение. Оно означает, что лучше всего, когда старики, представляющие уходящее поколение, и семьи их детей живут друг от друга на таком расстоянии, что и суп не успеет остынуть, пока его донесешь. Где-то он его вычитал. А может быть, не вычитал, а услыхал от кого-то. В общем, широко распространенное выражение. Но сейчас ему не приходится иронизировать по его поводу. Ведь он так и не увидал расположение комнат в доме брата; что же касается его жилья, у него была 3DK[1] в кооперативном доме. Его сын, учившийся в четвертом классе начальной школы, и четырехлетняя дочь имели свою небольшую комнату в четыре дзё[2] окнами на юг. Комната в шесть дзё — столовая-кухня. Потом еще одна комната в шесть дзё, где стоит софа. И, наконец, выходящая на север комната в четыре с половиной дзё — в ней его рабочий стол. Есть еще лоджия между детской и столовой-кухней. Ванная, туалет, крохотная, в полтора дзё, прихожая и ведущий в столовую-кухню и комнату *мужчины* коридор, хотя для настоящего коридора он слишком маленький. Между ванной и гуалетом закуток, где находится умывальник. Вот и вся квартира. Однажды, когда проводилось обследование положения в стране с жильем, долго обсуждался вопрос, считать 3DK трехкомнатной или четырехкомнатной квартирой. Действительно, столовую-кухню можно использовать и как гостиную. В ней можно подать и чай неожиданному гостю, а у *мужчины* в этой комнате стоял телевизор. На веранде же, шириной более двух метров, можно настелить татами и пре-

---

[1] 3DK — сокращение от английского 3 dinner-kitchen, то есть квартира из трех комнат и совмещенной столовой-кухней.

[2] Дзё — мера площади, примерно 1,5 кв. м.

вратить ее в комнату; или, на худой конец, комнату в шесть дзё разгородить пополам, и тогда квартиру можно называть 4DK, но в любом случае она как была, так и останется тесной бетонной коробкой. Вот если ликвидировать кровати и матрасы и сменить их на гамаки или подвесные койки, а освободившиеся глубокие стенные шкафы переоборудовать в детскую или какое-либо еще помещение — это действительно принесло бы реальную выгоду. Во всяком случае, с помощью такой перестройки можно даже самоутвердиться.

Разумеется, *мужчина* в своей квартире ничего подобного не произвел, да у него и в мыслях не было делать это. И поэтому по обеим сторонам его рабочего стола в беспорядке громоздились груды бумаг, которые мешали дверцам металлического шкафчика, стоявшего рядом со столом, открываться больше чем на две трети. Ящик стенного шкафа, где лежали носки и нижнее белье, тоже выдвигался лишь на две трети — ему мешал угол шкафчика.

Будут ли открываться его дверцы, если разобрать эти груды бумаг? А может быть, и достаточно открывать их на две трети? Время от времени *мужчина* задавал себе подобные вопросы. Они, конечно, не имели такого уж большого значения. Но в то же время стоило подумать, что эти вопросы касались его собственного жилья, и он уже не мог считать их не имеющими большого значения. А если вспомнить еще и о том, что речь шла о домашнем уюте, домашних удобствах, то любые мелочи, не имеющие, казалось бы, никакого значения — открываются ли, например, как следует дверцы шкафчика,— легко превращаются в предмет серьезного обсуждения. Пусть жилье самое что ни на есть скромное — все равно, разве плохо, чтобы дверцы шкафчика свободно открывались и закрывались? Вопрос вполне резонный. Пусть даже свобода была урезана на одну треть в таком пустяке, как дверцы шкафчика, все равно для *мужчины* это было важно, поскольку касалось его удобств. Не менее серьезной была проблема выдвижного ящика в стенном шкафу, где были сложены носки и нижнее белье,— в своей выходящей на север комнате он спал, по японскому обычаю, прямо на татами. Летом иногда перебирался на софу, в большую комнату, но и в своей он мог свободно расстелить футон[1], задвинув стул под рабочий стол. В детской стелилось два футона, и жена спала то в его комнате, то в детской. Так было принято в его доме.

[1] Футон — ватный тюфяк, одеяло.

Даже когда к ним приезжала погостить мать, комнаты все равно использовались как обычно. Изменение состояло лишь в том, что в комнате с софой, где, как правило, не спали, расстилался футон для матери. И так продолжалось все время, пока мать жила у них. Одну-две недели один-два раза в год. Но в их кооперативном доме были квартиры, в которых жили все вместе — старики родители, семьи детей. Тогда все три комнаты в 3DK приходилось использовать как спальни. До сих пор его мать ни разу еще не жила у них по два месяца. Вероятно, те же проблемы могли возникнуть и в семье младшего брата, где, как предполагалось, мать проживет эти два месяца. Но, судя по ее письму, в Фукуока договорились именно об этом. В общем, *мужчина* так и не написал письма по поводу матери младшему брату, не говоря уж о старшем, который жил в Осака.

Скорее всего, из-за постоянной занятости. Занятости? Ее можно назвать, пожалуй, нервозным состоянием, в котором он пребывал. Как раз в марте ему неожиданно предложили посетить Дальний Восток и Сибирь в качестве лектора на международном семинаре, устраиваемом некоей ассоциацией. Продолжительность — две недели, время — последняя декада августа. *Мужчину* рекомендовал редактор журнала, для которого он время от времени писал путевые очерки. Он, разумеется, согласился с огромной охотой. Причин для отказа не было. Существовала лишь одна проблема — работа, с которой он запаздывал уже на три месяца. У него буквально голова шла кругом от этой незавершенной работы. Ее необходимо было закончить любой ценой до предполагаемой поездки. Он был так поглощен своей работой, что даже думал: ничего не поделаешь, придется упустить шанс впервые в жизни совершить заграничную поездку. Но, великолепно проведя безоблачную Золотую неделю [1] в мае, он совсем потерял покой. Стал часто отлучаться из дому и напиваться. Переговоры с ассоциацией-устроительницей. Выписка из книги посемейной записи. Ходатайство об оформлении поездки. Оформление проездных документов. Беседа в туристской компании. Прививки. Вторичные прививки. Разумеется, все эти формальности, необходимые для заграничной поездки, и пьянство совершенно не были связаны между собой. Но всякий раз, выходя из дому, он обязательно напивался. Даже в те дни,

[1] Золотая неделя в Японии с 29 апреля по 5 мая — время отдыха и развлечений.

когда ему делали прививки и было запрещено пить, дважды возвращался домой мертвецки пьяный. Однажды вечером, находясь в таком состоянии, он, точно пробудившись, послал матери открытку. Текст был самым ординарным. Прости, что давно не писал. Я успокоился, узнав, что два месяца ты поживешь в доме Сабуро. У нас все по-старому, правда, отца жены по поводу холецистита поместили в больницу в Тиба. Вот такая открытка, самого незамысловатого содержания. Писание заняло каких-нибудь пять минут, но потом все пошло вкривь и вкось. Перелистав записную книжку, *мужчина* обнаружил лишь номер телефона брата — адреса не было.

Прежде чем подняться из-за стола, он повернул голову налево и посмотрел на шкафчик. На нем лежали: справа — коробки с обрезками материи, выкройками, старыми письмами. Слева — тоже коробка со старыми письмами, газетными вырезками, «свидетельствами школьных успехов». На шкафчике громоздились еще модные журналы и коробки из-под швейных принадлежностей. Непонятно, зачем он складывал старые письма, да еще в двух коробках из-под европейского платья? Обрезки материи, выкройки, газетные вырезки — все это входит в сферу интересов жены. Свидетельства — они отражают достижения сына. В конце прошлого года *мужчина* произвел генеральную разборку писем. Сначала он разобрал письма, относящиеся к его работе. Официальные соболезнования по случаю болезни, новогодние поздравления — он решил оставить только последние, по одному экземпляру. В результате чистки, проведенной по такому принципу, три коробки со старыми письмами сократились до двух. Количество писем уменьшилось наполовину, но когда он начал их рассортировывать, то оказалось, что только письма от матери заняли половину коробки. Сколько их, интересно? Открыток и писем в конвертах примерно поровну. Все они получены после его женитьбы. В этом году — одиннадцать лет. В почерке матери никаких перемен. Перемена лишь в том, сколько она отправила открыток и сколько писем. Не поднимаясь с кресла, *мужчина* попытался представить себе содержимое коробок из-под швейных принадлежностей, на которых черным фломастером было выведено: «Старые письма». В которой из них письма матери? Но ведь он разбирал старые письма еще в конце того года. Прошло уже почти шесть месяцев. Все это время неразобранные письма, возможно, в беспорядке сваливались в коробки с письмами матери, в которых еще оставалось место. Полупустая тогда коробка из-под

европейского платья, наверное, уже набита до отказа. Может быть, там и завалялась открытка от брата из Фукуока с новым адресом?

— Счастливая, счастливая пора детства! — подумал вслух *мужчина*.

Это были первые слова «Детства» Толстого. Он выучил эту фразу по-русски еще в университете, не помнит, на каком это было курсе. „Счастливая, счастливая пора детства!" *Мужчина* произнес эти слова по-русски. Сощурившись, он стал вспоминать следующую фразу. Но она никак не приходила на ум. Что же, наконец, он искал? Что? Разумеется, открытку брата из Фукуока с новым адресом, а совсем не фразу из «Детства». Но ведь все началось с того, что он пытался представить себе содержимое коробки из-под европейского платья с надписью: «Свидетельства школьных успехов», сделанной черным фломастером. Тут-то и появилась произнесенная им русская фраза. Свидетельства, принадлежащие самому *мужчине*, так и не попались ему на глаза. Табели успеваемости, рисунки, сочинения, прописи, тетради с летними заданиями, документы о прохождении практики, наградной лист за примерное посещение занятий, наградной лист за отличную успеваемость. Окончив народную школу в марте 1945 года, *мужчина* получил наградной лист за примерное посещение занятий в течение шести лет. Видимо, потому, что за все это время не пропустил и ста дней. Он был единственным во всей школе, кому это удалось. Но ни одного из всех этих свидетельств школьных успехов не осталось у *мужчины*, даже у матери не осталось. Потому что ей пришлось спешно эвакуироваться из Кореи. Может быть, отсутствие доказательств его успехов и не послужило непосредственной причиной этого, но к своим тридцати девяти годам он дважды страдал желудочным кровотечением. До какого же возраста доживет ученик начальной школы, получивший наградной лист за примерное посещение занятий в течение шести лет?

А вот несколько фотографий осталось. Когда ему было два года, а брату, старше его на три года,— пять лет. Оба сфотографированы в не по росту больших передничках. Другая фотография, когда братьев было уже четверо: на ней позировали мать с самым младшим на руках и девушка — дальняя родственница. Еще одна — день, когда он пошел в первый класс. Кроме него, на ней были сфотографированы старший брат, двое младших и бабушка — ясно, конечно, что не мужчина привез их в Японию, бережно уложив на дно рюкзака. Тем более что он вернулся даже

без свидетельства об окончании первого класса средней школы. А уж о каких-то фотографиях и подавно думать забыл. Что же касается этих трех фотокарточек, то они были уже после возвращения в Японию взяты назад у родных, которым их когда-то посылали. Таким образом, детские фотографии *мужчины* сохранились благодаря тому, что оказались в Японии. Поездить по родным и поискать — может быть, удастся найти и другие. Но если даже они не сохранились, никаких претензий ни к кому он иметь не должен. Кто поручится, что такое же не произойдет со свидетельствами школьных успехов его сына? Сейчас они лежат в коробке из-под швейных принадлежностей, на которую, сидя в кресле и повернув голову к шкафчику, смотрит *мужчина*,— кто может поручиться, что и они не исчезнут без следа? Ведь когда он был в четвертом классе начальной школы, как сейчас сын, так же аккуратно хранились, наверное, и его свидетельства школьных успехов. В том, что они бесследно исчезли, виновата не только война. Если исчезнут свидетельства школьных успехов его сына, лежащие сейчас в коробке из-под швейных принадлежностей, то, интересно, что будет тому причиной? *Мужчина* не мог бы ответить на этот вопрос. Не может ответить на него и сын. Он ведь даже не представляет себе, что входит в его свидетельства школьных успехов. Не представляет себе не только их ценности, но даже не знает, где они хранятся. Во всяком случае, он ни разу не спросил о них у отца. *Мужчина* тоже совсем не помнил, где в их огромном деревянном доме, выстроенном прадедом, хранились его свидетельства школьных успехов. Он снова произнес вслух русскую фразу:

— Счастливая, счастливая пора детства!

В общем, свидетельства школьных успехов — собственность родителей. Но все эти свидетельства в конце концов исчезают. Однако по какой причине — неведомо. Все же представить ее себе, конечно, можно. Но подобные предположения будут строиться уже в то время, когда *мужчина* умрет. Ведь сын начнет размышлять о своих исчезнувших свидетельствах школьных успехов, скорее всего, уже после смерти отца.

Наконец *мужчина* заставил себя встать из-за стола, чтобы заняться поисками открытки с новым адресом брата. Но начал он их не с коробки из-под европейского платья, стоявшей на шкафчике, в которой лежали старые письма, а с висевшего на стене его комнаты большого мешка для бумаг. Большой мешок для бумаг. Это не был специальный мешок. Скорее матерчатый мешок для шлепанцев, ко-

торый вешается обычно в прихожей. Может быть, он действительно походил на мешок для бумаг. Соседка, которая была председательницей Ассоциации родителей и учителей той школы, где учился сын *мужчины,* подрабатывала изготовлением и продажей таких мешков, и его жена по дружбе купила у нее один. Муж этой женщины баллотировался в муниципалитет от их района, и его избрали.

— Такой подработкой занимается жена члена муниципалитета?

— Ее муж с молодых лет увлекался политикой, а жене приходилось работать не покладая рук,— ответила ему тогда жена.

— Но теперь, когда его избрали, у них все в порядке.

Тогда *мужчина* не участвовал в выборах. Может быть, с похмелья не мог заставить себя встать утром с постели? А возможно, и потому, что как раз в то время по работе отправился в какую-то поездку. Вполне возможно. Он даже помнит, что, когда вышел из такси с саквояжем в руках у железнодорожной станции, около лестницы, ведущей к турникетам, где проверялись билеты, с ним хором поздоровались стоявшие в ряд кандидаты в члены муниципалитета. По тому, как подобострастно они приветствовали его, *мужчина* понял, что предвыборная борьба вступила в решающую фазу. Но у него и в мыслях не было, что кандидаты выглядят комично. Они собрались здесь совсем не для того, чтобы посмешить его. И не для того, чтобы над ними смеялись. Они не комедианты. Во всяком случае, о существовании *мужчины* с саквояжем в руках они и думать не думают. Сколько их было? Человек пять-шесть? Или семь-восемь? Вопрос только в количестве. И подобострастно кланявшиеся кандидаты, и проходившие мимо них люди, спешащие на работу, разумеется, не видели друг друга, да им это и не нужно было. Так что вопрос был только в количестве. А кто не стоял? Кто же там не стоял? *Мужчина* узнал среди кандидатов мужа председательницы Ассоциации родителей и учеников. Ему показала его жена, еще когда был школьный спортивный праздник. Он встречался с ним и в тот день, когда в школу приглашали родителей учеников, чтобы познакомиться с ними. Но они не здоровались. А вот жена купила у супруги этого кандидата нечто напоминающее мешок для бумаг. В общем, там стоял кандидат — средних лет «любитель политики», который заставляет жену продавать нечто напоминающее мешки для бумаг.

Интересно, кого избрали? Сколько кандидатов было выдвинуто от их района и сколько прошло? *Мужчина* не

знал этого точно. Знал лишь, что одна из трех учениц колледжа, бравших у его жены уроки английского языка, после выборов не стала посещать занятий. Наверное, ее отец, выдвинутый кандидатом в члены муниципалитета, провалился на выборах. Официально они не отказались от занятий, но за следующий месяц платы не внесли. А потом и остальные ученицы перестали ходить. Месяца через два-три после окончания выборов? Скорее всего, эти девушки, учившиеся у жены английскому языку, окончив колледж, поступили в университет. А жена снова получила предложения от родителей девушек, перешедших на третий курс колледжа. Она посоветовалась об этом с мужем.

— Сейчас у меня получается трое учеников с третьего и пятеро со второго курса колледжа и человек пять-шесть третьеклассников средней школы.

— Как же ты будешь всех их учить?

— Хорошо бы разбить на три группы и заниматься с каждой один раз в неделю — это самое продуктивное. И занята была бы три дня в неделю.

— Три дня? Значит, через день.

— Это бы хорошо, но все равно так не получится. Учащиеся третьего курса колледжа должны готовиться к экзаменам в университет — из них я постараюсь сделать одну группу, а остальные будут ходить в разное время, обычное дело. У одних в этот день музыка, у других соробан [1], у третьих каллиграфия, у четвертых математика. Каждый обязательно занимается чем-то еще, кроме английского языка.

— Выходит, ты пока не знаешь, по каким дням и в какие часы будешь преподавать английский?

— Совершенно верно, причем, если даже и договорюсь с родителями, ничего не изменится. В лучшем случае будет не меньше пяти групп.

— Это никуда не годится.

— Я тоже думаю, не взять ли мне одних третьекурсников, а остальным отказать.

— Может, и правда лучше тебе отказаться?

— Но если уж отказываться, то отказываться от всех.

— Почему?

— А ты действительно хочешь, чтобы я отказалась?

— Я не менеджер домашней учительницы.

— Завтра же позвоню и всем откажу.

---

[1] Соробан — японские счеты; быстрый счет на них — большое искусство.

— Думаешь, стоит?

— Тебе этого не понять. Надоело мне все.

— Почему же?

— С самого утра телефон, телефон, телефон. Сил уже нет. Дел у мамаш никаких, а у тебя ни минуты свободной, но все же сдаешься. Забегу, говорит, оторву вас на полчасика, а сама и два часа и три проторчит.

— У нас здесь своя жизнь, должны бы понимать.

— Потому это и нельзя привести в качестве довода. Скажут, одних детей, мол, учит, а наших не хочет брать. Это неудобно. А о причинах отказа такой еще чепухи наплетут, что и не возрадуешься. Никогда ведь не знаешь, что будут говорить. Хорошо еще, если все эти разговоры далеко не пойдут. Но в свои склоки непременно втянут и тех, кто не имеет к этому никакого отношения. Совсем недавно жена одного человека, который на радио работает, спрашивает вдруг, скольких я обучаю. У нее дети как наши. К чему это ей? Можно, конечно, игнорировать все эти пересуды и поступать по своему усмотрению, как подсказывают обстоятельства. Но твой довод все равно совершенно справедлив. Вопрос в наших детях, вот и все. Я не хочу, чтобы еще несмышленые дети говорили мне всякие глупости.

— Вопрос в помещении.

— Нет, вопрос стоит так — либо взять всех, либо всем отказать.

Вопрос все-таки в помещении. Занятия английским языком с ученицами колледжа проходили в большой комнате, где стояла софа. В семь часов вечера они собирались в прихожей, по коридору, такому короткому, что его и коридором не назовешь, подходили к комнате *мужчины*, раздвигали фусума и уже из этой комнаты шли направо, в комнату, где была софа. Это был единственный способ попасть в нее не через столовую-кухню. Да и особых причин пользоваться для прохода столовой-кухней не было. Если бы, когда они проходили через комнату *мужчины*, он находился в ней, ученицы шли бы, конечно, через столовую-кухню. Но дело в том, что в дни и часы их занятий *мужчина* всегда сам перебирался в столовую-кухню. Чаще всего к этому времени он, поужинав, смотрел с детьми телевизор. Иногда, правда, в это время он еще ел. Но в том и другом случае он с детьми находился в столовой-кухне и отсюда слушал, как его жена занимается с ученицами английским языком. Голос жены и голоса учениц доносились совершенно отчетливо. И неудивительно. Там, где друг против друга стояли газовая плита и мойка, была капитальная стена,

граничащая с соседней квартирой, от остальных же комнат столовую-кухню отделяли тонкие фусума. Но *мужчину* такое расположение комнат в 3DK вполне устраивало. Более того, слушая, как ученица читает, он пытался оценить ее способность понимать английский текст и испытывал даже тайное удовольствие, пытаясь представить в своем воображении лицо обладательницы того или иного голоса.

Правда, сыну эти уроки английского языка были только помехой. Что бы ни передавали — будь то «Маска тигра», «Прямой путь дзюдо», «Суперстар» или даже «Вернувшийся сверхчеловек», во время занятий английским языком его всегда заставляли приглушить звук телевизора. Но, в общем, можно сказать, они с сестрой вели себя тихо. Хотя нельзя утверждать, что они не ссорились из-за того, какую программу включать, но, как только начиналась передача, звук телевизора приглушался и детям тоже приходилось переругиваться шепотом.

Однажды вечером *мужчина* был удивлен — очень уж большими показались ему туфли учениц, стоявшие в прихожей. Черные, коричневые и красные. Это были кожаные, порядком поношенные туфли — идя из туалета, он остановился и стал внимательно их осматривать. В школу они в них, наверное, не ходят. Каблуки сильно стоптаны, гуталином и не пахнет. Размер — не меньше чем десять с половиной, а то и одиннадцать. Ничего себе! Во всяком случае, джинсовые, со шнуровкой расхожие туфли жены выглядят детскими. *Мужчина* сначала даже подумал, что эти кажущиеся такими маленькими туфли принадлежат сыну. Ну и громадные же ноги у этих девиц! Какие туфли чьи? *Мужчина* представил себе, как он пытается всунуть ноги в красные туфли с наполовину стоптанными каблуками. Он наклонился и, взявшись рукой за сбитые каблуки красных туфель, в которые он в своем воображении всунул ноги, немного отодвинул их в сторонку. Ему нужно было открыть дверь кладовки у правой стены прихожей. Там должна была стоять бутыль сливянки. Но полка в кладовке была уставлена большими банками с соленым луком, луком в соевом соусе, маринованными сливами, пикулями, и *мужчине* пришлось осторожно, обеими руками вынимать их по одной и аккуратно ставить на пол. Доносился голос читающей ученицы. Обладательнице каких туфель принадлежит этот голос? Наконец *мужчина* добрался до вожделенной сливянки и снял ее с полки. Но у его ног выстроилось уже четыре банки. Ему ведь пришлось вытащить все банки, стоявшие в кладовке.

— Суру! Суру! — закричал *мужчина* по-корейски, что означало: «Водка! Водка!»

Все четыре банки, кроме бутылки сливянки, конечно, он стал осторожно, по одной ставить обратно.

— Так! Так! Так! Так!

Мужчина снова глянул на красные туфли, которые он отодвинул в сторону, чтобы открыть дверь кладовки. Но теперь они не казались ему такими огромными, как раньше, когда он собирался всунуть в них ноги. *Мужчина* закрыл двери кладовки. Потом, взяв обеими руками бутыль сливянки, пошел в столовую-кухню, точно муравей, несущий хлебный катышек в свой муравейник.

«Вопрос стоит так — либо взять всех, либо всем отказать»,— сказала жена. Но *мужчина* все-таки думал, что вопрос в помещении. После замужества жена еще в течение полугода преподавала английский язык в колледже. Бросила работу только из опасения, как бы не было выкидыша, но, чтобы чем-то заниматься, собрала у себя нескольких университетских приятелей и бывших сослуживцев по колледжу, и они организовали кружок любителей литературы — читали Артура Миллера, Теннесси Уильямса и других писателей. Кто-то из приятелей устроил ей работу — перевод японских мультипликационных фильмов, предназначавшихся для Соединенных Штатов. *Мужчина* тогда еще служил и не испытывал никаких неудобств от того, что жена всем этим занимается в его отсутствие. Он считал также вполне естественным, что после переезда в кооперативную квартиру она стала преподавать английский язык ученицам колледжа. Разве плохо, что ее так настойчиво осаждали желающие, что она не в силах отказать им? Следовательно, если уж говорить о неудобстве, оно было в одном — комната с софой, оккупированная для занятий английским языком, и комната *мужчины* были разделены лишь тонкой фусума. Для занятий английским языком использовалась не только самая большая комната, но фактически оккупировалась еще и соседняя, где был его рабочий стол. Конечно, и во время занятий он имел полную возможность вздремнуть в ней, облокотившись о свой рабочий стол. Но с таким же успехом он мог поспать и за обеденным столом в столовой-кухне или в детской. В его тесной квартире 3DK не было уголка, куда бы не доносились голоса жены и ее учениц. Потому-то он и решил освободить для английских занятий комнату с софой, а вместе с ней и свою собственную. А пока ученицы занимались, он либо смотрел с

детьми телевизор, либо, как в тот вечер, приносил бутыль сливянки или же проводил время в ванной.

Бывало, конечно, что в такие дни и часы *мужчина* уходил из дому, чтобы выпить в баре виски с содовой. Иногда ему как раз в это время необходимо было работать, иногда в это время он еще не начинал работу или она уже была закончена. Таким образом, случаи бывали самые разные — то занятия совпадали с его работой, то приходились на период между работой и не имели к ней ни малейшего отношения. Но в любом случае, когда он проводил это время вне дома, проблем не возникало. Возникали они всякий раз, когда *мужчине* приходилось оставаться в тесной квартирке, а если бы во время занятий он всегда мог отсутствовать, вопрос о помещении его бы не волновал. Но разве может он пять раз в неделю, в то время как жена занимается английским языком с ученицами колледжа и средней школы, проводить время с детьми в столовой-кухне или в ванной комнате? Правда, занятия продолжались не так уж долго. С семи до девяти часов вечера. Почти во всех семьях это время послеужинного безделья. Никому не нужное время. После ужина, до восьми часов, детские телепередачи. А с восьми — вечерняя программа. Не успеет он начать ее смотреть, приглушив звук, как английские занятия подходят к концу. В девять двадцать заканчивается телевизионная программа, и *мужчина* тут же включает транзистор. Тогда почему же он решил, что жена должна отказаться от английских занятий? Только потому, что взять не всех учениц жена не могла. Вот почему, когда три ученицы колледжа были выпущены, новых в их доме не появилось.

— Им всем удалось поступить в университет?

— Одна провалилась.

— Для родителей это ужасно.

— Она всегда была легкомысленной.

Уж не обладательница ли это тех самых красных туфель со стоптанными каблуками? *Мужчина* почувствовал тогда угрызения совести за то, что зря лишил жену огромного удовольствия, которое она получала, занимаясь с ученицами. С тех пор как самую большую комнату перестали оккупировать для занятий, он после ужина устраивался в своей, выходившей на север. А иногда ложился на софу в большой комнате и бездумно смотрел в потолок. Действительно, когда занятия английским языком прекратились, жизнь в их доме явно изменилась. Освободилось сразу две комнаты, которые до сих пор оккупировала жена. *Мужчина* мог

теперь в любое время преспокойно валяться на софе, на которой раньше сидели ученицы. Мог, когда ему заблагорассудится, преспокойно работать в своей комнате. Угрызения совести за то, что он напрасно лишил жену такого огромного удовольствия, усугублялись еще и тем, что с семи до девяти вечера он обычно все равно предавался безделью. Иногда на софе, иногда за своим рабочим столом, но, как правило, это время он проводил в ничегонеделании. Потом, вдруг вспомнив о том, что в семье нужно сохранять мир и согласие, направлялся в столовую-кухню и заводил разговор с женой, читавшей вечерний выпуск газеты. А однажды отправился даже в фехтовальный зал полицейского управления, где занимался его сын.

Вопрос был все-таки в помещении. Когда для занятий английским языком оккупировалась самая большая комната квартиры, то одновременно оккупировалась и комната, где стоял рабочий стол *мужчины*. Вопрос планировки. И наоборот, освобождение большой комнаты означало освобождение из комнаты *мужчины*. Почему строители не сделали так, чтобы они не были столь нерасторжимо связаны между собой? Все тот же вопрос планировки квартир 3DK в кооперативных домах. Планировка 3DK? *Мужчина* был буквально потрясен, когда обнаружил, что планировка их квартиры точно такая же, как, по словам его жены, у многих ее знакомых, живущих в других кооперативных домах. В общем, вопрос стоял так: либо взять всех учениц, либо от всех отказаться! Возможно, потрясение, испытанное *мужчиной*, и заставило его отправиться в фехтовальный зал полицейского управления, где занимался сын. Он подумал, устроен ли так же однообразно и весь мир. Реальность и в самом деле такова! И следовательно, таков мир! Во всяком случае, именно в подобном мире и живет *мужчина*. На всей Земле ему не отыскать места, где бы мир был устроен иначе. Планировка квартир 3DK со всеми ее удобствами и неудобствами есть устройство всего мира. Мир, подобный 3DK? Нет, мир и есть 3DK. Скорее можно говорить не о том, что мир напоминает 3DK, а о том, что 3DK и есть мир.

Вместе с сыном *мужчина* вышел из дому, сел в автобус, доехал до железнодорожной станции, пересел в электричку, на следующей остановке вышел и направился к полицейскому управлению. По дороге он все время делал замечания идущему впереди сыну. Не волочи футляр со своим бамбуковым мечом! Не загораживай им дорогу! Держи меч не в правой, а в левой руке! Может быть, он был слишком возбужден? Во всяком случае, в ту ночь он не сомкнул

глаз. Это было странно. *Мужчина* никогда не принимал снотворного. Бессонница? Это слово вызвало в его памяти старую графиню из «Пиковой дамы». «Графиня страдала бессонницею...» Неужели и он заболел бессонницей? Тяжкая болезнь. Как с ней бороться? На какие муки обрекает она? Он ясно не представлял себе этого. Раньше *мужчину,* никогда не принимавшего снотворного, мучило другое — борьба со сном. Свинским сном. И телом он — свинья. Свинья во плоти. Грязная свинья во плоти!.. Главным мучением *мужчины* была борьба с этой грязной свиньей, жаждущей сна. «Графиня страдала бессонницею». Заболел бессонницей. Неужели это болезнь, с которой нужно бороться, чтобы не быть грязной свиньей? Чтобы грязной свиньи не существовало. Возможно, поэтому такая болезнь и подходила аристократии девятнадцатого века. Ведь страдала бессонницей в «Пиковой даме» старая русская графиня девятнадцатого века. А потом она умерла. Неужели когда-нибудь и *мужчина* тоже будет страдать бессонницей? Все же утверждать, что этого никогда не случится, тоже нельзя. Но сейчас он мучился от сонной болезни, которая, точно насмехаясь над смыслом самого его существования, манит, то провоцируя, то соблазняя. Нет на свете большего удовольствия, чем сон; забывая о сне, работают только отпетые дураки. Хочу еще поспать! Хочу поспать!! Хочу поспать!!! Но без конца спать невозможно. Одним словом — таково было главное, непреодолимое мучение *мужчины.* Можно даже сказать, что для него борьба с грязной свиньей, жаждущей сна, сопротивление этой свинской тяжести, наваливающейся на него, были мучением всей его жизни.

Почему же, несмотря на это, *мужчина,* никогда не знавший, что такое бессонница, той ночью испытал ее? Возвращаясь домой из фехтовального зала, куда он ходил, чтобы посмотреть, как фехтует его сын, он зашел в спортивный магазин, где купил ему новое защитное снаряжение, а себе — бамбуковый меч. Может быть, это и явилось причиной бессонницы?

— Пап, ты умеешь фехтовать?

— Да-а, умею.

— А где ты учился?

— У твоего дедушки.

— Когда?

— Сейчас вспомню... еще когда учился в третьем классе начальной школы.

— Значит, дедушка тогда еще был жив?

— Конечно, был жив. Иначе как бы он мог меня учить?

— А какой у тебя дан [1]?

— Ну... пожалуй, как у Кубо-сэнсэя.

— Быть не может! У Кубо-сэнсэя шестой дан! С тобой он запросто справится.

Мужчина тоже ходил когда-то с отцом в фехтовальный зал полицейского управления. Но тогда все было наоборот: фехтовал с полицейским он, как сейчас сын, а смотрел его отец. Сколько лет было отцу? Он родился в 1899 году, *мужчина* — в 1932-м. Значит, так: отец умер в 1945 году в возрасте 46 лет, *мужчине* было 13, а когда ему было столько же, сколько лет сейчас сыну, то есть 10, отцу исполнилось 42. На три года старше, чем *мужчина* сейчас. И все-таки интересно, какой дан был у отца? Черной повязки у отца не было. Не было и красной, а вот желтая, какую носят не имеющие дана, была. Значит, никакого дана отец не имел? Однажды в бане он спросил об этом у отца. Но как спросил? Вопрос в употреблении слов. Например, «пап» он никогда не произносил. Значит, спросил не теми словами, с какими к нему обратился сын. *Мужчина* называл отца «папочка». Какой у тебя дан, папочка? А может быть, и повежливей: скажи, пожалуйста, какой у тебя дан? Он никак не мог вспомнить. Но ответа отца не забыл:

— В руках выдающегося каллиграфа любая кисть хороша!

Мужчине показалось, что он снова видит лежащего в бассейне бани Гоэмона обнаженного отца. В каком он учился классе? В третьем, наверное. Брат, на три года старше него, ходил еще в среднюю школу, значит, *мужчина должен* был учиться максимум в третьем классе. По случаю завершения строительства спортивного зала отец преподнес в дар начальной школе, где учились его дети, защитное снаряжение. Об этом сообщил на утренней поверке, проходившей на спортплощадке, директор школы, но сейчас ему не хотелось подробно вспоминать о состоявшейся тогда церемонии. Тридцать комплектов? А может быть, и пятьдесят? Во всяком случае, на стене под алтарем только что выстроенного спортивного зала было развешано снаряжение, преподнесенное отцом. Доспехи, защищавшие туловище, были детские, из бамбука, и на внутренней стороне красной эмалью выведено имя дарителя. Интересно, спрашивал он обо всем этом у отца? Помнит *мужчина* лишь не имевшие ни малейшего отношения к защитному снаряжению какие-то упражнения с бамбуковым мечом, которые отец каждое утро

[1] Дан — спортивный разряд.

заставлял его повторять на заднем дворе их дома. Там были два склада, запертых на толстые, словно тюремные, засовы, а против них — ворота для грузовиков, привозивших товары, которые сгружались в эти склады. Отец стоял обычно посредине двора спиной к складам. Сначала наступал старший брат. При этом отец, отражая удары его бамбукового меча, отступал к складам. Потом брат, отражая удары отца, отступал к воротам. Затем снова наступал брат. Потом его место занимал *мужчина*. И все повторялось сначала. А вот был ли при этом младший брат, он не в силах вспомнить, сколько ни старается. Может быть, его еще не обучали утренним упражнениям с бамбуковым мечом?

Мужчина и его младший брат, бывшие погодками, буквально рвали друг у друга грудь матери. Тут нет ничего удивительного. Однажды бабушка купила им в подарок детскую военную форму — они подрались за нее; *мужчине* достался китель, брату — брюки. Но в общем он не особенно задирался с братом. Скорее всего, потому, что изо всех сил соперничал с другим, который был старше его на три года; а его отношения с младшим, как он помнит, почти никогда особенно не затуманивались, он завидовал ему, пожалуй, только в одном — тому до поражения Японии не пришлось ходить в старорежимную, пропитанную милитаристским духом, среднюю школу. Япония капитулировала, когда младший был учеником шестого класса начальной школы, а он сам учился в первом классе средней. Такое крохотное, в один шаг, расстояние между ними позволяло ему, хотя были-то они всего лишь погодками, смотреть на него свысока, как на всех остальных младших братьев. Во всяком случае, именно так это отложилось в его памяти.

В конце концов письмо от младшего брата нашлось — оно лежало в мешке для бумаг, висевшем на стене его комнаты. Это был большой мешок, изначально предназначавшийся скорее всего для шлепанцев,— жена купила его у супруги члена муниципалитета от их района. Но сначала он обнаружил не нужную ему открытку с новым адресом брата, которую он начал искать, а пропагандистскую, выпущенную к недавно проводившимся выборам в палату советников. Под фотографией кандидата от всеяпонского округа стояли имена рекомендателей, а сбоку расписался его младший брат. *Мужчина* почему-то знал, что тот совмещает свою основную работу с деятельностью в местном отделении некоей политической партии. Может быть, он слышал об этом от матери, приезжавшей погостить. Кажется, мать сказала тогда: «Дурацкое занятие». *Мужчина* не испытал осо-

бого неудовольствия от того, что брат прислал ему предвыборную открытку. На каждых выборах самые разные партии и организации обычно присылали ему множество подобных открыток. Это не означает, разумеется, что пропагандистские поздравительные открытки от чужих людей он ставил на одну доску с такой же открыткой, полученной от брата. Хотя и не думал, что брат расписался рядом с именами рекомендателей для того, чтобы повлиять на его решение. Наверное, у него даже в мыслях такого не было. Потому-то *мужчина* не испытал никакого неудовольствия, получив предвыборную открытку брата — не то что когда приходили подобные же открытки от совершенно чужих людей. На каждых выборах он слышал обращенный к нему призыв: «Жители района!» Это кричали в мегафон с агитационной машины, носившейся по их району. И всякий раз его злили эти истошные вопли. Но он не был в состоянии отклонить призывы, обращенные к нему через мегафон агитационной машины. Ведь он и в самом деле один из тех, кого они именуют «жителями района». Да и может ли кто-нибудь отклонить эти призывы? Пропагандистская открытка брата по своему тону значительно деликатнее истошных призывов, звучавших через мегафон, которые он слушал на каждых выборах. А эта призывала его: «Братец!» Братец... И поскольку с призывом обращался к нему не кто иной, как брат, *мужчина* не мог отклонить его. Ведь они же как-никак братья. *Мужчина,* конечно, не пошел голосовать. И брату не ответил. До сих пор он никак не связан ни с какими политическими или религиозными организациями. Он не подписывал никаких воззваний, содержащих проповеди тех или иных доктрин. Может быть, потому, что он убежденный индивидуалист? Возможно, это недоверие к политике? Примиренчество, свойственное простым людям? А может быть, стремление к затворничеству? Или же он просто разозлился? Нет, если бы разозлился, то непременно воспользовался бы этим! На поставленные перед собой пять вопросов и одно восклицание *мужчина* был не в состоянии дать вразумительный ответ — он не был к этому готов. Одним словом, *мужчина* был убежден в том, что на свете нет ничего, что стоило бы отвергать. Имеет ли кто-либо право отвергать чужих ему людей? Ведь он и ему подобные живут, лишь отвергая чужих и будучи отвергаемы ими. Можно ли безапелляционно утверждать, что чужие, которых собирается отвергать *мужчина,* в свою очередь не отвергнут его самого? В век, в который живут *мужчина* и ему подобные, от имени человечества отвергается только насилие. И можно

предположить, что отвергнуть от имени народа насилие — значит создать мир, в котором мыслимо существование, хотя люди и отвергают друг друга. В данном случае слово «отвергать» вполне правомерно заменить словом «третировать».

Мужчина так ничего и не ответил на предельно деликатный призыв: «Братец!» После выборов он прочел в газете, что кандидат, изображенный на пропагандистской открытке брата, был избран. *Мужчина* сейчас никак не может вспомнить не только его лица — в этом нет ничего удивительного,— но даже имени. Какой же он после этого брат. А они ведь действительно братья — сыновья одного отца, лежавшего тогда обнаженным в бассейне бани Гоэмона.

— Мы все вышли из гоголевской «Шинели»!

Мужчина пробормотал это, будто разговаривал сам с собой, обнаружив среди писем, лежавших в конверте для бумаг, открытку с новым адресом брата. На сей раз он, разумеется, не мог произнести эту фразу Достоевского по-русски. Мы все... мы все братья, обреченные быть детьми отца... детьми отца. Но до сих пор мы живем, никак не связанные между собой. Мы все порознь. Сообщение брата о перемене адреса было не напечатано типографским способом, а написано от руки. Причем написано от имени брата рукой его жены. *Мужчина* чуть покачал головой. Хотя открытка и написана от руки женой брата, все равно текст представлял собой обыкновенное, как это принято по этикету, сообщение о перемене адреса, которое всегда печатают типографским способом. В ней ничего не говорилось ни о детях, ни о муже, ни о матери, ни о братьях, ни о сестре, живущих в Фукуока. Не было в ней и вопросов о его семье. Открытка, начисто лишенная душевности! Правда, какую душевность можно ждать от сообщения о перемене адреса — к чему она? И *мужчина* не удивился бы, если бы открытка была напечатана в типографии. Но открытка, пришедшая от брата, была написана от руки его женой. Это уже другое дело. Он попытался вспомнить ее лицо, слова, которые он когда-то слышал от нее. Кажется, так: «Даже вкусная приправа к рису была, а вы не пришли», а может быть: «Даже была вкусная приправа к рису, которую я приготовила, жаль, что не пришли». Так ли она сказала, иначе ли — не важно, но *мужчина* восхитился тогда, с какой ловкостью она произнесла свою колкость. Может быть, основанием для ее колкости было то, что тогда произошло? Едва ли! Тем более что и по времени это не совпадает. *Мужчина* ездил в Фукуока на свадьбу сестры намного поз-

же того, как получил сообщение о новом адресе брата. Он сразу же обратил внимание на это несоответствие. Он горько усмехнулся. А вдруг открыток с типографски отпечатанным текстом просто не хватило? Но в таком случае ему можно было просто не посылать сообщения о новом адресе. При всем при том получить открытку от брата с печатным текстом — тоже, в общем-то, странно. Слова, казалось бы, одни и те же, но смысл разный. Однако в данном случае вопрос был не в печатном тексте, а прежде всего в том, что открытка была от брата и его жены. *Мужчина,* конечно, не собирался делать в связи с этим далеко идущие выводы. Кому он мог представить свои выводы, касающиеся брата и его жены? *Мужчина* и брат разошлись кто куда, и теперь их жизни уже никак не были связаны между собой. Их объединяло одно — ежемесячно и тот и другой посылали матери определенную сумму денег. Помимо этого, ничего общего между ними обнаружить было невозможно.

Иероглифы на открытке, в которой сообщалось о новом адресе, были выведены четко и аккуратно. Почерк просто каллиграфический. Иероглифы не мелкие и в то же время не крупные. И выписаны прекрасно.

Прежде всего *мужчина* написал на открытке, которую он собирался послать матери, адрес, а потом переписал его в свою записную книжку. Сколько же раз за эти два месяца пошлет он матери письма? Мужчина стал вновь засовывать в мешок для бумаг разбросанные по полу письма, в мгновение ока набив его до отказа. Ничего лишнего как будто не положил, значит, он всегда был таким раздутым. С последней пачкой писем в руках *мужчина* прикинул, войдут ли они в мешок для бумаг, и начал всовывать туда по одному письму. Но вот он набил его уже так, что стало невозможно засунуть даже тоненькую открытку — ни наискось, ни поперек, а в руках осталось еще штук четырнадцать-пятнадцать писем. Почему же то, что раньше лежало там, не хочет возвратиться на свое прежнее место? *Мужчина* посмотрел на коробку со старыми письмами, стоявшую на шкафчике. Но протянул он руку не к этой коробке. Он начал с того, что положил на татами оставшиеся письма, а потом стал пачками вытаскивать из мешка для бумаг те, что только что всунул туда, и класть на них сверху. Затем сел, скрестив ноги, перед образовавшейся горкой и принялся выбирать оттуда письма матери. Зачем?

Правда, выбирать письма матери из переполненного мешка для бумаг и раньше не было бы таким уж бессмысленным занятием. Письма матери, уже не вмещавшиеся в

мешок, он бросал в коробку со старыми письмами, и навести в ней порядок давно следовало. Но на его рабочем столе лежала незавершенная работа, не окончив которую он не сможет предпринять первое в жизни заграничное путешествие.

— Из-за такого-то пустяка,— пробормотал вслух *мужчина,* усаживаясь скрестив ноги перед разбросанными на татами письмами. Сейчас, наверное, часа два ночи. И он единственный, кто не спит в их 3DK. *Почему вы не атакуете Вэйхайвэй? Мать печалится. Во имя чего вы пошли на войну? Во имя того, чтобы, отдав свои жизни за императора...* Это письмо. Читая это письмо матери, моряк плакал, стоя на палубе корабля. Мать моряка. Это были слова из песни «Герой моряк». Пластинку с ней ставили беспрерывно еще в ту пору, когда *мужчина* учился в начальной школе. Песню «Герой моряк» постоянно исполняли во время игры в сваливание шеста на школьных спортивных соревнованиях. Он и сейчас часто напевает ее про себя. И будет напевать еще очень долго, до самой смерти. Ведь с ней неразрывно связана чуть ли не вся судьба *мужчины* — тут уж ничего не поделаешь.

— Из-за такого-то пустяка,— снова пробормотал он вслух.

Мужчина зажал в руке письма матери, выбранные из разбросанных на татами. Почему ты заставил Масако-сан прекратить занятия английским языком? Разумеется, этого не было в письмах матери. Так что ему не нужно было причитать по этому поводу. Единственное, на что он был способен, это подумать: не остановится ли время на том, что происходит сейчас? Но нужно было подниматься. Сидя футон не расстелешь. Он начал с того, что стал снова пачками засовывать в мешок письма, рассыпанные на татами. Писем от матери оказалось восемнадцать. Из них шесть открыток. Те, которые пришли до прошлого года, лежали в коробке со старыми письмами, значит, в течение месяца приходило в среднем два письма и одна открытка. Кроме того, были еще и письма, адресованные детям. Все выбранные письма *мужчина* сложил стопкой на столе, а открытку, написанную матери по новому адресу брата, положил у телефона в столовой-кухне. Всю корреспонденцию, которую он складывал там с вечера, жена на следующее утро опускала в почтовый ящик. В столовой-кухне было темно, но *мужчина,* не зажигая света, на ощупь проделал все, что было необходимо. Потом вернулся к своему рабочему столу, отобранные

им восемнадцать писем матери вложил в большой плотный конверт и спрятал в металлический шкафчик.

Однако вскоре ему пришлось вынуть их обратно. Через несколько дней от матери пришло новое письмо. И его непосредственной причиной послужила открытка *мужчины*, которую он, будто опомнившись, неожиданно для себя написал как-то вечером. В общем, судя по тому, что писала мать, виной всему была его «скоропалительная открытка».

— Скоропалительная?

— Видимо, открытка, которую ты послал, оказалась преждевременной,— сказала жена, прочитав вслух письмо матери.— Да и я хороша, нужно было и мне быть повнимательней.

— Ведь еще июль?

— Значит, поспешил на месяц. Мама переезжает к брату в августе.

— Но все равно, писать «скоропалительная»...

Взяв письмо матери после того, как жена прочла его, он вложил его в тот самый большой плотный конверт. Сколько же еще прислала мать писем до того, как он отправился в поездку? Пять, шесть? Семь, восемь? И почти все ему прочла вслух жена. С очередным письмом матери в руке она появлялась в его комнате обычно в то время, когда он сидел, склонившись, за своим рабочим столом. Письма матери всегда приходили на имя *мужчины* и его жены. Замысел матери ему тоже был совершенно ясен. Все было связано с братом и его женой. Но говорить это своей жене ему не хотелось. Она будет толковать это так, как обычно толкуют жены. Но расспрашивать ее время еще не пришло. Он считал также, что не настало и время, чтобы самому давать пояснения и комментарии. Поэтому всякий раз, когда приходило очередное письмо от матери и жена вслух прочитывала его, *мужчина* клал его все в тот же большой плотный конверт. Разумеется, главное, что содержалось в письмах, он улавливал. И письма производили на него большее впечатление, чем если бы он сам их прочитывал.

«Он с головой ушел в эту отвратительную политическую деятельность и поэтому свою собственную жену как следует воспитать не может.

Но этим дело не ограничивается. У меня, правда, они попросили прощения — плохо, мол, поступили,— но я им простить не могу. И не потому, что действия их мне отвратительны. Просто, если оставить без последствий их предательство, в будущем они, я думаю, столкнутся с серьезны-

ми трудностями. И, как мне кажется, не за горами тот день, когда они понаделают непоправимых глупостей.

То, что произошло, позорно. И касается не только их двоих — позор падает на всю нашу семью. Я считаю себя обязанной без утайки говорить им правду в глаза, пока они как следует не осознают всю низость совершенного ими».

Жена читала вслух, спокойным голосом. Опасение потерять самообладание угрожало скорее *мужчине.* Слушая чтение жены, он то и дело нервно потирал щеку. Но делал он это, скорее всего, потому, что до сих пор помнил оплеуху матери. Оплеухи матери были знаменитыми в их семье. Даже бабка, которая без конца на всех ворчала, ошарашенно смотрела на эти ее оплеухи. До какого же возраста он получал их? До того, как перешел в пятый класс начальной школы? Или до шестого класса? Во всяком случае, он прекрасно помнит, какие у матери пальцы, только благодаря ее оплеухам. У нее не просто были длинные пальцы — вся ладонь казалась специально созданной для оплеух. Неужели и сейчас она способна так же больно влеплять свои оплеухи?

Во время чтения жены *мужчина* то и дело смеялся. То он хихикал, то хохотал в голос, а жена, видя, что он смеется, стала читать громче. Он представил себе, как тридцатисемилетний братец получает оплеуху от матери. Конечно, в действительности ничего подобного случиться не могло. Время оплеух, которые щедро раздавала мать сыновьям, давно прошло. Но интересно, по какой причине брат и его жена нарушили обещание, данное матери? Если виной тому «скоропалительная открытка» *мужчины,* то они умудрились истолковать ее так, чтобы изменить свое решение? Или, может быть, он неверно понимает, что имела в виду мать, говоря о «скоропалительности»? Во всяком случае, у брата не могло не быть веских оснований. Но *мужчине* писала обо всем этом только мать. От братьев писем не было. Почему? Может быть, потому, что вопрос был не столь серьезен, как можно было судить по письмам матери? *Мужчина* подумывал написать прямо брату. Что же все-таки случилось? Неужели они с женой обиделись за то, что в своей «скоропалительной» открытке он не передал им привета? А вдруг мать договорилась о переезде с одним только братом? И не случилось ли так, что его «скоропалительная» открытка привела к тому, что жена брата заупрямилась? И принялась ругаться: почему, мол, мы с тобой, когда ты третий сын, должны брать к себе мать, если у нее есть еще двое старших? Но *мужчина* так и не написал письма брату.

Даже если тот и изменил свое решение из-за того, что «с головой ушел в эту отвратительную политику», как писала мать, он все равно был бессилен воспрепятствовать этому. То же самое, если даже «предательство», о котором пишет мать, произошло в результате каких-то раздоров между братом и его женой. Ведь брат делит судьбу со своей женой, а не с ним — братом, хотя они и дети одного отца, лежавшего тогда в бассейне бани Гоэмона. И все же... Не означают ли все эти регулярно приходящие письма, что мать хочет прожить два месяца в доме *мужчины?!*

В это время за его спиной послышались голоса детей.

— Папа, почему ты не съездил на родину?

— По работе не мог.

— Родина бабушки — это и твоя родина, папа?

— Да-а.

— Ты мою открытку опустил в ящик?

— Да-а.

Большой плотный конверт, лежащий на рабочем столе,— *мужчина* неотрывно смотрел на него, возвратившись через неделю из своей поездки, в которой предполагал пробыть десять дней,— был, несомненно, тем самым конвертом, где хранились письма матери. Неужели он в тисках?

— Скажи, поездом можно доехать до самого бабушкиного дома?

— Не спрашивай глупостей! Конечно, до него проще простого доехать на поезде!

Куда же все-таки переехала мать? Ведь уже август. Когда дети вышли из комнаты, он, продолжая стоять, глянул сверху вниз на свой рабочий стол. Потом выдвинул кресло, сел в него — перед ним лежал большой конверт, точно вспухший от недовольства, которое испытывал *мужчина.*

Ёсико Сибаки

МОГИЛА ВАН ГОГА

Впервые в жизни Масако вышла из самолета на иностранный аэродром. Вместе с молодым попутчиком миновала таможню, добралась до автобуса. Юноша оказался служащим какого-то торгового дома, было ему лет двадцать восемь — чуть побольше, чем ее сыну Нобуо. Автобус стремительно помчался по дороге, вскоре въехал в город, покрутил по старым улочкам, и вот уж завиднелась Эйфелева башня, показалась Сена. Масако скользнула взглядом по затихшему городу, улицам-аллеям. Вот и приехала, мелькнула у нее мысль. Кое-что было уже знакомым. Интересно, где эта тесная площадь Божу с выходящими на нее ветхими строениями? — когда-то ее запечатлел на полотне Ябуки, муж Масако. Словно его отлетевшая душа вела ее по этой чужой земле. Вот уж не думала она раньше, что выберется сюда.

Отель, куда ее направило туристское агентство, был маленьким и уютным, недалеко от Триумфальной арки, возле парка Монсо. Здесь они и поселились — человек двадцать, участвовавших в этой поездке. Дальнейшие передвижения предполагались раздельными.

— Желаю приятно провести время.

— Спасибо. Думаю, в городе встретимся.

Так она простилась с юношей. Ее комната была на четвертом этаже. Цвели деревья в парке, согретые ярким солнечным светом. Решив пока отложить звонок мэтру Курэда, Масако присела на кровать — она и не подозревала, что так устанет. Двадцать часов полета. Мэтра Курэда она собиралась посетить завтра, а сегодня, как советовал ей Нобуо, хотела пройтись пешком по городу. Быть может, дух Ябуки, скончавшегося пять месяцев назад, будет рядом с ней витать по Парижу, где муж провел семь лет жизни...

О том, что Ябуки Дзёкити заболел, она узнала прошлой

© Shibaki Yoshiko 1977

зимой. Пришло письмо от мэтра Курэда — длинное, взволнованное,— где говорилось, что Ябуки болен, лежит в больнице, решено делать операцию и далее — о вероятном исходе.

«Поверьте, я очень хорошо сознаю, до какой степени неуместно теперь извещать Вас обо всем этом. И господин Ябуки не раз говорил: «Я оставил жену и сына. И что бы ни случилось со мной, я сам по себе». То есть он считал себя одиноким. Однако дело в том, что он был несколько стеснен в средствах, и нынешние хлопоты, связанные с больницей и операцией, легли на плечи его товарищей. Если бы в результате операции ожидалось полное выздоровление, я ни в коем случае не стал бы нарушать Ваш покой. Однако ему поставили роковой диагноз — рак легких, и, когда его выпишут, мы не сможем обеспечить ему место, где бы он мог лечиться и получать надлежащий медицинский уход. Разумеется, ему не сказали правды, и он нетерпеливо ждет, когда он выйдет из больницы и снова начнет работать. На Европу же надвигается суровая зима. Мы, его друзья, обсудив положение, пришли к выводу, что, может быть, ему лучше будет продолжить лечение в Японии. Пока еще мы ни о чем его не извещали, и — надеюсь, что Вы меня понимаете,— прежде всего хотели бы узнать Ваши намерения, а также мнение Вашей досточтимой семьи...»

Прочитав письмо, Масако сразу задумалась о том, как к этому отнесется Нобуо. Семь лет назад, когда Ябуки внезапно объявил, что оставляет работу в Университете Искусств и немедленно едет во Францию, Нобуо, тогда пятнадцатилетний, как раз собирался сдавать экзамены в среднюю школу второй ступени В молодости Ябуки два года обучался живописи в Париже. С тех пор и карьера, и судьба его складывались благополучно: адъюнкт в университете, он должен был вскоре получить звание профессора. А теперь вдруг он, словно одержимый, не думая о последствиях, хочет бросить работу и лететь неведомо куда. Масако не могла взять в толк этого сумасбродства, да и сыну предстояли экзамены. Она настаивала на том, чтобы подождать два года, ну хотя бы год, но Ябуки не только не внял ей — он явно стремился покинуть жену и сына.

— Я знаю, чего я стою. Но с живописью у меня теперь не выходит. Если ничто не переменится, скоро я вообще не смогу писать. Если же я снова вернусь туда, к своей исходной точке, я, может быть, начну работать по-настоящему. Мне нужна свобода. И я хочу, чтобы и ты существовала отдельно от меня и считала себя свободной. Думаю, что Но-

буо когда-нибудь все это поймет.— Ябуки без конца повторял одно и то же.

Получив расчет, он тут же вылетел в Париж. Когда она опомнилась, все бури уже миновали, они с сыном остались одни. Нобуо возненавидел отца. Осыпая упреками человека, пренебрегшего своим долгом перед близкими, он также возмущался и эгоизмом, свойственным профессии художника. Само слово «искусство» вызывало в нем отвращение. Немногого же стоит это искусство, если можно взять и начать все сначала.

Так начались мытарства матери и сына. Масако на дому занималась кройкой одежды в европейском стиле и как-то сводила концы с концами; через три года придумала оригинальное платье с аппликациями. Затем занялась изготовлением корсажей с искусственными цветами на груди и букетов для невест. И вот теперь, когда минули эти семь лет, она уже была преподавателем в школе искусства цветов.

Если бы известие о болезни Ябуки пришло год назад, Нобуо попросту разорвал бы письмо, не придав ему никакого значения. Это был мужественный юноша, умевший подавлять тяжелые чувства. Масако не вычеркивала Ябуки из книги посемейной записи — и потому, что опасалась, как бы это не повредило сыну при поступлении на службу, да и в глубине души, пожалуй, она все еще ждала возвращения мужа. Нобуо закончил университет и поступил на службу. Масако знала, что еще со студенческих времен у него были подружки. Теперь он встречался раз в неделю с одной из них, работавшей в университетской библиотеке. Он с напряжением ждал конца недели, бывал то по-мужски сдержан, то ласков, и Масако видела, что он многое стал понимать. Даже с матерью сыну приходит время расставаться, а уж тем более естествен разрыв отношений с отцом, покинувшим семью. Дочитав письмо, Нобуо был в растерянности.

— Что же мама думает делать?

— Видишь ли, он может доставить окружающим много хлопот, а потом все равно умрет под забором. Нельзя и дальше возлагать на его друзей такое бремя, надо что-то предпринять.

— Об отце я не думаю. Честно говоря, не хотелось бы иметь с ним дела. Однако он все-таки член семьи и в таком положении... Выходит, без нашего вмешательства не обойтись.

Масако была обрадована рассудительностью Нобуо.

Конечно, можно было и отмахнуться, однако родствен-

ным долгом пренебрегать не подобает, и они решили, что единственный выход — это перевезти его в Японию и положить в больницу. Ябуки Дзёкити уехал за границу, отринув все, что у него было; прошло семь лет — что же он там обрел? Нобуо обменялся письмами с мэтром Курэда, взял очередной отпуск и вылетел в Париж.

Однажды во время его отсутствия Масако позвонил владелец картинной галереи Косэ. Он, давний знакомый семейства, тоже извещал о болезни Ябуки. Масако не без колебаний спросила:

— Мы не получаем известий от Ябуки. Не причинял ли он излишних хлопот вашему дому?

— Что вы, совсем напротив, Ябуки-сан присылал в год не больше одной-двух картин, я даже недоумевал, как он там ухитряется сводить концы с концами. Я-то думал через год-два устроить в галерее его персональную выставку...

Масако, попрощавшись, повесила трубку. Она давно не видела работ мужа, а уж теперь выставка — пустая мечта. Ябуки все принес в жертву, но она оказалась напрасной — и Масако невольно становилось тяжело при этой мысли. Сколько бессонных ночей провела она в горе и муках, в тоске и ненависти к нему, к мужу, и все же бывало, что начинала опять ждать того дня, когда он, открыв новое в искусстве, позовет к себе жену и сына... Все эти семь лет время разбивало ее хрупкую мечту, а она пыталась сложить осколки, и вот конец художника-неудачника — пожалуй, чересчур плачевный. Однако, каков бы ни был исход, Ябуки все же остается отцом Нобуо.

Нобуо тогда бродил по зимнему обледеневшему Парижу, в кварталах, где только что отшумело рождество. Масако приехала в Париж в пору его короткой осени, и, когда она смотрела на желтеющие деревья парка Монсо, ей казалось, что она плывет в неведомую гавань. На проспекте перед гостиницей прохожие были редки, стояла тишина, как в деловом квартале в выходной день. Пройдись неспешно — и окажешься прямо у Триумфальной арки. Завернешь за угол квартала — и вот уже оживленные Елисейские поля. Смешавшись с людской толпой, Масако не раз обернулась, чтобы взглянуть на красивый фасад Триумфальной арки. Есть ли где-нибудь еще столь же великолепный символ Парижа? Интересно, что думал об этом Ябуки?.. Может быть, усмехнулся бы: как ты банально рассуждаешь... А Нобуо Триумфальная арка наверняка попросту на глаза не попалась.

Явившись к больному отцу, Нобуо сделал вид, что случайно узнал о его болезни, оказавшись в Париже в турис-

тической поездке. Мэтр Курэда был очень внимателен к больному. Ябуки, удивленный приездом сына, пристально вглядывался в него. Нобуо держался отнюдь не по-свойски, и Ябуки с некоторым изумлением, поражаясь быстротечности времени, смотрел на сына, ставшего светским человеком. Заговорили о болезни. Ябуки сказал, что операция прошла удачно, состояние неплохое, для беспокойства нет оснований. У него уже сложилась идея будущей работы, и он с нетерпением ждет дня выписки из больницы. Еще он добавил, что, оправляясь после операции, он успокоился душой и, как только сможет ходить, охотно покажет Нобуо те пригороды Парижа, где он писал с натуры. По пути туда есть замечательные леса, попадаются старинные замки, предназначенные теперь на продажу. Страшно дешево, но, чтобы в них жить, нужен ремонт, да и все удобства там устроить — это бешеные деньги, никто и не подступается. Иногда совсем близко подойдет лось, но ничего дурного тебе не сделает. Леса густые, отправишься на закате, не знаешь потом, как выбраться,— самое подходящее место для художника... Он улыбнулся. Нобуо только слушал. Особенно хороша долина Уазы. Правда, здесь легко впасть в банальность. Помнишь, наверно, пейзажи Сислея. Неподалеку от Уазы стоит памятник Дюпре. В деревне поодаль есть домик — я тебе его покажу,— в нем жил Домье. Этот домик ему облюбовал Коро, предложил пожить некоторое время, тот и переехал не долго думая. В этом же домике и умер. Вот сговоримся с тобой — и поедем. Еще я каждый год, как выезжаю с мольбертом на природу, бываю в деревушке по соседству, пишу там пейзажи. Это недалеко от могилы Ван Гога. Виды там превосходные. Хорошо бы и меня, когда я умру, похоронили в том же месте. Там кладбище есть. Кстати, сколько еще Нобуо здесь пробудет?

Нобуо лишился дара речи. Может быть, оттого, что отец перехватил инициативу, может, был поражен тем обстоятельством, что Ябуки до сих пор не утратил своей страсти к живописи. Вдруг это его последний порыв? Жаль его — с каким горячим нетерпением он ждет выздоровления. Нобуо совсем растерялся.

Его пребывание в Париже было кратким, но почти все время он проводил в больнице. Ябуки стало как будто полегче. Может быть, вернешься в Японию? — чуть было не предложил Нобуо, но прикусил язык. Теперь он уже не знал, надо ли увозить отца домой. Если он до такой степени одержим пейзажами Франции, то, может быть, ему лучше остаться здесь до конца. Однако для его товарищей

это тяжелая нагрузка. Миссия Нобуо была исчерпана. Попрощавшись с отцом, он уехал в Японию. И все же, возможно, японский ветер коснулся души Ябуки — приезд Нобуо возымел некоторое действие. После него Ябуки прислушался к речам друзей, советовавших ему вернуться. В Японии выздоровеешь и опять приедешь сюда, убеждали они, да и Ябуки, видимо, на собственном опыте ощутил тяготы болезни.

Из больницы его везли в машине «скорой помощи» и в самолет внесли на стуле. Вещей с ним было немного — собственно, самое необходимое. Картина — всего одна, пейзаж, написанный на холсте № 4, который раньше висел у него в больничной палате. Все остальное он просил послать отдельно.

Добравшись до Парижа, куда Ябуки не суждено было вернуться, Масако без определенной цели бродила по улицам. Елисейские поля были заполнены оживленной толпой — тротуары, террасы, кафе. Она шла прямо, руководствуясь картой Парижа, которую нарисовал сын, чтобы она не заблудилась, но в душе ее не было ничего, кроме любопытства. Елисейские поля были протяженностью примерно как Гиндза до 9-го квартала, и она прошла их в мгновение ока. От площади Рон-Пуэн с фонтанами отходила платановая аллея. Масако вспомнила японского художника, который написал эту аллею, где гуляли редкие прохожие. Скоро будет площадь Согласия. Она устала и решила отдохнуть на верху каменной лестницы напротив. Оттуда, наверно, хороший вид. Ей навстречу спускались по лестнице молодые японцы — юноши и девушки.

— А тут что?

— Музей импрессионистов.

Они быстро исчезли из виду. Масако остановилась отдохнуть в зеленых зарослях на верхней лестничной площадке, вспоминая тот день времен их молодости, когда муж показывал ей картины. Как это уныло: куда ни отправишься — всюду картины. Но больше идти было некуда. Стоя на верху лестницы, она разобралась, как ей возвращаться. Триумфальная арка высилась в конце улицы, но ей показалось, что отель далеко отсюда. Однако одной ехать в такси не хочется. В чужой стране улицы казались такими чужими, и она невольно ощутила бесцельность своей прогулки.

Ателье мэтра Курэда было в 14-м квартале Парижа. Масако попросила швейцара своего отеля найти ей такси, сказала шоферу адрес, и тот без всяких проволочек привез ее к дому Курэда. За железными воротами находился внут-

ренний двор, где стоял двухэтажный дом, ателье же, с проемом в стене фасада, располагалось в глубине. Ей навстречу вышла жена мэтра, потом из ателье выглянул он сам. Масако увидела Курэда, который был лет на пять-шесть старше Ябуки, и ей вдруг почудилось, что эти десять лет — просто иллюзия. Волосы его кое-где тронула седина, но и лицо и фигура остались прежними.

— Учитель, вы совсем не переменились.

— Что ж, мы уже не молоды, но и не слишком стары. Средний, так сказать, возраст. Вот следующие десять лет — уже пострашнее...

Голос его звучал приветливо. Видно было, что это человек сильного, прямого характера, и при этом великодушный. Такой, наверно, не солжет. Его работы были признаны талантливыми. Она подумала, что рядом с таким человеком Ябуки всегда чувствовал поддержку. Жена Курэда заварила японский чай. Оба они благодарили Масако за то, что она приехала в Париж, несмотря на столь дальний путь, выражали скорбь в связи со смертью Ябуки, и их слова западали ей в душу, как ничье другое сочувствие.

— Когда я сажал Ябуки на самолет в аэропорту де Голля, по правде сказать, душа моя противилась этому. Несколько раньше я, наоборот, стремился отправить его поскорей и беспокоился главным образом о том, удастся ли благополучно доставить его к самолету, однако человек — существо переменчивое. С неизлечимым больным на руках мы были очень связаны в действиях. И вот решили отправить его к родным, домой. После операции его состояние улучшилось, он питал надежды, и говорить с ним об отъезде было тяжело. С большим трудом уговорили его ехать, в час расставания чувствовали облегчение, и в то же время на сердце было невыносимо тяжко. Я и теперь иногда думаю: может быть, подлинное сострадание было в том, чтобы Ябуки-кун остался на парижской земле,— доверительно говорил Курэда.

— Ябуки очень не хотелось возвращаться?

— Да нет, приезд Нобуо, мне думается, изменил его настроение. Может быть, он догадывался о своем состоянии.

— Он надеялся, что в Японии вылечится и сможет вернуться во Францию. Странно, что он, казалось, совсем не чувствовал неловкости передо мной. Позволял делать с ним что угодно — словно я просто еще одна медсестра. Иногда вспоминал свою отчаянную жизнь в Париже, говорил о работе, и по прошествии времени даже неприятные воспоминания стали ему милы. Потом ему стало хуже, и реальность

словно отдалилась от него, он путал Японию с Парижем, говорил что-то по-французски. Порой начинал пристально всматриваться в свою картину, висящую на стене палаты, таким взглядом, словно хотел войти в этот пейзаж. Все же, я думаю, хорошо, что мы были при нем до самой смерти. Если б он умер на чужбине, как бы он, наверно, чувствовал свою оторванность от нас.

Лицо у мэтра Курэда было растроганное. Жена Курэда заговорила о том, как Ябуки однажды захотелось жидкой рисовой каши по-японски, и она ему приготовила. Хоть и прожил во Франции семь лет, а все же, видно, на японскую еду потянуло. Да, сказал Курэда, я тоже, как заболею, прошу не суп, а японскую кашу.

— Однако в тот раз господин Ябуки впервые о чем-то таком попросил меня. Видно, думал, что нехорошо это, раз он по собственной воле изменил свою судьбу.

Ее слова нашли отклик в душе Масако. Однажды вечером у Ябуки внезапно начались приступы удушья, потом состояние улучшилось, а за два-три дня до этого он ждал прихода Нобуо и, не дождавшись, попросил Масако позвонить сыну. Когда Нобуо пришел, он вдруг заговорил с ним о картинах.

— Я отказался от своих картин, благопристойных, во всех отношениях законченных полотен. Начал работать свободно, писать так, как хочется. Работал — сколько работалось. И вот стало наконец выходить по-моему — около года назад. Мне надо ехать обратно как можно скорее. Мои картины забудут меня. Нельзя ли поспешить? Когда мне можно будет лететь?

— Но и здесь можно заняться делом. Может быть, доставить тебе эти картины?

— А как быть с натурой? Сюда ведь Уазу не привезешь... И не увидишь то поле, где он задумал самоубийство.— Ябуки поднял глаза, блестящие от лихорадки. Нобуо спросил:

— Кто это *он?*

— В следующий раз я тебя туда свожу. В молодости моим учителем живописи был Ноаи, который учился у Вламинка[1]. Ноаи боготворил Ван Гога, говорил, что любит его больше родного отца. Эти слова потом стали знамениты. Так вот, есть во Франции деревня, где умер этот худож-

---

[1] Морис де Вламинк (1876—1958) — французский живописец-пейзажист.

ник, которого он чтил больше отца. Природа там тиха и безыскусна. Поедем вместе, а? Хорошо бы попасть туда, когда в мэрии объявляют о свадьбе. Церковь там превосходная. Стоит со времен позднего средневековья. Уж не знаю, сколько она видела рождений и смертей человеческих. А он натолкнулся на похоронную процессию, выходившую из церковных дверей, и подумал: вот, скоро и мне... И застрелился из пистолета на поле за церковью...

Ябуки говорил без пауз, словно рассказывал о вехах собственной жизни. Его исхудавшее лицо, исказившись, заполыхало румянцем, но остановиться он не мог.

— Мы тоже хотели бы взглянуть на это место, столь драгоценное для отца...— сказал Нобуо. Он теперь несколько смягчился к отцу. Они жили в разных мирах, и Нобуо не желал быть причастным к его безумствам, но не мог оставаться равнодушным, видя тень смерти, немилосердно подступающую все ближе. Затем, когда они остались вдвоем с матерью, Нобуо сказал:

— Хорошо, если еще дней десять протянет...

Масако содрогнулась. Больной не прожил десяти дней, дух его витал в тех землях, куда он жаждал вернуться, и вскоре он навеки сомкнул глаза. В больничном садике как раз набухали почки вишни.

— А что слышно о посмертной выставке его работ? — спросил мэтр Курэда. Хлопотами супругов Курэда, собравших и отправивших из Парижа картины Ябуки, все его работы недавно прибыли в Японию и заняли целый кэн тесного жилища Масако, но она еще не успела их хорошенько рассмотреть. Разворачивала холст, отступала для осмотра и натыкалась на шкаф. После Ябуки остались десятки работ, но кому завещал бы их он сам? Относительно выставки уговорились с картинной галереей Косэ на осень этого года. Собирались также просить уважаемого учителя Ябуки, мэтра Одзаки, чтобы он посмотрел эту выставку и написал о ней статью. Масако не понимала работ Ябуки. Это были пейзажи, в которых мягкость и нежность сочетались с раскованной силой и дерзостью, несравнимые с его прежними камерными работами с их установившимся стилем и интонацией; общий колорит стал по большей части темным. Она даже беспокоилась, как к этому отнесется мэтр Одзаки, придерживавшийся академических взглядов. Однако, если он выкажет понимание, картины Ябуки, пожалуй, могут вызвать интерес. Может быть, это обстоятельство противоречит воле покойного?

Задумавшись, мэтр Курэда произнес:

— На персональной выставке индивидуальный почерк необходим...

Масако хотела бы, чтобы и мэтр Курэда выступил в пользу выставки. Что ж, если он годится для этой роли, то с радостью возьмется за дело.

Во дворике цвели фиолетовые цветы, похожие на вереск. Масако разглядывала их, пока жена Курэда ненадолго вышла.

— Учитель, скажите мне, прошу вас... Как вы относитесь к картинам Ябуки? У меня еще не было возможности развернуть и посмотреть все его холсты... Может быть, на выставке их вовсе не признáют — что ж делать. Но мне жаль человека, который писал, прожил вот так, как он, свою жизнь и умер в разгар работы. Я ревновала его к живописи, но все же как-то несправедливо получается. В конце концов он пожертвовал и семьей ради живописи. Так есть ли в картинах Ябуки какой-нибудь свет?

Ей не нужна была от мэтра Курэда утешительная ложь. И Курэда почувствовал это.

— Только в одной работе Ябуки изобразил цветы. Белые гладиолусы. Я, бывает, вспоминаю мое первое впечатление от этой работы. В маленькую вазу цветов набито столько, что они не умещаются в ней, треть погнута, сломалась, некоторые упали на пол. Цветы переплелись, выпирают из плоскости. Фон черный со светло-голубым, ваза желтая, из всей картины бьет энергия. «И у Ван Гога есть такая работа, „Цветы“»,— сказал я. «Вот как? Стало быть, он подражал мне»,— беззаботно ответил Ябуки. И еще один пейзаж. Река, мост. Художник смотрит со входа на мост, брусья громадные, неуклюжие, словно бык раскинулся во сне. А слева и справа — спокойная река. Как детский рисунок с нарушенными пропорциями. Я увидел — и дух захватило. Подумал, что он написал это собственной душой. Реку он видит спокойной. А мост — что ж, люди как хотят подвешивают мосты — и разрушают пейзаж. Если б я его спросил, он, возможно, ответил бы: «Мост — это я». Мост этот словно живет над рекой своей собственной жизнью. Вы не обратили внимания — в его работах есть своеобразная легкость? Например, в толще моста проведена тонкая, почти невидимая глазу, красная линия. Так он ощущает мир. Мне кажется, он жил и видел картины, совпадавшие с природой — той, что оставалась после того, как было написано все, что можно было написать.

За словами мэтра Курэда ощущалось столько подлин-

ного тепла, что доверительное спокойствие их беседы не было разрушено. И Масако почувствовала облегчение.

— И меня заинтересовала одна картина. Там изображена церковь. Холст десятого номера, но написано очень густо; присмотришься, и кажется, что церковь стоит словно башня смерти. Художник как будто беседует с мертвым или святым. Я-то ничего не понимаю в искусстве и всегда считала, что в картине должна быть некая красота. Мне просто непонятно произведение, которое способно лишь поражать и подавлять. Нобуо заглянул мне через плечо и говорит: «Какая мрачная картина». И тут все во мне восстало. Как бы там ни было, а я бы не хотела, чтобы сын так говорил. «Всмотрись — и она на глазах будет становиться все красивее!» — воскликнула я, и так оно и вышло! На следующий день, взглянув на нее при солнечном свете, я увидела, как высветлилось черное и серое. И вот смотрела с тех пор каждый день, и картина делалась мне все ближе, она словно заговорила со мной. Ну, это уж только мое — разговор с картиной. Я, собственно, и не предполагала, что Ябуки так разительно переменился.

— Это прекрасно, что жена Ябуки-куна его поняла. А уж примет его публика или нет — это следующий вопрос.

— Если в картине есть что-нибудь зловещее, непостижимое, ее могут не понять. Может быть, эти картины и не шедевры. Но я их хорошо понимаю. Сын говорит: «Вот и съезди, посмотри, что это за места, куда близкий тебе человек хотел вернуться и где он так хотел работать». Взял все хлопоты на себя и проводил меня в дорогу.

— Завтра я покажу вам окрестности Уазы, столь дорогие для Ябуки. Мы с женой давно там не были и поедем с радостью. Многие туристы думают, что Париж — это Елисейские поля и Сент-Оноре, а сделаешь шаг за город — и такие сельские просторы, просто чудо.

Хозяйка приготовила угощение, и они втроем пообедали за столиком, откуда был виден внутренний двор. Глядя на супругов Курэда, привыкших жить во Франции, легко и привычно поедающих устриц, держа в руке кусок хлеба, она невольно подумала о том, каково было Ябуки приходить к этому теплому семейному очагу. Однако, наверно, скоро и ей будет невесело, когда сын отделится от нее.

— Ведь вы, наверно, впервые в Париже? Надо бы вас и по городу поводить.

— Так и сделаем,— кивнул мэтр Курэда.— Ябуки любил и предместья. Увидел, как я написал канал, и говорит:

«Какое безобразие, что ты сделал это раньше меня». Он очень реки любил.

— Он рассказывал, как гулял в жаркий день вдоль канала, шел все ближе и ближе к воде, наконец снял носки и пошел шлепать босиком.

— Это было во время празднования Четырнадцатого июля. Дни стояли жаркие. Вообще лето было необычное.

— Как-то Ябуки-сан пришел к нам внезапно и спрашивает: «Умеете, хозяюшка, делать желе на агар-агаре?» И научил меня, как его готовить. Но у меня агар-агара не оказалось, и я в конце концов состряпала ему взамен маринад из бобовой лапши. Что он ни скажет, на него невозможно было рассердиться — такой уж был человек.

Все, что ей вспоминалось, она рассказывала с теплотой. Масако невольно представляла себе жизнь Ябуки, которому лишь в редкие минуты удавалось отведать японской кухни.

На следующий день после полудня Масако по приглашению супругов Курэда отправилась в автомобильную поездку. Стояли ясные дни ранней осени, дул приятный ветерок. Мэтр Курэда сидел за рулем. Машина выехала в пригород за пределы Парижа. По дороге на углах старых улиц попадались маленькие кафе. Масако вспомнила ряд домов, в одном из которых — ей показали вчера — жил Ябуки. В этой части Монмартра на углу квартала тоже есть кафе, и она вспомнила старика, усевшегося на стул, выставленный прямо на тротуар, и рассеянно наблюдавшего прохожих и проезжавшие машины.

Их автомобиль мчался посреди полей. Вокруг ничто не мешало глазу — ни заводов, ни контор: сразу за городом внезапно открывались поля и сады. Весь предыдущий день Масако, движимая неведомым чувством, с нетерпением ждала этой поездки. Проживая ничем не заполненные дни своей женской судьбы, она не раз за эти семь лет готова была все простить мужу. Иногда тихонько, про себя, взывала к нему, и вот теперь ей было просто необходимо увидеть эту часть жизни Ябуки. Может быть, она поймет его, если пройдет по следам художника, отправившегося на чужбину, чтобы узнать меру своих способностей?

Естественный лес начинался к северу от Парижа через сорок-пятьдесят минут езды. Когда они въехали под его своды, Масако была поражена густотой деревьев. Вокруг было безлюдно.

— Кажется, что вот-вот выскочит лиса или олень...

— Оленей не видал, но зайцы и сони водятся в той стороне,— указал пальцем мэтр Курэда.

— На одной картине Ябуки изображена заснеженная роща...

— Думаю, что эта самая. В зимнее время, как ляжет снег, можно заледенеть от холода, но Ябуки, похоже, писал это полотно часов пять. Мне больше всего понравилось, как эффектно у него получились силуэты деревьев, словно сопротивляющихся снегу.

Неистово сыплется снег, нежный и чистый. Художник, бросивший вызов деревьям, час от часу изменяющим свой облик, верно, захоронил в снегу себя самого...

Сейчас лес тихий, чуть жутковатый, в нем не чувствуется присутствия человека, ведущего борьбу с природой. С лесной дороги они увидели в просветах деревьев строение, похожее на замок; потянулись осевшие насыпи вроде японских призамковых валов — пахло историей. Проехав небольшие городки и деревни, машина оказалась в долгожданной долине Уазы. Завиднелась река, мост, но Масако они уже были знакомы. Мост, мощный, как деревенский бык, в действительности смотрелся на фоне долины вполне обыденно. Река была чистая, на воде плавали уточки. Поблизости имелся ресторан, и супруги Курэда пошли посмотреть меню, чтобы захватить что-нибудь в обратную дорогу.

Переехав мост, они добрались до деревни Овер, которую так любил Ябуки и где он каждый год проводил месяца по три.

— Зайдем потом в гостиницу, где останавливался Ябуки?

— А тут и гостиница есть?

— А как же! Или, вернее, пансион. Там даже сохранилась комната, где жил Ван Гог.

Добравшись наконец до места, Масако ощутила беспокойство. Машина, проехав по улице с рядами домиков, выехала на небольшую площадь, оказавшись перед деревенской конторой. Масако вышла из машины и, осмотревшись, увидела напротив ресторанчик, похожий на таверну. На вывеске красовалась надпись: *Ресторан «Ван Гог»*. Это было старое двухэтажное строение, в полутемном зале никого не оказалось.

Мэтр Курэда прочитал в глазах Масако вопрос.

— Раньше здесь, говорят, было дешевое кафе. В кры-

ше есть слуховое оконце. Ван Гог и умер тут, в задней комнатке на чердаке.

Сердце ее сжалось, когда она представила себе, как на закате жизни художник ловил взглядом тусклый свет через крохотное окошко наверху. И ей стало больно от такой бесцеремонности — назвать ресторан именем Ван Гога. Рядом с заведением виднелась старая церковь с острым шпилем, подняться по склону холма — и можно увидеть ее всю целиком. Эту церковь писал Ябуки. Провинциальная церковь, построенная сотни лет назад и бережно сохраняемая с тех пор человеческими руками. За ней видна была развилка дорог. Из церкви доносились звуки мессы.

— По-моему, Ван Гог рисовал эту церковь. Я случайно набрела на нее в Париже, в Музее импрессионистов.

— Да, и свой холст он ставил где-нибудь здесь, рядом. Он ее писал в тысяча восемьсот девяностом, в год своей смерти. Пейзаж, верно, и теперь тот же самый. Ябуки же писал эту церковь сбоку.

— У Ван Гога церковь не совсем такая, как в действительности. В голубых тонах — кажется, что она взлетела. А у Ябуки — тихо-печальная, ничуть не похожа на ванговскую.

Она посмотрела вверх с каменной стены, где, может быть, стоял некогда художник. Ябуки смотрел совсем с другой точки. И чувство цвета иное.

Обойдя вокруг церковь, рядом с которой ей чудилось тяжелое дыхание Ябуки, она увидела поля пшеницы. По вызревшим колосьям пробегали тяжелые волны.

— Это то самое ванговское поле со стаей ворон?

— Да, оно самое. Здесь двадцать седьмого июля он выстрелил в себя из пистолета. Попытка самоубийства окончилась неудачей, и он вернулся к себе в комнату. Умер через два дня после этого.

— Он умирал в одиночестве?

— Думаю, что с ним был его младший брат Тео.

Глядя на безбрежное золотое поле, она почувствовала, что больше не выдержит. Ей снова послышалось тяжелое дыхание Ябуки.

— Учитель, скажите мне, ведь и Ябуки пытался покончить с собой?

Мэтр Курэда в изумлении вытаращил глаза, вздрогнув от замешательства. Выпрямилась его жена, рвавшая поодаль полевые хризантемы.

— Как вы меня напугали! Да разве можно смешивать

историю художника, жизнь которого окружена легендами, и Ябуки-куна?

— Почему вы так подумали? — посмотрела на нее снизу вверх жена Курэда.

— Он тоже здесь жил по три месяца и, следуя за художником, совершившим попытку самоубийства, наверно, стремился подражать ему и в смерти. Так ведь бывает. Ему хотелось заглянуть в эту бездну...

Переглянувшись с женой, Курэда устремил взгляд на пшеничное золото.

— Ябуки-кун заболел здесь. Прислал телеграмму. Когда я приехал вдвоем с другом, он вышел нам навстречу и в тот день уже хорошо себя чувствовал. Перед отъездом мы втроем закусили в придорожном ресторане. У него была дистрофия. Он ничего не ел, чтобы голова была ясной, и попросту свалился от слабости. Так мы слышали, и, по-моему, так оно и есть.

В Масако боролись ирония и раздражение, когда она думала о Ябуки, которому не удалось умереть. Наверняка тогда же он и написал эту церковь. Там, на холсте, она возвышалась в гордом одиночестве, словно наблюдая течение человеческой жизни. Из настоящей церкви тем временем доносились едва слышные звуки хорала.

— Наверно, похороны. Дни здесь длинные...

Часы показывали время сумерек, но поле было светлым, как в полдень, и лежало в волнах колосьев точно гигантский роскошный ковер. Рядом с полем находился обширный участок, огороженный каменной стеной. Сначала она не поняла, что это такое, но потом догадалась, увидев группы стариков и детей с цветами; одни только входили в ворота, другие уже выходили оттуда.

Это было кладбище. Теперь понятно, зачем жена Курэда рвала хризантемы на сельской дороге. Деревьев нет, стоят рядами надгробия. Там и сям видны люди. Масако показали скромную могилу у красивой каменной стены. На ней высились два могильных камня, вокруг могилы насажены цветы. На одном камне написано: Винсент Ван Гог, на другом — Теодор Ван Гог. Масако потрясли эти могилы братьев, чьи надгробные камни говорили о пустоте небытия и покое. Здесь были захоронены их останки. Лицо Ван Гога — исхудавшее, заострившееся, как на автопортрете,— сокрыто в земле. Под камнем лежит жизнь художника, так и не получившего воздаяния. Жена Курэда с почтительным выражением возложила к подножию камня букет хризантем. Масако захотелось взять стоящую рядом бадейку с водой и по-

лить цветы. Человек, спавший в могиле, собственно, не был ей родным, и тем не менее он был не чужой. Ляжешь на землю рядом с живописцем, скончавшимся восемьдесят с лишним лет назад, и можно вообразить, что недалеко покоится и японский художник, умерший недавно, в этом году. Совсем заурядная эта деревня, но в ней — могила художника, создавшего знаменитые полотна. Это был человек, не знавший, какой дорогой идти по жизни, вообще отрешенный от всего на свете, кроме того, о чем он поведал в своих картинах. И Ябуки тоже оставил после себя еще не оцененную картину, изображающую эту темную церковь.

В небе собралась стая ворон и улетела вдаль... Масако попала сюда благодаря добросердечию супругов Курэда, однако можно считать, что вел ее голос Ябуки. Она подошла к стене позади могилы, погладила камень и сорвала пучок травы с могильной земли. Затем медленно обошла все кладбище. Теперь уж тут для новых поколений наверняка не хватает места. Должно быть, под землей гробы теснятся бок о бок.

Неподалеку от Масако стояли супруги Курэда.

— Вот видишь, и ты, художник, написавший церковь и поле, оказался с теми, кто лежит на кладбище в Овере-на-Уазе...— тихонько проговорила жена мэтра.

— Да. А ухаживал за ним доктор Гаше.

— Интересный человек этот доктор Гаше, которого ты нарисовал. Сидит в такой позе, опершись и локтем, и плечом...

— А нравился тебе доктор? Смотришь на портрет, а он словно говорит: оставь все это, и уйдем отсюда.

Голос мэтра вдруг напомнил Масако голос ее мужа. Очнувшись, она заметила, что оба Курэда наблюдают за тем, как она в одиночку бродит по кладбищу. Они вышли из ворот, спустились по дороге с отлогого холма. Навстречу потянулись ряды домов, того же цвета, что и два или три столетия назад. Масако шла задумавшись, как вдруг услышала голос мэтра Курэда:

— Вот здесь. Ябуки-кун в Овере всегда останавливался здесь.

Гостиница точь-в-точь как ресторан «Ван Гог», напоминающая студенческий пансион в Токио, в начале Хонго, у красных ворот. Масако было заколебалась, но, уж зайдя так далеко, отступать не стоило. Мэтр толкнул дверь. Они очутились в маленькой гостиной, откуда вела лестница на второй этаж. Рядом с лестницей было нечто похожее на конторку, на их зов никто не отозвался. Тогда мэтр взял со

стола колокольчик и позвонил. Через некоторое время из глубины дома явилась хозяйка. Это была красивая высокая женщина. Она обменялась приветствиями с четой Курэда, которых раньше видела, Курэда представил ей Масако, и на лице хозяйки отразилось сочувствие.

— Значит, господь призвал мсье Ябуки... А я не знала, что он женат. Ябуки всегда был один, вот я и решила, что так было и раньше, а теперь уж — до конца...

— Ему здесь было хорошо...

— Этот человек не знал никаких радостей, кроме занятий живописью.

— Нельзя ли посмотреть его комнату?

— Сейчас это неудобно, там живет индийский студент.

Масако при этом, как ни странно, почувствовала облегчение. Ее заранее охватывал страх, когда она представляла себе мансарду в дальнем конце чердака, где светит лишь крошечное слуховое оконце. Курэда не настаивал. Поблагодарил хозяйку, и они, дав ей чаевые, вышли на улицу.

— Как жаль, что я не смог показать вам комнату Ябуки. Он всегда в ней работал. Главное — писать, говорил он. И вот утяжелял цвет, который у него и так был тяжелее, чем в действительности,— но так уж он его воспринимал.

Масако опустила глаза, словно и в самом деле видела эту убогую комнатку. Подумала, что теперь уж она побывала всюду, где и Ябуки. Это путешествие помогло ей узнать мужа, с которым они семь лет провели в разлуке. Она вслух повторила слова, произнесенные хозяйкой: «Он всегда был один, вот я и решила, что так было и раньше, а теперь уж — до конца...» Да, наверное, муж хотел, чтобы его до конца оставили в одиночестве.

Не говоря никому ни слова, она нагнулась у кладбищенской стены рядом с могилой и поспешно закопала завернутый в платок обгоревший кусочек кости размером с монету. Теперь и он, Ябуки Дзёкити, войдет в сообщество тех покойников, что лежат здесь в гробах. Это была ее дань мужу — своего рода символический обряд во успокоение его души.

Когда они вышли на шоссе, уже смеркалось. Вскоре машина выехала из деревни Овер и помчалась назад, к Уазе.

Ёсио Марумото

СВОБОДЕН, КАК ПТИЦА

— Неужели здесь было так темно? — пробормотал я.— Нет, прежде казалось гораздо светлее.

«Прежде» — это четыре года назад, когда я впервые пришел в Кокугикан на соревнования по сумо. Я видел тогда первый выход на помост Дзиро. Он должен был выступать утром, до одиннадцати часов, и в это время зрителей в зале было мало. Я не мог спокойно сидеть в полупустой ложе: то вскакивал, то вновь садился, а тем временем решился исход схватки. В предыдущем выходе Дзиро, поставив противнику подножку, опрокинул его, и я, затаив дыхание, наблюдал борьбу сына; но он двигался поразительно быстро, поэтому проследить за мельчайшими деталями его техники я не мог. Тогда вместе со мной была моя жена Акико. Отчетливо помню, как светло было в зале — во всяком случае, он не показался мне таким мрачным.

Я взглянул на часы — было половина двенадцатого. Вспомнив, что около двенадцати выход Дзиро, я вытащил программу состязаний. Уже много раз я проделывал это, но все же решил вновь уточнить его время. Вернее, попытался уточнить. Текст программы я разобрать не мог. Набранные убористым шрифтом слова сливались в какие-то серые пятна, то скатываясь, подобно хлопьям пыли, в круглые шары, то вытягиваясь в продолговатые столбики. Я вышел на залитую ярким светом галерею. Сейчас мне сорок шесть лет. Два года назад у меня обнаружилась старческая дальнозоркость. А до этого ведь было отличнейшее зрение. Я великолепно разбирал даже самый мелкий шрифт. Сейчас же не могу прочесть и газету. Коридор, опоясывающий спортивный зал, имел выход наружу — на открытую лужайку, раскинувшуюся перед самым зданием.

Увидев в проходе голубое небо, я, словно повинуясь его зову, вышел наружу. Мой взгляд скользнул над линией

© Marumoto Yoshio 1981

электропередач и устремился в небесный простор, такой голубой, каким он бывает лишь в разгаре лета. На мне была рубашка с короткими рукавами. Хотя уже приближалась середина сентября, все еще стояла августовская жара. Я был обут в резиновые пляжные шлепанцы, а в руках держал бумажную сумку, в которой лежал фотоаппарат с телеобъективом и экспонометром. Когда у нас родился Дзиро, я часто пользовался им, но в последнее время в руки брал его редко. Вспомнился один снимок, который я когда-то сделал этим аппаратом. Судя по всему, это было в то время, когда моему старшему, Хадзимэ, было четыре года, а младшему, Дзиро,— два.

Я снимал широкоугольным объективом, поэтому Хадзимэ в левом углу снимка вышел просто страшилищем, с огромным лицом. В правом углу напротив — покосившиеся фусума. В самом центре снимка, в фокусе, без искажения — Дзиро. Акико в снимке не поместилась, в правом углу была видна только ее рука с чашкой чая. Все сидели за круглым раскладным столом, в центре которого стояла пустая тарелка, и Дзиро смотрел на нее. Перед ним стояла еще одна тарелка, с нетронутым пирожным. У Хадзимэ пирожного не было, он почему-то ел рисовые колобки онигири. Рука Акико оказалась сильно смазанной — видимо, я щелкнул в момент, когда она как раз подавала чай. Хадзимэ, задумчиво глядя на руку Акико, держал рисовый колобок в правой руке, опустив левую под стол. Я словно наяву услышал голос Акико: «Эй, Хадзимэ-тян, о чем задумался? Возьми-ка чай».

Взгляд Дзиро блуждал по пустой тарелке, и трудно было понять, о чем он думал. Его четко очерченные, словно высеченные резцом глаза походили на двух застывших черных головастиков, их выражение было неуловимо. Свет от электрической лампочки, падающий сверху, оставлял в тени лицо, выделялись лишь верхняя часть полных щек да край пухлой нижней губы с низко опущенными уголками. Создавалось впечатление, что это лицо человека чем-то недовольного. Я тоже так думал. Каждый раз, замечая у Дзиро такое выражение, я бранил его, но был не прав. Я понял свою ошибку позже, когда сын повзрослел и у него сменились зубы. Нижние зубы Дзиро немного выступали. Естественно, слегка выпячивалась и нижняя губа. На кончике носа чернело большое, словно нарисованное фломастером пятно, заметно выделявшееся на фотографии. Каждый, заметив его, начинал тереть это место, на самом же деле это была ссадина. Я не знаю, каким образом она появилась,

жена тоже не знала, однако ссадина довольно долго красовалась на его носу. Полностью зажила она только через месяц с лишним, причем от нее и следа не осталось. Сейчас, когда я пытаюсь вспомнить Дзиро ребенком, мне почему-то он приходит на память непременно с ссадиной на кончике носа.

* * *

Когда Дзиро учился в пятом классе, его любимым чтением были журналы по борьбе сумо. Заказывать заранее в книжном магазине два-три специальных журнала по сумо и выкупать их в день выхода стало обязанностью Акико. Читал Дзиро аккуратно, не оставляя ни одной замятины. Когда Акико начинала небрежно перелистывать журналы, сын отбирал их у нее, заявляя, что треплются обложки. «Ты, конечно, можешь читать, если только будешь аккуратно с ними обращаться. И мой как следует перед чтением руки»,— строго выговаривал матери Дзиро. Его раздражало, что она не проявляет к журналам должного интереса: «Так нельзя, ты же не читаешь! Тогда нечего и брать, Акио». Хадзимэ уже учился в средней школе, и они с Дзиро вступили в тот возраст, когда начали стесняться называть Акико мамой. Именовали ее то «Аки бодзу», то «Акио», то, подражая моим интонациям, «Акико». Несмотря на то что собственные дети называли ее мужскими именами, Акико отнюдь не обладала мужским характером. Наоборот. Аккуратная, но без излишнего педантизма, жена прекрасно вела не только домашнее хозяйство. С особым рвением она занималась воспитанием сыновей, полностью погружаясь в их мир. Перекидываясь с ними шутками, она частенько употребляла слова из мальчишечьего жаргона, что вызывало у сыновей бурный восторг. Потому-то они и нарекли мать мужским именем. Она обладала веселым нравом и, оставаясь одна, всегда что-то напевала. Из кухни, где хозяйничала Акико, обычно доносились песни или смех. В доме, согретом ее присутствием, царила теплая атмосфера, и я, когда сидел в своем кабинете, читая, уносясь в мечтах или же просто подремывая, испытывал покой и полное расслабление. Весь ее день, с рассвета и до заката, был посвящен заботам о детях, и они относились к ней как к другу.

Спустя некоторое время Дзиро стал регулярно слушать радиорепортажи о состязаниях по сумо. Смотрел и телепередачи. Наиболее важные, по его мнению, моменты Дзиро записывал на магнитофон.

Тогда же он начал почему-то рисовать маленькие, размером с зерно боба, картинки по борьбе сумо. Хотя я и сказал «картинки», но это были скорее комиксы. Однако, приглядевшись, можно было увидеть, что положения рук, постановка ног удивительно точно передавали приемы сумо. Вскоре, когда Дзиро стал учеником средней школы, он переключился на литературное творчество. На письменном столе сына появились книги собственного сочинения под такими заголовками: «Повесть о победах и поражениях силача X» — или же: «Хроника жизни борца N». Они состояли, как правило, из нескольких листов бумаги, скрепленных скоросшивателем. Все было сделано тщательно, вплоть до обложек, а убористый текст, написанный от руки печатными буквами, иллюстрирован множеством тех самых крошечных картинок. В школе, где учился Дзиро, существовал классный дневник, который ученики вели по очереди; заглянув однажды в раздел, написанный Дзиро, я понял, насколько он увлечен своим творчеством. Помимо картинок-иллюстраций, там были и комментарии, и резюме предыдущих материалов, и заголовки, имитирующие стиль «настоящих» журналов. Одним словом, целый роман с продолжением. В то время я работал главным редактором одного еженедельника, и все, кому мы показывали «книги» Дзиро, восхищались, связывая его увлечение с моей профессией: «Поистине, он — сын своего отца». Я тоже наполовину верил, что Дзиро, подражая отцу, вообразил себя редактором и занялся литературой. В романах сына главными героями становились знаменитые борцы сумо прошлых эпох. Но больше всего сил Дзиро отдавал романам о будущем. При написании одной вещи, в которой рассказывалось, как некий мальчик, его ровесник, став борцом, достиг высшего титула «оёкодзуна», автор, видимо, изрядно намучился. Решив посмотреть, что же будет дальше, я обнаружил, что Дзиро уже больше месяца не брался за перо. На мой вопрос: «Еще не закончил?» — Дзиро смущенно засмеялся и уклонился от объяснений: «Пока нет».

Такого рода увлеченность, считал я, свойственна всем детям его возраста. Они увлекаются то радио, то астрономией, но время проходит, и увлечения меняются. Так и Дзиро. До школы, например, он не расставался с атласом рыб. Затем переключился на профессиональную борьбу (в то время его любимым журналом был «Гонг»). Охладев к борьбе, начал зачитываться рассказами Сатио Тогава о животных. Казалось, что увлечение сумо постигнет та же участь и его заинтересует что-нибудь еще.

* * *

Это случилось пять лет тому назад. День клонился к вечеру, дул сильный ветер. Дзиро тогда учился во втором классе средней, а я, бросив работу главного редактора, организовывал небольшое издательство и с головой ушел в подготовку нового журнала. Я решил издавать журнал о здоровье. В то время подобные журналы еще не выходили, и я со всем пылом взялся за дело. Однажды, закончив дела в городе и вернувшись в гостиницу, в которой один номер был временно приспособлен под нашу редакцию, я увидел в холле одного из своих сотрудников. Он явно кого-то поджидал. Заметив меня, сотрудник подошел и с серьезным видом, пряча улыбку, сообщил как о чем-то важном:

— Господин директор, пришла ваша супруга.

— Вот как? — с деланным спокойствием ответил я, и у меня сразу же мелькнула мысль о Ёсиэ Кавасима. Моя связь с этой женщиной длилась уже более трех лет, два года назад у нас родилась дочь Миэко. Но я тотчас же подумал, что вряд ли жене стало известно о Ёсиэ. И все-таки Акико появилась в редакции впервые, поэтому я направился к лифту, терзаясь сомнениями. Наверняка ее привело сюда не внезапное происшествие или несчастье, а какое-то личное дело, иначе жена предупредила бы о своем приходе по телефону.

Я открыл дверь. На краешке дивана в чинной позе сидела Акико. На ней было кимоно с узором «осима» по белому полю. Ее руки с переплетенными пальцами лежали на коленях. Глядела Акико прямо перед собой. В каком-то оцепенении я внимательно смотрел на ее плечи, вдруг опустившиеся, когда она увидела меня. Из окна сквозь шторы упал луч света, и горчичного цвета узор стал серебристо-зеленым. К стройной фигуре жены очень шло это кимоно. Акико знала это и, отправляясь по делам, непременно надевала его. Что же случилось? И носки таби, и дзори[1] — все на ней было новое. Заметив, что рядом лежит еще и черное хаори[2], я спросил:

— Что случилось?

— Нам необходимо поговорить.— Акико, не вставая с места, подняла на меня глаза. Судя по всему, она пришла по делу, которое можно было обсудить и здесь, но я не стал садиться на диван, а предложил:

[1] Дзори — деревянные или соломенные сандалии.

[2] Хаори — накидка, принадлежность выходного женского и мужского костюма.

— Может, выйдем отсюда?

— Я по поводу Дзиро,— сразу же начала Акико, как только мы вышли из комнаты. Теряясь в догадках, что же такое мог натворить Дзиро, я тем не менее отметил, как хороша сегодня Акико, и пристально посмотрел ей в лицо. Акико тоже окинула меня внимательным взглядом.

— Он заявил, что решил стать борцом сумо,— сообщила жена поразившую меня новость.

— Шутит небось! — невольно громко воскликнул я, удивившись.

— Вовсе нет. Сегодня утром звонил его ояката [1]. Он хочет, чтобы Дзиро начал заниматься у него. Вот, дескать, и позвонил, чтобы получить наше разрешение. Я совсем растерялась, вначале ничего понять не могла.

— Да, дела...

— Дзиро, оказывается, тайком посещал его. Три раза. Ояката сказал, что Дзиро по нынешним временам очень воспитанный и прилежный мальчуган. Он специально прилетел с Кюсю, чтобы с нами посоветоваться.

Естественно, для нашей семьи все это было как гром среди ясного неба. Мне стало понятно, почему взволнованная жена прибежала сюда. Только уж больно она нарядилась. Не на встречу ли с ояката собралась? — обеспокоился я.

— Скажи этому человеку, пусть подождет. Да и намерения самого Дзиро следует выяснить хорошенько, как думаешь?

— Разумеется, я тоже так считаю. Поэтому и просила подождать. Разве обсудишь такие дела по телефону?

— И все же я удивлен...

Из рассказа Акико явствовало, что сын уже бывал у некоего борца-чемпиона, которого он буквально боготворил. Чемпион имел достаточно скромный разряд «сэкиваки». Ему не удавалось подняться выше «саньяку», но и ниже «хирамаку» он не опускался. По мнению Дзиро, смотревшего уже глазами профессионала, этот борец не имел себе равных по владению приемами. Далее я узнал, что сын много рассказывал о нем. Желание пообщаться с чемпионом было естественным, как для всякого юного болельщика, и психологически объяснимо. Однако далеко не всякий болельщик решится по-настоящему последовать примеру своего кумира.

[1] Ояката — предприниматель от спорта, содержатель так называемых «хэя» — своего рода общежитий, в которых проживали и тренировались борцы сумо.

— Дзиро ведь только во втором классе. Как бы там ни было, ему еще рано определять свой жизненный путь.

— Он говорит, что в будущем году намерен поступать в школу борцов. Туда принимают лишь по окончании средней школы... Отец, что же делать? — растерянно моргая, спрашивала Акико.

Нелепые, похожие на какие-то гигантские арбузы мужчины выходят на арену и принимают странные позы — такой представлялась мне борьба сумо. Хотя Дзиро был одним из самых крупных мальчиков в школе, это вовсе не предполагало, что со временем он может превратиться в подобное страшилище. Сын не обладал чрезмерной комплекцией, но и худощавым не был. При росте сто семьдесят пять сантиметров — довольно необычном для ученика средней школы — имел нормальное сложение. Он отличался только удивительной гибкостью тела, легко мог делать шпагат, с трудом выполняемый даже борцами-профессионалами. Если Хадзимэ в школе во время спортивных занятий не раз получал травмы, то с Дзиро подобного ни разу не случалось. Зимой он мог спокойно ходить раздетым и в самые жестокие холода не нуждался в отоплении своей комнаты.

Его табель с оценками я ни разу не видел, как, впрочем, и табель Хадзимэ. Я не брал их в руки не из каких-то особых принципов. Мой метод воспитания заключался в том, что я не понукал сыновей: «Учитесь!», а давал понять, что учеба — их личное дело. У нас с женой было решено не посылать детей учиться в дорогие частные колледжи. Дзиро и так учился достаточно хорошо, чтобы попасть в высшую школу. Поэтому вовсе не школьные неурядицы побудили сына заняться борьбой. Видимо, сказалось его увлечение журналами по сумо. Из этих журналов он черпал не только информацию о состязаниях борцов, они явились также для него источником определенного духовного воздействия. Однажды я спросил Дзиро о том, какой, по его мнению, самый серьезный вид спорта. Уверенным, чрезвычайно удивившим меня тоном он ответил:

— Сумо. Только в мире сумо по-настоящему сохраняются традиции.

Дзиро говорил без тени сомнения, так, как специалист излагает свои выводы дилетанту, и я понял, что сын увлечен именно духом старины, культивировавшимся в сумо. Этим же вызвано и его нынешнее решение приступить к занятиям сумо прямо сейчас, не дожидаясь окончания школы. Ведь на страницах журналов по сумо часто утверждалось, что борцам, начавшим заниматься борьбой лишь после оконча-

ния высшего учебного заведения, даже если они обладают прекрасными физическими данными и отличной техникой, не хватает духовной закалки.

— Во всяком случае, мне нужно подумать,— сказал я Акико.— Передай Дзиро, чтобы он пока подождал.

Акико свела брови, кивнула в знак согласия и, словно под порывом ветра, зябко поежилась.

— Может, посидим в баре? — предложил я.

— Хорошо бы,— улыбнулась Акико весело.— Но не стоит зря тратить деньги. Пожалуй, куплю что-нибудь на ужин и поеду домой.

— Ну как хочешь.

— Значит, так и сказать Дзиро? Но только лучше долго его не томить. Мне кажется, он очень волнуется, ожидая отцовского решения.

— Думает, что я буду против?

— Видимо, да.

Расставшись с Акико у входа в гостиницу, я вдруг задумался — а что же сама-то жена думает по этому поводу? Ведь она ни словом не обмолвилась о своем мнении. Удалявшаяся фигура Акико на какое-то время потерялась в толпе, а затем снова возникла на перекрестке.

— Однако же...— пробормотал я, испытывая чувство облегчения. Конечно, с Дзиро возникла серьезная проблема, но как хорошо, что дело, по которому пришла Акико, не имеет отношения к Ёсиэ.

* * *

Разговор с Дзиро состоялся только через две недели с лишним. Столько понадобилось мне времени, чтобы собраться с духом. Дома, по крайней мере в моем присутствии, этой темы касаться избегали. Казалось, Дзиро должен был бы беспокоиться, но в его отношении ко мне не замечалось никаких перемен. Было воскресенье, когда я после завтрака заглянул к нему в комнату. Сын сидел, уставившись в стол взглядом, недовольно скривив губы, и имел вид не задумчивого, а, скорее, раздраженного человека.

— Дзиро! Может, поговорим в моей комнате?

— Хорошо.— Он встал.

Увидев, с какой готовностью он согласился, я понял, что сын совсем не раздражен, и в глубине души испытал неловкость. В комнате у меня стояли только кровать и письменный стол, стулья отсутствовали. Я откинул угол одеяла,

сел и, хлопнув рукой по постели, пригласил несколько растерявшегося Дзиро сесть рядом.

— Прежде всего скажи мне, что ты сам об этом думаешь.

— Я буду счастлив,— ответил Дзиро. Я ждал продолжения и с удивлением глядел на сына, теребившего рукой простыню.

— От родителей я унаследовал хорошее телосложение, поэтому хотел бы попытать счастья в сумо.

У меня еще не изгладилось из памяти то, как выглядел Дзиро, когда он ходил с ссадиной на носу. Его пухлые щеки и редкие брови, которые в лучах света, льющегося из окна, стали почти незаметными, напоминали облик Дзиро детских лет. Я с нежностью, с какой, например, смотрят на жеребенка, внимательно вглядывался в лицо сына. «Ты и вправду похож на жеребенка, который, упав на колени, никак не может сам встать на ноги!»

Детское лицо Дзиро походило на мое, когда я был в том же возрасте. Неужели и я в четырнадцать лет выглядел как ребенок? Неужели это мне было четырнадцать и это я шагал босиком по выжженной зноем летней дороге?

Расплавившийся от зноя асфальт. Бесконечная горная дорога, пыльная, со специфическим запахом. Отрывочные воспоминания, разные по времени и месту действия, всплывающие в памяти, словно дым. И небо — небо над дорогами. Ни одна дорога не похожа на другую, но небо над ними одно. На ум приходит мысль о небе, о черной тени в нем, и перед глазами встают сцены минувшего. Вижу свою мать с корзиной, полной баклажанов. Баклажаны крупные, как на подбор, только что сорванные. При прикосновении они поскрипывают. Мать, любуясь баклажанами, не может сдержать восхищенных возгласов. Я тоже упиваюсь их густо-синим цветом. Цвет такой, какой и бывает обычно у баклажанов, но мне он кажется необыкновенным, редкостным.

— Хорошо бы угостить ими нашу бабушку,— говорит мать. В ответ я неопределенно хмыкаю, потому что сразу же вспоминаю о расстоянии до бабушкиного поселка. Ясно, что и мать, сказав это, прекрасно сознавала, что пешком до него не добраться. Мы вчетвером — мать, старший брат, младшая сестра и я (отец был на фронте) — жили на севере Кюсю в префектуре Фукуока, теснились все вместе в одной комнате крестьянского дома в деревне Акамура уезда Мияко. Поселок Готодзи в уезде Тогава, где жила бабушка, находился через три станции по железной дороге. На

поезде ехать не более двадцати минут. Но мы уже давно не пользовались поездами: купить билеты было невозможно.

При виде баклажанов, которые тогда было так трудно достать, бабушка, как и мать, конечно, пришла бы в восторг. Я тотчас живо представил, как она, бережно перебирая плоды руками, произносит: «Ах, какие прекрасные баклажаны! Ты небось никогда не видел таких великолепных.— И, вероятно, добавила бы: — На них мы еще немножко протянем».

— Мама, давай-ка я их отнесу.

— Но ведь далеко пешком-то.— Мать удивленно смотрит на меня. На прядях волос, свисающих вдоль щек, блестят капельки пота.

— Три или четыре ри. Если выйти сейчас, к полудню доберусь,— отвечаю я и бросаю мимолетный взгляд на небо. Вероятно, было около восьми утра. Туман поредел, проглядывало голубое небо.— Какой же дорогой лучше пойти? Пожалуй, кружным путем на Ита. По крайней мере плутать не придется.

— Выйдет-то дальше, зато и правда не заблудишься. Однако тяжело тебе придется. Да и жарко, наверное, сегодня будет.

На самом деле ни дорога длиной в восемь ри в оба конца, ни летний зной меня не пугали. Я боялся только одного — воздушных налетов. Повесив за спину корзину с баклажанами, я зашагал по тропинке среди рисовых полей. По пути меня все время преследовало видение: расстрелянный с налетевшего «груммана», я лежу мертвый рядом с корзиной, полной баклажанов. Выбрав все-таки кратчайший путь, я вышел на полевую межу. Она была еще влажной от утренней росы, и идти босиком было приятно. Шагая по мягко шелестевшей траве, вымахавшей высоко — скосить-то ее некому,— я думал о том, что мертвый с этими баклажанами я буду выглядеть несколько комично. Мне со старшим братом дважды случалось попадать так под обстрел. Черная тень самолета, гудящего как шмель, надвигалась прямо на нас. Пули, оставляя огненный хвост, несколько раз просвистели рядом. Тогда-то я избежал смерти.

Утренняя дымка незаметно рассеялась, и засияло голубое небо. Его ровная, не нарушаемая ни единым облачком окраска напоминала синий лист из бережно хранившейся у меня пачки цветной бумаги. Как странно! Синее небо вызывало давно позабытое ощущение мира и покоя. Но мир был слишком хрупок. В любое мгновение и он, и это синее небо могли быть разрушены.

Межа привела к неширокой, метра в два, речушке Мидзогава. Поворачивать обратно не хотелось, и я пошел вдоль берега, раздвигая заросли. Немного погодя мне пришло в голову спуститься и попробовать идти по реке. Она оказалась неожиданно глубокой — вода доходила до самой груди. Но дно было ровным, глубина всюду одинаковая. Я повеселел и, напевая песенку, двинулся по течению. Теперь, случись воздушный налет, я легко могу спрятаться. Мне было даже интересно шагать по воде с корзиной в руках. Вскоре впереди показалась дамба — видимо, та, что на реке Такэямагава. Выбравшись на берег и обнаружив справа мост, я убедился, что действительно дошел до Такэямагавы. Оставалось перейти мост и повернуть вниз по течению, тогда наверняка попадешь в поселок Ита. А чуть дальше будет Готодзи — вместе с Ита они составляют один шахтерский городок.

Когда я миновал мост и вышел на дорогу к Ита, показалась гора Каварадакэ. Всей своей громадой она высилась передо мной. На Каварадакэ, самой высокой в этом краю горе, добывали каменный уголь; своими очертаниями она напоминала разинутую пасть какого-то чудовища. Хотя я и прежде знал о существовании горы и даже видел ее несколько раз, ее внезапное появление потрясло меня до головокружения. Безобразно развороченное чрево горы, обнажив свою белую плоть, слегка дымилось в лучах солнца. Я остановился и долго, словно завороженный, глядел на гору.

До Готодзи удалось добраться к полудню. Вынимая баклажаны, я обнаружил, что на них отпечатались прутья корзины. Но ужаснее всего было другое — плоды потеряли всякую форму. При виде баклажанов с выдавленным на них узором плетения я вдруг как-то сразу изнемог и поник, словно парус без ветра. Конечно, мне ведь хотелось принести бабушке хоть на один баклажан да побольше, вот я и набил ими корзину слишком плотно. Я совсем было пал духом, но тут вернулся домой дед, служивший полицейским. Он, видимо, слишком быстро ехал на велосипеде, и с его выпуклого с залысинами лба градом катился пот. Торопливо втаскивая велосипед в прихожую, он крикнул:

— Быстрее включите радио! Кажется, окончилась...

Когда бабушка поспешно включила приемник, оттуда неслась мелодия государственного гимна «Государя век...». Затем послышался невнятный, постоянно прерывающийся голос. Мы изо всех сил вслушивались в речь, смысл ее был совершенно неясен. Даже не верилось, что говорят по-

японски. Если бы не слова деда: «Кажется, окончилась», я так ничего бы и не понял.

Домой в деревню Акамура я возвращался вроде бы той же дорогой. Дело было вечером, уже стемнело. Еще я помню, как наша семья ужинала в садике, разместившись на циновках вокруг переносной печки. Но обратный путь напрочь вылетел из головы, я совсем не помню, где и как я шел.

В школе начались занятия, и первое, что нас заставили сделать,— это замазать черной тушью некоторые страницы учебников. Учебник истории был сплошь вымаран черным, читать его было просто невозможно, а в новых учебниках математики слово «алгебра» заменили словом «анализ». Учителя стали говорить, что самое главное в преподавании — не объяснения учителя, а опрос учеников. Во всем поворот на сто восемьдесят градусов.

Хотя война, во время которой мы столько месяцев жили бок о бок со смертью, окончилась, послевоенный быт я довольно долго воспринимал не иначе как ее продолжение. Старые ценности отвергались, уступая место новым, но я смотрел на это отстраненным взглядом. Мне казалось, что новые ценности, как и старые, не заслуживают доверия.

Впрочем, у меня до сих пор, несмотря на то что прошло уже двадцать семь лет, вызывают сомнения проблемы человеческого бытия и человеческих ценностей. Всю свою жизнь я опирался на собственные ценности, открытые мной самим. Они мало соответствовали общепринятым нормам. Сейчас мне было ясно, что и Дзиро своим пусть еще незрелым умом самостоятельно выработал для себя какие-то собственные ценности. Вправе ли я отвергать их? Очевидно, что и его ценности являются не совсем обычными, но не исключено, что они станут жизненной опорой для сына.

— Я так понимаю свои отцовские обязанности,— начал я.— Знаешь, как львы воспитывают своих детенышей?

— Нет.— Дзиро пристально смотрел на меня.

— Они очень нежно опекают львят до тех пор, пока те не смогут в одиночку свалить быка. Родители особенно не балуют их, но оберегают, чтобы они набрались сил. Потому что лев, который не в силах одолеть быка, не выживет. Когда львенок впервые выходит на схватку с быком, он рискует жизнью. Станет ли он настоящим львом, решается именно в этом бою. Львенок может оказаться побежденным или даже убитым, однако родители ни при каких обстоятельствах не придут к нему на помощь. Потому что настал тот час, когда родителям не следует вмешиваться. Вос-

питание льва, одним словом, закончено. Вот почему очень важен период, когда они его выращивают. Отец твой считает, что и человека надо воспитывать так же. По человеческим меркам, учитывая современную социальную структуру, этому важному периоду соответствует возраст до двадцати лет, когда самым главным для ребенка является семья. Дети нуждаются в повседневном общении с родителями, ведь воспитание не просто передача знаний.

— Угу.

— Если бы тебе, Дзиро, уже исполнилось двадцать лет, я бы ни слова не сказал против. Да хоть бы и возражал, все равно ничего бы не изменилось. Дети избирают тот образ жизни, представление о котором было сформировано у них родителями. И если они, вырастая, начинают жить недостойно, винить в этом надо родителей. Но тогда уже поздно пытаться что-либо изменить. Таков мой взгляд на воспитание человека.

Сын молча слушал.

— Тебе, Дзиро, только четырнадцать лет. Твое воспитание еще не закончено. Но, обдумав ситуацию, я все же решил одобрить твой выбор жизненного пути. Хочу, чтобы ты понял, что твое поступление в школу сумо не прервет наших семейных отношений. Ты еще долго будешь ощущать связь со мной и матерью, как бы далеко ни находился.

Я окинул сына внимательным взглядом. Дзиро, широко раскрыв глаза, смотрел на меня несколько озадаченно.

— Понятно.

— Видишь ли, сын, я не сомневаюсь в тебе. Но ведь среди борцов сумо есть такие великаны, просто чудовища какие-то. Сможешь ли ты выдержать? Уверен ли ты в себе?

— Уверен.

В ответ я, кажется, улыбнулся, а может быть, и нет — точно не помню. Дзиро сидел потупившись.

С той поры мир Акико вращался преимущественно вокруг Дзиро. Визиты к ояката, переговоры с тренерами — с рассвета и до заката ее день был заполнен разными делами, связанными с Дзиро. После окончания второго класса средней школы он было поступил уже в школу сумо, однако по указанию комитета народного образования ему пришлось вернуться домой. Вполне резонно комитет рекомендовал Дзиро до получения обязательного образования оставаться с родителями. Поэтому в школу сумо он пошел через год после окончания средней школы.

* * *

Что такое толчея в отделе игрушек универмага, весь кошмар ее, обычно связанный с преддверием Нового года, можно понять, лишь испытав это на себе. С портфелем в правой руке и ведя пятилетнюю Миэко в левой, я лавировал в людском водовороте. От страшной усталости глаза застилала пелена. Дело происходило три года спустя после поступления Дзиро в школу сумо, вечером в канун Нового года, часа за два до закрытия универмага. «Эти люди, нахлынувшие в универмаг и пытающиеся купить игрушки в такое время, кажется, сами себе не принадлежат. И все же здесь, наверное, нет человека, который бы настолько не принадлежал себе, как я»,— размышлял я, решив во что бы то ни стало справиться с нелегкой задачей: из множества игрушек выбрать куклу «Рика-тян», о которой мечтала Миэко. Недовольная тем, что нельзя взять кукол в руки и поближе рассмотреть их, растерявшаяся от изобилия игрушек, дочка никак не могла на чем-то остановиться. Попросить дорогую куклу она побаивалась, поэтому на мои вопросы отвечала все более нерешительно. Но что совершенно взвинчивало мне нервы — так это Ёсиэ, с безучастным видом стоявшая в стороне от сутолоки. Она держалась в отдалении, и, чтобы позвать ее, приходилось громко кричать. Когда же я спрашивал совета, Ёсиэ не удосуживалась ответить. Хотя она была довольно далеко, сразу же бросалась в глаза поразительная бледность ее лица. На ней было замшевое коричневое пальто, туго затянутое поясом. Его складки казались черными. Это пальто из мягкой козловой замши, сшитое по последней моде, еще более подчеркивало ее отчужденность. На личике, обрамленном густыми, пышными волосами, застыла между бровями глубокая складка. Глаза, прежде так выделявшиеся на лице, теперь словно устали смотреть на окружающий мир, и их выражение накладывало печать безжизненности на весь ее облик. Щеки, еще полгода назад пухлые и округлые, опали, черты лица обострились, стали резче, и прежняя миловидность исчезла.

По совету одного бизнесмена я затеял издание журнала. Но чтобы организовать дело, не хватало капитала. Этот человек заинтересовался моими планами издавать журнал о здоровье и предложил создать самостоятельное издательство. Собственно говоря, такого же рода задумка была у меня, еще когда я работал главным редактором, однако на том месте претворить в жизнь мой план оказалось не так просто. К тому же из-за длительной забастовки в издатель-

стве его работники разбрелись кто куда, да и сам я уволился. После того же, как я с трудом подыскал человек десять сотрудников и открыл свое издательство, этот делец быстро умыл руки, заявив, что обеспечивать меня капиталом не может. Раньше я имел дело только с обычными людьми и теперь был совершенно ошеломлен. Я впервые столкнулся с породой людей, именуемых дельцами. Однако позволить себе долго пребывать в растерянности я не мог. Застоя в делах нельзя было допустить хотя бы ради приглашенных мной сотрудников. Я владел домом в Кинута, район Сэтагая. Дом был небольшой, однако выстроен по моему проекту таким образом, что каждый из членов семьи имел отдельную светлую комнату. Кроме того, имелись гостиная, большой холл, где я мог принимать посетителей, не беспокоя домочадцев, а также мой кабинет. Всего шесть комнат. И вот для того, чтобы собрать необходимую сумму денег, у меня не оказалось иного выхода, как заложить дом.

Я еще не выплатил полностью ссуду, взятую в банке для строительства дома, и, заложив дом в другом банке, получил заем в двадцать миллионов иен. Прибавив к этой сумме еще двадцать миллионов, собранных по подписке, я отважился начать издание журнала. Но было совершенно очевидно, что этого капитала недостаточно, и я постоянно находился в отчаянном положении из-за нехватки средств. Нарушение налаженного ритма жизни сказалось и на быте моих семей, благополучие которых до сих пор мне удавалось поддерживать.

При знакомстве с Ёсиэ я сразу же объявил, что жену ни в коем случае не оставлю. Она тоже вроде бы не стремилась вытеснить жену, занять ее место. Ёсиэ сама больше, чем я, заботилась о том, чтобы семьи не знали о существовании друг друга. «Мужчина может иметь две и даже три семьи. Таким уж создал его всевышний»,— рассуждал я и с выглядевшим со стороны несколько комичным рвением курсировал от одной семьи к другой. Ночевать у Ёсиэ я не оставался, а когда собирался уходить, все время был начеку, чтобы не сказать «иду домой». Мы условились с Ёсиэ встречаться в неделю три раза, и моя пунктуальность помогала сохранять ее душевное равновесие.

Когда я оказался в затруднительном положении с деньгами, наш уговор стал нарушаться, а вскоре я и вовсе не мог его выполнять. Жизнь моя становилась все более беспорядочной, и Ёсиэ постоянно нервничала, напрасно ожидая меня. Дела с оборотом капитала наладились только через два года.

«У любого могут наступить тяжелые времена. Главное, чтобы они не затягивались»,— твердил я как дурак, и, когда удалось пережить невзгоды, я, признаться, испытал безумную радость.

Жизнь стабилизировалась. Акико вроде успокоилась, однако раны, полученные Ёсиэ, так легко не заживали. Прежде, когда окружающие пытались уязвить Ёсиэ словами или отношением, намекая на ее положение незаконной жены, она еще была в состоянии это вынести. Теперь все смущало, волновало ее, вызывало тревогу. Ёсиэ стала недоверчивой, открыто высказывала недовольство, считала меня источником своих несчастий. А ведь моя любовь к Ёсиэ со времени нашей первой встречи была вызвана стремлением поддержать ее. Тогда двадцатидвухлетняя Ёсиэ, потерпев неудачу в браке, только что разошлась с молодым американцем. Благодаря мне она опубликовала в еженедельном журнале свои записки. С этого знакомства началась наша любовь. Ёсиэ обладала многими достоинствами, чтобы вызывать чувство любви. Она была по-детски простодушна и доверчива, имела гладкую и нежную кожу. Однажды в начале нашего знакомства Ёсиэ заставила меня прождать более часа. После некоторого колебания я отважился позвонить к ней домой. Ее мать отнеслась ко мне с полным доверием.

— Простите, но она уже более двух часов назад покинула дом. Была такая веселая, когда выходила.

Мне пришло в голову, что, может, Ёсиэ решила обмануть мать, сделав вид, будто идет на вечеринку. Мать меня совсем не знала, и ее откровенное «такая веселая» было для меня полной неожиданностью. Все же мне это понравилось. Я до сих пор не понимаю, как Ёсиэ более часа просидела тогда недалеко от меня, а я не узнал ее. Правда, она по-новому уложила волосы, высоко подняла их и стянула в узел, открыв обычно спрятанные под волосами щеки. Лицо стало узким, и внешность изменилась до неузнаваемости. Ёсиэ вела себя как ни в чем не бывало, но мне казалось, что она нуждается в утешении, чтобы пережить утрату мужа-американца. Став моей возлюбленной, она вся излучала безграничную радость. Я тоже чувствовал, что никогда не смогу уйти от сияющих, наполненных светом глаз Ёсиэ. Целый год мы встречались украдкой, сторонясь чужих взглядов, но в конце концов оба устали от таких свиданий. Я начал ходить в ее квартиру в Касуми-тё района Минато-ку. Ее маленькая квартирка, купленная родителями, когда Ёсиэ вышла замуж за американца, состояла из двух ком-

нат со столовой и кухней. Я встретился с родителями Ёсиэ и рассказал им о наших отношениях. Естественно, они решительно воспротивились нашему союзу, однако в конце концов им пришлось уступить, и они смирились. Против наших отношений были, разумеется, братья и сестры Ёсиэ. Они даже пытались нас преследовать, но Ёсиэ не испугалась. Однажды старшая сестра Ёсиэ, намереваясь нас разлучить, хотела позвонить Акико. Ёсиэ с сумасшедшей яростью набросилась на нее:

— Если ты это сделаешь, я покончу с собой перед твоим домом!

Она же, когда решилась родить Миэко, настояла, чтобы я не оформлял документы о своем отцовстве.

— Не хочу разрушать твою семью, а дочь воспитаю сама, под моей фамилией.

В то время она прочла роман одной известной английской писательницы, сочувственно описывающей женщину с подобной судьбой, и нашла в нем поддержку. Ёсиэ не принадлежала к числу особ, соглашающихся пребывать в качестве наложницы или даже просто на вторых ролях. Что бы там ни говорили окружающие, она утверждала себя как женщина, живущая настоящей любовью, и ее желание иметь ребенка — воплощение этой любви — было вполне естественно. Ёсиэ самоутверждалась посредством любви, и лишь ею она оправдывала существование дочери. Я же, думая об отчуждении, на которое Ёсиэ, а еще в большей степени ребенок обречены в нашем обществе, не то чтобы страдал, а испытывал гнетущую тоску. Предать любовь Ёсиэ я не мог и только спрашивал себя — хватит ли мне мужества? Я любил Ёсиэ и не хотел с ней расставаться. У меня не было никакого права запретить ей иметь ребенка. Отныне я должен был растить его и всю жизнь оберегать, иного выхода не было.

Вместе с тем я не мог нанести удар Акико, разрушить нашу семью. Моей целью стало поддержание благополучия обеих семей.

Теперь я бы так не поступил и, возможно, расстался бы с Ёсиэ. Я, конечно, не стал вдруг человеком, способным легко пойти на разрыв. Моя любовь к Ёсиэ не поблекла. Но сейчас, когда есть Миэко, я понял, что до рождения дочери, как бы сильно ни любил я Ёсиэ, я мог бы с ней расстаться.

Вынашивая под сердцем Миэко, Ёсиэ была безоблачно счастлива, улыбка почти не сходила с ее лица. Три раза в неделю я навещал ее, а вечером, как бы ни было поздно,

она, с огромным животом, шла провожать меня и даже бралась ловить такси.

— Ну пока! — Она поворачивала ко мне сияющее улыбкой лицо. Казалось, что никогда, ни при каких обстоятельствах не изменится выражение ее глаз, устремленных на меня с безграничным доверием.

Но когда настало время рожать, меня рядом с ней не оказалось. Я примчался в родильный дом, когда Ёсиэ уже отвезли в родильное отделение и роды уже начались. Они, по-видимому, были трудные. Из палаты торопливо, с озабоченным видом выбегали и вновь вбегали туда медсестры. Я стоял рядом, и до меня доносились распоряжения сестры-акушерки.

— Пропустите сюда мужа! — донесся срывающийся на крик голос Ёсиэ.

Через час с лишним ее перевезли в палату. Из-за красных пятен, покрывших лицо, Ёсиэ казалась неузнаваемой. Так как она родила вопреки воле родных, никто из них даже не навестил ее, чтобы помочь после родов. Несмотря на это, в палате Ёсиэ царила праздничная атмосфера. За исключением появившейся на свет девочки, ее мир был заполнен мной одним. И видя, как она счастлива, как безгранично мне верит, я любил ее еще сильнее.

До тех пор пока Миэко не исполнилось три года, жизненные бури миновали нас, но затем в моих делах начались трудности. И лишь благодаря Ёсиэ, настоявшей на том, чтобы заложить ее квартиру, мое издательство было спасено от банкротства. Кризисное положение сохранялось еще в течение года, после чего наконец дела вошли в нормальную колею. Казалось, что я смогу наладить нашу жизнь по-прежнему. Однако теперь Ёсиэ начала сомневаться в моей любви.

Когда издательские дела зашли в тупик, привычный ритм моей жизни нарушился. Для нормального образа жизни не стало хватать времени. Ёсиэ тоже понимала, что мне трудно, что работа фактически поглощает все мое время. Именно поэтому она искренне ценила те крохи свободного времени, которые мне удавалось выкроить для нее. Но я был глух к ее переживаниям. А ведь достаточно было бы окликнуть ее, нежно обнять. Да и не обнять даже, а просто ласково позвать: «Ёсиэ!» Я не придавал этому значения и ничего не замечал. Впрочем, если бы и заметил, вряд ли бы смог что-нибудь сделать, находясь в таком состоянии, когда днем и ночью из головы не выходили денежные проблемы. Обычные человеческие радости отдалились от меня.

С Акико ситуация была иной: ее любовь ко мне ничуть не изменилась. Будучи хозяйкой дома, она имела уже стабильную семью. Акико связывали со мной прочные узы, не требующие подкрепления словами нежности. А я стиль отношений, сложившийся у нас с Акико, в какой-то момент перенес на Ёсиэ, даже не предполагая, что это обострит ее тревогу. Видя, что этот стиль, несмотря на то что дела поправились, не меняется, она уверилась, что я разлюбил ее. Ёсиэ мучилась сомнениями в моей любви, а у меня не находилось для нее никаких других слов, кроме «не волнуйся, все в порядке». Я-то полагал, что Ёсиэ тревожится не из-за моей любви, а ее смущает положение незаконной жены. Однако для меня проблема нашей жизни с Ёсиэ была неразрешима — ведь если бы эту проблему можно было обойти хотя бы на какое-то время, она бы уже не существовала.

— Разве стоило бы жить, если бы на свете не было любви? Но когда она есть, можно жить невзирая ни на какие трудности. До сих пор я никогда не говорила тебе об этом. Я хочу верить в твою любовь, и я верю, правда. Но чувствовать твою любовь я перестала.— В таких словах время от времени выражала мне Ёсиэ свои сомнения. Но после нескольких дней отчужденности снова наступали светлые дни. Ёсиэ веселела, и зрачки ее глаз становились тогда светло-коричневыми. Каждый раз, встречая ее щедрую улыбку, я верил, что это я помог стать Ёсиэ прежней.

Прошло несколько спокойных месяцев. Журнал раскупался хорошо, тираж его неуклонно рос. Улучшилась конъюнктура и с договорами на рекламу. Но тут меня постигло крупное несчастье. Не знаю, как объяснить, но случилось так, что друг обокрал меня на тридцать миллионов иен. В моем крохотном издательстве заткнуть такую прореху не было никакой возможности. Сразу же начались трудности с оборотом капитала, выпуск журнала стал нерегулярным. Сотрудники один за другим покинули издательство, и в конце концов я стал выпускать журнал один. Днем мотался по городу по денежным делам, ночное время уходило на написание статей. Получалось, что я круглосуточно был привязан к работе. От такой жизни я похудел, стал хуже видеть. Дома я не ночевал, поэтому Акико часто навещала меня на работе, приносила смену одежды. Коротко рассказывала о Хадзимэ, о Дзиро, иногда о соседях, после чего сразу же возвращалась домой.

— Ну как поживаешь? — обычно спрашивал я.

— Да я ведь вдовушка. Хадзимэ зовет меня кухонно-стиральной машиной.— Акико начинала деланно-сердитым

тоном, но потом не выдерживала и весело смеялась. Я принимался подробно рассказывать о своих трудностях.

— Не надо, не надо! Можешь не рассказывать, я и слушать не хочу. Извини, что отвлекла.— И, поспешно собрав вещи, она уходила.

Когда в издательстве еще работали женщины, жена вела себя иначе, задерживалась немного поболтать. Теперь же, когда я остался один, более пяти минут не сидела. Навещая меня, держалась натянуто, поскольку мы все-таки находились в гостиничном номере, пусть даже и являющемся местом моей работы. Никого, кроме меня, в комнате не было, это создавало атмосферу какой-то секретности, что несколько смущало щепетильную Акико. Когда она уходила, я испытывал облегчение и глубоко вздыхал, словно вынырнув из воды. Почему-то приходила на память пора распускания почек на деревьях. Я изо всех сил старался воскресить запах весеннего ветра, настоянного на аромате молодой листвы.

Как-то Акико нашла в комнате редакции женский носовой платок. Жена спросила о нем сотрудниц и удостоверилась, что это не их вещь. Когда через несколько дней я вернулся домой, Акико показала его мне.

— Вот, в редакции нашла.

Я не имел никакого представления, чья это вещь. Ёсиэ ни разу не появлялась в редакции. Ясно, что платок не ее. Платок украшала ручная вышивка, и даже незнатоку было понятно, что это дорогая вещь. Скорее всего, его потеряла одна из посетительниц редакции, но у меня не было желания тратить силы на объяснения. Раздраженный, я резко бросил в ответ:

— А я что, должен знать, чей он? — и оборвал наш разговор. Спустя полдня, уже в редакции, мне внезапно пришло в голову, что я допустил непоправимую оплошность. Акико и не собиралась уличать меня. Просто у нее — и это вполне естественно — возникло желание убедиться в моей любви. Ей хотелось увидеть мою растерянность, услышать оправдания и таким образом почувствовать, что она мне не безразлична. Я вдруг, словно разгадав какую-то загадку, понял нынешнее психологическое состояние жены. И в случае с платком она лишь попыталась, правда в несколько странной форме, преодолеть наше отчуждение. Разумеется, Акико, часто заглядывавшая в редакцию, понимала, почему я ни на шаг не мог отлучиться с работы, однако все это длилось слишком долго. Если к Ёсиэ, квартира которой находилась неподалеку от редакции, я все же, пусть и нена-

долго, заскакивал, то домой не ездил целых полгода. Так что вопросы и сомнения Акико насчет платка были вполне объяснимы. А мне следовало бы отнестись к этому с бо́льшим вниманием, будь я действительно озабочен настроением Акико. Однако тогда я был слишком замотан. Денежные затруднения постоянно держали меня во взвинченном состоянии, кроме того, каждый день, борясь с усталостью, я вынужден был писать статьи для журнала. Лишенный необходимой заботы и поддержки (Ёсиэ тоже перестала заботиться обо мне), я боролся в одиночестве, задыхаясь, словно рыба, выброшенная на берег.

Вечером я пробовал, но никак не мог вспомнить выражение лица жены, замолчавшей после нашего разговора. Ведь я в тот момент даже не взглянул на Акико. Вспоминались только ее уныло опущенные плечи, когда она искала, куда бы спрятать платок. Почему я не обнял эти плечи? Почему не сказал ни одного ласкового слова? У меня возникло ощущение, что комнату заполняет серая пустота. Усталость, нервозность, бессилие все больше охватывали меня, зона пустоты становилась все шире. И, обращаясь к этой пустоте, я бессильно взывал: «Акакио!» Однако мой слабый зов не долетал даже до угла комнаты. Ну конечно же, она хотела моего участия. Но я выдохся. Сейчас у меня нет сил поднять даже словарь. Я заплакал. Слезы лились безостановочно, потоком. Даже не верилось, что в моем исхудавшем, похожем на засохшее дерево теле может быть столько влаги.

Да, весь этот год я терпел бедствие и походил на путника, застигнутого бурей в пустыне. Я сознавал, что и Акико вместе со мною шагала по этой пустыне. Однако, когда она протянула ко мне руки, прося глоток воды, я от нее отвернулся.

Только теперь я понял ситуацию, в которой оказался. Урон, нанесенный бывшим другом, не только выбил из колеи мое издательство и довел меня до разорения. Главное — прежнего меня уже не существовало. Я превратился во вспыльчивого и черствого человека. По-настоящему Акико следовало бы разлюбить меня и бросить. Ведь, хотя я понимал, что за двадцать лет супружества причинил жене немало горя, мое тогдашнее поведение было гораздо бо́льшим преступлением, чем супружеская неверность.

* * *

Наша супружеская жизнь началась в комнате размером в шесть дзё, которую я снимал, будучи студентом. На вто-

рой неделе нашего знакомства Акико перевезла свою швейную машину из общежития фирмы, где служила. Все остальное ее имущество поместилось в одном узле. Акико, как и мне, шел тогда двадцать первый год, ее отец был служащим и жил в одном из городков недалеко от Токио. Долгое время мы существовали на то, что жена зарабатывала на швейной машине, а я на мимеографе. К нашей тесной комнатушке, в которой только и умещались что стол и швейная машина, Акико долгое время никак не могла привыкнуть и часто набивала себе шишки. Соседи прозвали ее «женой клоуна». Это из-за того, что я носил огромного размера солдатские ботинки, доставшиеся мне от приятеля. Ботинки были слишком велики, пальцы в них на несколько сантиметров не доходили до носка, поэтому они приобрели странную форму и походили на башмаки клоуна. Я ни сном ни духом не ведал, что окружающие зовут меня клоуном, и узнал об этом, лишь когда Акико рассказала, как хозяйка овощной лавки обратилась к ней со словами: «Что это, думаю, не видно нашего господина клоуна? А он, оказывается, супругой обзавелся».

В своих клоунских ботинках я появлялся всюду и с Акико. Хоть я и сказал «всюду», но целью наших прогулок был букинистический магазин. Не пользуясь трамваем, я несколько остановок шел пешком. Акико всегда была рядом.

Когда мы еще только познакомились, я рассказывал Акико, что хожу в Тодай [1]. Она, даже не подозревая о существовании такого университета, считала меня служителем на маяке, и лишь однажды узнала от отца, что Тодай — название университета. Кое в каких вещах она была совсем невежественной, и все-таки именно такую Акико я полюбил.

Когда Акико в первый раз забеременела, мы решили сделать аборт. Я немало побегал в поисках врача-гинеколога, пока наконец не подыскал один роддом и отвел туда жену. После окончания операции я вошел в палату, устланную циновками, и увидел Акико, которая лежала даже не укрытая одеялом. Сквозь тонкие шторы пробивались лучи летнего солнца, было жарко, как в бане, и ее блузка прилипла к вспотевшему телу, так что одеяло, наверное, и не требовалось. Тогда в моде были нейлоновые рубашки и блузки, дешевые и прочные. На Акико тоже была блузка из нейлона, совсем не впитывавшая пота. Бормоча что-то

[1] Тодай — сокращенное название Токийского государственного университета; так же звучит по-японски и слово «маяк».

невнятное, жена пошевелила правой рукой. Ее, еще не пришедшую в себя после наркоза, видимо, мучили кошмары. Заметив это движение, я взял и сжал ее руку. Дыхание Акико сразу стало ровнее, она даже улыбнулась. Но вскоре из прикрытых глаз ее покатились слезы. Акико пришла в себя и слабо сжала мою руку. Ее лицо, на мгновение омрачившееся тревогой, засветилось улыбкой, и она смущенно посмотрела на меня. Этот взгляд я вспоминал в течение нескольких последующих недель, стоило лишь взглянуть в угол комнаты. И в дальнейшем случалось, что глаза Акико принимали такое стыдливое и в то же время мягкое выражение. Тогда мне казалось, что это приоткрывается ее душа — нежная душа Акико, всегда производившей впечатление уверенной и сильной женщины.

С Акико мне случалось оставаться наедине гораздо реже, чем с Ёсиэ, да к тому же не было теперь прежней атмосферы в наших отношениях, поэтому иногда специально при детях она говорила: «Ты, папочка, как-нибудь не умри раньше меня. Мне такое не перенести».

Случай с платком не давал возможности в полной мере судить о переживаниях Акико, однако интуитивное чувство совершенной мною тогда оплошности не обмануло. Несколько дней спустя я зашел домой, но жена хлопнула дверью, не став разговаривать. Теперь она прекратила носить мне смены белья. Видимо, Акико проведала что-то о моих отношениях с Ёсиэ. Однако, насколько хорошо она об этом информирована, я не знал. Она стала смотреть на меня как на какого-то грязного типа. Подавая еду, со стуком ставила тарелки и затем уходила в свою комнату. Так как я часто был вынужден питаться вне дома, мне очень не хватало домашней, особенно овощной, пищи. Прежде Акико проявляла особую заботу о моем меню, теперь же перестала это делать. «Домой можешь и вовсе не приходить. Лишь бы деньги аккуратно давал»,— говорила она в присутствии Хадзимэ. Я только горько усмехался, делая сыну глазами знаки: мол, естественно, мать всегда чем-нибудь недовольна. За столом Хадзимэ обычно молчал, но, как только моя пиала пустела, он сразу же вставал (даже когда рядом сидела Акико) и наполнял ее новой порцией.

* * *

Наступило 30 декабря, а я все еще никак не мог развязаться со своими делами. Нужно было побеспокоиться о праздновании Нового года, предупредить Акико, что деньги

на ведение хозяйства я смогу привезти ей не раньше 31 декабря. Позвонил Акико.

— Завтра приду домой и принесу деньги. Ты купила осьминога? Нет еще? Это даже лучше. Я сам принесу.

— А меня завтра не будет,— раздался голос жены. Мне вдруг показалось, что протянувшаяся из темноты рука сдавила мое горло. Я на мгновение лишился дара речи. Звонил я из пригорода, где находился банк, ведущий мои дела. Автомат время от времени гудел, требуя очередную монетку. Новый гудок привел меня в чувство.

— Что значит «не будет»? Ты хочешь сказать, что в Новый год тебя не будет дома? Ведь завтра Новый год! Что случилось? Куда ты собралась?

— Не все ли равно, куда я пойду,— ответила Акико, и по ее тону я понял, что она не шутит.

От волнения у меня подкосились ноги. В поисках опоры я прислонился к стенке телефонной кабины.

— Решила поехать в Хаконэ, к соседям на дачу.

— Вместе с Хадзимэ?

— Нет, он отказался ехать.

Слова вновь застряли у меня в горле. Не потому, что я не находил что сказать. Просто голова сделалась совершенно пустой. Пустота образовывалась каждый раз, когда автомат проглатывал монеты. Это очень раздражало меня.

— Ну ладно, пока.— Акико повесила трубку.

Большинство фирм еще несколько дней назад завершили дела нынешнего года, даже ссудные кассы, предоставляющие кредит под чрезмерно высокие проценты. Наступил канун Нового года, а мне еще требовалось подвести счета, раздобыть деньги на вексель, который необходимо было оплатить четвертого января. Куда бы я ни обращался с просьбой о кредите, везде получал отказ. Из-за этого, да еще из-за потрясения, вызванного разговором с Акико, я всю ночь не сомкнул глаз и к Ёсиэ смог попасть только около трех часов дня.

Я принес Ёсиэ с трудом выкроенные деньги на житье, но у меня еще оставалось одно дело — звонок от клиента, который обещал дать взаймы денег,— заставившее опять возвратиться в редакцию. Как правило, первые три дня нового года я проводил в семье, поэтому по мере приближения праздника настроение Ёсиэ начинало падать. Хорошо понимая ее состояние, я пытался найти время, чтобы хоть конец года провести с Ёсиэ не торопясь. Но вот даже этого не получилось.

Взглянув на меня, спешившего с Миэко в универмаг,

чтобы купить ей игрушку, Ёсиэ с мрачным выражением лица начала запихивать мою одежду в бумажный пакет. Сразу после универмага я намеревался отправиться домой. Хотя я заранее предупредил Ёсиэ, что Новый год, как обычно, проведу в семье, настроение у нее было подавленное.

Я вышел в коридор. Из полураскрытого окна виднелся соседский сад. Ожидая, когда выйдет Ёсиэ, я любовался рано зацветшей сливой, усыпанной белыми цветами. Миэко потянула меня за рукав.

— Папа, покатай меня на плечах!

Но Ёсиэ накинулась на нее:

— Перестань, Миэ! Папа устал.

В глазах дочери, смотревшей снизу вверх, еще некоторое время теплилась надежда — вдруг папа все-таки покатает? Но больше просить Миэко не решилась. Ее обращенное ко мне лицо светилось искренней любовью. «Совсем как взрослая»,— подумал я, глядя на ее улыбающуюся мордашку. В последнее время у нас повелось, что Миэко, когда я собирался уходить, подбегала проститься со словами: «Папа, купи мне куклу Рика-тян». Дочь вовсе не клянчила, так как была уверена, что просьба ничуть для меня не обременительна и легко выполнима. А я из-за нехватки времени все никак не мог сделать эту покупку. Постепенно в голосе дочери, регулярно напоминавшей о кукле, исчезли просительные нотки. Разговор о кукле превратился в своеобразное приветствие. Миэко к месту и не к месту произносила свое: «Папа, купи на этот раз Рика-тян», и, хотя она понимала комичность ситуации, ей было приятно видеть эффект, производимый этой фразой. Ведь я, услышав эти слова, сникал, и все чувства, овладевавшие мной,— страдание, отчаяние, мольба, раскаяние — разом проступали на моем лице. Дочка радовалась магической силе своих слов, для меня же слово «Рика-тян» стало ассоциироваться с чем-то мучительным.

И вот наконец сегодня я смогу выполнить свои обещания. Мне захотелось посадить Миэко на плечо. Поставив в сторонке портфель, я начал медленно ее поднимать. Однако поднять пятилетнего ребенка у меня не хватило сил. Не чувствуя уверенности в своих ужасно ослабевших руках, на вторую попытку я уже не отважился, а посадил дочь к себе на плечо, присев на корточки. Попытался встать, но ноги не слушались меня; а когда я хотя и с трудом, но все же начал подниматься, Миэко в этот самый момент навалилась тельцем мне на голову, центр тяжести сразу же

переместился вперед, и я не смог сохранить равновесие. Падая вперед, я старался как можно более плавно опуститься на колени. Мне потребовалось собрать все силы, чтобы не ушибить ребенка. Отлетевшая в коридор Миэко, к счастью, не пострадала. Она испуганно обернулась ко мне, но даже не заплакала, а только сказала:

— Извини, папа. Я хотела покататься у тебя на плече, но ты, папа, устал. Извини.

— Вот именно! — накинулась на нее Ёсиэ.— Все в порядке? — Она протянула мне руку.— Папа совсем не спал, и напрасно ты к нему пристаешь.

— Совершенно выдохся,— сказал я, чтобы посмотреть, как на это прореагирует Ёсиэ.— Да к тому же и питаюсь как придется.

— Но в Новый год ты ведь сможешь отдохнуть как следует, не так ли? — проговорила Ёсиэ и нахмурилась. Каждый раз с приближением Нового года ею овладевало грустное настроение, но сейчас в тоне ее голоса сквозила ирония.

* * *

— Мит-тян, а не купить ли нам вон те апартаменты? — Я показал на не особенно дорогой, но казавшийся роскошным игрушечный гарнитур, состоящий из кухни, стиральной машины, кровати с комплектом белья и одежды. Я догадался, что Миэко хочется именно его: она не сводила с него глаз.

— Это? — Миэко удивленно повернулась ко мне. Затем, опустив глаза и ответив тихо и нерешительно «да», она бросила беспокойный и вопрошающий взгляд на мать. Подошла Ёсиэ.

— Отец, можно ведь и не покупать такой дорогой подарок! Во́на! Целых три тысячи восемьсот иен стоит! Миттян, выбери что-нибудь подешевле,— начала она увещевать Миэко.

— Ну перестань, Ёсиэ. Возьмем это.

Я поставил портфель на пол у прилавка, взял громоздкую коробку и, лавируя в людском потоке, стал пробираться к кассе, оглядываясь и проверяя, стоит ли на месте портфель.

Я проводил их до конечной станции государственной железной дороги. Ёсиэ все время выглядела задумчивой. Когда я взял ее за руку, оказалось, что в ладони у нее были зажаты монеты на билет.

— Что, уже приготовила?

Ёсиэ, промолчав, пристально посмотрела мне в глаза. На ее бледном лице наметилось некое подобие улыбки, но она так и не улыбнулась, словно окаменела. Я, не в силах вынести ее недоверчивый взгляд, отвел глаза и, продолжая ощущать на себе этот взгляд, почувствовал, что теперь и мое лицо застыло.

При расставании я с напускной бодростью и веселостью обнял Ёсиэ за плечи и, словно влюбленный после второго свидания, погладил ее по спине.

— Ёсиэ! Ну, будь здорова!

Тут, обежав мать сзади, высунулась Миэко:

— Папа! Спасибо, что купил для Рика-тян дом. Папа, будь молодцом. Я тоже постараюсь.— И она звонко чмокнула меня в губы. Только теперь расстроенная и хмурая Ёсиэ улыбнулась.

— Можешь идти, отец. Все в порядке.

Проводив взглядом Ёсиэ, которая, уныло опустив плечи и держа за руку Миэко, скрылась в темноте платформы, я направился к входу в метро. Домой вернулся уже поздно вечером. Мне еще недоставало денег, чтобы оплатить вексель к четвертому января, но в запасе было по меньшей мере три дня, и я радостно предвкушал: высплюсь как все нормальные люди.

* * *

Один в совершенно холодном доме, Хадзимэ лежал, укутавшись, в постели и рассеянно глядел в потолок. Вокруг валялись книги, свитер, конверты от грампластинок, так что некуда ногой ступить. И на столе книги образовали готовую вот-вот обрушиться гору.

«Что ни говори, а стол у него все равно маловат»,— подумал я. Стол был довольно длинный, но узкий. Когда Хадзимэ перешел учиться в среднюю школу, я отдал ему свой — правда, это был всего лишь вмонтированный в стену стол типа секретера. Этой весной Хадзимэ провалился на вступительных экзаменах в университет, и стол-секретер ему заменили этим длинным. Чувствуя себя виноватым в том, что Хадзимэ в течение нескольких лет занимался за узким, неудобным столом, я хотел отдать ему свой широкий стол, но он категорически отказался.

— А твой стол можно снова поставить ко мне. Ведь я мало бываю дома. За узким столом тебе неудобно заниматься,— уговаривал я, но Хадзимэ резко ответил:

— Нет. Оставь этот. Я провалился не из-за стола.— Хадзимэ, прежде никогда отцу не перечивший, впервые так резко отверг мой совет. В глубине души обидевшись, я, уходя из дома, все же сказал Акико, чтобы столы переставили. Но когда я снова появился дома, они стояли на прежнем месте.

— Почему не передвинули?

— Он сказал, что ему и так хорошо, и не дал мне их переставить.— В голосе Акико слышалась ирония. Но я, кажется, разгадал истинную причину отказа сына. Он, конечно, знал, что я, с тех пор как основал собственное издательство, совсем перестал работать дома. Именно поэтому и не хотел забирать стол из моей комнаты.

— О-о! Директор! Добро пожаловать! — Удивленный Хадзимэ вскочил с постели. Он звал меня директором.

В комнате Хадзимэ я обратил внимание на картину в рамке, висевшую на стене перед письменным столом. На ней был изображен девиз синсэнгуми [1] — «Истина». Приглядевшись как следует, я понял, что это вышивка. Наверное, у Акико ушел не один месяц на то, чтобы стежок за стежком вышить это. Прежде сын увлекался романами Сиба Рётаро [2] и щеголял им самим изобретенными словечками в духе диалектов провинций Тоса или Сацума, а сейчас в явном противоречии с этим вдруг стал приверженцем синсэнгуми. Эта картина с девизом «Истина», во всяком случае, поведала мне о многих неизвестных мне часах, проведенных Акико с сыном.

— Что-нибудь поешь? — Услышав громкий голос Хадзимэ, донесшийся из гостиной, я вышел из его комнаты.— Акико что-то там приготовила.— С этими словами он извлек из холодильника сырую рыбу, приправленную уксусом с сахаром, и батат, сваренный в соевом соусе.

— А у меня осьминог.

Я крупно порезал купленного мною осьминога, приправил его уксусом.

— В этом году, видать, будем питаться одними осьминогами.

— Есть еще и моти [3].

— Пиво будешь?

---

[1] Синсэнгуми — вооруженные отряды противников революции Мэйдзи (1867), вождями которой были в основном представители самурайских кланов Тоса и Сацума.

[2] Сиба Рётаро — автор популярных исторических романов.

[3] Моти — рисовая лепешка.

— Еще бы! Блеск!

Я не мог взять в толк, из каких побуждений Хадзимэ в общении со мной стал употреблять словечки типа «блеск», модные у спортсменов и болельщиков. Ростом Хадзимэ был выше Дзиро, вымахал за сто восемьдесят, но худощав и с плоской как доска грудью. Спортом он не увлекался и со спортсменами особенно не дружил.

— А все-таки весело тогда было,— проговорил Хадзимэ каким-то неестественно бодрым голосом. Он, похоже, тотчас захмелел.

— Это когда же?

— А когда на Новый год мы всей семьей путешествовали. Побывали в Осака, Киото.

— Ах, тогда? Верно. Тебе было лет шесть.

— Весело провели время.

— Хм, вот как? Неужели так весело? — Я был поражен.— Ведь мы ехали тогда в ужасной тесноте и немало натерпелись.

— Да, вроде бы так.

— В переполненной электричке добрались до Осака, а дальше, до Киото, решили ехать на машине, но оказалось, что шоссе совершенно забито. Кое-как дотащились до Киото, потеряли немало времени. И на обратном пути тоже была давка.— Но Хадзимэ, видимо, этого не помнил.— Ты что, забыл? А храм Сандзюсандо [1]?

— У меня почему-то в памяти осталось только ощущение радости. Нет, точно,— проговорил Хадзимэ и раскатисто расхохотался.

Зато мне запомнились только автомобильные пробки. Именно я предложил поехать всей семьей, но нам пришлось пережить немало трудностей, и в памяти не осталось ничего, кроме раздражения и досады.

— Вот уж не ожидал! Ведь тогда и у вас всех были хмурые лица.

— Хм.— Хадзимэ с непроницаемым видом потягивал пиво.

— И все же, неужто было так весело? — переспросил я и вздохнул.

— Конечно, весело.

— А разве поездка в Синсю не получилась более приятной, чем та? Это было тоже в новогодние праздники. Снег шел.

---

[1] Сандзюсандо — один из знаменитых храмов Киото, в котором стоят тысяча деревянных будд.

Хадзимэ налил мне пива, а я в свою очередь наполнил его стакан. Он сразу же осушил его. Я подлил ему еще.

— А не помнишь, как мы под зонтиками ходили на горячие источники?

— Да, припоминаю.

— Дзиро был тогда совсем маленьким. У него из-под зонта только ноги едва выглядывали, и сзади казалось, что шагает один зонт. Все от умиления смеялись.

— Да-да.

— Выпьешь еще?

— Угу.— Хадзимэ мог, видимо, пить сколько угодно.

— Я... Я чувствую себя виноватым перед тобой, отец,— вдруг начал Хадзимэ. Я заметил, что глаза его увлажнились, словно он вот-вот заплачет. Нет, он и в самом деле плакал.— Сейчас не такие времена, чтобы мне жить нахлебником. Ты выдержишь, не умрешь, директор? — Глазами, полными слез, сын смотрел на меня в упор. Его губы, мокрые то ли от слюны, то ли от пива, мелко дрожали.— Я понимаю, как тяжко приходится нашему директору. До сих пор мы жили, ни в чем не зная нужды.— Хадзимэ опустил сжатые в кулаки руки. Его широкие и прямые, как доска, плечи напряглись.— Если ты, директор, сейчас умрешь, на мне останется неоплаченный долг за твою доброту. Я не хочу твоей смерти. Мне нужно только одно — чтобы ты жил. Мне довольно и этого. Если издательство потерпит крах, я восстановлю его. Только нужно, чтобы ты дожил до тех времен.

Я внимательно глядел на мелко вздрагивавшие плечи сына. Меня удивило, что он произнес слово «смерть», которое я не только выговорить, но и в мыслях держать боялся. Ведь я полагал, что Хадзимэ ничего не знает о моих делах.

— Если бы только Акико немножко больше понимала тебя. Вот что печально,— произнес тихо Хадзимэ.

Мы с сыном намеренно избегали говорить об Акико. Мне казалось, что он, видевший ежедневно, как одинока Акико, не может упрекать мать за ее неожиданное решение — уехать в Новый год на чужую дачу. Проскользнувшее в его словах осуждение, хотя и сдержанное, потрясло меня до глубины души. Акико ни словом, ни намеком не дала знать Хадзимэ о моей связи с другой женщиной.

* * *

В первый день нового года пришел Дзиро. После поступления в школу сумо он появлялся в родительском доме

только раз в году — в Новый год. Он с нерешительным видом топтался в прихожей. На нем было темно-синее кимоно в белую крапинку, коричневато-зеленого цвета пояс завязан сбоку, красиво уложенные в пучок волосы блестели и казались мокрыми.

— Поздравляю! — Даже голос его стал хриплым, как у борца.

— С Новым годом! Мамы нет дома. Проходи скорее.

— Куда же она ушла?

— Уехала на дачу к соседям,— ответил я с невозмутимым видом.— Эй, Хадзимэ! Дзиро пришел! — крикнул я, повернувшись к внутренним покоям.

— Привет! — громко поздоровался прибежавший Хадзимэ. Дзиро пошел в свою комнату. Он осмотрел, потрогал руками книги, письменный стол и другие вещи, оставшиеся на своих прежних местах, затем вернулся в гостиную, встал с рассеянным видом около стола, на котором стояли тарелки с едой.

— Садись. Может, поджарить моти?

— Не надо. Моти я уже ел у себя в общежитии.— Усевшись за стол, Дзиро спросил: — А не найдется ли кинтона [1] с каштанами? Признаться, я шел домой, предвкушая его отведать.

— Нет, наверное.— Хадзимэ стал шарить в холодильнике.— На самом деле нет,— сказал он и извлек из холодильника нарутомаки [2].

— Ты с детства любишь это кушанье из каштанов.

Дзиро с необычайной медлительностью начал есть нарутомаки. Только его манера есть ничуть не изменилась. Он походил на животное, монотонно поглощающее пищу. Нет, скорее на машину, запущенную в замедленном темпе. Руки его двигались с точно выверенной скоростью, и только иногда, нарушая этот ритм, он подцеплял кусок рыбешки, варенной в сладком маринаде, и отправлял его в рот.

Прежде немногословный Дзиро теперь стал необычайно искусным рассказчиком. После каждого его красочного описания раздавался взрыв хохота Хадзимэ. Он говорил не только о товарищах по общежитию, но и о знаменитых борцах, при этом, комично подражая их голосу, разыгрывал целые сценки, вызывая неудержимый смех у брата.

---

[1] Кинтон — размятый батат с бобами или каштанами.

[2] Нарутомаки — трубочки из рыбного фарша с приправами.

— Да ну? Серьезно? — переспрашивал Хадзимэ и, переводя дух, снова заходился от хохота.

Дзиро пробыл дома часа два. Когда он собрался уходить, я протянул ему деньги на карманные расходы.

— Благодарствую,— проговорил Дзиро, принимая деньги. Даже в его жесте, когда он брал деньги, проглядывал настоящий борец сумо.

* * *

Я вернулся в проход, ведущий к ложам. У меня был билет на стоячие места в бельэтаже, но служащего, который мог бы сделать мне замечание, не было, и я уселся поближе к круглому помосту. Состязания уже начались. И вышедшие на помост, и сидевшие в ожидании борцы казались удивительно тщедушными. При виде их я почему-то почувствовал удушье и несколько раз сделал глубокий вдох. Свет, падающий сверху, ярко освещал плечи судьи; его массивная спина отбрасывала черную тень. Совсем как выступающая скала, о которую разбиваются волны. Судья возвышался точно столб, подпирающий свод зала Кокугикан, и это, конечно, рядом с ним молодые борцы выглядели тщедушнее, чем они были на самом деле. Я вытащил фотоаппарат и, приготовившись к съемке, с участившимся от волнения дыханием начал наблюдать за борцами. Чередой проходили перед моим взглядом уродливые, бесформенные тела — как груда хлама, извлеченного из темной каморки. Молодые борцы, изнуренные жестокими тренировками, настолько худые, что по ним можно изучать скелет; или, наоборот, излишне раскормленные, с выпирающими телесами. Они вызывали чувство жалости. Я обратил внимание на одну удивительную вещь. Борьба проходила в полном безмолвии, если не считать голоса ёбидаси [1], объявлявшего имена борцов, а также голосов рефери и диктора. Борцы сближались молча, без выкриков, будто затаив дыхание. Были слышны лишь глухие удары при столкновении тел. Действительно, странный и страшный мир. Юношеский голос ёбидаси, тонкий, как рыбья кость, произносит нараспев имена борцов. С одной стороны поднимается на помост жалкая фигура, смахивающая на общипанную курицу. Яркий свет прожектора выхватывает из темноты изуродованное жестокими тренировками тело. Выпяченные губы

[1] Ёбидаси — глашатай, возвещающий о выходе на помост борцов во время соревнований по сумо.

плотно сжаты. Зубы стиснуты. Уставившиеся в одну точку глаза. Кажется, что этот взгляд, устремленный в пространство, пронзает потолок. Навстречу медленно движется грузный толстяк. Его маленькие глазки тоже смотрят в одну точку. Две линии взглядов перекрещиваются и пронзают друг друга. Два тела молча сближаются, молча сталкиваются. Я думал, что худой в одно мгновенье вылетит за круг, однако он упорно держится у самого края помоста. Высохшее, словно дерево, напоминающее скелет из какого-то фантастического фильма, это тело борется. Трудно понять, какими законами механики удерживается равновесие между телами, одно из которых в два раза тяжелее другого. Просто не верится, что их силы равны. Тем не менее равновесие налицо. Я вдруг понял, что это и есть настоящая борьба. Она, как в настоящей драке, проходила безмолвно. И вот, когда мне начинает казаться, что борцы навсегда застыли в неподвижности, оба вдруг падают. Конечно, низкорослый и худощавый оказывается внизу. Тяжеловес медленно приподнимается. Обвитый телом худощавого, он скользит, падает за край помоста вниз. В зале Кокугикан слышится стук от сильного удара черепом о пол.

Кожа у всех борцов тусклая, лишенная блеска — цвета грязи, смешанной с пеплом. Мне невольно припомнился цвет кожи Дзиро. Насколько он, должно быть, приятнее! Однажды, когда мы с Дзиро ходили в баню, я был просто поражен. Хадзимэ тоже был с нами, и я смотрел на них, сравнивая. У обоих мальчиков, конечно, была гладкая детская кожа, но все же как они отличались! У Хадзимэ цвет кожи был здоровый, но кожа Дзиро была так красива, что притягивала взгляд. Персикового цвета, подсвеченная изнутри током крови, она была эластичной, гладкой и казалась мне воплощением совершенной красоты человеческого тела.

Тут я обратил внимание на перемены, происходившие на помосте. Взамен борцов с дряблыми складками на теле появились более плотные и крепко сбитые спортсмены. Судью и ёбидаси тоже сменили новые — настоящие великаны. Подошел черед Дзиро, и он поднялся на помост. К моему удивлению, цвет тела у сына сейчас тоже был какой-то землистый, точно его припорошили пеплом. Приподняв слегка правое плечо, покачиваясь вправо и влево, плотно сжав рот с выпяченной нижней губой, Дзиро величественно шагал по проходу. Несмотря на осанку, он казался маленьким и худощавым. Его противник, наоборот, был хорошо упитанный тяжеловес. Чем дольше я смотрел на

него, тем сильнее он мне казался. Когда объявили Дзиро, я засуетился, приготовившись снимать. Через видоискатель я пристально следил за движениями сына: как, стоя у края помоста, он повернулся к зрителям, как поднял руку, затем другую. Когда он, расставив ноги и выпятив грудь, медленно поднимал руки, выступили ключицы. В тот самый момент, когда Дзиро атаковал противника, я нажал на спуск. Однако снять последующий фрагмент схватки уже не успел. Движения Дзиро были слишком стремительными. В следующее мгновение я увидел медвежью спину противника. Он заслонил собой Дзиро, который изо всех сил старался удержаться на ногах, чтобы не быть вытолкнутым за границы помоста, мне видно было только изогнутую, словно лук, спину Дзиро. Корпус «медведя» начал медленно поворачиваться. Его тело не помещалось в моем видоискателе, и в тот момент, когда мне показалось, что они поменялись с Дзиро местами, я вновь нажал на спуск. Однако еще раньше их фигуры исчезли из моего поля зрения, ограниченного рамками видоискателя. Поэтому я так и не увидел конца схватки. Кто же все-таки победил? Кажется, проиграл Дзиро, ведь его слабый бросок не имел эффекта. Когда объявили победителем «медведя», я сразу же покинул свое место.

Около скамеек перед гардеробом, где переодевались борцы, сновали несколько пожилых женщин деревенского вида. Я присел на край скамейки и стал рассеянно наблюдать за их суетой. Женщины были низкорослы, как школьницы, лица сморщенные, похожие на сушеную редьку. Держа в руках матерчатые сумки, они носились по коридору Кокугикана, словно наседки, мечущиеся по крестьянскому двору. Одна из женщин приоткрыла дверь гардероба и заглянула внутрь. Видимо, кто-то из борцов в этот момент переодевался и был совсем голый — женщина вскрикнула: «Ах!» Заинтересовавшись, я поднялся со скамейки и, тоже заглянув в раздевалку, опешил. Перед дверью стоял Дзиро. Он как раз завязывал пояс купального халата и, кажется, перебрасывался шутками с другим борцом, который был мне не виден. Глаза Дзиро превратились в узкие щелки, сын смеялся.

При виде его улыбающегося лица мне припомнился один телефонный разговор с приятелем по работе. Он был просто помешан на сумо и даже подружился с гранд-чемпионом.

— Я хочу поговорить с тобой о Дзиро. Он перестал прибавлять в весе,— заявил друг. Он был знатоком мира сумо,

поэтому даже о весе Дзиро был осведомлен лучше меня.— Если твой сын не наберет в весе, то, как бы быстро он ни двигался на помосте, ему не победить. Думаю, что сейчас для Дзиро это самое главное. Ему уже девятнадцать лет. Если он сейчас не потолстеет, то все будет напрасным.

— Наверное, ты прав.

Друг молчал. Интуитивно уловив, что сейчас вот-вот будет произнесено что-то неприятное, я тоже ничего больше не говорил.

— В некоторых школах сумо борцам не дают читать никаких книг, кроме комиксов, чтобы они ни о чем не задумывались. Дело в том, что, как только борцы начинают читать серьезные книги в твердых переплетах, на них это сразу же сказывается. Если у борца появляются переживания и страдания, он тем более не сможет потолстеть.

— Правда? Я как-то не думал об этом.

— Дело здесь очень тонкое. Посмотри на борцов сумо. Большинство из них только и делают, что лежмя лежат, как кули с картошкой. А Дзиро-тян, вероятно, живо на все реагирует. Семейные дела... И с тобой, отцом, он в определенный период не мог общаться. Сейчас-то вы хоть встречаетесь?

— Да, когда я снял комнату в Асакуса, сын однажды зашел посмотреть, как я живу.

— Хорошо, что тебе удалось снять жилье в Асакуса. У сына настроение, наверное, изменилось, не так ли? Сейчас и ты живешь недалеко от его общежития, и Кокугикан под боком. Ты, видимо, потому и выбрал район Асакуса. А в Кокугикане бываешь?

— Нет, это как-то...

— Хорошо бы тебе все-таки появляться там. В таких случаях борец проводит схватку в приподнятом настроении. Наверняка Дзиро-тян будет рад.

— Вот как? А я считал, что, наоборот, будет хуже. Он будет отвлекаться, думая о моем присутствии в зале, и может проиграть.

— Что ты! Напротив. Я тебе настоятельно советую ходить на выступления Дзиро. По-моему, у него сейчас самый важный период.— Приятель запнулся, на минуту умолк.— М-да,— начал он с трудом.— У Дзиро-тян всего лишь среднее образование. Мне кажется, что он задумывается о том времени, когда придется оставить сумо. У твоего сына больше поражений, чем побед, поэтому и разряд один из низших. Уверен, что старшие коллеги заводят с ним разговор о будущем. Нужно, чтобы и родные проявили

заботу о нем. Повторяю, сейчас у Дзиро очень важный момент. Если он безо всяких перспектив будет продолжать заниматься сумо, то заведомо окажется в еще более неблагоприятном положении, когда вернется в обычную среду. Как ты думаешь, не спросить ли об этом у самого Дзиро?

Я поблагодарил приятеля за предостережение и оборвал разговор. Но мне не хотелось беседовать с сыном о необходимости покинуть сумо. Это, пожалуй, только поколеблет его, а пользы никакой не принесет. К тому же сейчас в материальном плане я ничем не мог ему помочь.

В прошлом году из-за неуплаты по векселям четвертого и двадцатого января мое издательство обанкротилось. Это случилось вскоре после того Нового года, когда Хадзимэ катался по полу от смеха. Поэтому я и стал снимать комнату в Асакуса, правда не сразу после банкротства, а с весны нынешнего года.

Разорившись, я сразу же попал в тяжелое положение. Средств на жизнь не было. Уже на другой день после банкротства ко мне не замедлили явиться несколько типов отталкивающей внешности. Они осаждали мой дом так, словно вознамерились поселиться в нем. Кредиторы требовали уплаты долгов, но в тот день у моей семьи не было даже денег на еду.

— Глава любой фирмы, когда дело идет к банкротству, заранее заботится о том, чтобы его семья хотя бы некоторое время не бедствовала.— Разумеется, кто-то уже постарался из сочувствия к Акико внушить ей эти обывательские «здравые рассуждения». Впрочем, слова жены были вполне естественны при том бедственном положении, в котором мы оказались. Но я бросил в ответ:

— А вот я не умею. Да и поступают так, пожалуй, только опытные дельцы.

Тогда мне не оставалось ничего иного, как скрыться, пока не успокоятся кредиторы. Пришлось жить у Ёсиэ, но, поскольку ее существование держалось в тайне, я даже Акико не мог сообщить о своем местопребывании. Я все пытался выкрутиться и возродить издательство. Обратился с просьбой о деньгах к одному однокашнику, с которым лет двадцать не встречался, закончил одну рукопись, принесшую кое-какой доход. Кредиторы снимали осаду только в воскресенье, и в этот день я обычно навещал семью, а в понедельник возвращался к Ёсиэ. Так и текла моя жизнь, неделя за неделей, жизнь, в которой я потерял опору и оказался как бы повисшим в воздухе. Прошло несколько ме-

сяцев. Я горел нетерпением наладить быт, но выход был один — найти твердый заработок.

Хадзимэ поступил в институт. Он сдавал экзамены поочередно в три института. В первый провалился, в другой требовалась плата за вступительные экзамены, причем деньги нужно было внести до объявления списка поступивших. В третьем нужно было платить даже до начала экзаменов. В конце концов Хадзимэ пришлось держать экзамены куда-то еще. Когда я осведомился у сына о его намерениях, он заявил, что в институт его приняли, а деньги уже внесены и больше не требуется. Акико подыскала себе место официантки в японском ресторане и стала работать, чтобы иметь хоть какой-нибудь доход. Кроме того, ей, видимо, стало кое-что известно о Ёсиэ. Жене было необходимо отвлечься от тревожных мыслей о том, сколько же будет продолжаться подобная жизнь, а также спастись от настойчивых кредиторов.

Как-то Акико завела разговор о скопившихся банковских счетах и квитанциях из районного налогового управления. Я вспылил:

— У нас вопрос стоит о жизни и смерти! А банк и налоговое управление не разорятся. Их дело требовать, у них подобных проблем нет. Нам ведь жить надо. Не плати никому и все, что я приношу, трать на еду.

Однако давал я всего лишь сто тысяч иен в месяц. Мы очень нуждались. Однажды, вернувшись домой, я увидел на столе записку, оставленную Акико. *«Газ, водопровод, телефон, страховка, газеты, химчистка, взносы на пенсию, расходы на Хадзимэ и Дзиро. Только на это требуется в месяц сто сорок — сто пятьдесят тысяч. На сто тысяч прожить невозможно. Если денег на жизнь еще долго не будет, надо переезжать в маленькую квартиру. На Дзиро в месяц уходит тридцать тысяч, банковские счета — восемь тысяч, налоги — пятьдесят, питание, повседневные мелочи, обучение Хадзимэ — сто пятьдесят тысяч».*

Ёсиэ также бедствовала. Ее квартира была заложена под высокие проценты. Из-за того, что я скрывался от кредиторов и не мог быстро сколотить необходимую сумму денег, становилось все более вероятным, что квартира пойдет с молотка. Я не видел возможности воспрепятствовать этому, и, конечно, это стало источником наших душевных терзаний. Поистине, мы были на грани жизни и смерти. Занимать деньги у друзей можно было лишь до поры до времени — с некоторых пор они стали смотреть с откровенной неприязнью. Когда обращаешься к человеку, зная, что у

него есть деньги, а он отказывает тебе, во второй раз просить уже не хочется. Однако я считал: по сравнению с теми трудностями, что мне пришлось вынести, когда я один безвыходно сидел в своем издательстве, нынешние муки вполне терпимы. Действительно, несмотря ни на что, мое здоровье восстанавливалось. Что касается возрождения издательства, то, хотя переговоры с денежными тузами шли нелегко, все же постепенно на мои книги начали поступать заявки. Я называю их книгами, но это были всего лишь брошюры по вопросам здоровья и питания. Мои штудии в те времена, когда я один выпускал журнал, сейчас мне пригодились.

Неделю за неделей я жил у Ёсиэ. Положение Ёсиэ было лучше, чем Акико, даже не знавшей моего места жительства. Казалось бы, теперь ее беспокойство должно уменьшиться, но в действительности все было наоборот. Живя бок о бок со мной, Ёсиэ вынуждена была все время терпеть мою раздражительность. Остро реагирующая на выражение моего лица, Ёсиэ буквально задыхалась, постоянно видя мою мрачную озабоченность. Ее желание не связывать меня проявлялось таким образом, что я чувствовал себя скованным по рукам и ногам. Как только она догадывалась о моем намерении выйти из дома, лицо ее покрывалось голубоватой бледностью и застывало, словно отлитое из бетона. Трагизм положения усугублялся тем, что моя нервозность была вызвана не только отсутствием денег, но и тревогой, что Ёсиэ все крепче привязывает меня к себе. Я думал об Акико, терпящей нужду, и нервничал из-за того, что никак не могу заработать достаточную сумму денег. Каждый прошедший день, увеличивающий, как казалось мне, тревогу Акико, умножал и мою тревогу. Меня одолевало нетерпеливое желание заглянуть домой, но я, связанный Ёсиэ, не мог свободно пойти туда. Из-за этого у меня начала возникать глухая неприязнь к ней. Однако Ёсиэ воспринимала ее как мою обычную озабоченность. Она и предположить не могла, что опасное равновесие может когда-нибудь рухнуть. За исключением отлучек по делам, выйти из дома просто так, скажем на прогулку, я совершенно не мог. Она не отпускала меня даже на полчаса. Из-за того, что один день в неделю я проводил дома, настроение Ёсиэ накануне и после моего посещения семьи портилось. В результате половину недели она ходила со страдальческим выражением лица. В конце концов мои визиты домой сделались невозможны. Хоть таким образом я старался не убивать ее. Если же все-таки приходилось идти по делам и я звонил из

города Ёсиэ, дома ее обычно не оказывалось. Видимо, как только я выходил, она исчезала вслед за мной. «С твоим уходом сам воздух, кажется, улетучивается из комнаты,— объясняла потом Ёсиэ.— Я начинаю задыхаться. Кроме того, сюда не заглядывает солнце, а сидеть одной в мрачном помещении так тоскливо».

Когда Ёсиэ выбиралась в город, она не имела денег даже на то, чтобы где-нибудь перекусить. Я совершенно не представлял, где она бродит. Дома ее не оказывалось все чаще, и вечерами Миэко, заждавшись мать, начинала плакать, при этом лицо дочери принимало выражение, разительно отличавшееся от обычного. Я поражался — неужели человеческое лицо в состоянии так сильно меняться? Нижняя губа Миэко, словно обладавшая способностью беспредельно растягиваться, отвисала и, казалось, выражала саму печаль. Я брал дочь на руки и каждый раз, когда она всхлипывала в моих объятиях, утыкаясь головой в подбородок, испытывал невыносимую боль и еще сильнее прижимал ее к своей груди. Наконец Ёсиэ возвращалась домой. От нее пахло вином.

— Что, чуешь запах? Встретила подругу, вот и заболтались.— Ёсиэ как будто оправдывалась, хотя я ни о чем не спрашивал. Потом она впадала в истерику, ее начинала бить дрожь, которая пугала меня более всего. Дрожь доходила до конвульсий. Я видел, что это опасно — оставался один лишь шаг до безумия, и поэтому еще более сократил выходы из дома. Купил письменный стол, чтобы в уединении работать над рукописями. Надеясь получить наконец солидный гонорар, забросил брошюры и взялся писать фундаментальную книгу о здоровье, основанную на новейшей американской науке о питании. Однако этим я только усугублял трудности своей жизни.

* * *

Это произошло год спустя после банкротства — в начале февраля нынешнего года. После некоторого перерыва я зашел домой. Акико не было, она ушла на работу. На столе лежал незапечатанный конверт. Так как жена обычно оставляла для меня толстые пакеты — извещения из суда о привлечении к принудительному исполнению или же требования об оплате счетов,— я сразу же подумал, что бы это могло быть на сей раз? Со странным волнением в груди на всякий случай заглянул в конверт. Оттуда выпал один листок. В верхней его части шрифтом, показавшимся мне

мелким, было напечатано: «Заявление о разводе», дальше следовало изложение соответствующих формальностей, разбитое по параграфам. Все они были уже заполнены рукой Акико. Мне оставалось только поставить свою подпись и личную печать. В графу, где указывалась дата бракосочетания, Акико вписала не число подачи заявления о браке, а тот день, когда мы двадцать четыре года назад начали совместную жизнь,— дату, которую я сам, пожалуй, не смог бы вспомнить.

Какое-то время я стоял совершенно ошеломленный. Но не потому, что мне так внезапно сунули под нос этот бланк. Просто вся боль, не отпускавшая меня ни днем, ни ночью, разом выплеснулась наружу. До сих пор я жил с сознанием неизбежности своего пути, где не оставалось места для какого-либо выбора. Сейчас я был поставлен перед лицом иной, все спутавшей реальности. Все вдруг стало неопределенным и неясным, словно окутанным туманом. Неподвижно и бездумно сидел я за столом, погрузившись в оцепенение.

Просидев так несколько часов, я написал Акико письмо, в котором советовал ей еще раз все обдумать, и вместе с заявлением о расторжении брака оставил его на ее столике. Потом вышел из дома и отправился к Ёсиэ.

* * *

Чувствуя себя обнаженным под пристальным взглядом Ёсиэ, я продолжал притворяться, что сплю. Чтобы не видеть ее глаз, хитрил, пытаясь даже имитировать сонное дыхание. Я надеялся, что тем временем и в самом деле усну. Однако и при закрытых глазах под веками мельтешили светящиеся точки. Сон никак не приходил.

— Положи-ка руку сюда. Хоть на минуточку.

— А-а, да...

Сделав вид, что только сейчас проснулся, я положил руку на грудь Ёсиэ. Затем обнял ее, легонько шлепнул по спине и снова убрал руку. Ёсиэ вся съежилась, робко прижалась ко мне и, спрятав лицо на моей груди, закрыла глаза. Я тоже смежил веки, подавляя в себе раздражение. «Хоть сегодня оставила бы меня в покое. Бывают же моменты, когда человеку хочется побыть одному». Еле сдерживая желание произнести эти слова вслух, я молчал и чувствовал, как все более каменеет мое тело.

— Ну, спокойной ночи.— Я освободился от объятий Ёсиэ. Она прихлопнула рукой одеяло.

— Извини.— Ёсиэ легонько чмокнула меня и вернулась на свою постель.

Прошло уже более получаса, и меня начала обволакивать дремота, когда Ёсиэ вдруг произнесла:

— И все же я расстанусь с тобой.

Я на мгновение лишился дара речи. Не в силах более сдерживать раздражение, но все же спокойным голосом спросил:

— Что ты сказала?

Ёсиэ не отвечала.

— Почему ты это сказала? Что-нибудь случилось?

— Ничего.

— Тогда почему так?..

— Я уже ни на что не гожусь... Ведь правда? Потому-то...— Голос Ёсиэ звучал со все большим надрывом.

— Да что ты мелешь! — Разозлившись, я вскочил с постели. На сегодня мне было достаточно и заявления о разводе. Разве оно не вызвано тем, что Ёсиэ сама связала меня по рукам и ногам? Если бы она позволяла мне свободно навещать своих, ничего бы не случилось. На память пришли те дни, когда я не мог ни навестить Акико, ни связаться с ней. А ведь Акико на протяжении нескольких месяцев жила, не имея никакого дохода, страдала, волновалась. «Да разве я недостаточно для тебя сделал? Разве не все, что мог? А ты еще смеешь так заявлять!» — с такими мыслями я с ненавистью смотрел на Ёсиэ. Она сидела на постели, вся дрожа. Губы ее стали синими, как лепестки горечавки, плечи сотрясала мелкая дрожь, напоминавшая движение ряби на глади озера под порывами ветра.

При взгляде на нее меня охватило чувство жалости, и я, чтобы успокоиться, вынул из холодильника бутылку пива.

— Выпьешь?

— Спасибо. Пожалуй, выпью.— Она встала.

Осушив стакан пива, Ёсиэ глубоко вздохнула.

— И все же давай так и сделаем.

— Этим не шутят.— Я представил, как выглядел сегодня, когда вернулся. Наверное, был очень бледен и излишне молчалив. Но главная причина все-таки в том, что я боялся взглянуть в глаза Ёсиэ.

— Я больше не могу жить с тобой. Ты слишком многое скрываешь от меня. Я понимаю, что ты взвалил на себя непосильную ношу. Поэтому можешь возвращаться к своей жене.

— Но почему именно сегодня ты это говоришь? Не слишком ли ты жестока, Ёсиэ? До сих пор я работал изо

всех сил, и что толку? Если я сейчас и вернусь домой, вряд ли Акико обрадуется. К тому же что будет с Миэко?

Ёсиэ опять начала бить дрожь.

— Хотя я и не хотела говорить, но, полагаю, если бы тебя действительно волновал вопрос отцовства, ты мог давно это оформить, признать дочь.

Подавив новый приступ гнева, я ответил:

— Дело не в формальностях. Самое важное сейчас... Бывают ситуации, когда ничего нельзя сделать, не так ли? Для Миэко важнее то, что я тут, с ней рядом. Другое дело, если бы меня не было или я куда-нибудь уехал. Вот тогда было бы необходимо оформить удочерение. Но ведь я здесь, не так ли?

— Здесь-то ты здесь, но...— Ёсиэ устремила на меня тусклый взгляд.— Ты всегда так. Присутствуешь, и в то же время тебя здесь нет. Сам ты здесь, но сердце твое совсем в другом месте.

Вместо ответа я встал и пошел за новой бутылкой. Открыл холодильник, но пива больше не было.

— Мы пережили адские времена, верно? — немного успокоившись, заговорил я.— Ты ведь знаешь, навалилось забот с гору, ни днем ни ночью передохнуть не удавалось. Разве не так? И конечно, сердце все время было в плену этих забот, здесь уж ничего не поделаешь. Но говорить, что меня здесь не было, слишком жестоко.

— Я говорю о любви. Только о ней. Впрочем, теперь уже все кончено.— Она сказала это так, словно перед самым носом у меня захлопнула дверь.

— Ну хотя бы сегодня не говори ни о чем! Только сегодня! — закричал я и тут же почувствовал, будто в черепной коробке разом раскрылись тысячи ран. Я начал изо всех сил трясти головой — признак невроза, появившегося вскоре после банкротства. Ёсиэ знала о нем. Она также знала, что это предвещало бурю, но уже не могла сдерживаться.

— Я потерпела крах. Но думаю все же, что и сейчас еще не поздно... Начать жизнь сначала.

— Что ты говоришь! А что станет с Миэко? Ребенку нужен отец. Стоило ли мне надрываться до сих пор? Зачем? Непонятно. Мало ли какие вздорные мысли придут тебе в голову. Ребенку нужна семья, и ее нельзя рушить под влиянием минутного настроения.

— Да, но делал ли ты что-либо как отец для этого ребенка? Твоя любовь к Миэко была какой-то ущербной. Девочка постоянно жаждала настоящей отцовской любви.

Мне это совершенно ясно. Даже когда мы приезжали в родительский дом, она лезла обниматься не к бабушке, а к деду. Ты вот здесь твердишь: семья, семья... Возможно, у нас и была семья, но этим ты только опутывал меня.

От гнева у меня на мгновение отнялся язык.

— Ты эти шутки брось! Не я, а ты меня связала по рукам и ногам. Разве не ты разрушила мою семью? — заорал я. Фраза «моя семья» вылетела как-то невольно, и я сразу же пожалел о своем промахе. К счастью, Ёсиэ была слишком взвинчена и не сообразила, что я имел в виду.

— Я?! Так, значит, я разрушила? — Большие круглые глаза Ёсиэ сузились и превратились в натянутую нитку.— Ненавижу! Смертельно ненавижу тебя!

— Что-о? — заорал я и, отшвырнув стол со стульями, схватил Ёсиэ за плечи обеими руками. Ваза, стаканы лавиной рухнули со стола. Проснулась напуганная шумом Миэко.

— Не доводи меня! — Страшно разъяренный, я вцепился в Ёсиэ и стал давить ей на плечи, точно желая втиснуть ее в стул. Ёсиэ вырвалась и хотела бежать.

— Скотина!

Но мне вновь удалось схватить ее за плечи. Ощутив под руками их беззащитную хрупкость, я все же с силой бросил Ёсиэ на постель. Она упала ничком и громко зарыдала. А я сильно, словно регбист по мячу, ударил ее по ягодицам. Раз. Еще раз и еще. Изо всех сил. Ёсиэ затихла и начала всхлипывать.

— Папа! Мне страшно! — Миэко, наблюдавшая всю эту сцену, испуганно просеменила к матери.

* *

На третий день Ёсиэ начала жаловаться на острую боль в области копчика. Оказалось, там сильная опухоль. Вздутие было какой-то странной, неправильной формы, как будто под кожу залезла лягушка, и мне не удавалось как следует его прощупать — даже при легком прикосновении Ёсиэ чуть не подпрыгивала от боли. Прикладывая пластырь с мазью, я не мог оторвать глаз от ее чуть порозовевшей кожи. Тело у нее было молодое, упругое, совсем как у юной девушки. Я подумал, что Ёсиэ с ее по-детски доверчивой душой всего только на восемь лет старше моего сына Хадзимэ, и меня захлестнула будто прорвавшая запруду волна сострадания и нежности.

— Послушай,— обратился я к ней. Она сидела с таким умиротворенным видом, словно начисто забыла о событиях трехдневной давности.— Как ты считаешь, что самое печальное в этом мире?

Ёсиэ подняла голову и повернулась ко мне. Ее лицо с ввалившимися щеками казалось еще более осунувшимся.

— Ну скажи, что.

— А как ты думаешь?

— Кто знает...— Она отвернулась.— Но что же все-таки?

— Самое печальное, когда любящий человек теряет рассудок.— В ответ на мои слова Ёсиэ сильно, всем телом вздрогнула.

— Да. Это действительно печально,— проговорила она, легла на бок и протянула ко мне руки. Я взял ее ладони в свои и пристально смотрел на нее. Гладил ее маленькое, умещавшееся в моей ладони личико. Глаза Ёсиэ, отвечавшие мне улыбкой, стали светло-карими, из них струилось тепло, и они походили на прозрачные хрустальные шарики, пронизанные солнечными лучами. Я крепко прижал ее к своей груди.

— Ёсиэ, а ты знаешь, что на свете самое страшное?

— Смерть?

— Нет! Мое безумие...

Спустя несколько дней я вышел из дома по делам. Денег у меня не было даже на метро, не говоря уже о том, чтобы зайти в кафе и подождать, не заглянет ли туда кто-нибудь из друзей. Однако немного денег я все же у приятеля перехватил. Когда я вернулся в дом Ёсиэ, комнаты выглядели непривычно. На чисто прибранном столе лежало письмо. На листке, вырванном из блокнота, было написано: «*Я не испытываю к тебе ненависти. Я люблю тебя. Все, что я постигла благодаря тебе, я передам Миэко. Пожалуйста, не презирай меня за слабость. Люблю. Прости. Слышишь? Прости. Я уже не в силах идти дальше. Ни одного шага. Прости, что не смогла залечить твои раны. У меня всегда было желание хоть немного облегчить твои страдания, но я сама устала... Нашему родному папе, которого я очень любила, с любовью от Ёсиэ. 16 февраля, 6 часов вечера*». Вдоль края листка неумелым почерком Миэко была сделана приписка: «*Папа! Береги свое здоровье. Я люблю папу. Папе от Миэко*».

В этой квартире я прожил три дня. Звонил к родителям Ёсиэ, но там бросали трубку, не разговаривая. А затем и трубку перестали снимать. Я только лежал в закупоренной

комнате, ничего не делая. Есть не мог — не было аппетита. Ёсиэ уходила из дома не впервые, это случалось не раз и прежде. Но обычно она сама в конце концов звонила и возвращалась домой. Однако на этот раз она не позвонила и, видимо, как и писала в письме, была *«не в силах идти дальше. Ни одного шага»*. Вообще я считаю: смысл жизни состоит в том, чтобы любить друг друга, несмотря на любые трудности. Я напрасно заставлял ее «шагать». Как выяснилось, это для нее непосильно. Конечно, я всегда желал ей счастья. И все же дни и месяцы, прожитые нами, были слишком мучительными и далекими от счастья. Со стороны могло бы показаться, что необходимость нашего разрыва вполне оправданна. Но я думал иначе. Не будь Миэко, расстаться бы можно было. Пусть мучительно, но рана со временем зажила бы. Но существовала Миэко, и рана не могла зарубцеваться. Сейчас это можно как-то пережить. Но пройдет несколько лет, душа будет терзаться сомнениями и раскаянием — как мы могли расстаться? И вот тогда муки будут нестерпимы.

На третий день вечером я написал Ёсиэ письмо — оставались вещи, которые нужно было передать в другие руки, ведь когда-нибудь должна же она заглянуть домой хоть на время. Письмо я написал не в надежде, что Ёсиэ переменит свое решение, а пытаясь как-то осмыслить, как мне жить дальше.

Утром четвертого дня, когда я собирал вещи, из журнала выпал обрывок письма Ёсиэ — по-видимому, черновик. Бо́льшая часть его была зачеркнута или стерта, но некоторые места можно было разобрать. *«Письменный стол, привезенный вчера,— твой. Впервые здесь появилась вещь, которую ты хотел иметь. Еще чувствуется запах дерева. Ты хотел иметь стол, чтобы на нем писать. Да, это твоя вещь. Когда ты находишься в этой комнате...»*

Начало письма было сплошь зачеркнуто. Я долго смотрел на этот новый стол, за которым ни разу не пришлось поработать.

Затем я, взяв с собой документы, отправился в районный муниципалитет для оформления своего отцовства. Но выполнить необходимые формальности не удалось. Нужна была книга посемейной записи Ёсиэ и Миэко и регистрационная карточка. Кроме того, мне было сказано, что желательно иметь также и мою книгу посемейной записи.

Когда я вернулся в свой дом, меня ждала там еще одна записка, от Акакио, валявшаяся рядом с заявлением о раз-

воде. Слишком короткая, чтобы назвать ее письмом, записка состояла всего из одной строчки: *«Я тебя окончательно разлюбила».*

* * *

Жена была у себя в комнате — она простудилась и лежала в постели. Я подсел к изголовью Акико и почувствовал легкий запах ее волос. Взяв подписанное заявление о разводе, Акико устремила на меня долгий взгляд, затем произнесла:

— Спасибо.

Привстав с постели, она отвернулась, подтягивая к себе полукруглую вязаную накидку. Набросила ее на плечи. Затем вновь повернулась ко мне и села, склонив голову. Была видна только глубокая складка между ее нахмуренными бровями.

— Благодарю тебя за заботу в течение этих долгих лет,— сказала Акико, прижав к груди руки. Ее коротко подстриженные волосы растрепались со сна. Они слегка трепетали у висков, образуя подобие дымчатого нимба.

Плечи мои затряслись, я стиснул руки и зарыдал. Впервые жена видела меня плачущим.

* * *

Из раздевалки вышел улыбающийся Дзиро, на нем был купальный халат с разбросанными по белому полю синими картинками — видами сорока восьми приемов борьбы сумо. Он, кажется, был недоволен своей прической — завязанным на макушке пучком волос — и шел, приглаживая рукой волосы надо лбом. Дзиро шагал медленно и производил впечатление совсем другого человека, очень мало похожего на того, каким я видел его на помосте. Фигура сына выглядела внушительно и вовсе не казалась приземистой. Он сказал, что свободен до двух часов, и я пригласил его пообедать.

— Не отведать ли нам угрей?

— Можно и угрей. Мне все равно,— ответил он. Догадавшись, что это не слишком его вдохновляет, я предложил:

— А может, лучше свиную отбивную?

— Да, отбивную, пожалуй, лучше...— легко согласился Дзиро.

Мы решили поесть свиных котлет в Асакуса и пошли

вдоль широкой улицы, на которой стояли в ряд магазины игрушек, лавки писчебумажных принадлежностей и другие торговые заведения. На брусчатую мостовую падали непривычно жаркие для сентября солнечные лучи. И в обдувавшем нас ветерке тоже чувствовался летний зной.

— Сегодня я сделал только один снимок.

— Правда?

— У тебя действительно удивительная быстрота движений.

— Пожалуй.— Дзиро неопределенно улыбнулся и посмотрел на меня. В его лучившихся радостью, слегка прищуренных глазах не было удрученности.

— Я снимал с выдержкой одна пятнадцатая секунды, и силуэт получился очень смазанным.

— Одна пятнадцатая?

— Это, наверное, предел для пленки, которой сегодня был заряжен фотоаппарат. Я не предполагал, что будет так темно. Прежде, мне кажется, там было гораздо светлее. В следующий раз заряжу более чувствительную.— Мне хотелось поговорить с сыном о необходимости набрать вес, но вместо этого я только сказал: — А все-таки он мощный, твой противник.

— Ха-ха,— издал короткий смешок Дзиро, продолжая шагать.

— Что, такого противника и одолеть нельзя?

— Да нет.— Дзиро склонил голову, размышляя.— Думаю, все будет в порядке. Просто многое зависит от самочувствия в данный момент.

Мы вошли в котлетную, известную мне еще по прежним посещениям, она находилась неподалеку от Интернационального театра. На мой взгляд, кухня здесь заслуживала всяческих похвал. Однако внешне это заведение выглядело неказисто и, вероятно, поэтому даже в обеденные часы было полупустым.

— Лучше вырезку, чем филе, не так ли? — уточнил я у Дзиро и заказал две двойные вырезки.

— Еще, пожалуйста, рис, мясной бульон, маринованные овощи и две бутылки пива.

Я собрался налить Дзиро пива, однако он, опередив меня, первым наполнил мой стакан.

— Мне, по правде говоря, запрещено пить, но по лицу ничего не заметно.

— Запрещено?

— Да. Ведь нужно опять возвращаться в Кокугикан.

— Я хотел как-нибудь на днях угостить тебя вкусным

сасими[1]. Намеревался даже съездить на рыбный рынок Уогиси, что в районе Цукидзи, чтобы приготовить угощение, когда ты придешь в гости. Но у меня нет холодильника, поэтому ничего пока не получится.

— Холодильник еще не доставили?

— Скоро привезут. Мне ведь нужен с большой морозильной камерой. Если живую рыбу разделать, а затем порезать на разовые порции, завернув каждую в фольгу и заморозив, то рыба не потеряет вкуса. Все равно как будто свежую ешь. А вот целиком замораживать нельзя.

— Отчего же?

— Нельзя замороженную рыбу оттаивать, а затем снова замораживать. Белки разрушаются. Поэтому надо замораживать кусками: для сасими, для жарения, на суп, для мисосиру. Ты, к примеру, придешь, и я достану из холодильника ровно столько, сколько мы сможем одолеть. Рыбу для сасими надо есть сразу. Порезать кусочками и всю съесть.

— Здорово!

— А вот осьминога замораживать нельзя. Если его порезать, приправить уксусом и положить в холодильник, то он долго сохраняется. Когда нужно есть, достаточно только полить соевым соусом.

— А у тебя, отец, здесь и тостера нет?

— Нет. Но почему ты об этом спросил?

— Ведь ты любил есть поджаренные французские булочки с сыром. Я и подумал, что неплохо бы тебе его заиметь.

— Да, хорошо бы.

Официантка, увидев, что все блюда, принесенные ею, я подвинул к Дзиро, спросила:

— А господин, что же, кушать не собирается?

— Нет. Я уже поел,— солгал я.— Бульон и рис поставьте ему. Он ест за двоих.

— Да, при такой комплекции... Борец ведь. Могу еще риса подать. Бесплатно, сколько хотите,— улыбнулась, уходя, официантка. Особенно радоваться было нечему, и все же в глубине души я был рад, что риса подавали неограниченно, так как опасался, что не хватит денег, если за рис потребуют платить отдельно.

— Действительно, отбивные здесь хороши,— говорил Дзиро, аккуратно отрезая кусок за куском. Он тщательно намазывал их горчицей и поливал соусом.— Недалеко от

[1] Сасими — кушанье из сырой рыбы.

нашего дома есть котлетная, так я считал, что в ней самые вкусные отбивные. Они там для панировки к котлетам сухой хлеб перемалывают в порошок...— Дзиро сунул в рот очередной кусок и воскликнул: — Ох и вкусно! Пожалуй, здесь даже вкуснее будет.

Он тщательно подобрал палочками всю нашинкованную капусту, поданную к мясу. Покончив с одной порцией, приступил ко второй, съедая все аккуратно и изящно. Рис подавали еще трижды. Таким образом, Дзиро съел его целых пять порций. Я смотрел на сына и предавался воспоминаниям. Полгода назад Хадзимэ помогал мне совершить переезд в Асакуса, и мы ходили с ним пить пиво. Это было в конце марта, немногим более месяца спустя после того, как я передал Акико заявление о разводе. Из-за отсутствия денег я не мог сразу переехать. Кроме того, немало времени ушло на поиски дешевой комнаты. Замечу, что хотя я и сказал «переезд», но в эту тесную комнатушку я перевез лишь письменный стол, два чемодана с книгами и одеждой да один комплект постельного белья. Сборы не заняли много времени. Комнату в Асакуса я снял потому, что она находилась неподалеку от жилья Дзиро, да и плата была умеренная. Вдобавок поблизости находилось много лавок, где продавались овощи, тофу [1], что показалось мне очень удобным. Покончив с переездом, мы с Хадзимэ отправились в пивной бар в Адзумабаси. Выпили по нескольку больших кружек пива. Я тогда здорово опьянел и, едва добравшись до своей комнаты, сразу же уснул. Память словно отшибло — забыл все начисто. Единственное, что запомнилось,— это слова Хадзимэ: «Мне хочется, чтобы ты, мой дорогой директор, летал на крыльях, словно птица».

Я не расслышал фразы «словно птица» и переспросил. Хадзимэ, заикаясь и блуждая взглядом в пространстве бара, где дым и пары алкоголя образовывали специфически пахнувшую туманную пелену, сказал:

— Хочу, чтобы ты был свободен, как птица. Мне уже двадцать один год, и я — взрослый человек. Обо мне теперь можешь не беспокоиться. Хочется, чтобы ты взмахнул крыльями и воспарил в небо, как птица.

Мы сидели напротив друг друга, так как к нам за столик, не спросив согласия, посадили еще одного клиента. Место рядом с Хадзимэ занимал мужчина лет шестидесяти, лысый, с красноватым лицом, с реденькими, сверкающими проседью усами. Пиво в стоявшей перед ним кружке ни-

[1] Тофу — соевый творог.

сколько не убывало. Время от времени он, как будто прислушиваясь к нашему разговору, вскидывал на Хадзимэ сонный взгляд. Все, что я помню,— это тусклый взгляд старика и залитое слезами лицо Хадзимэ. Вытирая бегущие по щекам слезы, сын был сам похож на птицу. С того Нового года, когда мы с ним вдвоем пили пиво, я стал часто видеть его плачущим. Теперь стоило только ему выпить, как он начинал плакать... Испытывая тревогу за Хадзимэ, я осушил кружку.

* * *

Когда я поставил свою подпись и печать под заявлением о разводе, но сразу не мог переехать, Акико заявила, что она сама покидает наш дом. Хозяева ресторана, куда она поступила работать, предложили ей пожить у них.

— Акико, тебе вовсе незачем уезжать отсюда. Лишь только я раздобуду немного денег, чтобы снять комнату, как сразу же уеду. Подожди немного.

Мысль о том, что Акико, которой было уже за сорок, будет жить в разлуке с детьми, была для меня невыносима.

— Но я слышала, там из-за твоих долгов квартиру забрали, и ребенок у вас есть. Почему бы вам всем вместе не переехать жить в наш дом? Уж наверное, Кавасима-сан позаботится и о Хадзимэ.

Акико, оказывается, знала все, вплоть до фамилии моей незаконной жены. Квартиру Ёсиэ действительно конфисковали, и, хотя принудительное выселение пока не осуществили, она была уже продана с аукциона.

— Нет, это немыслимо! Это просто глупо! — воскликнул я.

Лишившись собственного жилья, Ёсиэ, видимо, стала обузой в родительском доме. Как же ей тяжко приходится сейчас! Отобрана квартира Ёсиэ. Конфискован мой заложенный и перезаложенный дом. Этот дом, стоимостью самое большее в пятьдесят миллионов иен, имел закладных примерно на восемьдесят миллионов, так как, не располагая другой возможностью получать ссуды из банка, я каждый раз его закладывал, занимая деньги в разных местах под высокие проценты. Когда я обанкротился, была объявлена продажа дома с аукциона. Однако, если бы торги состоялись, мои кредиторы не получили бы всю сумму, занятую мною. Поэтому они пока не подавали на меня в суд. Банки, давшие ссуды по первой и второй закладной, могли сразу объявить аукцион, но они не спешили, выжидая, когда я вновь встану на ноги. Естественно, мне нужно было

как можно скорее поправлять свои дела. Я хотел хотя бы свой дом сохранить, чтобы оставить его Акико, и нервничал, думая, как бы не допустить его продажи. У Ёсиэ на худой конец есть пристанище в родительском доме, а у Акико и того нет. В доме ее родителей, умерших несколько лет назад, жила семья старшего брата Акико. К тому же это была всего лишь двухкомнатная муниципальная квартира в пригороде Токио.

Ёсиэ я посылал деньги на жизнь. Взамен потерянной ею квартиры я намеревался приобрести что-нибудь в ближайшем будущем. Акико же нужно было возвращать долги, которые мы назанимали вокруг у соседей, и оплачивать накопившиеся налоговые счета. В итоге ей приходилось регулярно вносить суммы, намного превышающие ее заработок официантки. Я хотел постепенно расквитаться со всеми долгами, а затем записать дом на ее имя. Если бы только удалось наскрести приличную сумму хотя бы для погашения долгов ростовщикам (банки могли подождать), тогда можно было бы выкупить и закладные на дом.

— Это твой дом, Акико! Нельзя тебе отсюда уезжать.

— Но его, наверное, скоро отберут.

— Все будет в порядке. Я вот-вот восстановлю свое издательство, уничтожу закладные и запишу дом на твое имя.

— Не очень-то много радости иметь такой дом, заложенный-перезаложенный. Лучше ты живи здесь, чем снимать комнату. Чего тебе зря платить, если я выезжаю отсюда.

Акико начала укладывать вещи. Через несколько дней был решен вопрос с переездом.

— Тебе лучше завтра уйти из дома, я буду перебираться,— предупредила Акико. На следующий день я не появлялся дома до вечера. Однако, вернувшись, обнаружил, что все стоит на прежнем месте. Акико не переехала. Оказывается, ей помешал Хадзимэ, не позволив увезти вещи.

— Сын заплакал и не дал мне уехать. Мне стало так жаль его, что я, хоть это и неразумно, все же отложила переезд.

Даже после этого случая отношение Хадзимэ ко мне ничуть не изменилось. Я мог только догадываться, что таилось в глубине его сердца.

* * *

Выступления Дзиро проходили с переменным успехом. Борцы, имевшие разряд «макусита идзё», проводили в од-

ном месте не более семи встреч. Программы выступлений печатались раз в два дня, из-за этого мне было трудно заранее планировать свое время. Поэтому на третье выступление Дзиро я не смог пойти и вечером, позвонив ему по телефону, спросил о результате.

— Победил,— ответил Дзиро приглушенным голосом: видимо, рядом кто-то был. Придя в третий раз на состязания, я узнал итог встреч Дзиро: две победы, одно поражение. На этот раз я тоже взял фотоаппарат. Ожидая выхода Дзиро, снимал схватки других борцов, пытаясь тем самым отвлечься от мучившего меня удушья. Однако оно не проходило. Наверное, лучше было отложить камеру и просто наблюдать. В рамке видоискателя даже неповоротливые тяжеловесы казались почему-то проворными. Мне удалось запечатлеть молодого борца. С перекошенным от напряжения ртом он раскланивался после проигранной схватки. Я все не мог оторвать глаз от его фигуры и сделал несколько отличных снимков. Забавно, конечно, но в какой-то момент мной овладел азарт профессионального фотографа, я буквально влез в шкуру этих борцов.

— Тяжко, ох, тяжко,— бормотал я, беспрерывно нажимая на спуск.

Когда в видоискателе появился Дзиро, я сделал одно открытие. Топая во время разминки, он высоко подбрасывал ноги. Я заметил, что, кроме него, никто не мог так высоко поднять колени. Широко расставленные ноги Дзиро являли собой образец совершенной красоты. Но в тот день он снова проиграл борцу, бывшему раза в два его тяжелее. Теперь я стал всегда брать с собой фотоаппарат на состязания. На этот раз у Дзиро было две победы, три поражения, затем на две победы вышло четыре поражения. Поскольку борцы разряда Дзиро проводили всего семь встреч, в итоге у него было больше поражений.

— Сегодня мне показалось, что ты выиграл схватку,— сказал я Дзиро, лицо которого казалось очень бледным и каким-то тусклым.

— Ха-ха! — хрипло рассмеялся он.

«Да, поражение сказывается на нем»,— подумал я, подыскивая слова, чтобы ободрить сына. Но в голову ничего не приходило, и я сказал только:

— Ничего, в следующий раз выиграешь.

— Да.— Дзиро взглянул на меня.— Все будет в порядке,— пробормотал он.

Несколько дней стояла солнечная погода, и ветер вздыхал

мал на улице пыльные вихри. Щуря глаза из-за кружившего ветра, Дзиро проговорил:

— Знаешь, хотел провести захват слева, но никак не удавалось схватить за набедренную повязку.

— Но когда вы оба упали, мне показалось, что позиция была равной.

— Ха-ха! — Дзиро опять отделался смешком.

Сегодня он выглядел непривычно. Недавно я увидел Дзиро, когда он, возвращаясь после поражения домой, шагал по узкой безлюдной улице. Он меня не заметил и шел медленно покачиваясь, уныло опустив плечи, со склоненной, как у сломанной куклы, головой. Весь вид сына говорил о горьком одиночестве. Такого Дзиро я узнал впервые, прежде мне не доводилось его видеть таким...

Пройдя вдоль Умабаси, мы вышли на широкую улицу, ведущую к храму Ниэнто, где совсем не было магазинов и прохожие встречались редко. На противоположной стороне улицы я заметил маленькую девочку. И ее круглая, как шар, головка, и платье, будто плывущее по земле, и форма выглядывавших из-под платья кукольных ног были точь-в-точь как у Миэко. Девочка побежала в мою сторону. Движимый желанием поскорее приблизиться к ней и рассмотреть, я невольно ускорил шаги. Но девочка тут же остановилась, постояла немного и, повернувшись, помчалась в обратную сторону. Фигурка девочки выделялась на дороге светлым пятном, красное платье даже издали бросалось в глаза. Когда расстояние до девочки увеличилось чуть ли не вдвое, она вдруг неожиданно исчезла. Не вошла в дом, а просто свернула с дороги. Я заморгал глазами, к горлу подступил ком. Подставив лицо навстречу налетавшему порывами ветру, я заговорил с Дзиро:

— Наверное, чтобы потолстеть, надо много спать?

— Да, и, кроме того, есть побольше.

— М-да, пожалуй, что так.

— Знаешь, папа, есть такие спортивные рубашки, которые надевают поверх тренировочных брюк.

— Да, знаю.

— Прежде я не обращал внимания, но, оказывается, тут неподалеку есть магазин, где они продаются очень дешево. Вчера я купил три штуки.

— В самом деле очень дешево?

— Тысяча девятьсот иен.

— За три штуки?

— Нет, за каждую,— пробормотал Дзиро несколько

озадаченно.— Впрочем, какая разница! — Он бросил взгляд на меня.

— Конечно, конечно! Тысяча девятьсот — это очень дешево.

— Как ты думаешь, может, Хадзимэ такая нужна? Хочу ему послать.

— Да, Хадзимэ, кажется, тоже носит такие со своими вечно дырявыми тренировочными брюками.

— Пошлю, пожалуй,— сказал Дзиро, как бы разговаривая с самим собой. Заметив это, я промолчал и не сказал ему ни «да» ни «нет».

В котлетной я решил и сегодня сказать, что уже поел. Потягивая пиво, взял немного маринованных пикулей.

— Мне хочется кое о чем поговорить с тобой, отец,— начал Дзиро несколько официальным тоном.— С февраля со мной происходит что-то странное. На бедре появилась опухоль.

— В каком месте?

— Ну, на бедре. Даже набедренную повязку стало трудно завязывать. Я советовался со старшими товарищами и врачу показывался.

— С февраля? Почему же ты раньше об этом не сказал? — спросил я и сразу же вспомнил, чем тогда был занят. Как раз в феврале Акико оставила на моем столе заявление о разводе. Если бы он и захотел со мной связаться, это было нелегко сделать.

— В общем, ничего серьезного. Поэтому я и не советовался с тобой, отец.

— Правда?

— В клинике сказали, что где-то закупорился сосуд. А поскольку я занимаюсь борьбой, то операция — это не для меня. Операцией этот недуг устраняется довольно просто, а мне пока выписали лекарство, и я его принимаю. Но сейчас что-то стало хуже, и я подумал: может, тебе известен хороший врач.

— Так, значит, вена? И сильно болит? — поинтересовался я.

— Обычно не очень беспокоит. Но когда надеваю набедренную повязку, то бывает, что хочется поскорее ее снять. И когда вот так выгибаешься, ужасно больно... К тому же весь какой-то разбитый, вялый. А в последнее время начал худеть.

— Вот как? Говоришь, если сделать операцию, то быстро пройдет?

— Да, но ведь я борец.

— Хорошо, покажем тебя лучшему специалисту. Постараемся вылечить.

— Не стоит особо беспокоиться. Все будет в порядке.

— Нет уж, в таком состоянии ты не сможешь как следует бороться. Правда? — Дзиро молча кивнул.— Согласен? — с болью в душе спрашивал я.— А ведь в эти часы у тебя обычно были состязания.

Дзиро поднял глаза на стенные часы и улыбнулся. Стрелка показывала час. Отведя взгляд от часов, я увидел, что Дзиро смотрит на улицу, залитую ярким солнцем.

* * *

Когда мы вышли из котлетной, я ощутил необычайный прилив энергии. Я даже не пытался представить, в каком месте на бедре и насколько сильно там распухло. Для меня было ясно только одно — надо помочь Дзиро, еще только вступающему в жизнь, как можно скорее преодолеть тяжелые испытания. Благодаря тому что мне стало известно о несчастье Дзиро, обрушившемся внезапно, словно скала, я испытывал ощущение полноты жизни. У меня появилось дело, которое я должен сделать для сына, и оно было в моих силах. Разумеется, я смогу найти лучшего во всей Японии врача. Мне даже представлялось, что, если понадобится, можно раздобыть и мировую знаменитость. Сознание того, что я могу помочь Дзиро, если учесть, какие немыслимо трудные дела мне приходилось проворачивать на протяжении многих лет — например, если срочно требовалось, добывал до трех часов дня, до закрытия банков, миллион иен,— воодушевило меня, вызвало новый прилив сил и вместе с тем привело в состояние, близкое к умопомешательству. «Недочеловек», «мошенник», «негодяй». Эти унижающие мое человеческое достоинство слова, которые я слышал со времени банкротства, а пожалуй, еще и раньше — от партнеров, которых мне волей-неволей приходилось обманывать,— сейчас почему-то вновь зазвучали в моей душе и разбередили ее раны. Чувствуя, как из них сочится кровь, я шагал в сторону широкого проспекта.

Проспект был забит рядами машин. Мы стояли в ожидании зеленого сигнала светофора, чтобы перейти перекресток, и вдруг в моем воображении возникла картина: будто от машины, стоящей напротив, отделились колеса и покатились в разные стороны. А затем и у всех других машин колеса стали отваливаться, но эти катящиеся колеса почему-то не падали, а, медленно выписывая дугу, разъезжа-

лись в разные стороны. Дома вдруг все исчезли, и по ту сторону простиравшейся до самого горизонта груды мусора стояли Ёсиэ и Миэко, а среди других завалов мусора виднелись силуэты Акико и Хадзимэ. Я вглядывался в эти темные тени, торчавшие словно сваи в обмелевшей лагуне. Постепенно они утратили человеческие очертания и превратились в настоящие сваи черного цвета. Их поглотил начавшийся прилив. Черный прилив, подобно растущей вширь пелене, захватывал пространство и подступал ко мне. Теперь он казался мне тучей, поглотившей все вокруг. Сам я, окруженный белыми зданиями, стоял в полосе ослепительного света. Пелена тянулась до того места, где стояли эти четыре силуэта, далее все бесследно исчезало...

У входа в овощную лавку я заметил горку из пяти груш и купил их за двести иен, решив угостить Дзиро. Мы вошли за ограду сада, находившегося перед моей комнатой. Дзиро, которому необходимо было сегодня вернуться в Кокугикан, не придется делать большой крюк. Поблизости находились заведение по оптовой продаже кожи, мастерская чемоданов и сумок, различные предприятия кустарной промышленности. Моя квартира, состоявшая из одной жилой комнаты, столовой и кухни, находилась в трехэтажном доме. В нем же размещалась мастерская дамских сумочек. Напротив — лавка, где торговали соевым творогом тофу. Через два-три дома на крыше склада стройматериалов была голубятня, где мальчик-подросток держал голубей. В первый же день после переезда я был поражен, увидев, как с наступлением вечера сумеречный свет за окном прочертили черные тени — это начали слетаться голуби. Был час их возвращения. С тех пор если я выглядывал из окна в это время, то обычно в голубятне, находившейся на той же высоте, что и моя комната, обязательно видел мальчика. Мальчик всегда смотрел на меня, а я любовался далью за голубятней и краем неба, начинавшим окрашиваться в серый цвет...

Дзиро стоял неподвижно и рассматривал комнату, в которой, кроме кое-какой утвари, письменного стола и книг, ничего не было. Затем он подошел к окну и начал наблюдать за голубятней. Мне показалось забавным, что каждый, кто приходит в эту комнату, обязательно высовывает голову в окно, и я невольно улыбнулся. Дзиро стоял, положив подбородок на руки и опершись локтями на подоконник. Его зад был сильно выпячен. Глядя на сына, я подумал, что у меня, наверное, бывает точно такой же вид, когда приходится смотреть из окна. Когда я начал мыть груши, до Дзи-

ро, видимо, донесся шум воды, льющейся из водопровода.

— Дай-ка я сам помою,— заявил он и, сняв халат, остался в одних трусах. В таком виде, наверное, он обычно бывает во время дежурства по кухне, когда готовит еду для борцов. Смотреть на Дзиро, ловко очищающего груши, было приятно. Увидев, как красиво сын уложил их на тарелку, я невольно отметил, что ножом он владеет искуснее меня. Дзиро удалил сердцевину плодов, и они были точь-в-точь какие подают в ресторанах.

— Как только соревнования закончатся, сразу пойдем к врачу,— заявил я категорически.— Тебе когда удобнее?

— Нужно дождаться последнего дня состязаний, а потом еще собрать вещи. Понадобится дня три. После этого — в любое время.

— Сначала навестим одного моего близкого друга. Он врач — специалист по крови. Возможно, он не компетентен в твоей болезни, но как человек внушает полное доверие. Поэтому зайдем к нему посоветоваться, к какому врачу лучше обратиться.

— Значит, он не хирург?

— Нет, не хирург. Нужно хорошенько подумать, стоит ли делать операцию. Есть очень известный хирург, которого общество американских ученых-хирургов даже приглашало в США для чтения лекций. Его мнение меня тоже интересует. Но я думаю, это можно будет сделать и потом. Во всяком случае, мне кажется, что при твоей болезни было бы неразумным полагаться на суждение лишь одного врача. Только консилиум врачей решит, делать или нет операцию. А то как бы не пришлось раскаиваться. Ведь, если врач сделает неправильное заключение, вся твоя жизнь может пойти кувырком. Ты все еще пьешь лекарство?

— Да.

— Думаю, что лучше прекратить. Ты его полгода уже принимаешь и все не поправляешься. Лучше не злоупотреблять лекарственными препаратами — большая нагрузка на печень. Кроме того, они обычно имеют побочные действия. Есть только одно лекарство, которое можно долго принимать,— это корейский женьшень.

— Вот как? Я тоже заметил, что самочувствие только ухудшается.

— Вот именно. Несомненно, тебе только хуже становится.

— А как твои дела, отец?

— Работаю.

Покончив с грушами, Дзиро высунулся из окна и опять стал смотреть на улицу.

— Папа, хорошо бы в твоей комнате поставить цветы.— Глаза Дзиро сощурились от улыбки. Увидев его улыбающимся и недоумевая, чему это он радуется, я спросил:

— А почему ты сказал об этом?

— Просто так. Вон там виднеется цветочный магазин.

— А-а... Действительно.

Взглянув на Дзиро, я рассмеялся, зараженный его смехом. В голосе моем звучали то ли горько-иронические, то ли самоуничижительные нотки. Это был нарочитый смех — как у ребенка, который потерпел поражение, играя в гляделки.

Масадзи Ивакура

ЗОЛОТАЯ РЫБКА

1

О своем решении выйти замуж Мугино сообщила родителям еще осенью. Вскоре же начались сборы к переезду в Токио. Это было связано с работой ее будущего мужа, художника-иллюстратора.

Кроме младшей дочери — Мугино,— у супругов Адзума было еще двое взрослых детей. Сын преподавал в университете в городе Сэндае, старшая дочь, драматическая актриса, играла в театре Сингэки и постоянно жила в Токио. После отъезда Мугино старикам было суждено доживать свой век под холодным небом Хокурику вдвоем. Ёхэю было уже за семьдесят, его жене, Мияко,— около шестидесяти пяти. Они все еще продолжали работать, но в последнее время не проходило и дня, чтобы кто-то из них не пожаловался другому то на звон в ушах, то на боль в пояснице. Словом, старики усердно старались привлечь внимание к своим недугам.

По утрам Мугино частенько выходила к родителям с красными, опухшими глазами.

— Опять проплакала ночь напролет... Все думаю, думаю, как-то вы обойдетесь без меня...— говорила она с виноватой улыбкой, а руки ее между тем проворно и ловко укладывали вещи в расставленные повсюду картонные коробки и плетеные дорожные корзины.

Как бы ни относилась Мугино к предстоящей разлуке с матерью и отцом, старикам оставалось лишь пожелать ей счастья.

До сих пор Мугино с Рюкити — ребенком от первого брака — жила в доме родителей. Она помогала матери вести прием в зубоврачебном кабинете, была активисткой местного женского движения. На ней лежали и все заботы по хозяйству. Только теперь, когда Мугино было уже далеко за тридцать, ей, наконец, выпала возможность вновь устроить свою личную жизнь.

© Iwakura Masaji 1978

Для матери отъезд Мугино был просто ударом. Не в силах скрыть свои чувства, она готова была расплакаться всякий раз, как только заходил разговор о Токио. Ёхэй же, напротив, одобрял решение дочери и чуть ли не поторапливал с отъездом.

— Неужели тебе не грустно? — как-то шепотом спросила жена Ёхэя вечером, лежа в постели.

— Вот чудачка! Это же так естественно. Нашей дочке, можно сказать, счастье привалило. Чего же тут грустить?

— Честно говоря, я тревожусь не столько о Мугино, сколько о Рю. Мы без конца бранили его, но, несмотря на это, он никогда не унывал, всегда был ласков и доверчив... каково-то придется малышу на новом месте?..

— Это все так. Но для мальчика, может быть, даже лучше, если он освободится от опеки такого сварливого деда, как я! — убежденно заявил Ёхэй, будто безошибочно знал, какого отношения со стороны внука он заслуживает.

— Теперь уже ничего не изменишь, только не думала я, не гадала, что в старости мне выпадет такая доля.

— Не смеши, пожалуйста. Оглянись вокруг, и ты убедишься, что в нашей жизни произошло совершенно обычное событие.

— Ох уж эта мужская выдержка! — не без насмешки заметила Мияко.

— При чем тут выдержка? Просто я считаю, что в наши годы нужно суметь отойти в сторонку, чтобы не мешать собственным детям. Это наш прямой долг! И надо следовать ему в той мере, в какой это нам по силам.

— Ты, как всегда, великолепен. Ясная, четкая позиция, только вот...

— Четкая, говоришь?

Мияко не отвечала.

А на Ёхэя снова нахлынули воспоминания, связанные с кончиной его матери, умершей тридцать лет назад.

Мать Ёхэя прожила до девяноста трех лет. Ёхэй чувствовал, как горячо она любила его. Однако работа заставляла Ёхэя почти постоянно жить в городе, и он не мог оставаться при матери и ухаживать за ней. Старость матери пришлась на страшные годы войны, Ёхэй со дня на день ждал, что его или призовут в армию, или репрессируют. Повидаться с матерью в те годы не было абсолютно никакой надежды. Именно в ту пору он проникся еще большим уважением и любовью к ней и очень страдал от вынужденной разлуки.

Ёхэй был потрясен, когда ему вручили телеграмму о

смерти матери, но в тот же миг он ощутил какое-то внезапное облегчение. Он не ожидал от себя такого, и ему стало ужасно стыдно. Ведь это было похоже на чувство избавления от матери, мысль о которой долгие годы подсознательно угнетала его. Это ощущение врезалось ему в сердце и продолжало жить в нем до сих пор.

Во взаимоотношениях с детьми, и прежде всего с Мугино, Ёхэй старался руководствоваться своим горьким опытом. Ему припомнился прошлогодний случай со старшим сыном. Всей душой стремясь порадовать родителей и встретить с ними Новый год в Тояме, Ётаро с женой и двумя детьми выехали из Сэндая на машине, но застряли в пути из-за снегопада. Двое суток они пытались преодолеть перевал Огуни и все-таки вынуждены были повернуть назад. Сочувствуя сыну в его неудаче, Ёхэй с женой сами приехали в Токио и вызвали туда Ётаро с его семейством.

Немало хлопот доставил, пожалуй, Ёхэй своей старшей дочери Тадзуми. Пять лет назад он перенес операцию на почке. Как раз в то время Тадзуми репетировала ответственную роль, о которой она долго мечтала. Однако, узнав о состоянии отца и о том, насколько опасна в его возрасте такая операция, Тадзуми отказалась от участия в пьесе. Сразу же после телефонного звонка матери она примчалась в Тояму и почти двадцать дней провела в клинике возле больного отца.

А разве не жертвой со стороны младшей дочери Мугино было то, что она до сих пор жила с родителями и помогала матери в ее работе? Размышляя теперь о трудностях, которые они с женой доставляли своим детям, уже растившим собственных детей, Ёхэй невольно вновь и вновь возвращался к прошлому. О, это чувство облегчения в день смерти матери, которое он никогда не сможет забыть. Ёхэй не решился рассказать об этом даже жене, опасаясь, что оскорбит ее материнские чувства. Ведь их собственные дети были так искренне привязаны к ним.

До отъезда Мугино и внука в Токио Ёхэй особенно не печалился. Он, конечно, сознавал, что без Рюкити — этого постоянного источника шума в их доме — ему первое время, может быть, и будет грустновато, но вместе с тем тайно лелеял надежду, что наконец-то в тишине и спокойствии сможет целиком отдаться работе.

И вот настал этот день. Ёхэй с женой отправились на вокзал проводить дочь и внука. Глядя вслед удалявшемуся поезду, старик вдруг ощутил, что вместе с красным сигнальным огоньком хвостового вагона в темноту уплывает все,

что до сих пор поддерживало их с женой, что составляло для них смысл жизни.

Не проронив ни слова, возвращались они домой по улицам города, погруженного в ночную тишину, нарушавшуюся только звуками их собственных шагов. Войдя в темный дом, где теперь некому было ждать их, Ёхэй почувствовал себя совершенно опустошенным. Он шагнул вперед, нащупал выключатель и зажег свет. Они переобулись. Ёхэй поспешно отвел взгляд от двух пар резиновых сапог, аккуратно поставленных в прибранной прихожей. По настывшему коридору старики прошли в общую комнату. В доме царила мертвая тишина. Безысходная тоска от сознания того, что ты вернулся в опустевшее жилье, сдавила сердце.

Они только изредка обменивались взглядами, понимая, что ничего не смогут сказать друг другу.

— Может быть, выпьешь сакэ? — не выдержав гнетущего молчания, предложила Мияко. В ее речи неожиданно проскользнула интонация, выдававшая в ней уроженку префектуры Ибараки.

— Хм... сакэ? С каких это пор в нашем доме завелось сакэ?

— Да это мне недавно привезли из Гокаямы бутылочку мататабидзакэ.

— Мататабидзакэ? Сакэ, настоянное на актинидии[1]? Но я же не кот...

— А мне просто захотелось полюбоваться на своего рассудительного, «правильного» муженька, когда его в кои-то веки хмель разберет.

Ёхэй едва улыбнулся.

Вскоре наступила зима, и старики как-то особенно почувствовали всю суровость этой поры. Город стоял на берегу моря, и в пасмурные дни у них частенько шел снег. Сидя в полумраке своего кабинета, Ёхэй невольно прислушивался к злобному завыванию пурги. Собирался писать, но ему не писалось. Так мог пройти целый день. Возвратившись домой после приема больных, Мияко иногда заглядывала к мужу и присаживалась возле жаровни. Как многие супруги, долго прожившие вместе, они понимали друг друга с полуслова, и темы для разговора у них быстро иссякали, а они все продолжали сидеть, точно безмолвные, неподвижные изваяния.

— Похоже, мы погружаемся в зимнюю спячку...— заметила как-то Мияко.

[1] В Японии это растение употребляется как средство от ревматизма. Запах и вкус плодов актинидии любят кошки.

Ёхэй беззвучно усмехнулся.

Перед Новым годом он написал поздравительную открытку:

«Разлетелись все наши детки. И нам, старикам, приходится встречать Новый год вдвоем. Два трухлявых, ни на что не пригодных дерева... Только похрустывание наших старых косточек временами напоминает о том, что мы еще живы. Но мы постараемся собрать все силы и выдержку, чтобы достойно прожить остаток наших дней.

С неизменной любовью».

Ёхэй сам был несколько смущен минорно-патетическим стилем своего послания и по пути к почтовому ящику даже заколебался было, стоит ли отправлять его в таком виде.

Как ни странно, сердобольные соседи восприняли перемену в жизни двух стариков в еще более мрачном свете. В их городе не могло быть секретов. Неудивительно, что судьба молодой разведенной женщины вызывала повышенный интерес у любопытных соседей. Все привыкли к тому, что на улицах города то тут, то там мелькала фигурка Мугино в джинсах и красном свитере, похожая, по ее собственному выражению, на «развевающийся флажок». Было бы даже странно, если бы внезапное исчезновение Мугино не стало темой для пересудов.

Отъезд Мугино и Рюкити не только привлек всеобщее внимание. Дальнейшие события следовали одно за другим, как при цепной реакции, и скрыть их было невозможно. То вдруг уже после отъезда Рюкити на его имя пришло больше двадцати цветных новогодних открыток от школьных друзей. То спустя некоторое время какие-то третьеклассницы принесли старикам сверток с «вещами, забытыми Рюкити»: пианикой[1] и памятной картиной, нарисованной всем классом по случаю перехода Рюкити в другую школу. Все это приводило Мияко в смятение.

С отъездом Мугино молодые мужчины больше не захаживали в зубоврачебный кабинет Мияко, теперь в приемной можно было видеть только пожилых людей. Ёхэй целыми днями угрюмо сидел перед своим письменным столом. Временами он начинал беспокоиться о жене: как-то она справляется теперь там без помощницы?.. И, ковыляя по заснеженной тропинке, Ёхэй спешил к Мияко. Случалось, что новые пациенты принимали его за «главного специалиста» и начинали забрасывать вопросами:

— Доктор, мне вот вставили зуб, но...

---

[1] Пианика — детский духовой клавишный инструмент.

Ёхэй поспешно ретировался. Он снова усаживался за письменный стол, но ему удавалось написать не больше двух-трех строк. Тишина безлюдного дома затягивала его в свое безмолвие, и, уронив седую голову на спинку кресла, старик погружался в дремоту.

Встречаясь иногда на улице с соседкой из дома напротив, Мияко рассказывала ей кое-что об уехавшей дочери. Вот откуда и растекались по городу новости. Сочувствие к одиноким старикам переросло в какое-то особое, заботливое отношение к ним, каждое проявление которого поражало и смущало Ёхэя и его жену.

Вот что случилось однажды зимой. В начале февраля вдруг резко похолодало, и несколько дней подряд валил снег. В такую погоду ужасно не хотелось вылезать из-под одеяла. Все утро старики оттягивали этот момент до последней минуты, когда Мияко уже было пора отправляться на прием больных. Подойдя к окну, изумленный Ёхэй увидел, что тропинка от их дома до приемной Мияко тщательно расчищена от снега, будто выметена метлой. Ёхэй догадался, что это дело рук одного из их соседей — преподавателя средней школы. Когда смущенный старик пришел к соседу поблагодарить его, тот, теребя свою лыжную шапочку и выдыхая клубы пара, принялся простодушно возражать:

— Какие тут могут быть благодарности?! Я ж понимаю, что разгребать снег — дело тяжелое. Людям преклонного возраста это совсем не по силам. А я мигом управлюсь. Да и хозяйка у меня еще молодая. Вы уж положитесь на нас и не тревожьтесь — все будет в порядке...

Учитель с женой явно решили опекать Ёхэя и Мияко.

Нечто подобное произошло и в булочной. Как-то ранним утром в метель Ёхэй отправился разносить газету «Акахата»[1]. Навстречу ему из пекарни вышел булочник и восторженно воскликнул:

— Какой же вы необыкновенный человек, Адзума-сан!

— Чем это необыкновенный? — недоумевая, выглянул из-под своего капюшона Ёхэй.

— Ну как же! Ведь ваша доченька Муги-тян уехала от вас, и вы с супругой остались на старости лет вдвоем... И, несмотря ни на что, вы даже в такую пургу знай себе шагаете привычным маршрутом. Разве это не достойно восхищения?!

— А-а, вот вы о чем.

---

[1] «Акахата» — орган ЦК Коммунистической партии Японии.

— И не только об этом! Одно дело, если бы можно было рассчитывать, что общественный строй, к которому вы призываете, будет установлен не сегодня завтра. Но ведь никому не известно, когда это свершится. А вы, семидесятилетний старик... Нет, как хотите, Адзума-сан, но вы замечательный человек.

— Ничего замечательного во мне нет. Я просто чувствую потребность заниматься этим, вот и занимаюсь.

— Не возражайте, не возражайте! Человек вы замечательный...

Ёхэю почудился в словах булочника какой-то скрытый смысл, но приближалось время утреннего завтрака, и, сочтя неудобным затягивать беседу, он направился к выходу.

— А что, Муги-тян и Рю-кун больше не вернутся сюда? — спросил булочник вдогонку.

— Хм... Во всяком случае, постоянно они будут жить в Токио.

— Может быть, я и лишнее болтаю... Но ведь вам самому и вашей супруге не по сто же лет отпущено... Словом, берегите себя! Берегите себя...

С таким напутствием хозяин завернул в бумагу две только что вынутые из печи французские булочки и вручил их Ёхэю. Благодатное тепло волной разлилось по закоченевшим рукам. После этой встречи булочник нет-нет да и присылал домой к Ёхэю дочь, всякий раз приносившую старикам свежевыпеченный хлеб.

2

«Как-то вы поживаете, мои дорогие?

Выпорхнув из родительского гнездышка, мне теперь, хочешь не хочешь, приходится изворачиваться, рассчитывая только на свой тощий кошелек. Услыхав, что где-то идет распродажа сайры, я мчусь туда на велосипеде. Наткнувшись на дешевую листовую капусту, подолгу мерзну в очередях на улице. Однако все эти хлопоты доставляют мне радость. Пусть мы живем бедно, но для меня важнее всего сознание собственной самостоятельности и независимости. Надеюсь, мама поймет меня».

Вот какие письма приходили теперь от Мугино. Родители радовались долгожданному, заслуженному счастью дочери, восхищались трудолюбием и терпением Мугино и в конце концов успокоились за нее. Теперь все их мысли сосредоточились на Рюкити. В доме то и дело что-нибудь

напоминало старикам о внуке, вызывая прилив любви и щемящей жалости к малышу. Стоило увидеть какую-нибудь старую игрушку Рюкити — робота, солдатика, бумеранг или пистолет с портупеей,— как в памяти тотчас всплывала сосредоточенная, большеглазая мордашка с плотно стиснутыми губами.

Иногда Ёхэй проходил мимо школы. Заметив его, одноклассники Рюкити всякий раз радостно подпрыгивали, махали Ёхэю руками, громко оповещая:

— Вон пошел дедушка нашего Рю-тяна!

«Не-ет, все-таки надо было добиться, чтобы мальчика оставили с нами!» — с сожалением думал Ёхэй.

Последнее время, готовя уроки, Рюкити часто обращался за помощью к Ёхэю, это как-то еще больше сблизило их. С домашней тетрадью в руках улыбающийся Рюкити появлялся в кабинете деда. Даже если Ёхэй и не бывал особенно занят, он имел обыкновение встречать каждого, кто отваживался нарушить его покой, недовольным вопросительным взглядом. Но это ни капельки не смущало Рюкити, и он преспокойно усаживался за стол напротив Ёхэя.

— Дедуля, не знаю, как пишется иероглиф «песня». Покажи, какой тут порядок черт.

— Что еще за «порядок черт»?!

— Хм... «порядок черт» — это порядок, который надо соблюдать при письме. Ну, какая черта сначала, какая потом...

— А-а, вот ты о чем. Опять эти никому не нужные вопросы...

— Вовсе нет! Учитель сказал, что это важно для изучения родного языка! — настаивал Рюкити.

— Видишь ли, Рю, может быть, и следует обучать школьников наиболее простому порядку начертания иероглифов. Но я категорически против чрезмерных придирок.

— Да-а, по родному языку я числюсь хорошо успевающим, а по каллиграфии чуть не в отстающих хожу...

Ёхэй сдался.

— Послушай, Рю. Я против этих правил. Но дай-ка вспомнить, как же все-таки пишется твоя «песня»?.. Не-ет, никак не соображу...

— Дедуля, ты что, не знаешь?!

— Да понимаешь ли, я привык писать, как мне заблагорассудится.

— О-го! — поразился Рюкити и со словами: «Ладно, ладно... я спрошу в библиотеке...» — вскочил и выскользнул из кабинета.

«Уж этот мне Рюкити!..» — подумал раздосадованный Ёхэй, глядя вслед внуку.

Подобные эпизоды повторялись не раз.

Мияко разыскала где-то моментальную фотографию Рюкити и приколола ее рядом с телевизором. Снимок был сделан прошлой весной по случаю перехода Рюкити в третий класс.

Фотограф запечатлел радостный миг: сияющий Рюкити занес ногу на педаль только что купленного велосипеда. И чертами лица, и сложением Рюкити необыкновенно походил на мать. Глядя на его тщательно выписанные брови и поражавшие всех огромные черные глаза, окаймленные длинными пушистыми ресницами, трудно было поверить, что перед вами мальчик. Глаза его, как широко распахнутые окна, открывали перед каждым доверчивую душу ребенка. Еще когда Рюкити был грудным младенцем, Ёхэй называл его «наш доверчивый глазастик». На девочку Рюкити был похож не только глазами, но и гибкостью, мягкостью и нежностью движений.

Невольно привлекая внимание своей внешностью, мальчик, в общем-то, рос и воспитывался, как все дети его возраста. Иногда, правда, с ним случались нелепые истории. Сколько шума было из-за того, что он «нарушил правила поведения», якобы забравшись в женский туалет... Рюкити горько плакал, отрицая свою вину. Классный руководитель и Мугино стали выяснять, что же произошло. Оказалось, дело было совсем иначе: какие-то мальчишки из пятого класса силком затолкали Рюкити в женскую уборную и заперли его там.

— Они сами впихнули меня да еще насмехались: «У тебя небось и петушка-то нет!» — всхлипывал Рюкити, обиженно сверкая глазами.

— Ты только полюбуйся на его стриженую головку, на эту красненькую маечку с круглым вырезом и сама поймешь, что чего-то подобного следовало ожидать! — выговаривал Ёхэй дочери.

Потом он завел какой-то странный разговор с женой.

— Для женщины это в порядке вещей, но для истинного японца?.. Разве можно надеяться, что мужчина с такими глазами добьется в жизни чего-то серьезного?!

— Это что, все утверждения френологов? — укоризненно спросила Мияко.

— Нет, я исхожу из личного опыта. У Рюкити ко всему еще такой крошечный ротик, с такими нежными очертания-

ми... Меня это очень беспокоит. У мужчины должен быть крупный рот, узко прорезанные глаза, твердый взгляд.

— И что за мерзкие мысли лезут тебе в голову! Мне в нашем Рю нравится все! — возмущалась Мияко и после некоторого раздумья продолжала: — Не тревожься понапрасну! У тебя-то рот в два раза больше обычного, будто мискантом прорезан... Когда мы с тобою познакомились, ты показался мне истинным представителем народа Ямато[1]...

Вспоминая свою пикировку с женой, Ёхэй горько усмехнулся. Надо сказать, что особые надежды он возлагал на то, что у внука была на редкость большая голова. За последние годы Рюкити порядком вытянулся, и это стало не так бросаться в глаза. Но когда ему было годика четыре, он частенько падал оттого, что голова просто перевешивала. Упав на землю, малыш и не пытался подняться, а продолжал играть лежа — так ему было, очевидно, удобнее. Встревожившаяся Мугино потащила сынишку к врачу. Тот не обнаружил никакой патологии, а расценил это как один из случаев ускоренного формирования черепной коробки. И действительно, Рюкити была впору лыжная шапка самого Ёхэя.

Убеждение о преимуществах людей с крупным черепом сложилось у Ёхэя тоже, как говорил он, «из практики». Ведь чем больше сосуд, тем больше в него вмещается. И в самом деле, кроме физкультуры, Рюкити с первого класса хорошо успевал по всем предметам. Оставалось ждать, как проявятся его способности в будущем. «У меня-то с рождения голова вытянутая, как баклажан. Вот и не удалось выбраться в знаменитости»,— философствовал Ёхэй.

В начальной школе с ним учился мальчик из соседнего поселка по имени Кикумацу, очень выделявшийся своими способностями. Голова у него была так непропорционально велика, что ребята прозвали его Тыквой. А в средней школе староста их класса Каритани был похож на Фукусукэ — куклу, изображающую большеголового мальчугана, приносящего счастье. В истории Японии известен своей большой головой премьер-министр эпохи Мэйдзи — Таро Кацура... На память Ёхэю приходили и такие имена, как Гёте, Гегель, Маркс... Это обнадеживало старика.

Ёхэй выискивал поводы, чтобы позвонить по междугородному телефону в Токио. Переговорив с дочерью, он просил позвать внука.

---

[1] Ямато — древнее название Японии.

— Это я, Рю! — без всякого смущения, тихо отвечал Рюкити.

— Чем занимаешься?

— Смотрю телик.

— Появились ли у тебя друзья?

— Появились!

Заканчивался их разговор неизменной фразой внука:

— Больше рассказывать нечего, передаю трубку маме.

3

Приближалась неделя весеннего равноденствия. Ночью налетел южный ветер и мигом прогнал затяжную зиму. Исчезли сугробы около дома, и от пригретой солнышком земли потянулся сиреневатый дымок.

В тот день с утра по городу должна была разъезжать специальная машина для вывоза мусора. Навести во дворе порядок и подготовить все к приезду мусорщика было обязанностью Ёхэя. Обычно после того, как сходил снег, на задворках, возле сарая, обнаруживалась куча мусора и негодных вещей.

Ёхэй с удовольствием погрелся бы еще возле теплой жаровни, но пришлось натянуть резиновые сапоги и выйти из дома. Щурясь от ласковых лучей утреннего солнца, он спустился к калитке на заднем дворе. И вдруг всем своим существом почувствовал, насколько метко старинное образное название этих мартовских дней: «пора пробуждения личинок».

Как Ёхэй и предполагал, возле сарая высилась целая гора хлама. Чего только там не было: доски от обвалившегося навеса, водосточный желоб, пустые бутылки и банки разных размеров и, наконец, разбухшая от влаги картонная коробка с игрушками Рюкити. Все было настолько перепачкано и залеплено комьями слежавшегося снега, что Ёхэй даже не мог определить, что же из этого хлама все-таки можно будет сжечь.

Ёхэй совсем пал духом, когда взгляд его неожиданно наткнулся на несуразную старую полиэтиленовую ванну, давным-давно брошенную около сарая. Он органически не переносил изделий из полиэтилена. Его раздражал сам материал. Ведь подумать только, с металлом и близко не лежал, а такая завидная прочность: хоть колоти, хоть топчи. В этой старой детской ванночке когда-то купали маленького Рюкити, а потом она, очевидно, долгое время служила

мусорным ящиком. Чудом избежав отправки на свалку и, по-видимому, гордясь этим, ванна прочно сидела на своем голубом днище.

Прищелкнув от досады языком, Ёхэй подошел к куче хлама поближе. Нет, разделаться со всем этим барахлом надо сегодня же. Злополучная ванна была, по сути дела, просто большой лоханью, до краев наполненной талым снегом и дождевой водой, стекавшей с крыши сарая. Кое-где в бурой жиже зеленели пятна тины. Ночной мороз подернул поверхность тонкой пленочкой льда, точно прикрыл ее целлофаном.

Итак, прежде всего следовало вылить воду. Ёхэй надел рабочие перчатки и попытался приподнять край лохани, но безуспешно: лохань с водой оказалась очень тяжелой. Разозлившись, он присел, резким толчком накренил ванну и вдруг замер — против потока, выливавшегося на землю мутной струей, в самой ванне двигался какой-то блестящий черный предмет величиной чуть больше ногтя. Ёхэй попридержал лохань — все исчезло. Решив, что это комочек грязи, подхваченный водой, Ёхэй продолжил начатое дело. На этот раз блестящий предмет всплыл ближе к поверхности. Передвигался он, вне всякого сомнения, самостоятельно. Ёхэй не верил глазам. Вот черный комочек оказался на поверхности, и Ёхэю наконец удалось рассмотреть его очертания.

— Ба-а! Да это же наша Чернозолотка! — изумленно воскликнул старик.

Он поспешно опустил лохань на землю и впился взглядом в крохотное существо. Странно, но в это мгновение он испытал такое чувство, как если бы ему довелось неожиданно встретить Рюкити.

Чернозолотка была той самой золотой рыбкой, которую прошлым летом Рюкити поймал в водосточной канаве неподалеку от зубоврачебного кабинета. Ребятишки сразу же назвали рыбку Курокин, что означает Чернозолотка. Прозвище так и закрепилось за ней: крошечная, с ноготь большого пальца Рюкити, рыбешка была настолько черна, будто ее специально вымазали тушью. Спереди — справа и слева — у нее двумя шишечками торчали глазки. Отсюда, наверно, и происходит название этой разновидности золотых рыбок — «водяные глазки». Сзади у малышки круглым веером топорщился хвостовой плавничок. Казалось, вся рыбка состоит только из головы да хвостика, больше и ухватиться не за что. Одно умиление было смотреть, как, виляя хвостиком и с усилием поворачивая непропорцио-

нально выдававшуюся головку, рыбка деловито сновала в воде. Поймать ее не составило для Рюкити особого труда.

Дней пять мальчик буквально не расставался с Чернозолоткой. Он поместил рыбку в бутыль с широким горлом и поставил этот самодельный аквариум на своем письменном столе. Во время еды бутыль переносилась на обеденный стол. Потом наступило увлечение бумерангом и пистолетом, и рыбка куда-то исчезла. Во всяком случае, в повседневной суете и заботах Ёхэй совершенно забыл о ней и не вспоминал до этого утра. Старик, как это нередко свойственно взрослым, пожалуй, даже осуждал внука за его небрежное отношение к когда-то нежно любимым игрушкам.

«Прозимовать в таком месте?! Чудеса, да и только!» — Ёхэй кинулся к дому.

— Послушай, послушай, Мияко! Чернозолотка-то, оказывается, жива! — радостно объявил он жене, распахнув дверь в столовую.

Мияко возилась возле жаровни, заканчивая приготовления к завтраку.

— А-а, ты, должно быть, нашел ее в полиэтиленовой лохани? — обернулась она к мужу. Но в ее голосе почему-то не чувствовалось особого изумления.— Это Рю ее туда выпустил.

— Так ты знала?!

— Что ж, уцелела — и славно.

Получалось, что забыл о рыбке и оставался в неведении один Ёхэй.

Вслед за мужем Мияко поспешила на задний двор.

Подойдя к лохани, они присели возле нее, и вдруг Ёхэй удрученно обронил:

— Кто знает, может быть, писатели, живущие в мире вымысла, невольно сами как-то черствеют душой?..

— О чем ты?

— Я был потрясен, обнаружив Чернозолотку, да и твои слова задели меня.

— Выходит, я тебя обидела?

— Нет-нет. Тут дело во мне самом.

На этот раз Мияко не смолчала.

— Да нет уж, с профессией писателя это не связано. Ты вообще всегда отличался некоторой черствостью. Вспомни, как ты вел себя, когда мне случалось простудиться и заболеть. Нет чтобы ласково обнять и пригреть меня. Только и знал, что читать нотации: «Нельзя выходить на улицу без пальто, неразумно мыться в плохо протопленной бане...»

— Знаю, знаю. Сто раз слышал... все уши прожужжала.

— Что-то разладилось у нас с тобой. Раз уж пришлось остаться вдвоем, надо стараться жить в мире да согласии.

Мияко погрузила руки в лохань и осторожно зачерпнула воду со дня. На ладони у нее, слегка покачиваясь, лежала крохотная рыбешка. Мияко уже поднесла руки почти к самой поверхности, но рыбка вдруг проворно выскользнула между пальцев.

— Какая прелесть! — восхищенно воскликнула Мияко.— Такая крохотная, что почти не чувствуешь ее прикосновения. А тоже ведь живое существо.

— Чудеса! И сколько на свете подобных чудес! Оказаться всеми забытой, заброшенной и тихонько пережить холодную зиму подо льдом...

— Да-а... После того как Рю пустил Чернозолотку в ванну, я несколько раз приходила сюда посмотреть на нее, а потом как-то совсем из головы вон. Выходит, и я бываю черствой...— Мияко нахмурила брови.

Чернозолотка как нырнула на дно, так и оставалась лежать неподвижным черным комочком.

— Давай поскорее сменим воду,— предложила Мияко.

Но Ёхэй перебил ее:

— Нет-нет. Выпустим ее в пруд, что перед твоим кабинетом.

— В пруд? Ни в коем случае!

— Почему? Раз уж она уцелела, пусть теперь подрастает в пруду. Там и кислорода вдоволь.

— Это невозможно! Ты же знаешь, там хозяйничает черный карп. Он мигом проглотит нашу рыбку. Иначе зачем бы Рю пускать ее в полиэтиленовую ванну.

— Погоди, я, кажется, кое-что придумал. Мне хочется, чтобы Чернозолотка все-таки порезвилась в пруду.

— И ты знаешь, как это сделать?

— Да, знаю.

— Что ж, полагаюсь на тебя. Смотри только, не погуби малышку.

— Что за ерунда!

После ухода жены Ёхэй продолжал наблюдать за Чернозолоткой. Трогательный вид рыбешки, деловито сновавшей в воде, помимо его воли вызывал в памяти образ внука. Что-то тревожно-загадочное почудилось Ёхэю в иссиня-черной окраске этой крохи, которую он начинал воспринимать как одушевленное существо. Старик уверовал, что радость, доставленная рыбке, обернется радостью и для внука.

4

Зубоврачебный кабинет Мияко находился метрах в ста от их дома, но территориально относился уже к другому кварталу. С девяти утра и до шести вечера Мияко вела там прием больных. Сад вокруг их дома зарос бурьяном, среди которого сиротливо высились несколько сосенок да азалия. А на пустыре возле приемной года три назад посадили садовые деревья и разбросали декоративные камни. Почти половину пустыря садовник отвел под пруд, придав ему форму причудливо изогнутого овала, напоминавшего иероглиф «сердце», написанный быстрым росчерком кисти. Затем пруд наполнили водой и пустили в него карпов: белых, красных, золотистых. Был среди них и огромный черный карп, которого теперь так опасалась Мияко.

Ёхэй почти полдня провел в универмаге. В отделе «Все для любителей птиц» было выставлено множество клеток, больших и маленьких. Но Ёхэй никак не мог найти клетку нужного ему размера.

— И для какой же птицы вам требуется такая громадная клетка? — удивился продавец.

— Да мне, собственно... Мне не для птицы.

Продавец в недоумении отошел от странного покупателя.

В конце концов Ёхэй решил купить три больших клетки, в каких обычно держат красно-синих ара или ушастых скворцов. Его замысел был оригинален и прост: разобрать каждую клетку с одной стороны и затем соединить все три клетки вместе.

— Я задумал соорудить своего рода садок и установить его в пруду,— объяснил Ёхэй жене, притащив птичьи клетки домой.

— И тогда наша рыбка будет в безопасности...— кивнула Мияко, пряча улыбку — уж очень невероятной показалась ей затея мужа.

— Мне хочется, чтобы новое прибежище Чернозолотки было не только надежным, но и просторным. А прожорливым карпам останется только таращить глаза.

Ёхэй энергично принялся за дело, в котором у него не было ни опыта, ни сноровки. Захватив с собой проволоку и щипцы, он расположился в саду прямо на прошлогодней траве и почти два дня провозился с клетками. Сначала приходилось отделять прутик за прутиком, а потом соединять их, скрепляя проволочками. Это оказалось занятием очень кропотливым. Чтобы Чернозолотка не повредила

свою нежную чешуйку, нужно было очень тщательно замотывать проволоку, пряча острые концы внутрь. Ёхэй как одержимый весь ушел в работу: он даже не подходил к телефону и никого не принимал.

Торжественный спуск садка проводился в присутствии Мияко. Просторная клетка с частой серебристой решеткой была помещена в одном из уголков пруда. Выловив Чернозолотку из полиэтиленовой ванночки, Ёхэй осторожно просунул руку с рыбкой через узенькую дверцу кормушки. Лежавшая на его широкой ладони Чернозолотка сначала недовольно повертела головкой и хвостиком. Потом, очевидно освоившись, соскользнула с ладони и, покачиваясь, уплыла в простор нового мира.

— Интересно, как воспримут появление незнакомки наши карпы,— обеспокоенно проговорила Мияко.

— Пока, вопреки опасениям, как будто миролюбиво.

В тот момент, когда Ёхэй опустил садок в воду, карпы — их было штук двадцать пять — встревоженно закружились вокруг садка. Но теперь, сверкая яркой чешуей, они степенно дефилировали в струе проточной воды. Сама Чернозолотка доплыла до середины садка и, будто окаменев, застыла там неподвижно, то ли от растерянности, то ли от удовольствия. Принято считать, что, если рыба неожиданно останавливается в воде, словно замирая, значит, ей там хорошо.

Пока Мияко заканчивала прием больных, преисполненный гордости Ёхэй оставался на берегу пруда. Он испытывал давно забытое, а может быть, и вообще редкое в его жизни чувство удовлетворения от содеянного им «благого дела». По пути к дому он заявил жене:

— Сегодня вечером надо позвонить Рю!

На следующее утро Ёхэй проснулся гораздо раньше обычного. Его не покидала мысль о Чернозолотке. Набросив поверх пижамы пальто, он поспешил в сад.

В обязанности Ёхэя входило кормить по утрам карпов. Но в тот день он думал не о них. Ёхэю не терпелось узнать, как чувствует себя Чернозолотка после ночи, проведенной в ее новом роскошном жилище. Старик хотел увидеть рыбку довольной и счастливой. Ведь из тесной полиэтиленовой ванны она попала в просторный пруд, где вода насыщена кислородом и богата планктоном.

Заслышав шаги Ёхэя, карпы с шумом устремились к берегу. Но Ёхэй прежде всего направился к тому месту, где

был поставлен садок. Утро выдалось ясное. Ёхэй присел на камень, лежавший около воды, и принялся всматриваться в прозрачную гладь, выискивая взглядом силуэт, похожий на черный бархатный лоскуток.

Произошло невероятное! За одну ночь Чернозолотка исчезла из садка. Что за нелепость! Ёхэй торопливо закатал штанины и шагнул в воду. Сколько он ни вглядывался, садок был пуст. Только в глазах рябило от блеска тонюсеньких прутиков решетки. Между тем дверца кормушки плотно закрыта, в садке никаких повреждений. Выходит, Чернозолотка проскользнула через крохотный — пятимиллиметровый — просвет в решетке. Но возможно ли такое?

Чуть не плача, Ёхэй притащил бамбуковый шест и обшарил все закоулки пруда. Если рыбка выскользнула из клетки, она могла забиться под камни или спрятаться среди водорослей. Ёхэй так надеялся на это. Но сколько он ни искал, пруд не вернул ему крохотное черненькое существо.

Теперь в голову приходило только два объяснения случившемуся. Первой была мысль о карпе, которого с самого начала опасалась Мияко. Неужели он все-таки проглотил Чернозолотку? От этого предположения, как от соприкосновения с чем-то омерзительным, у Ёхэя даже подступила тошнота.

Оставалась еще одна версия. Для очистки пруда к нему была подведена специальная труба, по которой вода выводилась в сточную канаву, а затем в ближайшую речушку. Если Чернозолотке удалось добраться до входного отверстия трубы, она могла вернуться в сточную канаву, откуда ее в свое время и выловил Рюкити. Ёхэй предпочитал верить в последнее. Он снова вооружился бамбуковым шестом и принялся за поиски. Но обнаружить Чернозолотку не было никакой надежды. На дне канавы осел толстый слой грязи, вода в ней была мутной, почти черной, местами на ее поверхности красными лентами извивались дождевые черви.

Может быть, этот грязный поток давно вынес Чернозолотку за пределы их города и теперь она плывет себе по широкому каналу? Мысль эта показалась Ёхэю спасительной.

И все же ему то и дело мерещились алчно распахнутые пасти карпов.

Овладев собой, Ёхэй вернулся в сад. Он раскрыл пакет с комбикормом, напоминавшим высушенную массу из перебродивших соевых бобов, и стал пригоршнями кидать его в воду. Что тут поднялось! Толкая, отпихивая друг друга,

проголодавшиеся карпы бросались к разлетавшимся по воде крошкам. Ёхэй содрогнулся: как же омерзительны были эти прожорливые рыбы с их розово-красными пастями, зиявшими точно пещеры.

Красные, желтые и белые карпы обычно собирались стайками и, не таясь, спокойно скользили по поверхности пруда. Среди них никогда не было видно только большого черного карпа, которого Мияко прозвала Властелином. Может быть, именно так и положено вести себя черным карпам? Властелин следил за всем происходящим, лениво отлеживаясь на дне пруда. Время от времени он, бесцеремонно отталкивая рыб, попадавшихся ему по пути, всплывал вверх за кормом и снова погружался на дно. До этого дня Ёхэй наблюдал за своими питомцами с симпатией и даже некоторым умилением Следуя заведенному порядку, подпавший под страшное подозрение Властелин и на этот раз показался у поверхности одним из последних. Он распахнул рот, выстланный, как у младенца, нежно-розовой оболочкой, и проглотил плававший рядом корм. У Ёхэя перехватило дыхание. «Да этакой пастью можно и змею заглотать.— У старика разом улетучилась былая симпатия к Властелину.— Злодей нарочно напускает на себя простодушный вид, с аппетитом поглощая обычный корм. Обманщик!..» Прошла минута-другая. Властелин извернулся своим мощным корпусом и ушел на дно. Сколько ни старался Ёхэй отогнать от себя страшное видение, ему все чудилось, что в круглом жирном брюхе черного карпа нет-нет да и вздрагивает исчезнувшая Чернозолотка.

В самом деле, сейчас карпов разводят в прудах, но ведь когда-то эти рыбы относились к плотоядным. «Не-ет, теперь меня не проведешь!» — Домой Ёхэй вернулся совсем подавленный.

Мияко еще с большей убежденностью винила во всем Властелина. Зная прожорливость карпов, нетрудно было представить, что стоило только Чернозолотке мелькнуть перед его пастью, и он, повинуясь инстинкту, просто не смог упустить такой лакомый кусочек.

— Вполне вероятно, что Чернозолотке все-таки удалось выбраться из пруда! — скорее для собственного успокоения продолжал твердить Ёхэй. Однако грустное предположение Мияко было, пожалуй, ближе к истине.

Последние три-четыре дня Ёхэй находился в состоянии какого-то возбуждения. Жизнь казалась ему такой наполненной, что у него даже исчезло ощущение собственной заброшенности, угнетавшее его после отъезда дочери и внука.

Теперь наступил спад. Ёхэй сник. Беда была еще в том, что старик вообразил, будто между участью Чернозолотки и судьбой Рюкити существует какая-то фатальная связь.

За ужином он не выдержал и завел разговор с женой:

— Съезжу-ка я проведать Рюкити.

— Он же приедет к нам на весенние каникулы.

— Приедет... А я все жди и жди.

— Видно, уж очень тебя потянуло в Токио.

— И не говори. Так хочется взглянуть на Рюкити.

— А что, если и я... Впрочем, у меня ведь пациенты.

— Сама же только что говорила, что он приедет на каникулы. Теперь уж недолго. Ох, и впрямь не терпится посмотреть, как-то они там устроились.

В конце концов согласие Мияко было получено.

5

Приближался конец учебного года, и поезд на Токио был переполнен. Ёхэй собрался в поездку внезапно, и ему удалось достать билет только в общий вагон. Однако после Канадзавы и Такаоки все сидячие места оказались заняты.

Ёхэю не оставалось ничего другого, как отправиться в вагон-ресторан. Неожиданно кто-то из пассажиров, сидевших за ближайшим столиком, помахал ему рукой. Ёхэй в недоумении остановился: «Неужели это наш булочник?»

Внушительная фигура лавочника была облачена в парадный костюм, и Ёхэй не сразу узнал своего знакомого. За столиком, уставленным пивными бутылками, сидело еще двое мужчин.

— Милости просим, Адзума-сан! — пригласил булочник Ёхэя и представил его своим попутчикам.— Надо же, где довелось встретиться! Вы тоже в Токио?

— Да, к дочери.

— Значит, едете к Муги-тян. Это хорошо. Рад за вас...

— А вы куда держите путь?

— Мы-то? Мы в министерство земледелия и лесного хозяйства.

— В министерство? По какому вопросу?

— Да вот решили, глядя на вас, заняться полезными делами. Собираемся подать прошение или, вернее сказать, требование.

— Вот оно что. Это очень-очень...

— Как вы думаете, Адзума-сан, чем сейчас больше всего озабочены японские булочники? Нам нужна мука!

А государство пока может обеспечить нас ею лишь на девяносто процентов. Мы в тупике. Вот Всеяпонская ассоциация булочников и решила обратиться в министерство земледелия и лесного хозяйства. Проблема эта, безусловно, связана с проблемой излишков риса. Однако мы не намерены затевать ссору с крестьянами. Вопрос сложный, но правительство-то обязано разобраться в нем. А мы в свою очередь хотим как-то подтолкнуть ход событий.— Булочник говорил громко и возбужденно.

— Да-а, задача нелегкая.

— Адзума-сан, нам нужно не сочувствие, а ваше мнение.

— Чтобы прийти к какому-то суждению...— начал было Ёхэй, но булочник тут же перебил его:

— Недавно в одном из журналов мне попалась статья о вашем великом теоретике Марксе.

— Не пойму, какая тут связь?

— Да ведь выходит, что Маркс скончался, так и не увидев общественного строя, за который он ратовал.

— Что так, то так.

— Не означает ли это, что он умирал с чувством горечи и разочарования?

— Маркс до последних дней своей жизни продолжал отдавать все силы научно-теоретической работе и организаторской деятельности во имя дела революции.

— А-а, вот, оказывается, как. Тогда мне хотелось бы вернуться к вопросу, о котором мы недавно с вами беседовали. Помнится, вы говорили, Адзума-сан, что через какое-то время революция непременно свершится и наступят светлые дни. Но когда же? Когда? На наших примитивных счетах этого не вычислишь. Остается принимать все на веру?..

— Да, надо верить. Но имейте в виду, мы исходим не только из отвлеченных рассуждений. У нас все обосновано.

— Обосновано, говорите. Жаль, что нам не под силу разобраться в таких сложных вещах. А ваши идеалы пока не сбываются.

— Сбудутся! И тем скорее, чем больше станет людей, мыслящих, как вы.

— Неужели и от нас, булочников да рисоторговцев, может быть какой-то прок?

— Думаю, что может!

— Наконец-то вы внесли некоторую ясность.

Все рассмеялись.

От Наоэцу дорога круто свернула вправо к Центральной Японии. Наступила уже третья декада марта, но кое-

где еще лежал глубокий снег, и на станции Мёкокогэн из поезда высыпала целая ватага лыжников.

Вот позади осталось и Синано. Когда состав вынырнул из тоннеля Усуи, за окнами замелькали уже зеленевшие поля долины Канто. «Да-а, в эти края весна приходит намного раньше, чем к нам в Тояму».

После Мёкокогэна Ёхэю наконец удалось занять освободившееся место. Блаженно откинувшись на спинку сиденья, он перенесся мыслями к внуку:

«...На вокзал Уэно поезд должен прибыть в пять часов вечера. Потом мне предстоят еще две пересадки, так что в Китидзёдзи я попаду часам к семи...»

На вокзале Уэно Ёхэй распрощался с булочником и его друзьями — вся компания торопилась в сауну. Поскольку Ёхэй не знал расписания городской электрички, он в разговоре по телефону с Мугино сообщил ей только примерное время своего прибытия, предупредив, что доберется до их дома сам. Но сейчас, когда он подъезжал к Китидзёдзи, старику страшно захотелось, чтобы дочь и внук его встретили.

Сбавляя ход, электричка заскользила вдоль платформы, и Ёхэй сразу же увидел их лица, как всегда поразившие его своим редкостным сходством.

«Пришли-таки!» — И в тот же миг все недавние опасения и предчувствия, терзавшие Ёхэя после исчезновения Чернозолотки, улетучились как дурной сон.

Дочь и внук махали ему руками и что-то кричали, но старик не мог разобрать их слов. Не успел поезд остановиться, как Мугино с сыном бросились к стоявшему на площадке вагона Ёхэю.

— Вот хорошо, что приехал!

— Наконец-то, дедуля!

Ёхэй ткнулся лицом в стриженую голову внука и только смущенно пробормотал:

— А-а, Рюкити...

— Как там моя Чернозолотка? — не замедлил спросить внук.

— Чернозолотка? Да видишь ли... Словом, уплыла в речку...

— Ха-а... значит, все-таки вернулась обратно?

Вопреки ожиданиям, Рюкити воспринял новость спокойно, и Ёхэй поспешил переменить тему.

— А Рю, пожалуй, еще вытянулся.

— Вовсе нет! Не так уж я и вытянулся! — возразил внук, сверкая своими необыкновенными глазами. На нем был новый свитер в черно-белую полоску и расклешенные брюки. Мальчик раздался в плечах по меньшей мере на целый размер.

«Наконец-то становится похожим на парня! А выговор совсем как у настоящего токийца!»

— Не хворал ли Рюкити за это время? — словно рассуждая сам с собою, пробормотал Ёхэй.

— Мною ты и не поинтересуешься? — обиженно глянула на отца Мугино.

Убедившись, что весь багаж Ёхэя, сложенный на платформе, цел, Мугино подняла пакеты с гостинцами. Ёхэй потянулся было к своему саквояжу, но Рюкити опередил его.

— Тебе тяжело, дедушка! — покровительственно бросил он и, водрузив объемистый саквояж на плечо, зашагал вперед, даже не оглянувшись на опешившего от изумления деда.

Ёхэй засунул руки в карманы пальто и, ссутулившись, покорно побрел следом. Пройдя вместе с Мугино через контроль, он на секунду остановился, отыскивая в уличной толпе внука. Фигурка Рюкити то растворялась в вечерних сумерках, то вновь вырисовывалась в кружеве неоновых огней, словно птица, улетающая вдаль.

Сэндзи Курои

НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ

Долгая ненастная ночь сменилась холодным утром. Капли дождя падали из прохудившейся водосточной трубы и монотонно стучали по оцинкованной крыше мусорного бачка. Сигэко, превозмогая ломоту в пояснице, включила на полную мощность электрическую жаровню-котацу. Выпив чаю из термоса, она поставила чайник на газовую плиту. Зазвонил телефон. Сигэко взглянула на маленький буфет, на котором стоял аппарат.

Какой же сегодня день? — подумала она, мысленно перелистывая календарь. Она вела счет времени по вечерним телевизионным программам. Вчера показывали «Мито-комон» [1] — стало быть, сегодня вторник. Наверняка это Мотомура, хочет предупредить, что вечером придет попозже. Хотя рановато для него. Что беспокоиться об ужине, когда еще обед не настал. Телефон давал о себе знать в лучшем случае раз в неделю, поэтому Сигэко пошла к нему неторопливо, чувствуя растерянность и в то же время невольную радость. В трубке раздался спокойный женский голос:

— Алло, как лучше добраться до вас?

Сигэко от неожиданности смешалась. Она и предположить не могла, чтобы к ней пришел кто-нибудь, кроме Мотомура из бюро обслуживания стариков, который дважды в неделю доставлял продукты.

— О чем вы, простите?

— Я хотела бы сейчас побывать у вас.

— У меня? Сейчас?

— А что, сегодня нельзя? — произнес вмиг потухший голос.

Сигэко, нервно теребя шнурок, подвернувшийся под руку, выдавила из себя:

© Kuroi Senji 1980

[1] «Мито-комон» — популярный исторический телесериал о Мицуни Токугава (1628—1700), одном из представителей рода Токугава, которому принадлежала военная власть в Японии.

— Нет-нет, пожалуйста, в любое время милости просим.

— Еду немедленно.

— Извините, а вы откуда будете? — смущенно спросила Сигэко.

— Из Ёцуя [1], совсем рядом с линией Синдзюку. Если на метро, то надо выйти на станции Синдзюку-сантёмэ,— объясняла незнакомка так, словно Сигэко собиралась к ней в гости.

Сигэко интересовал не адрес, ей хотелось узнать, кто ее собеседница, однако она не решалась задать этот вопрос. Слушая торопливую речь в трубке, Сигэко подумала, что женщина, пожалуй, старше, чем показалось сначала. Конечно, помоложе меня, но из среднего возраста уже вышла. Собирается ко мне... Зачем я ей понадобилась? Придется хотя бы в прихожей прибрать. А что к чаю подать?

Мысли Сигэко разбегались, она почувствовала, как в душе огоньком вспыхнуло беспокойство. Словно ее долго держали в темноте, а потом вдруг вытолкнули на ослепительный свет. Сигэко встрепенулась — ей, живущей взаперти, предстоит принять гостью.

Может, это одна из старых подруг, о которой я и думать забыла? Или родственница покойного мужа? Сколько он ни втолковывал, я так и не запомнила всех. Были же, в конце концов, женщины в его родне...

С замиранием сердца Сигэко вдруг тихо произнесла:

— У вас какое-то дело ко мне?

— Ничего особенного. Хочется просто подышать вашим воздухом.

— Добро пожаловать,— ответила Сигэко, удивившись собственной решимости. В ее голосе прозвучало что-то детское, словно она выпрашивала гостинец.— Ну что же, садитесь на поезд до Такао.— Сигэко представила себе оранжевые вагоны, в которых она давным-давно не ездила. Видение исчезло.

Женщина сказала, что ездила по той линии до Митака [2].

— Так вот, после Митака будет станция Мусаси-сакаи, потом Мусаси-коганэи... Ах нет, ведь теперь есть новая станция, Хигаси-коганэи.

Разговор неожиданно прервался. Сигэко кричала в умолкшую трубку, но голос ее словно увяз в мембране аппарата.

---

[1] Ёцуя — район Токио.

[2] Митака — город-спутник Токио.

Как же она найдет меня, успела только станцию объяснить, думала Сигэко, нетерпеливо нажимая на рычажок телефона, но в трубке раздавался унылый гудок. Что делать, если она больше не позвонит? Она чувствовала, как в душе поднимается обида из-за того, что долгожданная гостья потеряна. Холодок тоски пробежал по спине. Прошло несколько секунд, и телефон зазвонил снова.

— Смотри-ка, звонят! — непроизвольно вырвалось у Сигэко.

Так говаривал ее муж, умерший пять лет назад. Он всегда радовался даже неожиданным звонкам. Не зная, кто отзовется на другом конце провода, всегда весело восклицал:

— Смотри-ка, звонят!

Муж не изменил своей привычке и тогда, когда слег из-за болезни.

— Телефон,— вторила ему Сигэко, будто они хотели перекричать аппарат. Дом, казалось, вздрагивал от голоса мужа. Телефон приносил не только приятные известия, но муж всегда объявлял:

— Смотри-ка, звонят!

В трубке послышался голос той же женщины. Она извинилась — у нее не оказалось монетки в десять иен. Значит, звонит с улицы из автомата. Сигэко слышала только женщину, никаких шумов не было, однако в доме словно повеяло жизнью большого города.

Сигэко торопливо объясняла путь:

— Если вам не трудно пройтись пешком, то дорога от южного выхода из станции хорошая. Но в такое ненастье, пожалуй, лучше поехать на автобусе.

Женщина вежливо поблагодарила Сигэко и сказала, что скоро приедет. В трубке раздался звонкий щелчок.

Сигэко принялась хлопотать по дому. Настенные часы показывали начало десятого. «Да, ранняя гостья,— пробормотала Сигэко, открывая буфет в поисках блюдец.— От Синдзюку до меня около часа езды, но все равно нечего терять время попусту, нужно приготовиться заранее».

Долила в чайник воды, поставила на плиту. Жаровня грязновата — белой скатертью, что ли, прикрыть? А куда скатерть запрятала, и не помню. Может, в стенном шкафу? Сигэко отодвинула створку фусума и заглянула в шкаф. Изнутри тоже вид потерял, подумала она.

Прихожую в любом случае гостье не миновать. Может, она прямо на пороге представится? Или стоит, не отпирая двери, расспросить ее как следует? А если она пригласит

меня к себе? Вряд ли выберусь из дома, ноги не держат, но как заманчиво побывать в гостях. Сигэко подошла к мойке и ощутила волну тепла у ног.

— Ми-тян, что случилось?

Пестрая кошка, выгнув пушистую спину, вопрошающе смотрела на хозяйку. Ведет себя так, словно вернулась домой после нескольких лет бродяжничества. Взгляд Сигэко упал на увядший лист китайской капусты, валявшийся на полу.

— К нам гостья придет скоро, ты уж потерпи, Ми-тян,— нараспев произнесла Сигэко.

Сигэко сделала шаг, другой — кошка путалась под ногами, потом отпрянула прочь.

— Утром я ведь давала тебе сушеную рыбку. Неужели проголодалась? Ах ты маленькая обжора!

Кошка снова прильнула к ногам хозяйки, потянулась. Открыла крохотную пасть и хрипловато мяукнула. Сигэко встряхнула салфетку на маленьком столике. Зазвонил телефон.

— Смотри-ка, звонят! — ликующе крикнула она.

— ...это вы? — сипловато спросил мужчина.

Судя по голосу, больной или пожилой, говорит невнятно, поди разбери его. Дважды переспросив собеседника и услышав все то же бормотание, Сигэко ответила:

— Да-да, вы не ошиблись.

Она торопилась — верно, потому, что была еще под впечатлением предыдущего разговора.

— Дождь сильный идет, но это ведь не помеха?

— Конечно, что нам дождь, коли крыша над головой.

— Спасибо, успокоили меня... прошу... будьте любезны.

— Что вы намерены делать?

— ...станции лучше сойти...?

Сигэко, так и не взяв в толк, чего же хочет от нее незнакомец, решительно произнесла:

— Собираетесь приехать?

— Непременно,— отозвался мужчина.

Стареем и впадаем в детство. Нетерпеливы, капризны...— подумала Сигэко, а в трубку сказала:

— Извините, пожалуйста, сколько вам лет?

— Восемьдесят один.

— Без провожатых сможете добраться?

— Не волнуйтесь.

Сигэко вздрогнула — вдруг он столкнется с первой гостьей. Ничего не поделаешь. Внутренний голос утешал ее, что где один гость, там и второй.

— Пожалуйста, приезжайте,— пригласила Сигэко и объяснила дорогу от станции.

— Платить нужно? — вдруг спросил старик.

Сигэко растерялась.

— Без денег не уедешь,— расплывчато ответила она после небольшой паузы.

— А бесплатный автобус для стариков?..— заворчал он и положил трубку.

Одним гостем больше. Ну и денек выдался! Сигэко окликнула кошку, но та не пожелала объявиться. Сигэко наполнила термос кипятком. Перевернула две подушки-дзабутон [1], на которых обычно дремала днем, и положила их слева от жаровни. Ладонью стерла пыль с телевизора и стряхнула ее над корзиной для бумаг. Протерла жаровню салфеткой с маленького стола.

Ожидание гостя беспокоило Сигэко. Приход женщины был обременительным, не больше, а вот мужчину не так просто принять. Деваться некуда, размышляла Сигэко. Она улыбнулась, представив, как бы все выглядело при жизни мужа. Жуткий ревнивец, он наверняка бы вышел из себя от одного известия, что к жене собирается незнакомый мужчина. Лег бы в постель, притворившись больным. Гость, верно, курит. Сигэко вспомнила, как муж, когда был еще здоровым, надоедливо повторял, что гостям нужно подать пепельницы. Их засунули в шкафчик под мойку после того, как муж бросил курить.

Сигэко с трудом наклонилась и заглянула под раковину — в темноте на фоне водопроводного колена проглядывали причудливые очертания цветочных ваз. Сбоку колом торчала серая тряпка. Несколько пыльных бумажных сумок из универсама. В каждой из них оказалось по одежной щетке. Сигэко перерыла все, но попадались только давно купленные и забытые вещи, а стеклянной пепельницы не было. Сигэко уже собиралась закончить поиски, как услышала четвертый звонок.

— Смотри-ка, звонят!

Она хотела распрямиться, но ударилась затылком о край мойки. Все поплыло перед глазами. Два, три, четыре, считала Сигэко звонки, пережидая боль. После пятого, может, положат трубку. Хватит ли терпения дождаться отбоя? Придерживая рукой голову,— надо же, как волос мало осталось, мелькнуло в мыслях,— она приоткрыла глаза и по стенке побрела к телефону.

---

[1] Дзабутон — подушка для сидения на полу.

— Смотри-ка, звонят! — прошептала она, словно подбадривая себя, и подняла трубку.

— У вас пруд есть, а? — произнес отрывистый голос.

Говорит как попало — наверно, молодая девушка.

— Пруд? — переспросила Сигэко, поглаживая садящий затылок.

В трубке раздавалось позвякивание, словно стучали тарелками.

— Это... Кадзино... как вас там дальше?

— Что? Что вы говорите?

— Может, неправильно называю вас, да какая разница. У вас и впрямь есть пруд?

— Пруд...— произнесла Сигэко, а перед глазами у нее всплыло прошлое.

— Интересно, глубокий?

Муж когда-то увлекся золотыми рыбками и выкопал прудик в углу сада. Видно, он плохо зацементировал бассейн, потому что вода в нем не держалась, и до рыбок дело не дошло. В неудавшийся пруд складывали стоптанные соломенные сандалии, ненужные мешки и прочий садовый хлам, а сверху накрывали виниловой пленкой. Никчемная яма, обляпанная цементом. Переделать ее было трудно, так в саду и остался сухой пруд. Неужели девушка говорит о нем? Кто же она, если до таких подробностей знает наш дом?

— Могу на глаз определять глубину. Вот я какая.

— Воды в нем нет,— тоном учительницы сказала Сигэко.

— Враки. Дождь с утра льет как из ведра.

— И дождевая вода утекает из пруда.

— А у вас тихо, верно? — Интонация изменилась, стала по-детски непосредственной.

Слова эти вдруг задели Сигэко за сердце.

— Да, целый день одна-одинешенька.

— Совсем одна? Вот здорово! Позавидуешь!

Сигэко почувствовала симпатию к девушке, в манерах которой сквозила безалаберность. Наверняка невзрачная, маленькая, замкнутая, подумала она.

— Приезжай ко мне в гости,— почти приказным тоном сказала Сигэко.

— Ну что ж, это можно...— тепло отозвался голос.

— Вот и умница,— заключила Сигэко.— Может, случится, что ты окажешься вместе с другими гостями. Это мои хорошие знакомые. Тебя не смутит наше стариковское общество?

— Мне все равно. Я в любой компании отключаюсь, если захочу,— коротко бросила девушка.

Сигэко подробно объясняла дорогу, а в трубке царило молчание. Слушает меня девочка или нет?

Сигэко застыла от ужаса — гостей теперь трое. Могла ли она себе представить такое вчера или сегодня утром? Она снова вспомнила о пепельнице, а потом поймала себя на мысли, что не беспокоится, хотя гости окажутся у нее в обеденное время. Девушка едет от Итабаси, старик откуда-то по линии Собусэн. Положим, часам к одиннадцати они доберутся до меня, а там уж и обед.

Бывало, она звонила в ресторанчик, где готовили гречневую лапшу, и заказывала обед на дом. Да, ресторанчик находился по соседству с начальной школой в Адзуматё. Сигэко забыла и название ресторана, и его телефон. Жаль, можно было бы попросить четыре порции лапши с тэмпура [1]. Она вдруг вспомнила, как мужчина спросил о деньгах. Наверно, он имел в виду обед. Сигэко не знала, сколько теперь стоит лапша с тэмпура, но хотела принять гостей как положено. Ладно, будь что будет. Лишь во сне она могла увидеть, что обедает дома вчетвером, уютно устроившись вокруг жаровни.

Женщина, позвонившая первой, пожалуй, ест бесшумно, изящно орудуя палочками. А старик за обедом начнет рассказывать что-нибудь забавное, а из беззубого рта будет выпадать лапша. Провозится, поди, с тарелкой. Девушка — та, скорее всего, вмиг все проглотит и, едва отложив палочки, снова уйдет в себя. Она же говорила, что в любой обстановке способна чувствовать себя независимо. Кажется, я понимаю ее настроение.

Следующий звонок раздался, когда Сигэко еще не успела отойти от буфета.

— Смотри-ка, звонят! Ну и дела! — На этот раз она решила разнообразить свое восклицание. Она вслушивалась в трель спокойно, потому что аппарат был перед глазами. Пепельницу я не ищу, в любой миг можно снять трубку, подумала Сигэко. Не стоит после второго звонка отвечать. Она с замиранием сердца смотрела на черный телефон, подающий сигналы. Да, сегодня телефон ожил. Чудилось, будто из мембраны вырывается голос. Аппарат напрягся, диск гордо поблескивал, шнур кокетливо изогнулся. Телефон походил на какое-то одушевленное существо. Оно взирало на Сигэко и требовало внимания к себе. Теперь Сигэко не ве-

[1] Тэмпура — ломтики рыбы или овощей, зажаренные в тесте.

рилось, что совсем недавно она специально поднимала трубку, беспокоясь, не заржавел ли звонок от долгого молчания. Сегодня телефон не умолкает. Овдовев, Сигэко хотела отказаться от номера. Хорошо, что не сделала такой глупости, радовалась она, глядя на телефон.

— Это ...дзиноэн? — вежливо спросил приятный женский голос.

— Что вы? — переспросила Сигэко, с удивлением подумав, что это ошибочный звонок.

— Простите, это не дирекция Кадзиноэн?

— Нет, а вы какой, собственно, номер набираете? — с напускной серьезностью осведомилась Сигэко, подлаживаясь под тон своей собеседницы.

— Минутку, пожалуйста.— Женщина назвала номер, явно прочитав его по бумажке. Это был действительно телефон Сигэко.

— Правильно, но здесь нет никакой дирекции. Попробуйте еще раз перезвонить.

— Странно. Я собственными ушами слышала этот номер.— Голос задрожал от досады.

— А что это такое ваш Кадзиноэн? — строго спросила Сигэко.

— Видите ли, это прекрасный сад. В нем все деревья пылают багрянцем, удивительное зрелище. Еще в саду есть колодец, в котором бьет ключ.

— Вы ошиблись, я не имею ни малейшего отношения к саду.

— А почему же ваш телефон?..

— Я бы вас хотела спросить, откуда вы узнали мой номер.

— На телевидении. Вас еще что-нибудь интересует?

— На телевидении, говорите? На каком именно? Как вам ответили?

— Какой смысл вдаваться в подробности. Вышла ошибка, извините за беспокойство.— Голос стал далеким и бесстрастным, не то что в начале разговора. Не дожидаясь ответа, женщина бросила трубку.

Никакой деликатности! Кто же виноват, сама обозналась, подумала Сигэко, в сердцах опуская трубку. Не успела она снять руку с аппарата, как он снова зазвонил. Неужели та женщина? Сигэко уже не хотелось повторять присказку мужа. Приняв наступательную позу, она поднесла трубку к уху. В случае необходимости дам отпор.

— Это Кадзиноэн? — спросил высокий мужской голос приятного тембра.

— Ошиблись,— отрезала Сигэко.

— Значит, не Кадзиноэн?

В произношении мужчины улавливался акцент, отчего голос показался ей еще более чуждым.

— Где вы узнали этот номер?

Теперь Сигэко нельзя было поймать врасплох.

— На студии.

— А что вам нужно в Кадзиноэн?

— Хотелось прогуляться по саду,— простодушно прозвучало в ответ.

— Почему именно там?

— Увидел по телевизору. Красота, хотя и дождь льет.

— По телевизору?

— А вы не смотрели? Жаль.

Собеседник подкупал приветливостью.

«Сегодня я ожидаю троих гостей, может быть, и вы вместо сада пожалуете ко мне?» — чуть было не сорвалось с губ Сигэко.

— Есть еще и старинный пруд.

В душу Сигэко закралась неприязнь. Что они все заладили про пруд?

— Извините, вы ошиблись номером,— буркнула она и швырнула трубку.

Настроение такое, словно она бестактно забыла гостей, сидевших перед тарелками лапши с тэмпура. Сигэко оглядела — подушки вокруг жаровни разложены, но в комнате никого нет. Ее не покидало ощущение, что гости украдкой разошлись, пока она болтала по телефону. Почему же так случилось? Сигэко тяжело вздохнула и вздрогнула от нового звонка.

— Утром сегодня довелось посмотреть передачу по телевидению,— начал голос, как бы отрешенный от житейской суеты.— Пока есть силы в организме, хотелось бы посетить ваш уединенный уголок.

Речь звучала так, словно собеседник размышлял вслух. Глубокий старик, наверно, подумала Сигэко.

— Это сад Кадзиноэн, что ли?

Сигэко пыталась объясниться со стариком, но в ответ слышала только ничего не значащие восклицания.

— Теперь я далеко не езжу, но уж по такому случаю попрошу невестку сопроводить меня.

Сигэко с некоторым раздражением выслушивала старика.

Следующим оказался мужчина, назвавшийся учителем начальной школы.

— В курс природоведения входит изучение равнины Мусасино[1], поэтому мне необходимо осмотреть ту часть сада, в которой сохранились редкие виды флоры. Из телепередачи трудно понять, какую площадь занимают они в саду. Как в действительности обстоит дело? Есть ли особые правила посещения для экскурсантов младшего школьного возраста? — выпалил он на вопрос Сигэко, которая хотела просто уточнить, идет ли речь о саде Кадзиноэн. Ей нечего было добавить к сказанному, и она коротко произнесла:

— Извините, вы набрали неправильный номер.— Сигэко положила трубку, чувствуя, как в глубине уха прерывисто пульсирует кровь.

Торжествующий голос телефона раздался опять. И опять звонило много женщин возраста Сигэко. Она перенесла аппарат с буфета поближе к жаровне. Никогда не думала, что придется воспользоваться длинным шнуром. Сигэко не оставляло ощущение, будто она и вправду находится в дирекции сада Кадзиноэн. Она даже забыла о троих гостях, которые должны сидеть вокруг жаровни.

Сигэко вежливо отвечала на каждый звонок.

— Это не сад, я ничего не знаю о нем,— терпеливо объясняла она, не уставая повторять одно и то же.

Многие раздраженно бросали трубку, но попадались и такие, кто смущенно извинялся за доставленное беспокойство, и Сигэко чудилось, что они при этом даже раскланиваются.

Телефон опьянил Сигэко. Щеки горели, в горле пересохло, она забыла о холоде. Не было минуты, чтобы спокойно выпить чаю. Черный телефон непрестанно звонил, словно алчно наверстывал дни вынужденного молчания.

— Сейчас, миленький, сейчас,— ласково приговаривала она, протягивая руку к трубке.

Часа через два после первого звонка Сигэко услышала голос, не похожий ни на один из тех, с которыми она говорила с утра.

— Вы имеете в виду сад Кадзиноэн? — спросила она, и в ответ раздался почти что крик.

— Я с телевидения!

Не переводя дыхания, мужчина назвал свое имя.

— Сегодня утром мы показали передачу о саде Кадзиноэн. Он перешел в собственность к другому владельцу, который недавно открыл его для посетителей. Телезрители обратились к нам с просьбой сообщить номер телефона ди-

[1] Мусасино — часть равнины Канто, на которой расположен Токио.

рекции,— скороговоркой продолжал он.— Произошла недопустимая ошибка. Редактор программы, передавая номер в справочную студии, что-то напутал в цифрах. Зрителям давали номер, оказавшийся вашим.— В трубке раздался шумный вздох.

— Вот почему суматоха такая...— произнесла Сигэко, чувствуя, что сама втягивается в этот неожиданный разговор.— Незадача какая.

— Доставили вам столько хлопот. Много звонили?

— Почти непрерывно. Свободного времени у меня много, так что...

— Это не имеет значения. В справочную сообщен правильный номер, поэтому теперь телезрители будут получать точную информацию. Меры приняты, не беспокойтесь.

— Выходит, мне больше звонить не будут? — растерянно спросила Сигэко.

— Желательно, чтобы поскорее перестали вам докучать, но некоторое время будут надоедать те, кому в бюро дали неверный телефон. В конце концов иссякнут и они.

— Позвонят еще, значит.

— Приносим наши извинения. Мы не ожидали такого отклика на передачу.

— Чудесный сад,— спокойно произнесла Сигэко, словно сама успела побывать в нем. Она с облегчением вздохнула, узнав, что телефон умолкнет не сразу.

Сотрудник телевидения оказался прав. После разговора с ним звонки стали реже. Сигэко сообщала телефон сада. Ее выслушивали и тут же разъединялись. Теперь она молча снимала трубку. Приподнятое настроение исчезло. Словно ураган пронесся, думала Сигэко. Она перенесла притихший телефон на прежнее место. Медленно подняла к губам старую щербатую чашку фарфора «хагияки» [1], отпила глоток чаю. За окном стучал дождь. Взглянула на часы — близок полдень. Сигэко ощутила смутное беспокойство. Взгляд упал на подушки, разложенные у жаровни. Ну как же, гости!

На мгновение она смешалась: ушли гости или еще не приходили? Остальные звонки ерунда, но ведь я должна принять ту женщину со степенным голосом, восьмидесятилетнего старика и молодую девушку, размышляла Сигэко, чувствуя, как начинается мигрень. Но если человек с телевидения сказал правду, то эти трое, выходит, тоже собирались в Кадзиноэн. А я им дорогу к дому объяснила.

---

[1] Хагияки — вид фарфора, производимого в префектуре Ямагути.

Боль стискивала голову. Сигэко беспокоило одно — хватит ли подушек для гостей. Выпила несколько чашек чаю. Ее охватило волнение, как бы гости, добравшись до ее дома и не увидев сада, не уехали. Уж пора бы им приехать, думала Сигэко, тяжело ступая по направлению к прихожей. С трудом дошла до двери. Дверь осела и долго не поддавалась.

В прихожую ворвался шум дождя, и промозглая сырость обволокла Сигэко. За кустами цветущей белой камелии, посаженными когда-то мужем, виднелась дорога, по которой ручейком бежала вода. По дороге удалялись три черных зонта. Сигэко высунулась за дверь, чтобы дать знать о себе. Дождевые капли били по лицу. Она окликнула идущих, но голос ее долетел только до дороги, и его тут же словно унесло потоком. Может, я обозналась? Станет ли молодая девушка носить черный зонт? Размышления Сигэко прервал телефонный звонок. Верно, кто-нибудь из троих заблудился по пути, вот и звонит, растерянно подумала она.

— Бабуля, извините меня,— услышала она в трубке воркующий голос Мотомура из бюро обслуживания стариков.— Я простудился и лежу с температурой, поэтому продукты сегодня доставит вам другой человек. Он новичок, может припоздниться немного, уж не обессудьте,— закончил Мотомура слабым голосом.

— Не беспокойтесь, я ожидаю троих гостей.

— Гостей? Неужели?! — Мотомура умолк.

— На дворе ливень, а они сказали, что непременно хотят прийти. Ну пока.— Сигэко против обыкновения первой закончила разговор.

Задыхаясь, она поспешила в прихожую. Посмотрела в распахнутую дверь — на дороге ни души. А вдруг настоящий сад Кадзиноэн находится здесь, у меня? — мелькнуло в голове Сигэко. Она вздохнула, изо рта вылетело белое облачко пара. Может, мужчина с телевидения напутал что-нибудь?

Перед взором Сигэко появился черный зонт, он качался над дорогой. Вскоре их было уже три. Зонты справа и слева от обочины раздвоились — их стало пять.

Пять человек — вот неожиданность. Сигэко вздохнула. И пепельницу еще не нашла, подумала она.

Кохэй Хата

ГОСПОЖА КАГА СЁНАГОН

I

Белым тоненьким пальцем она дважды легонько ткнула в воздух — о, безнадежная пустота. Взгляд ее вопрошал Тамэтоки.

— ? — Он туговат был на ухо, а потому, поддернув штанины хакама на коленях, подполз поближе, чтобы понять, куда глядит Кохёбу.

Монахиня снова, тихо и медленно, дважды ткнула пальчиком в воздух.

— А-а... — догадался он и, затаив дыханье, повернулся лицом к саду.

Прячась от разгорающегося летнего солнца, короткохвостые птички лепились по красным перилам галереи под сенью храмовой кровли, топорща зеленые грудки и закидывая клювы. В саду мхов с его низкими кустами, разбросанными искусно среди нескольких кленов и скалистых камней,— ближе, правда, к западной стороне сада,— смиренно уступая ручью дорогу, высились над стрехою две горные вишни в слепительно-зеленой густой листве.

В «Изборнике» Содзё Хэндзё есть стихотворение... Когда государь Рэйдзэй был еще наследным принцем, хозяином Весеннего дворца, он со свитою вельмож отправился в Мурасакино, в храм Уринъин — Лес облаков,— «поохотиться» на цветущие вишни, а преподобный Хэндзё сложил им вослед:

Досада какая!
Вельможи Дворца Весны
Гурьбой столпились
И глядят на вишенный цвет,
Как будто владеют им.

А сто лет спустя, этой весной, в третий год правленья под девизом Долгая гармония, у простой, в один ряд,

© Hata Kohei 1979

В этом рассказе речь идет о великой японской писательнице Мурасаки Сикибу (974?—1014?) и ее произведениях: «Повесть о Гэндзи», «Дневник» и «Изборник стихов». Настоящее имя ее неизвестно. Она происходила из захудалой ветви могущественного рода Фудзивара. Мурасаки Сикибу — ее дворцовое прозвище; сикибу — титул, дававшийся придворным дамам невысокого ранга, Мурасаки — имя главной героини прославившего ее романа.

ограды Уринъина зазвучали бодрые голоса передовых. Это приехал сюда наследный принц Ацухира, оберегаемый господами Ёримити, Канэхира и прочими вельможами Весеннего дворца во главе со старшим советником Митицуна, наставником принца. И до того весело и стройно приветствовала молодежь облака вишневых цветов, что Кохёбу, некогда тоже фрейлина государыни Акико, не удержалась и, выйдя из комнаты, остановилась на краю галереи. «Досада какая!» — пробормотала она тогда.

А ведь рядом... И молодая монахиня, которая все еще не успела свыкнуться со своими коротко остриженными волосами, поведала Тамэтоки, что сюда, где теперь его постель, перебралась как-то Мурасаки, гонимая мучительной болью, здесь она лежала за ширмами.

Кохёбу говорила с виноватым видом. Но у него сердце сжалось, едва он вообразил себе, какое одиночество испытала дочь при словах Кохёбу, и он выказал слабость: прослезился.

Кохёбу откинула челку и молча уткнулась в широкий рукав кимоно, только тоненький указательный палец, обращенный к саду, слегка шевелился.

Мурасаки Сикибу лежала пластом на толстой циновке, затканной по краю узором в виде облаков хризантем. Кохёбу стояла на коленях у края галереи, обернувшись к ней. Услышав «Досада какая!», та почти шаловливо улыбнулась и, подняв исхудавший палец, дважды повела им над своим лицом. Ветер так близко привеял к ее изголовью лепестки цветов.

И Кохёбу услышала (но поняла не вдруг):

— А мне... не *до сада*...

Она тут же переспросила, но больная уже не в силах была даже кивнуть ей в ответ. Улыбка истаяла на побледневшем лице, и, чтобы не показывать его, Мурасаки с головой укрылась прелестным густо-алым платьем утигину.

А дней десять спустя, как-то поздним вечером, лежа одна в своей «гардеробной», Мурасаки Сикибу слабо кашлянула несколько раз и, не дрогнув единой жилкой, умерла. Кохёбу, заслышав покашливание, вошла тотчас к ней. Все было обыкновенно: так Мурасаки лежала недвижно и когда любовалась весенним цветеньем. Но что это? Мурасаки сказала шепотом: «Грушевый... цвет». Она не ослышалась? И тут Кохёбу показалось, что подушечка на деревянном изголовьи сдвинулась и уткнулась краем в щеку больной, но когда она подошла поправить ее, губы Мурасаки уже обметало сухой белизною.

Имя отца Кохёбу было Тикатада. До того как он попал в куродо шестого ранга [1], он некоторое время служил под началом Тамэтоки. По кончине родителя юная Кохёбу вышла за Нобунори, младшего брата Мурасаки Сикибу, служившей уже тогда при дворе. В своем «Дневнике» Мурасаки рассказывает о празднествах во время одиннадцатой луны года, о том, как она, тяготясь увеселеньями и пирами, которые государь задавал придворным невысокого ранга, почасту удалялась в свою комнатку, как собирались у нее вокруг жаровни подруги, и среди них была и Кохёбу, замеченная самим Митинага [2]. А в конце того же года, когда родился его светлость принц Ацунари, Кохёбу ограбили вместе с фрейлиной по имени Югэй, и она была в ужасном положении: голая, в слезах,— и Мурасаки послала за помощью к младшему брату в дворцовую караульню.

Нобунори тоже умер. Он сопровождал отца в Этиго, куда того назначили правителем, и уж собрался было вызвать к себе Кохёбу, но как-то раз сильно закашлялся и внезапно умер. Несколько дней спустя Тамэтоки, удержав за собой следующий год губернаторства, решительно оставил должность и воротился в столицу. Там, дожидаясь правительственного указа о введении в права наследования зятя своего и племянника Нобуцунэ, он не выдержал и приехал сюда, в Уринъин, желая узнать, как окончила свои дни дочь.

Последнее в ее жизни письмо к нему попало в Этиго ранней-ранней весной, но он промедлил с ответом. А она писала, что осенью — так уж случилось — она покинула, наконец, долгую придворную службу, что теперь в их прежнем доме у плотины Камогава осталась одна только Катако, ее дочка, что сама она вместе с Кохёбу — в Уринъине, оправляется от легкого недомогания, но беспокоится об отце: как он там?

Все гуще ложится снег,
Прибавляются ваши лета,
Но тем крепче опора моя.
Вы подобны сосне величавой,
Возросшей в Белых горах.

Молитва на Новый год... Дочь молилась о его долголетии, желала престарелому родителю благополучно при-

[1] Куродо шестого ранга — придворные невысокого ранга, но прислуживавшие лично государю.

[2] Митинага (966—1027) — представитель могущественного рода Фудзивара, фактический правитель Японии.

быть на Север, к месту службы, после встречи с нею (у четвертого стиха есть второй смысл: жду встречи с сосной величавой) — и вот она ушла из жизни прежде отца. Стоит ли жить в мире, где столь многое противно душе?

Должно быть, на мир,
В котором все больше печалей,
Не захотела глядеть...
Летучим облаком в небе
Оборотилась она.

Он утаил это воспоминание от жены покойного сына, ведь он лишь недавно с ней познакомился. Кохёбу подтолкнула к нему свиток со стихами. То были стихи его дочери. У него заколотилось сердце при первом же взгляде на них.

— Это она сама составила,— пробормотал он, даже не спрашивая — утверждая. Кохёбу робко кашлянула, ответила: «Да».

На изворотной стороне списка «Сутры Каннон»[1] в промежутках между строками то тут, то там виднелись следы ее кисти. Стихотворений было более сотни.

От юных лет мы были близкими подругами. Спустя годы наши пути пересеклись, но лишь на мгновенье. Споря в торопливости с луной десятой ночи седьмой луны, она уехала.

Встретились наконец,
Но пока я гадала: она ли —
Та, на кого гляжу,—
Уже в облаках сокрылась
Луна полночного часа.

С этих стихов начинался «Изборник».

— Грушевый цвет... так она сказала? — спросил Тамэтоки.

Кохёбу отвечала, что, быть может, она ослышалась, но, говоря это, уже верила, что так и было.

А вот и стихи об этом:

В пору, когда опадают цветы, налетает в сумерках ветер, и тогда не видно, где грушевый цвет, а где цветы вишни.

Ты говоришь: цветы...
Но какие из них безуханны,
Какие льют аромат?
Перемешались в полете,
Попробуй по цвету узнать!

[1] «Сутра Каннон» — одна из популярных тогда в Японии священных книг. Каннон — подательница благ в буддийском пантеоне богов.

Вечерняя тьма... Белея, кружатся в воздухе лепестки грушевых и вишневых цветов, и она не в силах различить их. Они кажутся ей призрачными виденьями, и она отворачивается к темной стене гардеробной... В тот миг, должно быть, она и «сокрылась в облаках». Он так и видит эту последнюю странность дочери: вот она с особенной нежностью произносит названье цветка, который издавна сравнивают с неприветливым женским лицом,— и вот ее уже нет.

Он вдруг горбится и опасливо прикрывает глаза.

Между тем в выборе стихов есть некий скрытый смысл. Ни одного, связанного с отцом, покойной матерью или старшей сестрой, даже с любимым младшим братом. Вот и это, кажется, тоже относится к той девушке. А вот это что за имя? Он быстро просмотрел все от начала и до конца — не ошибся ли? — перечитал снова — нет, это имя ему невдомек!

Он снова переспросил монашеское имя Кохёбу. Синнёкэн — Сознавшая истину...

В конце «Изборника», сказал он, стоит ответ на стихотворение Мурасаки, подписанный некоей Кага Сёнагон...

Но Кохёбу тоже не знает, кто это. Когда она служила во дворце, не слыхала его ни разу. Постукивая подушечкой пальца по не сшитой еще тетради стихов, Тамэтоки погрузился в угрюмое молчание.

Наткнулась у себя на письма Косёсё-но кими, в которых она делилась со мной всем, что ни есть на сердце. Пишу Кага Сёнагон:

Пока не стемнело, жива...
Но не о себе моя дума.
Человеческий век! —
Узнать, как он горестно краток,
Разве не столь же печально?

* * *

Кому то на свете
Суждено так долго прожить?
Вовек не сотрется
Сей кисти начертанный след —
Сей памятный дар, и все же...

Ну что ж, хорошо. Это понятно. Дочь от начала придворной жизни делила с Косёсё-но кими комнату. Они обменивались стихами, едва только выдавался досуг. Пле-

мянница жены Митинага, хорошо воспитанная, прелестно красивая, она рано лишилась отца, ее жизнь складывалась не весьма удачно, и Мурасаки, по слухам, воспринимала ее невзгоды как свои собственные. В «Дневнике» она не раз пишет о ней с похвалой. А в одном месте, он сейчас не припомнит, где, рассказывается, как (после переезда государыни из родительского дворца в императорский чертог) они пришли в узенькую боковую комнату, третью с севера по галерее, и, натянув на себя несколько кимоно на вате, улеглись рядышком; подкладывая в благовонную курильницу горячих углей, они жаловались друг другу на тяготы придворной жизни. Он никогда не видел ее. Прошлой весной Мурасаки пережила смерть этой кроткой приветливой женщины. Потом она нечаянно нашла у себя среди бумаг прощальный памятный дар — ее письма, и, конечно же, с новой силой почувствовала, как она одинока, как горестно краток человеческий век. Не тогда ли она задумала свой «Изборник»? «Кому то на свете суждено так долго прожить?..» — негромко продекламировал Тамэтоки. А ведь это предсмертные стихи. Но тем больше недоумений вызывают те, что венчают книгу — ответ Кага Сёнагон:

О той, кого уже нет,
Доколе с такой тоскою
Будешь ты вспоминать?
Или век ее горестно краткий —
Завтра не твой удел?

Почему она не завершила «Изборник» своими же стихами? Кага Сёнагон... Это имя никак не похоже на имя знатной дамы. Рядом с Косёсё-но кими его никто бы и не заметил. Стихи безвестной особы венчают «Изборник» Мурасаки Сикибу?!

Надо признать, однако, что тема в стихотворении решена с безупречной полнотой. Та, кто его сложила, отрешена здесь от мысли о Косёсё-но кими, отрешена даже от скорби одинокой Мурасаки; она всем существом, всем сердцем погружена в безмерные глубины изменчивости, которой обречены и мир, и человек.

«Изборник стихов» — немногим более ста из написанных за всю жизнь — завершается этим стихотворением так естественно, что с места не сдвинешь: Кага Сёнагон сполна заменила здесь Мурасаки.

А может быть, «Изборник» был посвящен не Косёсё-но кими, может быть, избранные эти стихи — приношение духу той самой подруги детства, что, споря в торопливости с лу-

ною десятого дня седьмой луны, ненадолго встретилась с ней и тут же уехала. Недаром она начала усердно трудиться над ним прошлой осенью, после седьмого дня седьмой луны — Праздника Ткачихи [1]. Она вызвала из памяти юное лицо подруги своего детства, которая в пору написания стихов находилась в возрасте, когда уже знают, что такое любовные узы. Он исходил из вступлений к первому, а также — к следующему стихотворению, где говорилось: «Она должна была ехать в отдаленный край».

Она родилась от дочери Фудзивара Масатада (старшего офицера стражи) и Тайра Корэтоки, правителя земли Хидзэн. Тамэтоки она доводилась племянницей, следовательно, была двоюродною сестрой Мурасаки, годом старше ее.

Летом второго года правления под девизом Долгая Добродетель она уехала в Хидзэн на остров Кюсю. Выйдя, уже не первой молодости, замуж за Татибана Тамэёси, временного правителя Хидзэн, она как-то затосковала в одиночестве. А тем временем Тамэтоки был назначен правителем в Этидзэн, на север Хонсю. Так вот и вышло, что Мурасаки и ее двоюродная сестра — кажется, ее звали Нагико — покинули столицу в один год и в одну и ту же пору. Одна оказалась в Хидзэн, а другая вместе с отцом — в Этидзэн. И они, бывало, чувствовали, что осенены высшей милостью, когда им удавалось воспользоваться служебной почтой, чтобы обменяться стихами. Внезапно Нагико умерла от повальной хвори. Неимоверную печаль дочери Тамэтоки представил себе лишь теперь, когда в эти скорбные дни прочел начальные стихи «Изборника». Сердце у него больно сжалось.

— Говорят, та дама была очень похожа на госпожу Косёё-но кими...— При звуках голоса Кохёбу ему на мгновенье почудилось, будто мимо него проскользнуло нечто. Но он как-то не сумел сосредоточиться на этом, залюбовавшись ее прелестным лицом, нежным, как дынное семечко. Кохёбу чуть-чуть шевельнулась, и он очнулся.

— Так, ну а где же она лежала?

---

[1] Праздник Ткачихи — согласно дальневосточной легенде, Пастух и Ткачиха (звезды Вега и Альтаир), полюбив друг друга, перестали усердно трудиться. В наказание небесный владыка поселил их по разные стороны Небесной реки (Млечного пути) и позволил встречаться только раз в году, в седьмой день седьмой луны.

Обнесенная легкой оградой дача, на которой, так и не оправившись от грудного кашля, умерла его дочь, находилась в северо-восточном углу обширного парка храма Уринъин. Она входила в наследственное владение Тамэёри, его старшего брата, а тот с радостью предоставил ее племяннице, чье имя ценилось столь высоко в мире изящного слова.

Перебравшись сюда еще в начале зимы, Мурасаки, однако, почти не покидала гардеробную. Ранней весной, на рассвете года, она горько сетовала, что не видит цветенья своей любимой розовой сливы, но с первым цветеньем вишен стала раскладывать днем две толстые циновки на краю галереи и подолгу безмятежно лежала на них, глядя в сад,— слишком, пожалуй, безмятежно. Даже когда случайный вечерний ветер дергал за полу ее кимоно и Кохёбу решительным жестом опускала верхнюю створку решетчатой ставни, и тогда Мурасаки не двигалась с места.

— Однако же, как вы изволите пожелать? Ночь ведь надо провести там непременно одному.

— Да... в гардеробной-то тесно, должно быть, но...

— Это только так зовется — гардеробная. Там все было переустроено. И эту книгу стихов госпожа составляла там, в гардеробной. Когда она чувствовала себя хорошо, то играла на цитре со. Я заслушивалась ее игрой.

— Послушай, а моя дочка, которую даже я, родитель, так и не знал до конца, все же не сладила, как я вижу, сама с собою. Сдается мне, что в придворной службе ее не слишком-то любили?

— Такую...— еле выговорила Кохёбу, заломила брови, и хрустальные четки безвольно скользнули ей на колени. Она закрыла лицо руками и всхлипнула.

Тамэтоки захотел пройти к «гардеробной»... Она в этом саду. По дороге туда будет ручной умывальник, а рядом начинается стена. В ней черная двустворчатая дверь, но одна створка закрыта, зато на восход смотрит окно — прекрасное окно, забранное переплетом из круглых жердочек и врезанное над самой землей. Можно, сидя на полу, опираться локтем на подоконник. Из окна открывается совсем другой вид, не такой, как на юг: домик сложен из толстых сосновых бревен и простого саговника и стоит на невысоком холме.

— Проводи меня туда, умоляю! — вот как он странно попросил ее. Кохёбу смутилась, но согласилась сразу, а он

с тетрадью стихов в руке уже поднялся. Он не мог ждать. Его левое плечо мелко задрожало. Жар разлился под толстым «мешком» на спине обтянутого тонким газом кафтана.

Вдруг он задумался и замер. Ему захотелось узнать, постриглась ли дочь перед смертью в монахини. Оказалось, что нет.

— И она ничего тебе не говорила?

— ?

— Ну, к примеру,— и Тамэтоки изобразил слабую улыбку,— что то, что она так и не постриглась в монахини, есть кара за прегрешения в этой жизни, как это было с госпожой Мурасаки-но уэ из «Повести о Гэндзи».

— Нет, ни о чем таком она ни разу не изволила говорить, просто...

— Просто...

— ...она сказала как-то: зачем, бесполезно...

— Ну разумеется, если она сказала: мне не до сада! В этом же духе!

Неверными шагами брел он впереди Кохёбу... Закончив составлять «Изборник», дочь догадалась, что и все ее дела в этом мире закончились тоже. Отец ее в Этиго. Что ж! Она хотела бы с ним свидеться, с этим своим отцом, перед смертью, но не так уж сильно. Она понимала: он огорчится, увидав, что она не постриглась. А может, мне стать монахиней? — наверно, думала она, подавляя свою неизменно горькую усмешку. Хотя нет, вряд ли... Она уже не надеялась ни на что.

II

От обмазанных глиной стен потянуло нежданным холодом. Сумрачно. Но хотя комната напоминает какой-то необыкновенный кабинет для ученых занятий и в ней великое множество вещей, им двоим тут места достаточно. Кохёбу хотела поднять решетчатую ставню, но голос Тамэтоки остановил ее. Какие гулкие эти стены! Он залюбовался разложенными на полу подушками для сидения. В «Повести о Гэндзи» в главе «Робкий глас соловья» упоминаются «подушки, обшитые каймой из дивного китайского узорчатого шелка». Эти не отличались такой яркой красотой. Тонкие, с единственным слоем ваты, обшитые красной парчовой тесьмой. И он вспомнил, как веселая девочка в белом

коротком платье и простых шароварах прилежно склонялась над тушечницей, как он — отец ребенка, растущего без матери,— глядел на ее затылок с тонкими прядками волос, которым, увы, не хватало пышности, и вздыхал украдкой. Ему были дороги те времена.

— Такако...

Позови он ее сейчас, как звал в детстве, может быть, дух ее столь же послушно подойдет к нему и улыбнется весело? Тамэтоки не шевелился.

Неужели хозяйка этой комнаты умерла, так и не дождавшись лета? Да, вот и недлинный занавес из простого белого шелка отодвинут в сторону двери. И привычный узор на шелку — красный узор рябью «подгнившее дерево» — кое-где поистерся. Перед поставцом небрежно брошены друг на друга несколько соломенных дорожек. Еще один поставец — в два отделения, в нижнем — двустворчатая дверца, как у божницы. Точь-в-точь как описано в ее «Дневнике»: «...в одном поставце свитки старинных стихов и романов, но кто осмелится их раскрыть? Они стали гнездилищем каких-то неописуемых жучков. Что за ужас, когда они начинают расползаться в разные стороны! В другом поставце груды китайских книг, но кто их теперь коснется? Ведь того, кто с такой любовью их собирал, уже нет на свете». На полу возле стола — скамейка-подлокотник, крытая лаком и разрисованная золотым и серебряным порошком: цветы и бабочки. Несколько вешалок у стены, украшенных серебряным узором. Изящная шкатулка для зеркала, ларец для гребней на низеньком, в две полочки, поставце. Мерцающий черным прозрачным лаком поднос для еды на длинной, с широкой круглой основой ножке перевернут, на нем светильня, но сейчас в плошке нет ни масла, ни фитиля.

Тамэтоки открыл окно. Маленький замшелый камень под водостоком был очень красив в лучах солнца.

Он пригнулся и стал смотреть на холм, поросший высокими саговыми пальмами. На плоский козырек висячего ночного фонаря припорхнула пара птичек; они недавно сидели там, на перилах галерей...

Множество чувств переполняло его сердце. И тут Кохёбу рассказала ему о Катако, его шестнадцатилетней внучке, которая родилась у Мурасаки уже по смерти мужа. Оказывается, Катако приезжала сюда и даже провела ночь в гардеробной. Конечно, ей было бы страшно тут одной, и она попросила Кохёбу лечь с ней рядом. Посреди ночи она все-таки испугалась и в объятьях Кохёбу проплакала

навзрыд до рассвета... Покоренный прелестью рассказа, Тамэтоки решил, что непременно проведет здесь ночь один.

Кохёбу вскоре встала и вышла, тихонько притворив за собой дверь. И все, что ни было в комнате, разом погрузилось в тень, только чуть белелись очертанья предметов. Цикады-сэми и цикады-хигураси переплетали голоса: надсадный верезг и тонкий звонок. Он нарочно опустил ставни. Голоса сделались громче: они будто вскипали из мрака и разливались в ушах.

Он все медлил подходить к подушкам, на которых сиживала дочь. Но ему хотелось на них посидеть. Он надеялся, что они сохранили частицу ее живого тепла. Темная стена перед его глазами утратила плотность, оставалась только темнота; она росла, ширилась, и вдруг в этой безмерной темноте он почти увидел, как его дочь, сидя спиной к окну, что-то пишет, потом что-то читает вслух...

— И все же... Кага!

Есть провинция Кага. Жена правителя Кага могла бы зваться Кага Сёнагон — дама Кага. Но в «Повести о Гэндзи» нет такой дамы, как нет и правителя Кага. Он рассеянно глянул на «Изборник стихов» и начал перебирать мысленно всех известных ему Сёнагон. У третьей дочери Митинага кормилица была по имени Сёнагон-но убо. Еще не легче! Она ведь, кажется, в родстве с Косёсё-но кими (через тетку ее, жену Митинага), но нет! — с Мурасаки она не состояла даже в обычном приятельстве, тем более нелепо, чтобы та доверила ей последнее стихотворение в собственной книге...

Да! Более всего подошла бы Сэй Сёнагон [1]. Ее имя было часто на устах у Мурасаки. Правда, в «Дневнике» она не находит для нее ни одного доброго слова... Например, в «Записках у изголовья» Сэй Сёнагон с нежностью написала о цветке груши, который «не в почете у людей», а между тем в нем столько таится прелести, и сослалась при этом на «Вечную печаль» знаменитого Бо Цзюйи [2], где воспета «груши свежая ветка в весеннем цвету», но Мурасаки и тут укорила ее — в желании покрасоваться своей начитанностью. Все это так. Однако в глубине души она, конечно, отдавала ей должное.

---

[1] Сэй Сёнагон — великая японская писательница, современница Мурасаки.

[2] Бо Цзюйи (772—846) — великий китайский поэт. Его поэма «Вечная печаль» была очень популярна тогда в Японии.

Но и то сказать, откуда взяться приязни? Если она помещает стихи, связанные с Нобутака, своим мужем, в «Изборник» как памятник недолгим дням, проведенным вместе, то каково ей было, едва по замужестве, услыхать, что некогда Нобутака добивался любви Сэй Сёнагон, а та вовсю с ним кокетничала?!

Так кто же такая Кага Сёнагон?

Как-то однажды он осмелился спросить ее: ты в самом деле «Повесть о Гэндзи» пишешь одна? Хоть не раз и не два видел он склоненную фигуру дочери в свете ночника — она начала повесть еще до службы своей при дворе,— а не удержался, спросил... Потом, когда она уже звалась не Тосикибу, а Мурасаки Сикибу, госпожа Мурасаки, на вопрос «Ну как подвигается дело?» она лишь улыбалась в ответ — мрачноватой улыбкой.

Незаметно воротилась Кохёбу. Она принесла плошку с маслом и фитиль. Скромную трапезу она устроит попозже вечером там, на его прежнем месте, а сюда принесла курение от москитов. И тут же два москита укусили его за ухом.

От сакэ он отказался и только было придвинулся к тушечнице — обрушился короткий вечерний ливень. Цикады смолкли, а он чудным образом впал в какую-то рассеянность, мысли разбредались. То его с особой, настоятельной силой притягивала отошедшая жизнь в гардеробной, то он начинал думать о внучке. Катако не сегодня завтра ждала от государыни Акико места при дворе. Она росла беспечной, общительной девушкой — совсем не похожа на покойную мать; вероятно, вся в Нобутака. Когда он, вне себя от тревоги, приехал в столицу, внучка встретила его как положено, радушно и чинно. На редкость была обходительна. Дочь в этом случае, пожалуй, сказала бы невозмутимо: «Зачем?! Возвращайтесь, пожалуйста...» Тут он невольно поморщился, вспомнив портреты придворных дам, ее знакомых, приведенные в последней части «Дневника». Разительный реестр! Так вот, эта запись относится к седьмому году правления под девизом Распростертое Великодушие, когда Катако было лет десять, не больше. Если предположить, что это писано Мурасаки в поучение дочери, то Катако это было еще рано читать. К кому же обращены эти откровенные письма? Может быть, к Кага Сёнагон?

«Осень все сильнее чувствуется, и сад во дворце господина Цутимикадо[1] невыразимо прекрасен». Это начало

[1] Цутимикадо — название дворца Митинага и прозвище его самого.

«Дневника». Рассказ ведется о родах юной государыни Акико, затем об осенних празднествах и «Пляске пяти танцовщиц» [1]...

Кончается год.
Старость моя все глубже.
Ветер шумит...
Какой унылой пустыней
Стало сердце мое!

Этими «обращенными к самой себе» стихами двадцать девятого дня последней луны года и завершается, собственно, ее дневник. Потому что, хотя это был дневник, это была и придворная хроника: дочери по должности надлежало заносить на бумагу все счастливые события из жизни госпожи. Что же до последней части «Дневника», то ее читал только он, потом, конечно, Катако, а больше никто в целом свете. Вот отчего ему показалось, что это уже и не «Дневник», что тон некоторых рассуждений в этой последней части таков, будто они обращены к кому-то еще, что чья-то неведомая тень присутствует за ними.

Лениво всплывал дымок от курений и терялся в темноте комнаты. Подкравшись под окно, пробовали голос лягушки. Помолчали, а потом, дождавшись, когда про них забудут, закричали наперебой: «Прыгаю, прыгаю!»

Кохёбу высекла огонь и затеплила светильник. Затем, положив для него вместо одеяла верхнее кимоно с рельефным узором и еще нижнее кимоно, ушла. Тамэтоки помнил этот узор: китайский плющ цвета красной камелии. Он нерешительно положил одежды покойной дочери на пол, придвинул поближе светильник и, зажав скамейку-подлокотник между коленом и локтями, стал исподволь вчитываться в «Изборник».

Как-то в самом начале зимы (в первый год правления под девизом Долгая Добродетель) его племянница Нагико приехала к дочери и проплакала у нее до утра. Ее отца Корэтоки назначили правителем в Хидзэн, и он увозил ее с собой. Между тем ее отношения с господином куродо Тамэёси все еще никак не определились, и беспомощная девушка томилась печалью. Поэтому или почему-либо еще они зачастили друг к другу. Это выглядело даже не совсем

[1] «Пляска пяти танцовщиц» — исполнялась в одиннадцатой луне года во время праздника урожая.

прилично, хоть они и были двоюродные сестры. Такако учила Нагико играть на цитре со — на ней когда-то играла покойная матушка,— а Нагико увлекала ее в Камо и в Киёмидзу [1]. Ездили они в одной карете и веселились от души. А тут еще отложился было и отъезд в Хидзэн! В шестнадцатый день первой луны произошел случай непочтения к государю. Явили его Фудзивара Корэтика, Цуцуми-тюнагон Такайэ и другие вельможи. Невольно втянутый в события, Корэтоки, полицейский офицер, само собой, задержался в столице. Но — о насмешка судьбы! — уже двадцатого дня той же луны состоялось очередное распределение должностей, и Тамэтоки, с десяток лет находившийся не у дел, получил назначение — в Этидзэн правителем. В то же время женившийся наконец на Нагико Татибана Тамэёси был определен помощником правителя в Хидзэн и собирался туда еще прежде тестя! Отныне отъезд подруг из столицы был уже делом решенным. И потому до самого лета, пока они не разъехались, они пользовались всяким случаем, чтобы послать друг дружке письмо, обменяться стихами и как можно чаще видаться. Теперь, когда Тамэтоки все это знал, он понял, что первые девятнадцать, даже двадцать, нет, даже немного больше стихотворений «Изборника» связаны именно с Нагико.

Среди этих стихов Тамэтоки позабавило одно, которым подруги сконфузили Нобутака, его молодого приятеля, тогда уже едва ли не зятя. Как-то, чтобы «изменить направленье пути» [2], Нобутака заехал в его дом, что возле плотины Камо, и глухой ночью, вероятно, озабоченный тем, что очутился в одном доме с Нагико и Такако, подошел к женским покоям. Но дальше повел себя непонятно: то ли заглянул в них, то ли нет. Наутро ему была награда! Дочь послала ему стихотворение, но переписано оно было рукою Нагико. Не узнавший почерка Нобутака растерялся... Вот стихи дочери:

Мучит безвестность:
Что же на деле случилось?
В обманчивый сумрак
Предрассветного неба глядит
Цветок «утренний лик».

[1] Камо — весьма почитаемые в Киото синтоистские храмы. Киёмидзу — знаменитый буддийский храм там же.

[2] Согласно древним представлениям, прямая дорога могла быть «закрыта». Тогда из дому выезжали в каком-либо благоприятном направлении, останавливались в чужом доме, а потом ехали туда, куда было задумано сначала.

Но что внезапно заставило расплакаться Тамэтоки, так это стихи, написанные, когда во время эпидемии дочь лишилась старшей сестры, а у Нагико умерла третья младшая сестра. Случилось это перед самым их отъездом.

Моя старшая сестра скончалась, а у моей подруги умерла младшая сестра. При нашем свиданье она сказала: станем любить друг друга за тех, кого уже нет. С тех пор мы писали поверх письма: я — «Старшей сестре», а она — «Средней сестре». Потом мы должны были уехать каждая в отдаленный край, и вот, печалясь предстоящей разлукой, я сложила:

На север весной
Донесут гусиные крылья
Посланья твои.
Они чертить не устанут
Мое имя на облаках.

И «старшая сестра» писала — вначале с дороги, а потом из Мацура, что в провинции Хидзэн, где она поселилась; а «средняя сестра» отвечала ей из провинциальной управы Этидзэн:

Сердце мое
Полно ожиданьем встречи.
Бог Чистых зеркал,
Покровитель Ма́цура светлый,
Верно, у́зрел его с небес.

Ответ пришел уже в следующем году:

После многих скитаний
Я о новой встрече молилась
Богу Чистых зеркал.
Кто в нем тогда отразился,
Сможешь ты угадать?

Но весной следующего года в месяце Яёи — месяце «густеющих трав», как раз тогда, когда эти стихи пришли к Мурасаки, и в то время, когда бывший доверенный министр Фудзивара Корэтика, которого доставил в Дадзайфу [1] к месту изгнанья именно Корэтоки, получил помилование и возвратился ко двору,— Нагико и ее годовалый ребенок захво-

[1] Дадзайфу — административный центр острова Кюсю в средние века.

рали и умерли. Безутешная в своем горе Мурасаки в конце концов, пока ее не застала зима, одна уехала из опостылевшего ей снежного края, вернулась в столицу и недолго спустя, поддавшись пылким уговорам Нобутака, вышла за него, но... их новорожденная дочь оказалась уже посмертным его даром. В конце четвертой луны третьего года Долгой Общности он, подобно Нагико, подобно многим другим, стал жертвой повальной хвори. Мурасаки осталась вдовой в двадцать восемь лет.

Фудзивара Нобутака был человеком весьма замечательным. Мурасаки была от природы наделена не по-женски сильною волей, но только он, Нобутака, умел пробудить все множество ее дарований и редкостных качеств души, и делал он это до того искусно, что Тамэтоки лишь диву давался. Он приводил ее в гнев, дразнил злословием, повергал в уныние, а потом так славно смешил. Она плакала от радости и чувствовала себя настоящей женой. Он был ей супругом, но как всемудрый отец ласкал ее, делая при этом вид, будто смиренней его нет никого на свете.

Словом, у Тамэтоки была дочь, не знавшая до времени особенных печалей, но вот она потеряла ближайшую подругу, затем лишилась мужа — и совершенно переменилась. Сколько раз он осекался, видя ее упрямое бесстрастие, слыша, как она с лицом, отрешенным от самой мысли о возможности земного счастья, бормочет свое неизменное: «В мире все преходяще», «Мир исполнен горечи». Когда заболела его любимица Катако и все в доме переполошились, она сложила холодновато-негромкие, сдержанные стихи, чуждые всякой тревоге.

Тамэтоки, один, дрожащими пальцами листал «Изборник» все дальше, вслед за скорбными думами дочери.

Она уехала в отдаленный край и там умерла. Мне рассказали об этом возвратившиеся в столицу ее отец и братья.

Знать бы, где пролегла
Ее тропа в облаках,
Навестить бы ее...
Невесть в какой стороне
Гусь от вереницы отстал.

Потом он прочел стихи той поры, когда дочь надела темно-серый траур по мужу. Вот и стихи, которые она сложила в ответ на его утешения. Так какая же мысль зало-

жена ею в «Изборник»? Что она хотела сказать, моя Мурасаки Сикибу, отбирая эту сотню стихов и расставляя их между двумя смертями — Нагико и Нобутака, по четырем годам своей жизни? Чтобы не смотреть на дрожащую тень на стене, он опустил голову — и вдруг все понял и опять кивнул головой. Так вот он какой, этот «Изборник»! «Изборник» тех, кто ушел. Тех, кого она лишилась. И «Повесть о Гэндзи» — это повесть, написанная человеком, создавшим такой «Изборник». И «Дневник» тоже.

«А не приняться ли тебе хоть за повесть?» — сказал ей отец. Такако тогда только тихонько кивнула в ответ. Но того, что она в этот миг молча глянула в бездну, ту самую, где блуждают и мучаются обыкновенные люди, простецы, не умудренные светом истины, и на лицо ее упала какая-то тень,— всего этого Тамэтоки не дано было разглядеть. Да и что он мог, обыкновенный стареющий родитель? Лишь попусту вздыхать о ее горестной судьбе.

Между тем отцовский совет, данный скорее в утешенье, не пропал впустую. Как удивился Тамэтоки, когда дочь впервые принесла ему рукопись: не соблаговолит ли батюшка прочесть? То была глава «Юная Мурасаки» из ее будущей повести. Потом явились на свет главы «Празднество осенних кленов», «Пир вишневых цветов».

Он и сам теперь не сразу припомнит, что его подтолкнуло на подобный совет. Правда — и он хорошо знал об этом, ведь он был ей наместо матери,— Такако вместе со старшей сестрой и с Нагико, двоюродной, зачитывались старинными повестями. Они читали их вслух, хвалили, бранили, вместе переделывали их на свой лад и обсуждали написанное. Нагико тоже увлеклась этой игрой, но Такако их содружество нравилось в особенности. Она и в «Дневнике» вспоминает о своей детской любви к романам.

А у него перед глазами девочка, которая изо дня в день старательно подглядывает и подслушивает уроки китайской словесности, даваемые отцом ее младшему брату Нобунори; ей это непременно нужно, чтобы выдумка в ее рисунках к повестям выглядела правдивой. Злые языки при дворе прозвали ее «ходячим сводом японской истории» — и поделом: вот где проявилось усердие, которому позавидовал бы любой ученый муж! С такой изумлявшей Тамэтоки волей и мощью вела она свой рассказ, главу за главой:

«Священное дерево Сакаки», «Селенье, где облетают вишни», «Отъезд в Сума»... И уже Такако, дочь Тамэтоки из рода Фудзивара, зовется не дворцовым прозвищем То-сикибу — некая «госпожа То» (по первому иероглифу фамилии Фудзивара на китайский лад), но особенным именем Мурасаки Сикибу — госпожа Мурасаки, и это имя у всех на устах. Она, его дочь, толкует государыне Акико «Вэнь-сюань», «Юэфу»[1] и другие китайские книги, а господин Митинага и сам государь полны к ней осторожной почтительности. Это признание!

Как-то раз один из толпы вельмож, возвращавшихся с дворцового пира, подошел к ее скромной комнатке и полюбопытствовал: «А не здесь ли изволит находиться наша Юная Мурасаки?» Но и достигнув такой громкой славы, сама она не изменилась. Когда она говорила о том, что в мире все преходяще, что он исполнен печалей, для нее это были не пустые слова. В ее бесстрастии уже не чувствовалось прежнего упрямства, теперь она относилась ко всему, даже к придворной службе, с каким-то ленивым равнодушием; перебирала ли она струны кото, глядя на луну, читала ли полные благостного величия свитки сутр или покрытые пылью сочинения китайских классиков — все это внушало суеверным служанкам тревогу и беспокойство.

Именно тогда в «Повести о блистательном Гэндзи» появились женщины, решительно не похожие на кроткую госпожу Мурасаки-но уэ.

Теперь «Повесть» читают запоем, она ходит во множестве списков, а он до сих пор помнит, как, впервые прочтя «Обманчивое деревце», «Цикаду», «Вечерний лик», похолодел от изумления. Изумления, причину которого он всегда хранил про себя. И ноги сами принесли его сюда, в гардеробную. Он должен спросить! Эти главы, и эти, и те она вправду написала одна? Совсем одна?

Он хотел услышать. Он хотел знать.

Несмотря на лето, в гардеробной стало прохладно. Неожиданно он, замирая, потянул к себе утиги — нижнее платье покойной дочери. Пламя над светильнею задрожало, словно хотело вымолвить что-то, и он задал этот вопрос ему.

---

[1] «Вэнь-сюань» — китайская литературная антология (нач. VI в.); Юэфу — здесь имеется в виду книга стихов Бо Цзюйи «Новые юэфу» («Новые народные песни»).

В этот миг он почувствовал, как что-то незримо прошло сквозь него. Он схватил и крепко, обеими руками, прижал к груди еще одно платье дочери — белое с рельефным узором. В светильне раздался легкий треск, пламя окрасилось красным и вспухло. Он передвинул колено от скамеечки-подлокотника к письменному столу. Его тень на стене удлинилась и потемнела. Она стала дробиться, колебаться, дрожать. Затем пламя стало гореть тише, и тень успокоилась.

Ведь это его тень? А то, что мгновенье назад прошло сквозь него, что же было?.. Тоже тень?! А-а! Он хлопнул ладонью по столу и, пристально вглядываясь в темную стену, решительно произнес:

— Никакая не Кага! Наверное, Кагэ! Тень!

И тень — его тень? — словно бы стремясь подойти поскорее, стала густеть и грациозно покачиваться, и откуда-то из мрака гардеробной женский голос явственно произнес: «Слушаю вас».

Тамэтоки взвыл и уткнулся лицом в дочерины платья. Черная его шапка свалилась на стол.

На стене в почтительной позе склонилась тень: вроде бы его собственная, только чуть-чуть потемнее. Тамэтоки отодвинул подлокотник и сел прямо.

— Кага? Сёнагон? Это ты? И...

— ?

— И ты — Наги...

Тень вздрогнула, плечи у нее побледнели.

Он долго мычал, не в силах заговорить. Неужели правда?

— Выходит, эту повесть... вы вместе...

Тень не пошевелилась. Между тем пламя над светильней задрожало, моргая красными огнями. Тамэтоки замолчал тоже. И стал молча взывать к тени, чтобы она поведала ему о себе.

III

Еще до службы своей при дворе Такако, чтобы забыться как-то по смерти мужа, решила начать писать повесть. Но сперва это была повесть о знатной даме Кагаяку Хи-но мия — принцессе Сиятельное Солнце, и Хикару Гэндзи — Блистательный Гэндзи должен был выступать там красавцем юношей, мучимым неразделенной страстью к оной

даме. Историю эту — в духе старинных романов «Полководец Умэцубо» или «Старший советник» — когда-то придумала самая младшая из сестер Нагико, и, скорее всего, именно в те давние дни, когда обсуждался ее сюжет, Такако допустила промах. Ну какая женщина — уж просто от того, что родилась женщиной,— не страдает жестоко в сем мире, будь она даже дама «высших достоинств», которую все с завистью прочат в государыни! Не говоря о самом Гэндзи, и от принцессы, и от всей истории с ее простоватой выдумкой веяло замшелой стариной!

Тамэтоки даже кивать перестал, внимая рассказу Нагико-Тени.

И уже именно в то время Такако загорелась желанием сочинить повесть на новый лад и принялась убеждать в этом старшую сестру и двоюродных. Вот к чему примерно свелась ее речь.

Их четверо. Они заранее намечают канву своей повести. Но только канву. Дальше пусть каждая из четырех вообразит себя этакой злоязычной старой дамой: одна, к примеру, служит у Минамото, другая — при доме Фудзивара или же во дворце государя, и так далее. Время от времени они будут сходиться и (тут уж кто когда — рассказчик, кто когда — слушатель, не суть важно) поверять друг дружке увиденное и услышанное, не выбиваясь при этом из выбранной роли: это, мол, так, а это — эдак,— и уснащать свою повесть все новыми подробностями. То есть они свяжут, переплетут разных героев разными событиями и станут писать о них как досужие сплетницы: судить и рядить и злословить всласть. В рассказе, за которым наблюдения только одного человека, все очевидно. Пишешь, словно движешься тесной тропой. А сочиняя сообща, давая простор воображению, можно с легкостью расширить круг свободного повествования, и тогда один и тот же герой сегодня в устах одной рассказчицы предстанет бесконечно прекрасным, а завтра в устах других — донельзя забавным. Ну разве не увлекательно, когда жизнь героев рождается прямо у тебя на глазах!

Ну, что ж, пожалуй... Это Тамэтоки мог понять.

Но повести еще никогда не писались таким способом. И Нагико вышла из игры, несмотря на все уговоры Такако, ибо считала, что гораздо интереснее, когда все зыбко, как в тумане. И еще она говорила, что, угодив в вымышленный мир повести в роли старой сварливой фрейлины, она так освоится с нею, что привыкнет и к злословью и к старости. Даже Такако сочла это младенческим лепетом...

И все же Такако решила начать с истории Кагаяку Хи-но мия. Теперь, по смерти подруги, она стремилась вложить в образы своего рассказа ту радость от обдумывания будущей книги, что она делила с Нагико. Написала о том, как Блистательный Гэндзи впервые увидел юную Мурасаки, которую она породнила с Кагаяку Хи-но мия. В главе «Юная Мурасаки» она ухватила наконец путеводную нить повествования: Гэндзи женат, но он всеми помыслами устремлен к своей мачехе — фрейлине Фудзицубо (она и есть Кагаяку Хи-но мия, принцесса Сиятельное Солнце), и они вступают в беззаконный союз, и мачеха рождает дитя от приемного сына

Такако самозабвенно играет множество ролей, она повествует, и повесть ее следует стезями головокружительных любовных страстей и жестоких борений за власть между родами Минамото и Фудзивара. В ту пору, когда заканчивалась глава «Поездка в Сума», посвященная изгнанью Гэндзи из столицы, дочь Тамэтоки была уже в цвете славы под именем Мурасаки Сикибу.

Так и было. И все же... Тамэтоки опускает глаза в «Изборник». Вот, наглядевшись вдосталь на жизнь при дворе, дочь написала:

До чего тяжело:
Ка́к когда-то томилась мечтой,
Стремилась сюда...
Вот он, Девятивратный дворец,—
А на́ сердце девятикратная смута.

Вот она притворяется, будто не умеет писать иероглифы, «не ведает ни единого знака». Ученая женщина — мишень для насмешек.

И при этом писание «Повести о Гэндзи», которую она пишет теперь для государыни Акико, слагает все новые главы, одна прекрасней другой, писание это — ее служебный долг. Правда, за это она освобождена от вседневных мелочных повинностей фрейлинской службы, но ее душевная усталость растет. Она страдает, слыша клевету за спиной. Куда бежать от всего этого? Некуда и нельзя. Срок губернаторства отца в Этидзэн давно кончился, он не у дел, младший брат ждет нового назначения, и писчая кисть дочери и сестры должна помочь им! Приблизились роды государыни Акико, и Митинага, ее заботливый отец, отдает особое приказание Мурасаки Сикибу: вести свою, личную хронику событий... Вот она вступает с Митинага в риско-

ванный обмен стихами о цветах «женская краса», а вот, получив от его супруги хлопья ваты, омоченные в утренней росе хризантем [1], чтобы смыть «старость года», она молится в стихах о ее долголетии. А когда государыня благополучно разрешилась от бремени, она повелела изготовить несколько списков «Повести», и фрейлины сшивали их в тетради под руководством Мурасаки — в присутствии самой государыни, и была во всем этом какая-то ненужная торжественность.

Меж тем временами она взирала на себя будто со стороны, и ей казалось, что все это происходит не с ней, а с кем-то другим. И тогда она писала: «Печалюсь о том, что все идет не так, как думалось, и эта печаль сделалась привычной и неотступной». А окружающие как раз почитали ее мягким спокойным человеком и нимало не тревожились за нее.

Ничтожная жизнь!
Сердцу моему наперекор
Сложилась судьба,
Но перед судьбою смиренно
Склонилось сердце мое.

* * *

Не прикажешь сердцу.
Какая бы судьба ни досталась,
Со всем смирится.
Я все это понимаю,
И все же понять не могу.

* * *

Мне ли вчуже глядеть,
Как резвится беспечно
Стая уток в пруду?
Сама — из тех, кто плывет
По водам горестной жизни.

К *такой* Мурасаки стала понемногу тянуться Косёсё-но кими.

— И еще один человек, я,— продолжил свой рассказ голос госпожи Тени,— я явилась к ней тенью и стала следо-

[1] Хризантемы — символ долголетия; согласно поверью, имели магическую силу.

вать за ней, всматриваться в ее жизнь. Точь-в-точь «божественный соглядатай», сопровождающий человека от рождения до смерти.

— Да такое...— и Тамэтоки, не сводя взора с Тени, запутался в словах: — Нет... этакое дело... она должна была сказать «нет», однако могла ли та, то есть Мурасаки Сикибу, поверить в...

Это бормотание — нелепое после всего, что он узнал,— рассмешило госпожу Тень.

«Возможно, невозможно... Обратите этот вопрос к самому себе!» — отвечала она. Выходит, у дочери была собеседница. Наперсница, близкая, словно собственная тень. Не сотворенная воображением героиня из повести, а возникшая к жизни непосредственно, рядом с нею, и меж ними шла, вероятно, не зримая ни для кого, бесконечная беседа. И тогда — не во мраке ли души его, не из самых ли глубин мрака всплыли слова: «Мое „я" — это тень, блуждающая в пространствах вашей души». Сказав это, тень Нагико замолчала.

Подруга безмятежного детства и задушевный товарищ в полной печалей придворной службе, Нагико и Косёсё-но кими не были слишком похожи в жизни. Но в сознании Мурасаки время сгладило все несходства. Они сделались равно дороги сердцу.

Отлучаясь домой из дворца, Косёсё-но кими и Мурасаки то и знай обменивались письмами и стихами. А живя в одной комнате, любили убирать друг дружке волосы. Экая странная дружба,— случалось, подтрунивал над ними Митинага. И правда: когда Мурасаки нежно полюбила ее двоюродную сестру, как горько пеняла ей кроткая Косёсё-но кими.

— Вероятно, и вы, бывало, изволили замечать...— сказала Тень.

Еще в юную пору если Мурасаки дружила с какой-нибудь прелестной девушкой, то она уж не слишком нуждалась в ухаживании мужчин.

Тамэтоки кивнул. Потому-то и прочил он ей в мужья человека искреннего и умудренного жизнью, такого, как Нобутака.

Но будь то Дайнагон-но кими или еще одна, к которой всем существом потянулась Мурасаки,— о, она была особенно хороша, эта Сайсё-но кими, дочь Митицуна, Главного Начальника Правой дворцовой охраны,— они были не из тех, кому пришло бы в голову хотя мельком заглянуть в потаенные глубины ее души, занятой всецело, без отдыха

и срока, трудом писания книги. А обменяться иногда с кем-нибудь, кто бы понял ее, письмом, поделиться раздумьями ей уже было невозможно. Она утратила давнюю свою общительность. Всякую ночь, если Косёсё-но кими была на дежурстве, она запирала на замок их комнату и склонялась над своей повестью. И все же, отдаваясь писанию исполненной печальной красоты истории Блистательного Гэндзи и Мурасаки-но уэ, она покамест так и не ведала, на что решиться; что будет дальше с Гэндзи после того, как он по своей вине оказывается в изгнании в Сума?

Даже общий замысел повести никак не устанавливался. И вот еще странность: Гэндзи, кажется, всем своим поведением получался вылитый Корэтика до ссылки его на Кюсю, а это было бы не весьма приятно членам рода, который теперь полностью перешел на служение Митинага.

Ведь еще в главе «Юная Мурасаки» Гэндзи, от которого Фудзицубо (Кагаяку Хи-но мия) понесла дитя под сердцем, снится удивительный сон. Объяснив его как намек на то, что мальчик, рожденный от Гэндзи, станет государем, а самому Гэндзи предстоит скорое изгнание в Сума, толкователь предсказывает ему необыкновенную, полную внезапных превратностей судьбу. Прочтя главу, и государыня Акико, и множество вельмож и придворных дам потребовали продолжать в этом духе. Даже сам государь изволил повелеть... Сколько ночей встретила и проводила она в мрачном, мучительном отчаянии! Впору было воззвать: «Помоги кто-нибудь!.. Подай руку!» И среди этих страданий как-то ночью явился к ее комнате своевольный Митинага и ночь напролет стучался в дверь — словно птица болотный пастушок, как написал он в стихах, присланных поутру, а она, со скорбью подумав о жалчайшей участи женщин в этом мире, упала на постель и проплакала до рассвета.

Тем же летом однажды за полночь к печальной тени Такако, склонявшейся над рукописью, добавилась еще одна: Нагико явилась к ней в своем призрачном облике и сказала:

Забывать, я знаю,
Давно в обычай вошло
В этом мире жестоком,
Но когда и утешиться нечем —
Вот настоящее горе!

Мурасаки в ответ:

Чье то селенье
Ты навестишь теперь?
Скажи мне, кукушка!
Сердце истомилось мое
Горестным ожиданьем.

В эту же пору Татибана Тамэёси, после того как Нагико умерла, женился на другой. Он продвинулся по службе, став младшим государственным советником в должности главного секретаря управы внутренних дел. А Кага Сёнагон была приглашена Мурасаки Сикибу вместе сочинять «Повесть о Гэндзи»... Разумеется, одна только Косёсё-но кими заподозрила что-то, когда спросила, с кем это она говорит по ночам, не одержима ли каким существом, которое является к ней в виде призрака? Мурасаки Сикибу лишь улыбнулась, но особенно не возражала. Однажды она просидела до зари, погруженная в свою рукопись. «Ночь уже забелела, я подошла к крытому переходу между флигелями и, опершись о перила, стала глядеть в воду ручья — он начинался как раз у моей комнаты. Я сказала вполголоса:

Свое отраженье
Вижу в бегущей воде.
Отчего же я плачу?

Косёсё-но кими незаметно подошла к ней тогда и сказала:

Думаешь, ты одна,
Слезы роняя, глядишься
В этот прозрачный ручей?
Но чей же плачущий лик
Тень твоего отраженья?

И тут что-то изменилось в выражении ее лица, и она попыталась заглянуть сбоку на отражение подруги в воде...»

Немного спустя Нагико-Тень, как шутливо звала ее Мурасаки (прозвище Кага Сёнагон она придумала себе сама), предложила на ее суд несколько своих мыслей. Они оказались новы и неожиданны.

Ну, во-первых: разве не слишком далеки от них принцесса Кагаяку Хи-но мия, или Юная Мурасаки, или первая жена Гэндзи, дочь министра Аои-но дзё, то есть дамы «высших достоинств»? Мурасаки Сикибу, конечно же, согласилась с нею. Ночь выдалась дождливая, и Косёсё-но кими

должна была провести ее подле государыни. В эту ночь «облик» и «тень» проговорили до белого света. В итоге вторая и третья главы повести — «Обманчивое деревце» и «Цикада» — стали писаться совершенно по-новому. Так, например, рассказ о том, как изумлен был Гэндзи, когда вместо вожделенной Уцусэми — Цикады обрел только ее платье — скорлупку, а сама она ускользнула,— рассказ этот родился из давнего и особенно милого сердцу Мурасаки воспоминания: о том, как Нобутака, чтобы «изменить направленье пути», заехал в их дом и что из этого получилось.

Говорили они с сердечной болью о судьбе женщин «средних достоинств» — из не слишком знатных семейств,— о тех, про которых ее дядя Фудзивара Хидэёри сложил знаменитое стихотворение:

В государыни прочили,
Ну а если не выйдет дело,
Станешь супругою
Губернатора из молодых
В провинции, что подоходней.

Если ты не напишешь об этом, я сама напишу, сказала Кага Сёнагон. Она как будто предчувствовала, что Блистательный Гэндзи и неудачница Уцусэми, едущая в столицу вместе с мужем-чиновником, снова увидятся в главе «Застава встреч». Но и это еще не все! Нагико, которая поехала на Кюсю в провинцию Хидзэн и там умерла, не переставая говорила о своей мечте: встретиться в «Повести» с новой главной героиней. Ею будет дочь несчастной Югао из главы «Вечерний лик», четвертой в повести. Имя ее Тамакадзура. После смерти матери служанка увозит ее на Кюсю и там воспитывает. Об этом и напишет Нагико-Тень, а Мурасаки пусть продолжает писать как о главной — о Мурасаки-но уэ.

— Ах, вот как было! — Тамэтоки хлопнул ладонью по столу.

А было так. Татибана Тамэёси вскоре после того, как уехал в Хидзэн, был вызван обратно в столицу по неотложному служебному делу. В его отсутствие Нагико упорно преследовал один грубый деревенский самурай, однако ей не пришлось спасаться бегством от этого мужлана, как Тамакадзура в «Повести». Она попросту успела умереть от повальной хвори. Рассказ этот ужаснул Мурасаки, а Нагико-Тень снова горько досадовала о своей внезапной кончи-

не. Впрочем, они переговаривались совершенно по-детски. «Значит, ты будешь Тамакадзура?» — «Но ведь я не буду мешать Мурасаки-но уэ, правда». Одна говорила: то-то и то-то, другая отвечала: так-то и так-то. Одна слушала, другая писала. Рука Мурасаки самозабвенно скользила кистью по бумаге и все же не поспевала, а Тень — даром что тень! — сердилась в нетерпении. Сколько было таких ночей!

Рожденная в их совместном труде полная значительности главная тема уходила все дальше, к новым главам, и — возвращалась назад, меняя облик начальных, вплоть до самой первой главы, прекрасной и печальной «Фрейлины Кирицубо»...

Мурасаки Сикибу не хотелось, чтобы возникли слухи, будто ссыльный Гэндзи напоминает пусть даже не Корэтика, а кого-либо из живущих или некогда живших людей. Но не зря прозвали ее Ходячим сводом японской истории. Почтительнейше, даже дважды упомянув в главе «Фрейлина Кирицубо» священное имя императора Уда, Мурасаки решительно соотнесла образ государя, отца Гэндзи, с именем Дайго — сына Уда, то есть словно бы отодвинула время действия повести на шесть царствований назад. Но это еще не все. Она придумала открыть ее уж совершенно невинным зачином: «При каком государе, не ведаю...»

— Вот почему даже мужчины, приверженные китайской учености, которые в руки не брали «Повесть о Гэндзи», почитали ее чем-то вроде официальной истории.

Ход рассуждений Мурасаки был таков: кто носил фамилию Минамото? Потомки принца крови, не предназначенного царствовать. Уже во втором, в третьем поколениях они впадали в безвестье, теряли права, словом, претерпевали все невзгоды обыкновенных людей в этом мире, полном горечи и непостоянства. В мире, где вольготно живется лишь только одной из ветвей рода Фудзивара, только одной! Так не попытаться ли представить себе, что некий принц из семьи Минамото, то есть Гэндзи [1], оттесняет от власти когонибудь из могущественных Фудзивара, что его сын становится государем, а описание его царствования соотнести с годами правления Дайго, Судзаку и Мураками — великих государей. Само собой понятно, что она сделает это с должным тактом, избегая слишком явного отпечатка подлинных

[1] Гэндзи — китайское чтение слов «род Минамото».

событий истории. Ей казалось, что она пишет от имени всех обиженных судьбою людей.

Не забывали они и о том, как важна сюжетная выдумка. В главе «Юная Мурасаки» толкователь сна говорит не только о блестящем будущем Гэндзи, но и о том, что он совершит немало опрометчивых поступков. Вдобавок они вставляют в первую главу решающее для всей повести предсказание ученого корейца-физиогнома: Гэндзи не суждено быть государем, хотя и достигнет он вершин могущества. Это предложила Нагико-Тень, и Мурасаки приняла ее мысль.

Писательницы все более склонялись к мысли, что не будут особенно баловать своего героя. Они привели главной женой в его дворец хрупкую знатнейшую Сан-но мия. Вначале она становится причиною горьких слез Мурасаки-но уэ, а затем невольно заставляет и мужа испытать унизительную муку.

Меж тем Мурасаки вовсе не хотела отказываться от одной своей задушевной мысли. Для нее история жизней Хикару Гэндзи и Мурасаки-но уэ — это еще и повесть о том, как сын, лишившийся матери в раннем детстве, берет себе жену, чрезвычайно похожую на мать. Она хотела таким образом утешить дух своей родной матери, лица которой она не помнила.

В главе «Фрейлина Кирицубо» совсем еще юный Гэндзи говорит о том, как бы он хотел восстановить дом, где жила его покойная бабка и Кирицубо, его покойная мать, чтобы с домом этим никакой другой не мог сравниться. «О если бы в нем жили все, кого я люблю!» Разумеется, Гэндзи хотел бы жить во дворце Нидзёин вместе с Фудзицубо, которая будто срисована с его матери. Но эта дама стала принцессой Кагаяку Хи-но мия: ее полюбил его отец, и именно за это изумительное сходство она для него — катасиро[1], священная замена покойной Кирицубо. И Гэндзи обречен вырвать из родной почвы и пересадить в свой сад полевой цветок — Юную Мурасаки, ибо она очень похожа на тетку свою Фудзицубо, а следовательно, на его покойную мать... Так... Ну и довольно, пожалуй...

— Значит, ты...

Он явно хочет продолжить: ...всегда рядом была,— но уже не нуждается в ответе.

Он еще хочет расспросить о том, как шла работа даль-

[1] Катасиро — бумажная фигурка в синтоистском обряде очищения.

ше — после того как Блистательный Гэндзи «сокрылся в облаках», о последних десяти главах и еще о многом. То, что она рассказала, такая малость в сравнении с их огромным трудом...

Но его торопливые вопросы остаются без ответа.

Он становится настойчивей, но Кага Сёнагон, точь-в-точь как некогда Такако, только смеется тихонько и вдруг: кажется, она откидывается назад, опускается ниже по стене и выпрямляется. И во мраке гардеробной ясно, отчетливо раздается голос Мурасаки Сикибу:

О тех, кого уже нет,
Доколе с такой тоскою
Будешь ты вспоминать?
Или вся их горестно краткий —
Завтра не твой удел?

К стене мгновенно подходит еще одна женская тень и, густея, садится рядом с первой. Чтобы вечно отвечать на все недоуменные вопросы отца.

Летняя ночь еще только начиналась.

Тосио Удо

АЛЫЙ ЦИКЛАМЕН

Я получил в подарок от господина У. горшок с цикламеном. Хочу написать об этом человеке.

Господин У.— ветеринар. Сейчас многие держат животных, и я думал, что дел у него невпроворот, однако оказалось, что я не знаю конъюнктуры. Сейчас спросом пользуются не ветлечебницы, а гостиницы, куда пускают с собаками и котами, и собачьи парикмахерские.

К тому же, когда забредает клиент, господин У. принимается лечить его собачку или кошечку столь добросовестно, что, расплатившись, тот уходит, чтобы уже никогда не вернуться.

Осталось последнее средство: чтобы прокормить семью, господин У. собирал живших неподалеку школьников младших и средних классов и давал им частные уроки. Кажется, после войны он какое-то время работал при американском генштабе и знал английский язык.

Десять лет назад он решил попробовать себя в литературе. В нынешнем году он отмечал шестидесятилетие, так что тогда ему было пятьдесят, и вот он, казалось покорившийся судьбе, вдруг воспрянул духом. Как ветеринар господин У. был ничуть не хуже других, но, человек тихий и мягкий, он, конечно, не мог противостоять натиску «гостиниц» и «парикмахерских».

Я познакомился с ним тогда, десять лет назад, на литературных курсах. Мне стоило, верно, упомянуть об этом раньше: дело в том, что я писатель — неважно, насколько я преуспел в этом деле. Так вот, я вел занятия на этих курсах. Не знаю почему, но в то время очень многие стремились в литературу, и кружок буквально процветал.

Едва я увидел господина У., как сразу решил, что ничего из него не выйдет. Я вовсе не утверждаю, что писать романы можно, лишь обладая особым даром. Наверное — судя и по моей скромной персоне,— если человек честно и

© Udo Toshio, 1979

вдумчиво пройдет по вехам собственной прожитой жизни, этого хватит, чтобы написать одну повесть. Поэтому, наблюдая людей, занимавшихся в кружке, я не придавал значения различиям пола и возраста и никого не считал безнадежным.

Однако господин У. был именно безнадежным. Может, это покажется слишком категоричным, но за долгие годы я перевидел множество людей и верил своей интуиции, развившейся за это время.

Это был мужчина с уже седеющими волосами; держался он с достоинством, хотя немного сутулился; со всеми был любезен до предела и производил впечатление человека безукоризненно честного и добросовестного. По-видимому постоянно ощущая бремя своего возраста, он, вынужденный находиться в обществе людей молодых, опускал глаза и горбился. Словно попал сюда по ошибке, думал я с сочувствием.

Пробежали недели, окончился трехмесячный курс моих лекций, и У. наряду с другими слушателями представил экзаменационное сочинение. Прочитав его опус, я убедился, что интуиция меня не подвела. Там начисто отсутствовала всякая литературность, не говоря уж о сюжете или композиции. Не то чтобы стиль его был хуже, чем у других, или отдельные места вопиюще плохи — просто все было абсолютно бессвязно.

Я хотел сказать ему, чтобы он и не пытался писать, а занялся бы лучше ветеринарией. Мне думалось, что так будет честнее. Но когда я видел его серьезное лицо, слова не шли с языка. И я решил, что, в конце концов, упорные старания небесполезны, а там, глядишь, он и сам прозреет.

И господин У., окончив первый курс, перешел на второй. Затем на третий — и учился все с той же серьезностью, без видимых срывов и неукоснительно являлся на занятия, сутулый и седеющий, не пропуская ни дождливых, ни ветреных дней.

Я сказал, что он переходил с курса на курс, но, собственно, содержание лекций не усложнялось; менялись преподаватели, но по существу это было повторением одного и того же.

Он же, ничуть этим не наскучив, прилежно ходил на занятия все с тем же неизменно серьезным выражением лица. Это мне тоже не нравилось. Ну, походил, послушал, усвоил основы, а дальше — дерзай сам! Так полагаться на курсы, считал я, не пристало будущему литератору.

Иногда я встречался с У. и читал его сочинения. Мне

казалось, он не продвинулся ни на шаг. Все-таки я писатель, способен распознать в написанном что-нибудь стоящее. У господина же У. что-либо стоящее отсутствовало начисто. Я окончательно утвердился в своем первом впечатлении.

Наконец и он сам, видимо, отступился — его не стало видно на занятиях. И вдруг — я уж и думать о нем забыл — он прислал мне журнал, изданный их кружком. Там был его рассказ. Я прочел его — и поразился. Это было похоже на прозу. Более того — в нем чувствовалась сила и читался он с интересом.

Речь шла о солдатской жизни. Разумеется, по возрасту он не мог не пройти армию и войну, да и его прежние рассказики повествовали о том же.

Я понял: он хочет писать именно о военном опыте! Это тронуло меня. Я глубоко убежден, что вовсе не обязательно выискивать замысловатые сюжеты, достаточно добросовестно описать пережитое.

Я написал господину У. о том, что мне понравился его рассказ. И выразил радость и удивление от того, что он добился столь многого. Ответа я не получил, но теперь уже пример господина У. вдохновлял меня. Я остро ощутил, что в литературе упорство и старания не пропадают даром.

С тех пор господин У. регулярно, раз или два в год, присылал мне свои сочинения. Он печатался в изданиях литературного кружка или в журнале, который издавала их группа, и только один раз — в местной газете, в подборке новелл. Его рассказ нельзя было счесть совершенством, но в нем была определенная привлекательность.

И вот в конце прошлого года господин У. пришел ко мне домой с цикламеном в горшке. За неделю до этого он, по установившейся традиции, прислал мне очередное свое произведение. Оно было опубликовано в той же газете, но на этот раз — как одно из лучших. Это был небольшой, страничек на двадцать, рассказ, по-видимому почерпнутый из военного опыта господина У. и повествовавший о последних днях жизни и о смерти одного солдата.

Прочитав, я выразил свои впечатления в письме и тут же получил благодарственный ответ, в котором господин У. писал, как он горд моей высокой оценкой. Вскоре после этого он позвонил. Всегда сдержанный, он проявил явную настойчивость, стараясь получить приглашение в гости. Уступив его натиску, я назначил день.

Толком я не представлял себе, зачем нужен этот визит,

но, видимо, это был знак благодарности за внимание. Поэтому я сказал, что не стоит ехать в такую даль, ведь до меня добираться полтора часа на трамвае, но он отверг все мои возражения.

Господин У. явился в назначенный день и поднес мне в бумажном пакете горшок с цикламеном, обернутый газетой в несколько слоев. С тяжеловесной, старомодной учтивостью он приветствовал меня и пространно объяснил, как надо обращаться с цикламеном. Я не большой любитель цветов, но, взглянув на освобожденный из пакета цикламен, восхитился яркостью алого цвета, казалось имеющего даже объем. Поражала и толщина лепестков. Он был мясист и мощен. Интересно, можно ли его считать лиственным растением, подумал я.

Сначала поговорили о том о сем, но общих тем было не так уж много, и вскоре мы перешли к обсуждению его последнего рассказа. Действие происходило в Маньчжурии, с ее суровой зимой, после поражения в войне. Японский солдат умирает в военном госпитале, обмороженный и изможденный, в тоске по родному дому; оставшиеся в живых товарищи роют ему могилу в промерзшей земле. И я спросил:

— А вам самому довелось побывать в военном госпитале?

— Да.

— Где именно?

— Место называется Телин.

Мне, выросшему в Маньчжурии, это название показалось знакомым.

— Заболели? Или из-за ранения? — Я заглянул ему в лицо. Я знал, что его часть воевала в Северном и Центральном Китае.— Как это случилось?

Опустив голову, он молчал.

— Видите ли...— выдавил он наконец и снова заколебался. Затем, едва шевеля губами, пробормотал: — Вообще-то...— и протянул мне правую ладонь.

Рука как рука, все пять пальцев на месте, на первый взгляд все в порядке. Однако, присмотревшись, я заметил на ладони несколько шрамов, а в том месте, где они сходились, в самой середине, гладкое пятно, словно от ожога.

И тут меня осенила догадка:

— Самострел?

— Да.

Ответ его прозвучал коротко и равнодушно, без всякой

патетики. Он больше ничего не добавил, но я попытался сам представить, как это было. Я тоже служил в армии, правда всего месяц, но кое-что все же успел узнать. По-видимому, когда поблизости никого не было, он прижал правую руку к дулу, а левой нажал на спусковой крючок.

Но тут я задумался. Положим, он объяснил свою рану неосторожным обращением с оружием, но я-то знал, как это непросто. Во-первых, есть предохранитель, и подобное случается крайне редко. Чистить или чинить винтовку, когда она заряжена, не полагается, да и рядом могут быть другие солдаты.

То есть, рассуждая здраво, невозможно выдать самострел за несчастный случай, значит, нужно не только мужество, чтобы сознательно прострелить собственную ладонь, но и немалая фантазия, чтобы сочинить объяснение вроде короткой новеллы.

Мне не хотелось казаться навязчивым, но я подумал: а может, и сам он не будет против расспросов? И попытался выяснить у него обстоятельства дела. Господин У., видимо, потому, что разговор был на интересовавшую его тему, отвечал живо и с охотой.

Их отряд засел на берегу реки, а напротив стояла Восьмая армия[1]. Ни с места, точно прилипли. Время от времени им сбрасывали листовки с того берега или в рупор на японском языке предлагали сдаться. Сначала господин У. искал случая сбежать, но понял, что бесполезно. Тогда у него возникла идея самострела.

Как я и предполагал, господин У. также осознал сложность этого предприятия. Он все продумал, даже сочинил весьма правдоподобную легенду, но подходящего случая не было.

И вот случай подвернулся. Меняли оружие, и У. вместо своей старой винтовки получил новенькую «тян»[2]. Так солдаты называли доставшиеся в качестве трофея винтовки, которыми была вооружена Восьмая армия. На его счастье, у этой «тян» оборвался ремень и был неисправен предохранитель.

Для сочиненной им легенды все это было как нельзя более кстати. И вот У. послали в разведку. Сошлись все обстоятельства, о которых он мечтал.

---

[1] Регулярные части китайской армии, руководимые Компартией Китая.

[2] Тян — винтовка *(кит.)*.

У. дошел до холма и остановился в растерянности — так начиналась сочиненная им история. Холм должен был существовать в действительности, и туда он добрался. С винтовкой в руке на крутой склон не подняться. А у этой «тян» к тому же ремешка нет. Что делать? Он забросил винтовку наверх и стал подниматься, цепляясь за землю обеими руками. Дополз доверху, протянул руки и ухватил винтовку за дуло. Стал подтягивать к себе, и — спусковой крючок задел не то за корень, не то за ветку — раздался выстрел.

Господин У. еще раз проверил легенду и, убедившись, что все в порядке, лег у подножия холма, приложил к дулу правую ладонь, зажмурился и нажал левой рукой на спуск. Сначала никакой боли он не почувствовал, рука стала легкой-легкой, вроде носового платка, и мягко, словно парила, поплыла в воздухе.

Он с опаской открыл глаза. В правой кисти зияла дыра, виднелись белесые тонкие косточки. Через секунду рана наполнилась кровью, капли заструились вниз. Тогда он переменил свой план. У. решил притвориться, будто сорвался со склона, перекатился с боку на бок и принялся звать на помощь. Его услыхали и перевязали.

— Была, наверно, проверка?

— И довольно строгая. Но ничего, выкрутился.

— А когда это было?

— В сорок четвертом.

Мы оба помолчали, затем я решил выяснить еще одну деталь:

— Из одной только ненависти к армии на такое не идут. Вы, наверно, сочувствуете марксистским идеям?

— Да,— бесстрастно ответил господин У.

Напоследок он сказал мне все с той же сдержанностью тона:

— Когда я лежал в госпитале, то временами остро скучал по фронтовым товарищам.

Распрощавшись и уже поднимаясь, господин У. сказал, приложив правую руку к груди:

— По правде сказать, об этом я и хотел написать, потому-то и взялся изучать писательское ремесло, что мне совсем не по плечу. Вчера как раз закончил — написал двести пятьдесят страниц, и, знаете, как-то легче стало. Благодарю вас за все, что вы сделали для меня за эти годы.

У меня перехватило дыхание. Я смотрел на его правую руку, которой он мог держать авторучку, но не смог бы

нести зонтик. Значит, из-за этой руки и этой рукой он написал двести пятьдесят страниц, что заняло у него десять лет. Чтобы устраниться от участия в войне, надо было прострелить не обе ноги и не левую руку, а именно правую...

С того посещения господина У. прошел месяц, но у меня и сейчас на столике перед окном цветет алый цикламен. Когда его освещает солнце, он становится кроваво-красным.

Уж на что я ленив, но во всем, что касается этого цикламена, соблюдаю полученные мной инструкции и ухаживаю за ним с бережностью.

СОДЕРЖАНИЕ

Е. Маевский. БЕСЕДА О ТЕНИ И ЗЕРКАЛЕ, ИЛИ НАПУТСТВИЕ БЛАГОСКЛОННОМУ ЧИТАТЕЛЮ 3
Такэси Кайко. ШАРИК РАССЫПАЛСЯ. *Перевод Б. В. Раскина* 15
Ясунари Кавабата. ОТРАЖЕННАЯ ЛУНА. *Перевод Б. В. Раскина* 25
Ясуси Иноуэ. ВОЛНИСТЫЙ ПОПУГАЙЧИК. *Перевод Е. В. Маевского* 35
Тэцуо Миура. БЛУЖДАЮЩИЙ ОГОНЕК. *Перевод Г. Ф. Ронской* 41
*Сётаро Ясуока. ХРУСТАЛЬНЫЙ БАШМАЧОК. *Перевод В. С. Гривнина* 63
Дзюнноскэ Ёсиюки. РЖАВОЕ МОРЕ. *Перевод Л. Л. Громковской* 77
Цутому Минаками. СНЕЖНАЯ ДОРОГА. *Перевод Г. Б. Дуткиной* 86
Синъити Юки. САД ОПАВШИХ ЛИСТЬЕВ. *Перевод Е. П. Теснер* 97
Ёко Такахаси. Я ЛЮБЛЮ ДОЖДЬ. *Перевод Т. И. Редько-Добровольской* 111
Фумио Нива. ЧУЖИЕ. *Перевод Е. Н. Рединой* 137
*Такэси Иноуэ. СОКРОВЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ. *Перевод О. В. Морошкиной* 147
Такако Такахаси. ТОМЛЕНИЕ. *Перевод В. В. Скальника* . . . 164
Хидэо Такубо. ДЕРЕВЯННАЯ СВАДЬБА. *Перевод Е. В. Маевского* 185
Ко Харуто. РОДНИК. *Перевод А. А. Долина* 200
Мэйсэй Гото. МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ ВОЗВРАТИЛСЯ ДОМОЙ. *Перевод В. С. Гривнина* 221
Ёсико Сибаки. МОГИЛА ВАН ГОГА. *Перевод Л. М. Ермаковой* 253
Ёсио Марумото. СВОБОДЕН, КАК ПТИЦА. *Перевод В. А. Гришиной* 270
Масадзи Ивакура. ЗОЛОТАЯ РЫБКА. *Перевод О. В. Морошкиной* 328
Сэндзи Курои. НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ. *Перевод Е. Н. Рединой* 350
Кохэй Хата. ГОСПОЖА КАГА СЕНАГОН. *Перевод В. С. Сановича* 362
Тосио Удо. АЛЫЙ ЦИКЛАМЕН. *Перевод Л. М. Ермаковой* 391

СОВРЕМЕННАЯ ЯПОНСКАЯ НОВЕЛЛА

Составитель
Борис Владимирович Раскин

ИБ № 1501

Редактор *Е. Г. Руденко*
Художник *В. И. Харламов*
Художественный редактор *А. Н. Антунин*
Технический редактор *О. Б. Иванова*
Корректоры: *Н. А. Лукахина, Е. В. Рудницкая*

Сдано в набор 29.03.84. Подписано в печать 02.01.85. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Условн. печ. л. 21,0. Усл. кр.-отт. 21,0. Уч.-изд. л. 22,74. Доп. тир. 50 000 экз. Заказ № 150. Цена 2 р. 60 к. Изд. № 482

Издательство «Радуга» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 119859, Зубовский бульвар, 17

Отпечатано с матриц МПО «Первая Образцовая типография» Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Москва, 113054, Валовая, 28, в Ленинградской типографии № 6 ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, 193144, ул. Моисеенко, 10.